ISSN 0130—6545

12.1978

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Площадь Сеньоров в Вероне

Цветные иллюстрации номера —
работы французского художника Ива Брайера

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

12 ДЕКАБРЬ 1978

Содержание

Молодые турецкие поэты

МЕТИН ДЕМИРТАШ. ЯШАР МИРАЧ. АБДЮЛЬКАДИР БУЛУТ. БАРЫШ ПИРХАСАН. ЭРДАЛ АЛОВА *(Переводы Юнны Мориц, Е. Винокурова, Георгия Ефремова)* 3

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — Последний взгляд *(Перевод с английского Н. Треневой и Е. Суриц. Послесловие Б. Грибанова)* 12

Из болгарской поэзии

БОЖИДАР БОЖИЛОВ. ЕВТИМ ЕВТИМОВ *(Переводы Лорины Дымовой и О. Шестинского)* 109

РЕНЕ-ВИКТОР ПИЙ — Обличитель *(Роман. Окончание. Перевод с французского Т. Ерофеевой и Е. Шишмаревой. Послесловие Е. Амбарцумова)* 116

Критика

ГЕОРГИЙ АНДЖАПАРИДЗЕ — Где кончается Ривер-роуд? (Заметки о творчестве Меджи Мванги) 206

Н. МАЛИНОВСКАЯ — Джульетта и маски (О незаконченной пьесе Федерико Гарсиа Лорки. *Вступление В. Столбова)* 212

Отклики, встречи, впечатления

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО — Краски Босфора 222

Культура и современность

Заметки на полях

О. Тимашева — Призрачное эхо, или Закономерность истории 231

Публицистика

ЙОЗЕФ ГОТМАР — Под сенью неонов *(Главы из книги очерков. Перевод с чешского С. Пархомовской)* 235

Антирубрика

ТЕОДОР МАЗИЛУ — Рассказы *(Перевод с румынского Лилии Долгошевой)* 258

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ — Стасина жена *(Перевод с польского Асара Эппеля)* 261

Среди книг

Издано в СССР

Ю. Суровцев — Роман-объяснение ✦ А. Бочаров — Почва и судьба 263

Издано за рубежом

Георгий Пенчев — Мудрые и нужные уроки ✦ Уран Гуральник — Под личиной научной объективности 268

Из месяца в месяц

273

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» за 1978 г. (№ 1—12) 280

Авторы этого номера

286

На обложке: картина французского художника ИВА БРАЙЕРА «Париж. Набережная Конти под снегом».

На стр. 108, 205 — рисунки ИВА БРАЙЕРА.

© «Иностранная литература», 1978.

Молодые турецкие поэты

МЕТИН ДЕМИРТАШ

Место для свиданий

I

Порой в разговоре находишь забвенье
Мы словно в приморской рыбацкой кофейне
Развешаны сети в лазури
Полощется море в просторе
На юных губах рыбачек
В румянце рассветных тучек

Одни усталые лодки
Лежат на песках туманных
Другие на волнах стеклянных
А у нас во мгле на столе пламенеет в звонких стаканах
Крепкий антальский чай
Даль с четырех сторон вечерней заткана мглою
И как если бы вдруг на плечо беззаветного друга
Опустился хрипящий смертельно раненный голубь
На грудке которого дико алая брызжет гвоздика
Так во мгле на нашем столе заискрится бокал вина
Засверкает во мгле на столе король красных вин на земле
Горячий осколок испанской войны
Пьем и ждем
Федерико Гарсиа Лорку

II

Откуда взялась желтизна малярийная
Потолок этот грязный и стены холодные голые
Где же наш кислород чистый вешний вчерашний
Где же в небо запущенный голубь

И сверкая как нож в темноте где стены прокисли
Средневековые цепи все глубже вонзаются в мысли
Из каких сундуков эту ржавчину вытрясли
Удушенье идей и страстей
Любви меж людьми
В спину толчок и кто-то
Вытаскивает кого-то
Из мечты говоря без натяжки из одной сигаретной затяжки
Из мечты о хлебе о соли о силе

Десница во имя которой мы здесь а не врозь
Во тьме подсознанья раскрыла глаза нам отныне
На то что совсем разобраться не можем кто с кем и зачем
Десница во имя которой мы здесь а не врозь
Она сохранит теплоту исходящую вечно от роз
И входящую в розы сейчас из заоблачной сини

Песня на тюремной прогулке

Мчится время и ты в свое время
Дорогую свободу возьмешь как невесту за локоть
И выйдешь на свет
И начнут за тобою охотиться
Мытарства и безработица
Эта самая лютая каторга

Ты изгой пред тобой закрываются двери железно
Задыхайся от гнева взрывайся ори хоть до неба
Все бесполезно
Ведь нищий не может семью обеспечивать пищей
А дети не могут без хлеба

Привыкаешь к вонючим камерам душным
Привыкаешь на нарах спать вдесятером
Ничто не угробит живую душу
Нас угробит лишь мерзостный путь пресмыканья
Ползком за куском перед всяким дерьмом

Перевод ЮННЫ МОРИЦ

Безнадежность запрещена

«Снег укрыл ветви»

Самые буйные из цветов
Моя душа разделила их участь
Потому что царит зима
Жестокая бездушная зима
Мы ею окружены
С четырех сторон

Душа моя
Представь себе весну
Что победит в борьбе с зимой
Товарищей что проживают
Нелегально
Ростки что пробьются из-под снега

И торжествуя преодолеваем мы
Страдания
Иного нет пути
Мы выйдем живыми из мук

Потому что безнадежность запрещена
И распевание покорных песен
Запрещено
Потому что армия надежд шагает вперед
Расстреливая безнадежность

Перевод Е. ВИНОКУРОВА

ЯШАР МИРАЧ

В стеклянной кофейне

в месяце мае
в месяце мае
в час когда рано
куриться кальяну
приходит чужой
из далекого края
на струнах играя
на струнах играя

на деке багрянец
на деке багрянец
струны искрятся
поет чужестранец
он струн не касается

сами бросаются
в танец дрожащий
колдун настоящий
колдун настоящий

в месяце мае
в месяце мае
в час когда петь
петухам еще рано
слезы витают
в кофейне стеклянной
слезы от песни его
чужестранной
официанты столы убирают
глаза утирают и обмирают
и вдруг чайханщик
сжимает стакан восьмигранный
до хруста до крови
до хруста до крови

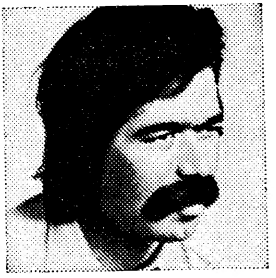
от черной любови
от черной любови
эти скрываются
те разрываются
и разбиваются
звонко стаканы
и чужой надрывается
в кофейне стеклянной

его голос так весел
но треснули струны
одна за одною
струна за струною
словно стаканы
словно стаканы

в месяце мае
в месяце мае
приходит чужой
из далекого края
споет он от сердца
певец чужестранный
и выйдет сквозь сумрак
кофейни стеклянной
официанты поплачут тайком
руку чайханщик
завяжет платком

а чужестранец
из этого края
дальше пойдет
ни на что не взирая
с тем же весельем
на струнах играя
на струнах играя

Перевод ЮННЫ МОРИЦ



АБДЮЛЬКАДИР БУЛУТ

Горный дневник

I

Когда появляются птицы
То появляется
Земля или новая любовь
Новая любовь вновь
Выясняет предназначение
Моего ножа

Поэтому я вновь подпоясался ремнем
И повязал платок на шею
Дни между тем промелькали
В горах и в ущельях

Воля к жизни окрепла
Я весь день провожу с ружьем
И собственным громким голосом

II

Я поведал о тоске своему ружью
Я нарисовал оленя
И это дало новую тайну
Моей душе

Я всю ночь раздумывал
И впервые тоска осозналась мною
И кочевья
И флейты древних времен

III

Всю ночь я работал
Фитилек в лампе сгорел
Кто повествует о гневе
Тот раздувает его

Я впервые задумался о ровесниках
Об их бородах и сигаретах
И о днях отданных моему народу
Я задумался впервые

Я владею искусством применять оружие
К тем кого оно находит
И тем кого оно обходит
Так как я обожаю слова
Попавшие на мушку пера

Перевод Е. ВИНОКУРОВА

Ты не одинок

Ты не одинок
Как под ливнем бегущие жеребята
У тебя есть ровесник знающий землю
Как знают ее лишь корни
На плечах твоих жизнь и песня
Воле твоей послушно движение толп

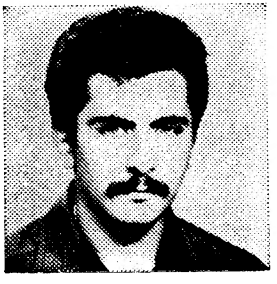
И если твои глаза застелет туман
И черные птицы опустятся на деревья
Тебя поддержит перо
Лист укрывающий розу
Пыль разъедающая лицо
Так привычно ноющий бок
Извещающий о ненастье
Колючки обуглившиеся под солнцем

Усталого приласкаешь теленка
Он и будет знать твою тайну
Он один и придет под тюремные окна
Потому что товарищей всех уже увели

Ты не одинок
На плечах твоих жизнь и песня
Воле твоей послушно движение толп

Ты не одинок

Перевод ГЕОРГИЯ ЕФРЕМОВА



БАРЫШ ПИРХАСАН

Этот мир

Прохладное черное небо...
Что оно скажет маленькому ребенку?
Звезды в бездонной тьме...
Что говорит мигающая звезда
Ребенку,
Бегущему без оглядки
По колючкам степным?
О чем говорят дома? И что говорит

Мельница со сточенными жерновами?
О чем говорят собаки?
Что объясняют умные их владельцы?
Кого заставляют умолкнуть
Удары палок?
В Бозтепе, вблизи Утопленника Хасана,
Что обсуждают, остерегаясь жандармов?
Кто на кого донес? Кого еще застрелили?
Только усталым женщинам нет до этого дела.

Громче родной ничего не слышно
Шум воды забивает уши
Громче громче кричи
Земляк я тебя не слышу

«Мы видели,— говорят,— мы там были
и видели все».
«Я видела и донесла,— рассказывает ворона,—
Я привела жандармов».

«Я видел,— бормочет лес,—
Я их видел и слышал,
Звери мои и ветви мои разъярились
И меня принудили говорить».
«Я осветило землю,— говорит солнце,—
И стали они видны как на ладони,
Из-за меня они превратились в мишени,
Я принесло им свинец».
«Я,— говорит гиена,— отворила их раны,
Еще до рассвета
Отделила кости от мяса, вырвала вены,
Чтобы черная кровь быстрей вытекала на землю».
Мы там были, мы видели все:
Охотники, гончие, ростовщики,
Поденщицы, пахари, ветви,
Смуглые дети, лисы —
Мы были, мы видели все.

Прохладное черное небо.
Что оно скажет бывшему седоку,
Умирающему у моря?
Может быть, скажет: седло твое опустело,
Твой огненный конь на свободе.
Или скажет: преодолей моря и разгладь
Гриву бегущих волн. Или сложит песню
Легкую, как облака.
Прочтет над убитым
Горькую медленную молитву,
И будут в этой молитве
Скорбь, надежда и слово отмщенья...

Нет. Природа не чествует мертвых:
Там, где творилась расправа, назавтра
Чья-то играется свадьба.
Прав орел, терзающий куропатку,
Восходящее солнце,
Лес, шумящий сильно и ровно.

Приходите, и мы помянем убитых,
Проклянем огромную гору,
Отрубим ворону когти,
Все вместе
Отстроим разрушенный дом.
Иначе природа и не заметит ушедших —
Просто пришлет других.

Перевод ГЕОРГИЯ ЕФРЕМОВА

ЭРДАЛ АЛОВА

О чем рассказала роза

В этом мире.
В этом саду.
Небо. Солнце. И я.

Путь преградила битвам
клали меня к убитым.
На танках прошлись по мне.

Купили за грош на базаре,
вложили в письмо и послали.
Любовью прошлись по мне.

Моя любимая — роза, так говорил один,
роза — это лишь роза, сказал другой господин.
Словами прошлись по мне.

На подушке вышили сами
поливали меня слезами.
Страданьем прошлись по мне.

Не любила бы так — не увяла бы,
в миллионы бутонов пылала бы.
Пожаром прошлись по мне.

Это слышал ребенок кудрявый
с белым листиком — в левой, с черным грифелем — в правой.
Стихами прошлись по мне.

В этом мире.
В этом саду.
Небо. Солнце. И вечно фиалки.

Чаепитие

На печатной машинке я барабанил
друг принес мне чаю в стакане
заячьей крови в стакане
Леонардо да Винчи картинка на блюдце была
лошадь взвинчена дыбом
голый всадник в чем мать родила
словно вырваться из голубого
захотели ценой любой
то ли все голубое небо то ли все голубое море
то ли вся голубая кобыла
вот-вот у ней треснет хребет голубой.

Смолкли марши.
Я выпил чаю глоток.

Каким пессимистом я был перед этим
ведь самым я был одиноким на свете
газеты свежие новости
во мне умертвили нервы
смерть как жилица властно и смело сумела
в нас поселиться

оригинальные снимки убийств
натуральная будничность кровопролитья
траурные событья
любопытные в окнах чтоб видеть своими глазами
и пустые слова
с пустыми слезами
смерть как прочитанная страница властно и смело сумела
в нас поселиться.

А смерть до того отвратительна
мертвецов боятся все дети на свете
всех детей приучают к мысли о смерти
у смерти нету ни слов для оваций
ни губ для того чтобы целоваться
ни стихов для чтенья и пенья
невеста которая ждет безнадежно годами
упирается в стену где фото любимого в раме.
Смерть не в силах вселиться
в чистые замыслы в чистые слезы
и в надежды которым плевать на угрозы.

Смолкли марши.
Стакан опустел.
Осталась картинка на блюдце.
Мне вот эти стихи остаются.

Перевод ЮННЫ МОРИЦ

■

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ

Последний взгляд

Перевод с английского Н. ТРЕНЕВОЙ и Е. СУРИЦ

Это рассказ об одной знаменитой дружбе и о том, что с ней в конце концов сталось. Я считаю, что моя версия того, что происходило между двумя людьми, о которых я пишу, так же правомерна, как десятки других, хотя она — чистейший вымысел, а не подтасовка фактов.

И так как это мой вымысел, я старался не быть жестоким ни к мертвым, ни к живым и не копаться в душах моих героев больше, чем это было необходимо для меня. Однако должен просить снисхождения у множества людей, которые близко знали этих писателей, но, возможно, не видели драматизма их дружбы так, как вижу его я.

Дж. О.

Глава 1

В 1929 году ярким сентябрьским днем я, девятнадцатилетний юноша, попал в Париж прямо с пыльных мостовых и грунтовых дорог моей родины, пасторального захолустного городка Святая Елена в австралийском штате Виктория. Говорю об этом с самого начала, потому что мое происхождение сыграло известную роль во всем, что произошло со мной в ту осень во Франции, когда я неожиданно стал участником некой одиссеи, серьезно повлиявшей на жизнь Скотта Фицджеральда и Эрнеста Хемингуэя.

Она повлияла и на мою жизнь тоже, хотя если я фигурирую в этой истории, то лишь потому, что мне, недоучившемуся простачку из захолустья, язычнику и романтику в душе, приверженному к античной классике, просто посчастливилось оказаться человеком к месту и ко времени и стать свидетелем многих событий. Под конец я только чудом избежал смерти, но даже это было не столь важным, как драма, происходившая на моих глазах, и начинаю я с рассказа о себе только по той причине, что не вижу иной возможности объяснить, как я стал участником этой истории.

Должно быть, уже названный мною безвестный городок Святая Елена, затерявшийся где-то в австралийской глуши, вызывает пред-

ставление о грубоватом невежде. На самом деле я получил довольно странное образование, которое, впрочем, теперь не променял бы ни на какое другое, потому что мой отец-англичанин с детства привил мне любовь к классической литературе, хотя до пятнадцати лет я жил полной приключений том-сойеровской жизнью на медлительной реке Муррей с ее пароходами, разливами, отличной рыбной ловлей, охотой и разнообразными речными приключениями, на всю жизнь оставившими во мне смутную и непонятную тоску.

В шестнадцать лет я окончил местную школу и отчасти благодаря знанию классики, которому я обязан своему отцу, я легко получил стипендию в Мельбурнском университете. Но тут стало действовать первое из противоречий, с которыми мне потом пришлось сталкиваться всю свою жизнь. Я понял, что ученого из меня не выйдет, и, вместо того чтобы поступить в университет, я однажды утром зашел в редакцию мельбурнской газеты «Сан» и тут же получил место корректора.

Когда об этом узнали мои пришедшие в отчаяние родители, прием в университет был уже закончен, а меня тем временем перевели в вечерний отдел иллюстраций — иначе говоря, мне поручили делать подписи под фотоснимками, поступившими в редакцию так поздно, что тем, кто сочинял подписи, было уже не до них. Они уходили домой в половине одиннадцатого ночи, а я корпел до половины первого.

Вот так я перешел Рубикон и, учитывая мой возраст, еще долго дожидался бы какой-нибудь другой вакансии в редакции, если бы не приехал брат моей матери, мой дядюшка-англичанин, разбогатевший в Соединенных Штатах. Он простер ко мне веснушчатые руки и предложил пожить за его счет годик в Европе, о чем я давно мечтал и даже составлял маршруты путешествий.

— При одном только условии,— сказал дядя Джонни, и его маленькие бледно-голубые глаза смотрели на меня из-под рыжих кустистых бровей сторожким кошачьим взглядом. Он был неисправимым романтиком, но по какой-то странной причине всегда казался мне мормоном из Солт-Лейк-сити.— Пока ты живешь на мои деньги,— сказал он,— ты не будешь ни пить, ни курить и к борделям даже близко не подойдешь. Как ты будешь жить потом — твое дело. Но я не желаю оплачивать распущенность, да еще в твоем возрасте. Понял?

— Ладно,— сказал я дядюшке Джону,— я согласен.

— А, нет,— сказал он.— Ты не соглашаешься. Ты обещаешь. Верней, даже клянешься.

Я неохотно пообещал и поклялся. Эти запрещения того, о чем я даже не помышлял, мне не нравились, тем более что судя по всему дядя Джонни в свое время вдоволь насладился запретными плодами.

И вот в одно воскресное утро я отплыл из Мельбурна в шестиместной каюте старого пассажирского парохода и прибыл в Лондон ровно месяц спустя после того, как мне исполнилось девятнадцать лет. Я уже знал, что я буду делать в Лондоне. У меня было несколько писем от друзей-журналистов из мельбурнской «Сан» к их друзьям-австралийцам, работавшим на Флит-стрит. Я ходил из одной редакции в другую и вручал письма довольно пожилым людям — всем им было уже под тридцать.

И все они, глядя на мое загорелое лицо и спартанскую атлетическую фигуру, начинали смеяться.

— Ты был таким зелененьким, таким восторженным, таким застенчивым, страшно неуверенным и вместе с тем ершистым и с такой дьявольской решимостью любым путем добиться своего, что

во мне шевельнулось гнусненькое желаньице раздразнить тебя до чертиков, а потом дать под зад коленкой.

Так Джек Хэзелдин, знаменитый Джон Дервент Хэзелдин, рассказал мне о своем первом впечатлении много лет спустя. И тем не менее Джек внушил заведующему отделом иллюстраций лондонской газеты «Дейли скетч», что я буду отличной заменой другому австралийцу, Чарльзу Митчинсону, который уезжал на родину. Но Чарли Митчинсон уезжает только через два месяца, так что мне придется подождать.

— Ты сможешь столько ждать? — спросил Джек.

— Думаю, что да.

— Денег у тебя хватит?

— Почему вы меня об этом спрашиваете? — Я насторожился — кажется, он хочет что-то выведать.

— Значит, ты не беден?

— Денег у меня столько сколько мне нужно,— отрезал я.

— Ну и ладно. Не лезь в бутылку,— сказал Джек и, потирая свой длинный нос, глядел на меня так, будто что-то прикидывал в уме.— Вот что я тебе скажу,— продолжал он.— Если у тебя и впрямь есть деньжата, давай-ка махни в Париж недельки на две, пока ты не впрягся в газетную лямку. Может, другого случая у тебя долго не будет.

Мы сидели в клетушке у Джека, в редакции газеты «Дейли экспресс». Джек, огромный мужчина со склонностью к ожирению, на работе ходил без пиджака и прикидывался эдаким неотшлифованным алмазом. На самом же деле он был стипендиатом Родса в Оксфорде, свободно владел французским и немецким языками, итальянским и греческим, без его присутствия не обходились ни бесконечные международные конференции, ни пограничные стычки, революции и события на Балканах, летать туда и обратно было для него столь же привычно, как для загородного жителя ездить в город на работу. В сущности, он был лучшим международным корреспондентом того времени и с годами становился все лучше, пока в начале войны его не схватили в Берлине. В 1944 году он умер от диабета в дрезденском лагере для интернированных.

— Ты хоть немножко понимаешь французский или немецкий? — спросил он.

Я ответил, что говорю и на том и на другом языке.

Джек, явно сдержавшись, сказал:

— Ну ладно, пятидесяти слов вполне хватит, чтобы освоиться в Париже, если только ты не приглянешься какой-нибудь прельстительной француженке.

Меня возмутил его намек, и я не пытался это скрыть.

— Ладно, ладно,— сказал Джек; он уже понял, до какой степени я нуждаюсь в помощи. Но какого рода должна быть эта помощь? И вдруг он хлопнул себя по мощным коленям.

— Придумал, черт возьми! — воскликнул он.— Я знаю человека, которому ты как раз придешься по душе. А ты попробуешь раскусить этот орешек. Ты когда-нибудь слышал про Эрнеста Хемингуэя?

— Конечно,— ответил я.

— И что ж ты слышал? — спросил Джек.

— Он живет во Франции.— Я сроду не слыхал про Эрнеста Хемингуэя.— Он знаменитый журналист, да?

Джек пощадил меня и на этот раз.

— Эрнест был когда-то журналистом,— сказал он.— Он и сейчас, кажется, пишет иногда для газет, хотя убей меня бог, если я

знаю, откуда тебе это известно. В последнее время он стал великой надеждой американской литературы.

Джек рассказал мне, что познакомился с Хемингуэем в 1923 году, во время греко-турецкой войны. Потом они вместе работали на конференциях по разоружению в Лозанне и Женеве, а после в Париже. В то время Хемингуэй был парижским корреспондентом выходившей в Торонто газеты «Стар».

— Пошли в «Петуха и корону», я тебя угощу пивом,— сказал Джек, поднимая свое грузное тело со стула из металлических трубок, и мне показалось, что, как только Джек встал, стульчик сразу распрямился.

— Я не пью,— сказал я.

— Хорошо, я не стану толкать тебя на гибельный путь. Я угощу тебя лимонадом.

Он нахлобучил на затылок широкополую мягкую шляпу «борсолино», по-европейски накинул на плечи непромокаемый плащ и, величавый как монумент, зашагал впереди меня через отдел новостей и комнату младших редакторов, сейчас полупустую, потому что с утра работали только сотрудники манчестерского издания.

— Я дам тебе письмо,— сказал он.— А на словах можешь передать от меня Эрнесту, что он слишком хороший газетчик, чтобы стать хорошим писателем. И я знаю, что говорю.

Для меня так и осталось неизвестным, что написал обо мне Джек в письме Хемингуэю. Понятия о чести, привитые мне воспитанием, связывали меня по рукам и ногам и не разрешали вскрыть и прочесть письмо. Но когда я разыскал в Париже на улице Монж отель, где жил Хемингуэй, мне пришлось какое-то время побродить по соседним улочкам, а потом посидеть на пыльных руинах древнеримского цирка, чтобы обрести хоть какую-то уверенность в себе и преодолеть робость и сомнения. Но я знал, что надо выдержать все, что мне предстоит, и, стараясь держаться независимо, стараясь как-то охладить лицо, чтобы не заливаться краской, я поднялся по крутой лестнице на третий этаж и позвонил в номер тринадцать.

За дверью кто-то насвистывал «Чай для двоих», и немного погодя, когда я позвонил еще раз, явно американский голос произнес:

— Я открою, Эрнест, только ты ради бога поторапливайся.

Дверь распахнулась настежь в полном смысле этого слова, и на меня уставился очень прямой и стройный человек в отлично сшитых, но подтянутых выше талии твидовых брюках и в шелковой рубашке.

— Мосье?— вопросительно сказал он и по-английски добавил: — Очень юный мосье.

— Я хотел бы видеть мистера Хемингуэя,— сказал я.

— Вот как?— В голосе стройного вылощенного американца сквозило почти ребячье любопытство.— А зачем?— спросил он.

— У меня письмо к нему.— Я протянул конверт.

Американец оглядел меня, как почему-то здесь оглядывали все, и я понял, что сейчас начнутся насмешки.

— Эрнест!— крикнул он.— Тут пришел... Тут какой-то древнегреческий атлет принес тебе письмо. Хочешь, я распечатаю и прочту тебе?

— Если оно пахнет дамскими болгарскими сигаретами, рви его немедленно.

Американец обнюхал конверт.

— Оно пахнет нафталином,— крикнул он.

— Да ну тебя, Скотти. Порви его.

— Нет, ей-богу. Пахнет нафталином.

Это была правда. Перед моим отъездом из Австралии мать, укладывая на дно чемодана спортивную куртку, положила в карманы шарики нафталина. Письмо пропиталось его запахом.

Американец распечатал конверт и пробежал глазами письмо. Потом поглядел на меня своим зорким взглядом и крикнул Хемингуэю:

— Он приехал прямо из Австралии, из Вулломулу.

— Ничего подобного,— возразил я.— Вовсе я не из Вулломулу.

— Это я разыгрываю Хемингуэя,— шепотом сказал американец. Но тут же он сжалился надо мной.— Входите, входите. Эрнест принимает душ по-английски, иначе говоря — ледяной, через минуту он будет бегать по комнате, растираясь полотенцем, как профессиональный боксер.

Он захлопнул входную дверь и, входя в гостиную, сказал через плечо, что он — Эф Скотт Фицджеральд; это имя я тоже слышал впервые.

— Стойте на месте,— сказал он и исчез вместе с письмом. Я стоял и ждал в пыльной, выцветшей гостиной, являвшей собою французскую версию гостиничных апартаментов в американском вкусе (стены ее украшали шесть портретов знаменитых женщин), и мне почудилось, что тут обосновался весь американский континент. И все здесь, включая беспорядок, только подчеркивало неловкость моего положения.

— Чушь собачья! — Это, очевидно, Хемингуэй читал письмо Джека.

— А что, он как будто славное дитя,— услышал я голос Фицджеральда.

— Ладно, пусть он славное дитя. Так чего от меня хочет Хэзелдин? Что я с этим дитятей должен делать?

— Покажи ему свои мускулы.

Остального я уже не слушал. Я заподозрил, что они хотят позабавиться за мой счет, и решил уйти, но тут вошел голый Хемингуэй; в одной руке он держал письмо, в другой полотенце, которым растирал себе грудь.

— Здорово, дитя,— сказал он.

Хемингуэй оказался еще крупнее, чем Джек Хэзелдин, который был на голову выше меня. Живот у него был юношеский, вдвое меньше, чем у Джека, но я не знал, куда девать глаза — нагота для меня была чем-то очень интимным, а Хемингуэй держался так, будто на нем был костюм-тройка. Я заметил, что ноги у него в шрамах.

— Что тебе надо от меня, дитя? — спросил он.— Что на сей раз придумал этот чудила Хэзелдин?

— Ничего мне от вас не надо,— сказал я.— Джек просил передать вам письмо, я и передал.

— Ладно, я его получил и больше ничем не могу быть тебе полезен,— сказал Хемингуэй.— Через полчаса я уезжаю из Парижа, если только Эф Скотту Фицджеральду удастся закрыть свой уникальный чемодан.

— Я пришел передать вам письмо,— повторил я.— Вот и все.

— Так ты что, решил отдать его и смыться?

Я не нашелся что ответить; в такое положение Хемингуэй потом ставил меня не раз.

— Пойду надену брюки,— сказал Хемингуэй и ушел, а я стоял посреди комнаты и думал, как бы поскорее удрать отсюда, пока меня не попросили уйти, или не перестали обращать на меня внимание, или не подвергли еще какому-нибудь унижению.

Но Скотт заставил меня остаться. Он притащил отличный кожаный чемодан и бросил его на диван.

— Прижми, пожалуйста, крышку,— сказал он.— Эта дурацкая штуковина называется «самый вместительный английский чемодан», но он ни черта не вмещает, а когда надо закрыть крышку, то неизвестно, кто из нас кого одолеет.

Пока я помогал ему справиться с чемоданом, он сообщил мне, что они с Хемингуэем едут на машине в Бретань, в городок Фужер.

— У нас спор о Бальзаке и Гюго,— сказал он.— и мы хотим его решить. Мы поедем в Вандею, чтобы сравнить «Девяносто третий год» Гюго с «Шуанами» Бальзака, хотя я и без того знаю, и Хемингуэй тоже знает, и вообще все уже знают, что Бальзак лучше. Но Эрнест говорит — плевать он на это хотел. Он говорит — у Гюго все встает со страниц и вгрызается тебе в потроха. Понятно?

Мне было совершенно непонятно. Я читал «Девяносто третий год», а «Шуанов» не читал. Но Фицджеральд незаметно заставил меня убрать колючки и спрятать клыки, и когда он стал расспрашивать обо мне, я отвечал более или менее честно, хотя и подозревал, что его интерес ко мне вызван какой-то таинственной, одному ему известной причиной. Наконец он вдруг ни с того ни с сего спросил, умею ли я водить машину.

— Смотря какую,— осторожно сказал я.

— То есть как это? Либо ты умеешь водить машину, либо нет.

— Я могу водить «фиат»,— сказал я. Единственный раз в жизни я попробовал вести «фиат» — попытка была чрезвычайно опасной и едва не привела к роковому исходу.

— Так это же прекрасно! Это перст судьбы,— сказал Фицджеральд.— Кит, старина, ты едешь с нами.

— Куда?

— В Фужер! — Скотт хлопнул меня по спине.— Конечно, ты едешь. Поездка — чудо. В смысле образования — ужас до чего полезно. Ну, что ты об этом думаешь?

Сейчас я не могу припомнить, что я тогда думал. Я был так ошеломлен, что смог только подозрительно спросить:

— А зачем я вам нужен?

— Зачем? Да затем, что нам просто необходима такая крепкая опора, как ты,— сказал Скотт, имитируя чисто английские интонации.

— А разве вы не умеете водить машину? — спросил я.

— Да конечно умею. Не в этом дело. Нам необходимо такое ясноглазое, такое кристальное, надежное и честное существо, как ты в своей замечательной куртке,— на случай, если мы с Эрнестом напьемся одновременно. Потому что я не хочу, чтобы меня угробил Эрнест, а Эрнест не хочет, чтобы его угробил я. А что, по-твоему, будет, если один из нас сядет за руль и сшибет какого-нибудь зазевавшегося, безмозглого, упившегося французишку? — Он поежился.— Страшно подумать! Скажут, что мы были пьяны вдрызг, и сдерут с нас последние рубашки.

В то время Хемингуэю и Фицджеральду еще не исполнилось и тридцати, и с рубашками у них дело обстояло весьма благополучно. Фицджеральд уже напечатал «Великого Гэтсби» и работал над романом «Ночь нежна», а Хемингуэю принесла известность книга «Прощай, оружие!». Я встретился с ними в самую лучшую, самую благополучную пору их жизни, им было что терять, хотя тогда я этого не знал.

Скотт пошел со мной вниз по лестнице и тихо, но по-юношески живо и проникновенно заговорил так, как говорят, когда чувствуют потребность поделиться с тобой, и только с одним тобой.

— Я скажу тебе, в чем тут дело, Кит,— сказал он доверительно.— Я тебе честно скажу, почему мы с Эрнестом затеяли эту поездку.

На площадке первого этажа была небольшая ниша, где стоял небольшой диванчик. Скотт сел и потянул меня за рукав; я тоже опустился на мягкое сиденье.

— Дело в том, что в жизни у меня и у Эрнеста сейчас назревает опасный перелом,— очень серьезно произнес Скотт, но тут же засмеялся, а когда Скотт смеялся, он смеялся как бы про себя, словно подметив что-то смешное, чего не усмотрели другие.

— О господи, это совсем в стиле Аниты Луус,— сказал он.

Я не стал спрашивать, кто такая Анита Луус.

— Я, конечно, шучу,— быстро сказал он.— Нет, я вот что хочу тебе сказать.— Он опять стал серьезным, сосредоточенным и нахмурил брови.— Уже всем известно, что мы с Хемингуэем постепенно превращаемся в нечто, ни на меня, ни на него не похожее. И это скверно, Кит, потому что ни он, ни я остановить это не можем. Впрочем, тебе этого не понять — спорю на пять центов, что ты даже не слыхал ни об Эрнесте, ни обо мне, верно?

— Да,— с немалым смущением, но честно признался я.

— Да ты не конфузься, старик,— сказал Скотт.— Это совершенно естественно. В сущности, это очень здорово, что ты о нас ничего не знаешь. Во всяком случае, ты не можешь знать, что с нами происходит, потому что все это, черт возьми, почти незримо. Но малопомалу, частица за частицей, и клетка за клеткой, и слово за словом Эрнест медленно превращается в толстокожего профессионального убийцу, а меня считают молодым, но трагически безнадежным алкоголиком, хотя, ей-богу, это неправда. Вот что с нами происходит. Теперь ты понял, в чем дело.

— Пожалуй, не совсем,— сказал я.

Скотт мгновенно превратился в школьного учителя, бьющегося над тупицей учеником. Он любил эту роль и играл ее мастерски.

— Постой-ка... Сколько тебе годиков, Кит?

— Девятнадцать и два месяца.

— Да что ты говоришь? Нет, ты серьезно? Тогда я, очевидно, должен все тебе объяснить, это будет нечто вроде краткого урока монгольского или санскритского языка, иначе ты никогда ничего не поймешь. В девятнадцать лет и два месяца ты еще просто не способен понять, о чем я говорю. Погоди-ка. Значит, вот что я тебе скажу. Если к тебе приходит успех, если ты его действительно заслужил, как Эрнест и я, то с одной собственной индивидуальностью жизнь у тебя будет желтенькая. Ты должен заслониться спасительными копиями самого себя, сделать их наспех из того, что найдется под рукой — алкоголь, биржевые спекуляции, свары, вульгарность, истребление птиц, женщины, ложь. Все что угодно, лишь бы спрятать то единственное, что есть только у тебя и больше ни у кого. Во всяком случае, ты должен считать, что это так. Имей в виду, Кит, если ты позволишь лапать свое «я», ты его погубишь. Ты должен всегда держать в тайне свои внутренние возможности и прятать их от подлых глаз и наглых пальцев.— Скотт встал с диванчика и повел меня вниз по крутым ступенькам.— Беда только в том,— продолжал он,— что наша защитная маскировка берет над нами верх. Эрнест действительно похож на профессионального боксера, он и разговаривает, как боксер, а я становлюсь похожим на пьянчугу. Ты посмотри на

мои глаза! И хотя Эрнест гораздо хуже меня, дело кончится для нас обоих чем-то дьявольски скверным, если мы не прекратим все это.

Мы сошли в небольшой вестибюль, и Скотт вдруг остановился в нерешительности, будто ему не хотелось выходить на эту залитую солнцем парижскую улочку. Он повел носом, принюхиваясь к воздуху. По правде говоря, мне думается, что Скотту всегда нужно было внутренне собраться перед тем, как выйти на любую улицу при дневном свете, особенно на парижскую.

— Знаешь, что сейчас делают в рыбной лавке через два дома отсюда? — спросил он меня, стоя в подъезде.

— Нет, не знаю.

— Там моют парафином кафельный пол, попробуй-ка нюхнуть этой французской смеси бензина и мидий, и устриц, и селедки; Эрнест говорит, что этот запах напоминает ему поле боя, где разлагаются трупы. Ну, во всяком случае, теперь тебе понятно, почему мы затеяли эту поездку,— сказал он.

Я на секунду задумался, потому что боялся сказать что-нибудь не то. По правде говоря, я был уверен, что скажу какую-нибудь глупость и попаду впросак, но я на совесть постарался уразуметь, в чем тут дело, и мне удалось сообразить, что тут чего-то не хватает.

— Я не совсем понимаю, какая тут связь,— сказал я.

— Так найди же ее, черт побери! — раздраженно воскликнул Скотт.— Ты вроде Эрнеста. У тебя уже журналистский склад ума. Ты хочешь, чтобы все тебе разжевали и в рот положили?

— Ну допустим, а что? — вызывающе спросил я.

— Ну ладно, ладно,— мирно сказал Скотт; он легко раздражался, но быстро прощал.— Но это же так очевидно. Если нам обоим грозит опасность стать обманщиками — значит, ясно, что нам пора поискать чего-нибудь получше. Это ты хоть понимаешь?

— Да, но почему вы мне раньше не объяснили?

Скотт засмеялся.

— Ну ты молодчина, Кит. У тебя буквоедский склад ума,— сказал он.— Только ты не очень-то ему поддавайся. Ясно как божий день, что эта поездка даст тебе превосходнейший жизненный опыт. Пройдут годы, а ты все будешь вспоминать о ней и поражаться, как тебе повезло. Уж поверь мне, ты всю свою жизнь будешь считать, что вот тогда-то в тебе и зародился интеллект. Я мог бы назвать полсотни человек, которые дали бы отсечь себе левую руку, лишь бы оказаться на твоем месте.

В то время у меня еще не было оснований верить ему, хотя к концу нашего путешествия я, конечно, убедился, что он был прав.

А сейчас мы ринулись на улицу, которую Скотт превратил в воображаемый рубеж.

— О черт! — сказал он, когда в глаза нам ударил дневной свет.

По-моему, Скотту было ненавистно все, что находилось на этой улочке. Вероятно, ни он, ни я еще не приспособились к невидимой панораме французской культуры, которая всегда простирается перед вами на любой парижской улице. Скотт указал на противоположную сторону улицы Монж, где на черной мостовой у тротуара стоял маленький тупорылый «фиат».

— Ты умеешь водить вот это?

— А какое там переключение скоростей? — спросил я.

— Почем я знаю? — сказал он, сходя на мостовую.— Я только вчера одолжил его у племянницы Джеральда Мерфи.

— Я давно не садился за руль,— сказал я; больше всего мне сейчас хотелось отделаться от него и от всей этой затеи.— Вряд ли я смогу вести машину.

Но не так-то легко было отделаться от Скотта.

— Водить хуже нас ты просто не сможешь,— сказал он.— Эрнест еле ползет по городу, как шофер-итальянец на машине «скорой помощи», а я езжу, как трамвай, прямо посреди улицы, и все, что возникает на моем пути, бросается в обе стороны.

— Право же, я вряд ли могу вам пригодиться,— настаивал я.

Скотт опустил мне на плечо свою твердую, властную руку, и когда его ладонь пришлепнула ватную подбивку на моем плече, в воздухе снова повеяло нафталином.

— Ты непременно должен почаще произносить такие слова, как «право же», или «ужасно», или «чудовищно». Только англичане употребляют их правильно, а ведь это же отличные слова.

Я передернул плечом.

— И не смей пожимать плечами,— неожиданно строго, тоном школьного учителя сказал Скотт.— Пожимать плечами — это значит признаться в своем провале, а ты еще ни разу не успел провалиться. По правде говоря...— Скотт остановился посреди мостовой.— По правде говоря, я только сейчас сообразил, почему нам нужен именно ты, Кит. Ты сейчас точно такое существо, какими когда-то были мы. И ты будешь служить нам постоянным напоминанием о том, какими мы были на заре жизни, когда наши ранимые души то и дело истекали кровью. Я взываю к твоей юности и к твоей чистоте, Кит. То есть, конечно, если ты не возражаешь.

При чем тут моя юность и моя чистота? И что я мог возразить на этот дурацкий довод?

Впрочем, Скотт уже не обращал на меня внимания. Он взял с переднего сиденья маленькую шляпку вроде колпачка, должно быть забытую племянницей Джеральда Мерфи.

— Нет. Дело серьезное, Кит. Это будет большое испытание для Эрнеста и для меня.— Скотт крутил на пальце шляпку.— Если дружба Хемингуэя и Фицджеральда сможет выдержать обиды, которые, по всей вероятности, мы будем наносить друг другу во время поездки, так она, черт ее возьми, будет длиться вечно. Лично я глубоко в это верю. Глубоко! Но тут есть одна закавыка. Понимаешь, это все-таки просто авантюра, и, быть может, мы, как Сизиф, вкатим на гору камень, только и всего. Быть может, Эрнест плюнет на все это еще до того, как мы начнем, или на полпути к Фужеру.

— И что тогда будет? — спросил я.

Скотт небрежно прислонился к «фиату», словно убедившись, что он заинтересовал, даже заворожил меня, к чему он, собственно, и стремился.

— А мы просто сгинем к чертям собачьим,— сказал он.— Мы превратимся в полулюдей-полузверей и, стало быть, окончательно утопим наши угасающие таланты в отвратительном месиве из боя быков и алкоголя. Так что видишь, Кит, все, что произойдет в этой поездке, повлияет на нашу остальную жизнь.

Я, в душе язычник, воспитывался на Гомере и Катулле (Вергилия я терпеть не мог) и хотя был зеленым юнцом и ничего кроме своей глухомани еще не видел, я искренне верил во все героические дерзания, которые заставляют нас жить или умирать, и потому я понимал, о чем говорит Скотт.

Но впервые в жизни я столкнулся с людьми, которые добровольно подвергали себя такому испытанию.

— Ну так как? — спросил он.— Ты едешь или нет?

Скотт решительно мне нравился. Я уже восхищался им и, несмотря на свою осторожность, доверял ему. И хотя я понимал, что

связываюсь с двумя очень своенравными и деспотичными людьми, я знал, что должен принять приглашение Скотта.

— Еду,— сказал я.

— Я так и думал,— сказал Скотт.— Я догадался по тому, как ты то бледнел, то краснел. Только ты берегись, Кит,— у нас с Эрнестом есть склонность всаживать людям нож в спину.

Я, разумеется, не поверил ему, хоть и догадался, что он хочет предупредить меня о том, что мне не избежать унижений и мною, вероятно, будут помыкать, как рабом, и все же я знал, что как-нибудь вынесу все это, если буду помалкивать и не позволю своим спутникам проникнуть сквозь мою слишком тонкую кожу.

Глава 2

Хотя потом в моей жизни происходило кое-что и похуже, мне кажется, что тот первый день был как бы подготовкой к дальнейшему, потому что с самого начала Скотт и Хемингуэй, образно говоря, пытались вцепиться друг другу в горло. В тот же день они затеяли спор, и я получил некоторое представление о том, что ожидает меня и их во время этой поездки.

Мы выехали из Парижа по старой мощеной дороге, идущей вдоль правого берега Сены, потом возле Сен-Клу переехали на левый берег и направились в сторону Севра, Дрё и Алансона. Я сидел на заднем сиденье «фиата», набитом конским волосом и очень жестком. Хемингуэй, натянув берет на уши, вел машину, а элегантный Скотт на каждом углу подсказывал ему, как ехать, пока Хемингуэй не предложил ему либо заткнуться, либо немедленно выйти из машины. На Скотта его слова не произвели ни малейшего впечатления. Он продолжал давать ему указания. Где-то между одиннадцатью, когда я пошел за своими вещами, и той минутой, когда мы двинулись в путь. Скотт успел выпить джину, отчего стал задиристым, но в конце концов Хемингуэю удалось унять его.

— Ты пьян, Скотти, так что лучше помолчи и не мешай мне крутить баранку.

Скотт обиделся и некоторое время сидел надувшись. Потом лицо его прояснилось и вкрадчивым голосом он сказал:

— А ведь Клемансо был...

Он не успел докончить. Хемингуэй рванул тормоз. Я стукнулся о спинку переднего сиденья, а Скотт, сидевший впереди, слетел на пол.

— Я выхожу,— сказал Хемингуэй.

— Эрнест! Эрнест! — Скотт, извернувшись, приподнялся с пола и сел на свое место.— Что с тобой?

— Ты пьян,— гневно крикнул Хемингуэй.

— Ничего подобного,— негодующе возразил Скотт.

— Тогда не заводи про Клемансо.

— Но ты же клемансист, черт возьми, ты же им восхищаешься...

— Ты прекратишь или мне тебя высадить?

— Ну ладно, ладно,— сказал Скотт.— Я не буду говорить о твоем слепом обожании Клемансо, если ты перестанешь твердить, что я пьян, когда я вовсе не пьян и ты это знаешь.

— Ох, ради бога, Скотти!

Скотт поднял руку в знак того, что все кончено. И вдруг, к моему изумлению, он повалился на бок, будто по приказу гипнотизера, и через несколько секунд уже крепко спал.

Хемингуэй вздохнул и включил газ.

— Ну как ты, мальчуган, ничего? — спросил он не оборачиваясь.

— Пока да,— ответил я.

— Похоже, что эта поездка принесет тебе мало радости,— угрюмо сказал Хемингуэй.— Хочешь выйти сейчас?

— Да нет, все в порядке,— сказал я.

— Если хочешь выйти на следующей автобусной остановке, со Скотти я это улажу.

— Нет. Все обойдется.

— Ну как тебе угодно,— сказал он, пожав плечами.— Но когда Скотти просто пьян, а не мертвецки пьян, он говорит и делает такое, что тебе захочется вышибить из него дух.

Я сказал Хемингуэю, что сумею совладать с собой.

— Ладно. Только не пускай в ход кулаки, что бы он ни сделал. Понятно?

— Да, да. Я понял.

Вот в таком духе началась и, очевидно, будет продолжаться наша экспедиция.

Через полчаса Скотт проснулся, и они снова стали ссориться — на этот раз из-за маршрута, из-за того, где мы будем обедать, сколько следует заказать вина, кто был лучшим защитником в команде «Нотр-Дам» до войны и почему американцы всегда возмущаются, если их надувают в Европе, когда надувательство — это неотъемлемая часть европейской культуры и вполне естественное явление в американской политике, а для европейца надувать американцев это все равно что надувать городские власти.

Потом они разругались из-за маршрута, который составил Скотт. Хемингуэя беспокоило первое свидание с «этими Мерфи».

— Мы условились встретиться и позавтракать вместе в старинном ресторанчике «Chapeau Gris» в Версале,— сказал Скотт.— И Джеральд постарается подъехать вовремя, так что не беспокойся.

О Джеральде Мерфи мне тогда было известно только то, что его племянница одолжила Скотту «фиат». Теперь-то я знаю, что в то время они служили для Скотта прообразом Дайверов в романе «Ночь нежна», но это уже другая тема. Подлинные Мерфи выехали из Парижа на два дня раньше нас в своей туристской «изотте», прихватив Зельду Фицджеральд, Хедли (жену Хемингуэя) и молоденькую англичанку по имени Бо.

— И ты думаешь, что хоть кто-нибудь из этой компании будет придерживаться расписания, да? — сказал Хемингуэй, когда Скотт протянул ему свой аккуратно напечатанный на машинке график.

— Но это очень логичный план, и очень легко ему следовать.

— Господи боже мой, Скотти. С четырьмя-то женщинами? И с безумными представлениями Зельды о путешествиях?

— Она не безумнее других,— возмущенно сказал Скотт.

Мы уже сидели на маленькой закрытой веранде ресторанчика «Chapeau Gris» в Версале, и Хемингуэй прищелкивал большим и указательным пальцами — кажется, так он делал всегда, когда его раздражал Скотт.

— Ну в своем она уме или нет,— сказал он,— но Зельда уговорит их свернуть в сторону, чтобы полюбоваться Байё. Или завезет в те швейцарско-нормандские деревушки посмотреть на чернооких коров в очках.

— Зельда ненавидит коров,— сказал Скотт.

— Она ненавидит порядок и здравый смысл, Скотти. Она не станет сидеть в этой огромной «изотте», крепко сжимая в прелестных ручках твое аккуратненькое расписание.

— Спорим, хочешь? На деньги? — спросил Скотт.— Ну давай, Хемингуэй! Сколько у тебя там на счету в банке?

Хемингуэй взглянул на меня так, словно ему — впервые! — захотелось, чтобы я хоть что-нибудь сказал и положил конец этому разговору.

— Никогда не наживаюсь на трагедиях,— сказал он,— так что брось это.

— Что бросить? Что я должен бросить?

— Да этот дурацкий спор.

Когда Фицджеральду случалось выйти из себя, он, как и я, заливался краской, и сейчас казалось, будто и лицо его раздулось от негодования. Даже его зеленые колючие глаза стали выпуклее, и в них стояли слезы. Алкогольные слезы или трагические — я не мог понять. Но вспышка внезапно угасла, лицо сразу осунулось, и вид у Скотта стал такой несчастный, что я решил рискнуть и вмешаться, чтобы прекратить ссору.

Но Скотт заговорил сам:

— Ты прав, Эрнест, совершенно, абсолютно прав. Во всяком случае я не намерен ссориться с тобой из-за Зельды. Что угодно, только не это.

— Она больна, Скотти. Вот и все, что я сказал.

— Я не желаю больше слышать об этом,— крикнул Фицджеральд.

Хемингуэй с беспокойством оглядел почти пустой ресторан.

— Ладно, ладно,— добродушно сказал он.— Здесь их нет, а я сказал только, что нечего надеяться, что мы увидим их в Лизьё или в этом, как его,— ну, где мы условились встретиться с этим цирком на колесах.

— В Дрё. Мы встретимся с ними в Дрё.

— Ладно. В Дрё. Дай-то боже.

— Они будут там,— сказал Скотт и, вставая из-за стола, командирским тоном добавил: — Заплатишь по счету, Кит.

Это было для меня неожиданностью.

— А сколько? — спросил я.

— О господи, и что вы с Эрнестом подымаете суматоху, когда речь заходит о деньгах! Вот,— сказал он, вынув из пиджачного кармана пухлую пачку мятых французских франков, и бросил ее на стол передо мной.— Расплатись. Сдачу можешь оставить себе.

Я был уязвлен и уже собирался произнести какие-то дурацкие слова вроде: «Мне ваших денег не надо» или: «Я вам не лакей». Но Хемингуэй вовремя спас меня. Он нагнулся над столом и сгреб мятые бумажки.

— Я сам заплачу,— сказал он,— а сдачу возьму себе.

— Ты видишь,— сказал Скотт,— видишь, как Хемингуэй умеет заграбастывать деньги, любые деньги, какие попадутся под руку. Даже мелочь, даже медяки. Ты видел, да?

Скотт ожидал, что один из нас запротестует или согласится, но мы молчали.

— Эрнест становится скаредом потому, что женился на богатой женщине, которая вот уже сколько лет его содержит.

— Скотти, прекрати.

— А ты не оскорбляй Зельду,— ответил Скотт.

— Господи Иисусе, я думал, мы с этим покончили,— простонал Хемингуэй и швырнул деньги на стол.— Мстительный подонок, вот ты кто,— сказал он Скотту и вышел.

Скотт поглядел ему вслед и засмеялся.

— Ты знаешь, Хемингуэй ненавидит свою мать,— сказал он.— Он просто ее не выносит. Вот почему он всегда такой сварливый за столом и уходит злой. Это от нее он унаследовал такие огромные

ножищи. Ты заметил, какая у него походка? — Скотт наслаждался, создавая образ своего приятеля, от него разило джином, он смотрел на меня в упор, а я весь обратился в слух.— На войне он был дьявольски храбрым. У него в ногах застряло две тысячи осколков шрапнели. Он был дьявольски храбр.— И, встав из-за стола, он сузил глаза и прошептал мне: — Эрнест весь прострелен на войне. Вот почему с ним так трудно ладить.

Скотту казалось это очень забавным, и он пошел вслед за Хемингуэем, оставив меня расплачиваться по счету, и это уже не казалось мне оскорбительным, потому что я начал понимать их язык и манеру говорить на нем. Но, пожалуй, мало надежды на то, что их дружба сможет долго выдержать такие перепалки.

У меня отлегло от сердца, когда в Дрё перед небольшим каменным «Hotel de France» я увидел машину Мерфи, длинную зеленую «изотту». Я взглянул на эту великолепную машину и почувствовал, что все дальнейшее будет мне в тягость. «Изотта» рассказала мне все о Мерфи. Машина была большая, сверкающая, богатая, красивая, быстрая, надменная и мощная. Один взгляд на нее — и я засомневался, смогу ли я найти общий язык с этими богатыми американцами и с их богатыми женами — и с девушкой-англичанкой по имени Бо.

— На этот раз ты проиграл пари,— торжествующе сказал Скотт Хемингуэю, когда наш «фиат» остановился перед отелем.— Они прибыли точно по расписанию.

— Ладно. Машина-то здесь.— сказал Хемингуэй.— Но я все равно не поверю, пока сам их не увижу.

Выключив тоненько стрекочущий мотор «фиата», Хемингуэй еще с минуту не вставал с сиденья, словно стараясь преодолеть неохоту идти в отель. А Скотт выскочил из «фиата» и вприпрыжку направился к дверям, спуская засученные рукава шелковой рубашки и помахивая изящной черной тросточкой, которую он всю дорогу, сидя на переднем сиденье, держал в руках.

— Будь поосторожнее с Зельдой, мальчуган,— сказал Хемингуэй, когда мы остались вдвоем в машине.

— А что, она действительно ненормальная?

— Когда Зельда была еще маленькая, ее ударила молния в задницу,— сухо сказал Хемингуэй.— И, по-моему, она так и не оправилась.

— Может, мне лучше пойти в другой отель? — сказал я.

— Как хочешь. Но, пожалуй, держись пока поближе к нам и помалкивай, потому что, если ты сейчас исчезнешь, Скотти наверняка проснется среди ночи и решит разыскать тебя, где бы ты ни был, и притащить сюда.

Я принял этот совет всерьез и сказал, что подожду возле «фиата», пока портье не придет за их багажом. Сам я, разумеется, не собирался тащить их вещи.

— Ну и ладно,— сказал Хемингуэй.

Он еще с минуту просидел в машине, словно собираясь с силами, чтобы пойти в отель. Потом сунул свой берет во внутренний карман пиджака, сделал несколько махов руками, как боксер в борьбе с тенью, и вышел вслед за Скоттом в отель.

Уже почти стемнело, я стоял, опершись о теплый тупой нос «фиата» и любовался «изоттой», и вдруг меня охватил восторг перед блесткой красотой вещей, которую можно купить за деньги. Сияющая «изотта» казалась мне огромным бриллиантом чистейшей воды. Первый раз в жизни я видел вблизи и мог осязать эту колдовскую красоту; у меня даже немножко пересохло во рту, так она восхищала меня

и пугала. Я подозрительно вглядывался в машину, не зная, верить ли в эту красоту и великолепие.

Моя вера продержалась меньше трех минут — пока на меня не накричал и не обложил как следует какой-то француз с фургона, запряженного четверкой лошадей: он требовал, чтобы я убрал «фиат» с дороги. Пришлось отпустить тормоза и откатить машину на несколько футов в сторону. Теперь я уже убедился, что и Хемингуэй и Фицджеральд забыли обо мне; я взял с заднего сиденья свой маленький чемоданчик, оставил «фиат» там, куда я его откатил, и отправился на поиски комнаты.

Комнату я нашел в харчевне за углом (после того как выставил себя абсолютным идиотом, пытаясь объяснить на чудовищном французском языке, чего я хочу) и, бросив на кровать свой чемоданчик, вышел на мощенную булыжником улочку поглядеть на странно усеченный фасад темного кафедрального собора. Скотт говорил мне, что все герцоги Орлеанские похоронены в чудесной часовне на вершине холма Дрё, но час был поздний, и я успел только подняться на холм и побродить возле древних стен замка; потом спустился вниз, в тускло-желтый свет уличных фонарей, превративший весь городок в средневековую гробницу. Было уже почти десять часов, когда я вернулся в свою харчевню. Я поужинал полусырой яичницей, единственным блюдом, которое я смог заказать, не делая из себя полного идиота, а потом лег спать.

Примерно в начале первого, в этот предрассветный час — благодать для гуляк — я внезапно проснулся и сел в кровати: кто-то выкрикивал мое имя.

— Кит! Ты где, Кит? Эй! Кис-кис-кис!

Я узнал Скотта, и это был очень буйный Скотт. И тут же вспомнил, как Хемингуэй предупреждал, что Скотт найдет меня, где бы я ни был, и вытащит из постели, поэтому я решил лечь и притаиться, пока он не уйдет.

— Будьте любезны, где б вы ни были, встаньте и выйдите сюда.

Это уже не Скотт. Голос был женский. Я догадался, что это Зельда.

Потом еще чей-то голос сказал:

— Раз, два, три...— И теперь уже четыре или пять голосов хором заорали во всю силу своих промытых ночным воздухом легких:

— Где б ты ни был, давай сюда! Где б ты ни был, давай сюда!

А в домах уже открывались окошки, и французы выкрикивали угрозы и проклятия. Пока явно подвыпивший хор звал меня вниз, на улице поднялась страшная суматоха, и я подошел к окну, распахнул его настежь и выдал себя глупейшим образом.

— Я здесь,— сказал я.— Наверху.

— Боже мой! Мы его нашли. Он там, наверху, с женщиной.— Раздался взрыв хохота. Потом снова: — Кит! Сию минуту спускайся вниз. Иди сюда нем-мед-ленно и веди себя прилично!

Это был Скотт, невоздержанный школьный учитель Скотт.

Внизу на улице я разглядел небольшую группку — все семеро стояли, словно собираясь петь под окнами рождественские гимны, стояли, переговаривались и хихикали. Но вся ночная улочка была истыкана огнями и злобными жалобами. Я услышал довольно пронзительный голос Хемингуэя, кричавшего что-то по-французски. Потом опять послышался женский голос:

— Я подымусь туда и приведу его.

Я потушил свет и торопливо, как только мог, стал одеваться, но тут что-то ударилось об оконную раму. Я подбежал к окну и крикнул:

— Сейчас спускаюсь!

— Кит! — Это был голос Скотта.— Мы хотим проверить твой паспорт. Кинь его сюда. Нем-медленно.

Я увидел разозленного француза в ночной рубашке, выскочившего из двери напротив. Потом услышал всплеск — из окна полилась какая-то жидкость. Что было потом — мне до сих пор неясно, потому что все происходящее было сумбурным и бессвязным и вовсе не таким, чтобы хотелось удержать его в памяти, так что от этой ночи у меня остались лишь смутные впечатления.

Не думаю, что все они перепились. Они просто повеселели после обеда, после выпитого вина и валяли дурака. Веселились и дурачились они по-американски, а такие дурачества бывают забавны, но иногда могут стать и опасными. Однако деваться мне было некуда.

— Ох, поглядите на него! Глядите...— сказала Зельда своим прелестным, по-южному певучим голосом, когда я вынырнул из дверей гостиницы.— Смотрите. Он же совсем еще мальчик. Дитя! Такой чистенький. Миленький, душечка Кит!

— Зельда,— сказал Скотт с изысканной учтивостью, беря меня под руку.— Разреши тебе представить знаменитого австралийского атлета...

Остального я не услышал, потому что на нас, крича и размахивая кулаками, надвигались четверо французов. Скотт крепко держал меня за руку, Зельда ухватилась за другую. Но французам, которые явно нацеливались на Скотта, заступил дорогу Хемингуэй. Миссис Хемингуэй и девушка по имени Бо пытались оттащить Скотта в сторону, а супруги Мерфи старались успокоить французов, которые выкрикивали угрозы по адресу Скотта. Очевидно, он натворил бог знает что (позже мне сказали, что он сорвал французский флаг с памятника погибшим на войне и превратил его в плащ матадора, а Зельда изображала быка). Скотт делал вид, что все это его ничуть не касается, но положение становилось угрожающим и явно назревала драка.

— Je vous en prie![1] — выкрикнул Скотт, пытаясь утихомирить французов.

— Скотти! Не лезь,— сердито оборвал его Мерфи.— Проваливай отсюда.

Тут Хемингуэй подтолкнул меня и сказал:

— Беги по этой дороге в другой отель и забери с собой Скотта. Живо!

Я понимал, что все же эпицентром заварухи был я, и хотел убежать, но Зельда схватила меня за руку.

— Никуда мы не уйдем,— сказала она.

— Зельда, прошу вас,— сказал Мерфи.— Если вы уведете Скотта, я все улажу. Убирайтесь отсюда.

— Ага! — произнес Скотт.— Денежки собираются сменить хозяина, да?

— Помалкивай, Скотти,— сказал Мерфи.— И если ты сию минуту не уберешься, будешь сам объясняться с ними на языке, который тебе почему-то кажется французским.

— Мой французский язык... — начал было Скотт с горделивым достоинством.

Но Хемингуэй потащил, скорее даже понес, его на себе, а мы торопливо зашагали по улице, предоставив Джеральду Мерфи утихомиривать улицу жестами, призывами к спокойствию и бесконечными возгласами «же ву зан при». Зельду разобрал смех.

— Я иду обратно, выручать Джеральда,— сказала она.

— И не думай даже,— сказал Хемингуэй.— Иди с нами.

---

[1] Прошу вас! *(франц.)*

— А тебя вообще не спрашивают,— презрительно сказала Зельда Хемингуэю.— Давайте вернемся все. Скотти...

— Пожалуйста! — Скотт, шагавший по улице пританцовывая, повернул назад.

— Нет, ты не вернешься.— Хемингуэй закинул руку ему на шею и держал его в клещах.

— Тогда пойдешь ты, Кит, миленький,— сказала Зельда.— А потом прибежишь обратно и сделаешь мне одолжение — убьешь Хемингуэя.

— По-моему, они убьют мистера Фицджеральда, если поймают его,— сказал я. В темноте я еле различал ее и английскую девушку Бо. Миссис Хемингуэй осталась с Мерфи и его женой.

— Бедный, миленький мой Скотт,— сказала Зельда, стараясь оттащить от него Хемингуэя.— Не мучь его, оставь его в покое.

— Нет, это ты оставь, ради бога, беднягу в покое,— закричал на нее Хемингуэй.— Это тебя должен убить мальчуган, когда прибежит обратно.

— В один прекрасный день меня убьет сам Скотти,— спокойно ответила Зельда.— Так что тебе никого не придется утруждать.

Скотта окончательно развезло. Хемингуэй то волочил его по земле, то вскидывал себе на спину, когда Зельда пыталась расцепить его руки. Она все время просила меня помочь ей, но девушка-англичанка каждый раз говорила:

— Не надо, Зельда. Пожалуйста, не надо.

С самого начала я участвовал во всем, что происходило вокруг, и сейчас почувствовал, что слишком перегружен впечатлениями. Когда мы доплелись до отеля, я заколебался, не зная, что делать. Но Хемингуэй, тащивший Скотта, сказал:

— Ты лучше не мозоль людям глаза, пока все не кончится. Исчезни, ради бога.

В таких ситуациях осторожность равна доблести. Я пробрался в свою харчевню; с улицы и из окон слышались неясные выкрики и гул голосов. Я выждал, пока все не разошлись по домам, и тогда рухнул на свою кровать. Какое-то время я лежал с открытыми глазами, раздумывая, не лучше ли мне просто сбежать завтра утром, прежде чем меня разыщут мои спутники. Но потом сказал себе, что мне следовало бы предвидеть, чем все обернется. У меня нет оснований жаловаться. Я сам во всем виноват. Надо было терпеть, держать язык за зубами, не поддаваться на провокации и так далее, и так далее.

Ночью я спал как убитый, а утром, подойдя к отелю, я заметил, что «изотта» исчезла. Значит, уехали и Мерфи, и Зельда, и миссис Хемингуэй, и англичанка Бо — Бо Мэннеринг. Я даже не успел рассмотреть ее как следует, но именно ей, Бо, предстояло сыграть важную роль в нашем путешествии, а мне пришлось пережить еще одно злоключение, пока Бо снова не появилась в нашей орбите, как долгожданная помощь и вместе с тем новое осложнение.

Глава 3

На второй день со мной произошла не слишком приятная история; впрочем, до этого случилось еще кое-что, с чего, пожалуй, и следует начать — хотя бы для того, чтобы описать, какие настроения находили на Скотта и Хемингуэя и как они оба запутывали и распутывали свои ссоры, которые казались тогда просто смехотворными, а на самом деле были резкими отголосками бесконечного внутреннего поединка. Впрочем, когда их споры касались меня, я терял способность рассуждать спокойно. По правде говоря, если б не твердая решимость выдержать все до конца, я бы на этот раз сбежал от них.

Первая ссора вспыхнула без всяких явных причин. Мы выехали из Дрё и уже с полчаса катили по дороге. Скотт, видимо, медленно приходил в себя после вчерашней ночи. Он сидел не шевелясь и молчал. Потом вдруг повернулся, стащил с головы Хемингуэя синий берет и швырнул в окошко как раз, когда мы проезжали по мосту через реку Авр в Вернёе. Берет грациозно проплыл в воздухе над мостом и плавно, как осенний лист, опустился на серые воды реки.

— Вчера у меня весь день руки чесались содрать с тебя этот колпак,— хладнокровно сказал Скотт.

— Сволочь! — рявкнул Хемингуэй.

Я думал, он сейчас ударит Скотта — такой у него был вид. Но Хемингуэй сосредоточенно пригнулся к рулю и больше не удостаивал Скотта вниманием, что удивило меня и, очевидно, встревожило Скотта.

— Что же ты не двинул меня прямым слева, Эрнест? Взял бы да врезал мне как следует! Видит бог, я это заслужил... — Но в голосе Скотта слышалось раздражение, и совсем уже вызывающим тоном он добавил: — Все равно этот чертов берет выглядел на тебе, как коровья лепешка.

Хемингуэй молчал, и я думал, что на этом все и кончится. Но в следующем городке под названием Мортань Скотт попросил Хемингуэя остановиться. Не успели мы спросить зачем, как он выпрыгнул из машины и помчался по улице. Через десять минут он явился с новеньким баскским беретом, который тут же нахлобучил на густые черные волосы Хемингуэя.

— Этот все же выглядит приличней,— сказал он.

— Что ты вытворяешь, черт тебя дери? — сказал Хемингуэй, срывая с головы берет.— Это что, самооборона?

— Нет, чистосердечное раскаяние, клянусь богом,— сказал Скотт и перекрестился.

— Он слишком велик, в мой карман не влезет,— сказал Хемингуэй и вышвырнул берет в окно, прямо под копыта огромных першеронов, тащивших груженные углем телеги.

Скотт захохотал, как школьник.

— Я думал, у тебя на это не хватит духу,— проговорил он.— Ну, теперь мы квиты.

— Да нет, не сказал бы,— ответил Хемингуэй.

Я опять подумал, что теперь они будут дуться друг на друга весь день, но через полчаса Хемингуэй, сгорбясь за рулем, уже втолковывал Скотту, своим ворчливым тоном, что следует искать во всех этих нормандских и бретонских городках. Скотт слушал как завороженный; он обернулся ко мне и восхищенно произнес:

— Слушай внимательно, Кит, потому что Эрнест заставит все эти городки встать и приветствовать тебя, помахивая флагами. Эрнест свой матерьяльчик знает назубок.

Меня не нужно было убеждать в этом. Я уже был зачарован всем, что говорил Хемингуэй, а он продолжал рассказывать о том, что все эти городки, через которые мы проезжали — средневековые рыночные городки,— были в сущности военными крепостями. Им были нужны удобные для обороны места. И потому почти все они стоят над рекой и окружены холмами или крутыми склонами гор.

— Ты слушаешь, Кит? — спросил Скотт.

— Да, конечно.

Хемингуэй полуобернулся ко мне.

— Всегда присматривайся к местности, мальчуган,— сказал он.— Холмы и долины вокруг городка скажут тебе о его прошлом больше, чем любой учебник истории. Ты сможешь описать любое сражение за

любой французский городок, если поймешь особенности окружающих его пейзажей.

С тех пор, если мне случалось попасть в какой-нибудь нормандский или бретонский городок, я смотрел на него так, как научил меня смотреть Хемингуэй, а в тот же день, немного позже, когда мы проезжали деревню Мель, он преподал мне еще один урок, хотя на этот раз Скотт из почитателя превратился в сердитого критика и затеял с Хемингуэем спор, который так скверно для меня кончился.

Мы уже проехали полдеревни, как вдруг Хемингуэй резко затормозил и машину занесло на край мостовой.

— В чем дело? — спросил Скотт.

— Ни в чем. Хочу показать кое-что мальчугану.

— О господи, что еще такое?

Мы вышли из машины, и Хемингуэй повел нас назад, к небольшому памятнику, серому и заброшенному, грустно стоявшему на островке земли посреди дороги.

— Никогда не проходи мимо памятника жертвам войны, статуи или бюста,— сказал мне Хемингуэй.— Они дадут тебе немало такого, о чем без них ты бы и не узнал.

— Чего, например?— спросил Скотт.

— Да хотя бы пищи для твоей наблюдательности,— сказал Хемингуэй.— Вот погляди-ка.— Хемингуэй прочел вслух несколько имен на памятнике.— Все это крестьянские ребята из Першерона. Сорок убитых на одну деревню с населением около пятисот человек, и некоторые совсем еще мальчишки. Это очень много. В городках на нормандско-французской границе к восемнадцатому году почти не осталось мужчин.

Когда мы возвращались к машине, примолкший было Скотт вдруг сказал:

— Знаешь, где слабое место в твоей теории, Эрнест?

— В какой еще теории? — проворчал Хемингуэй.— Я в теории не верю.

— Ты думаешь, что учишь Кита наблюдательности, но ты ошибаешься. Важно то, как ты воспринимаешь увиденное, а не то, что ты видишь.

— Ты спятил,— сказал Хемингуэй.— Надо видеть то, что видно, разве нет?

— Нет,— сказал Скотт.— Ты ему велишь начинать с очевидного, а это все равно что заставить его глазеть, как обезьяна, на пустую кирпичную стену.

— Не слушай его, мальчуган,— сказал мне Хемингуэй.— Разглядывай очевидное. Оно — оболочка мира.

Они еще довольно долго спорили, то со злостью, то шутливо, а то и оскорбляя друг друга. Но в конце концов спор иссяк. И так как мы выехали поздно, то пропустили обед, и уже вечерело, когда мы приехали в Алансон, где Скотт заказал номера «Hotel du Grand Cerf».

На этот раз они не забыли обо мне. Они были очень заботливы. Они удостоверились, что комната за мной, и велели через полчаса прийти в бар выпить с ними чего-нибудь перед обедом. Я поднялся наверх, умылся, быстро сбежал вниз и ринулся на улицы Алансона искать памятник погибшим на войне. Памятника я так и не нашел, и когда вернулся в гостиницу, Скотт и Хемингуэй уже сидели в обитом тканью баре, выпивали и опять спорили о поверхностности видимого мира. Когда я вошел, у меня появилось ощущение, что они каким-то образом припутали к своему спору и меня.

— Садись,— сказал Хемингуэй.

— Ты только полегче, старик,— сказал ему Скотт.

— Я не собираюсь обижать ребенка,— ответил Хемингуэй.— Мы дадим ему мятного ликера.

— Это же страшная гадость,— сказал Скотт.

— Зато освежает дыхание. Ему понравится. Ликер ведь сладкий.

Я решил напомнить им, что не пью спиртного.

— Я же тебе говорил,— сказал Скотт Хемингуэю.— Кит — человек принципиальный. Оставь его в покое. Дай ему лимонаду.

— Сейчас самое время научить его пить,— заявил Хемингуэй.— Тогда будет меньше шансов, что он потом наделает ошибок, и он еще не раз будет нас благодарить.

Я сказал, что с удовольствием выпью лимонаду.

— Погоди-ка,— сказал Хемингуэй.— Ты почему не пьешь спиртного, мальчуган?

— Я дал слово не брать в рот алкоголя,— сказал я, наивно полагая, что такой ответ их удовлетворит и положит конец этой дискуссии.

— Кому обещал? Маме? — спросил Хемингуэй.

— Нет,— с негодованием сказал я.— Своему дяде.

— Ах, дяде. А кто он такой?

Я почувствовал, что меня загнали в угол, и, сознавая, что делаю большую ошибку, принялся рассказывать про дядю, который оплатил мою поездку в Европу, поставив условие, что я не стану тратить его деньги на выпивку или...

И тут я допустил еще больший промах. Я заколебался.

— Или на что? — не унимался Хемингуэй.

— На бордели,— ответил я с яростью.

Они разразились хохотом.

— Я же говорил,— сквозь смех произнес Скотт.— Он недоделанный.

— Он еще желторотый, вот и все,— сказал Хемингуэй.

Напитки были заказаны еще до моего прихода. Хемингуэй уставился на меня, как будто что-то про себя решая.

— Интересно, где тут бордель в этом целомудренном, как булка с маслом, городишке,— произнес он.

— Не выдумывай! — сказал Скотт.

— Это, должно быть, типично деревенский бордель, услада жирных крестьян, жирных мясников и жирных священников. Где кривляются пятнадцатилетние в одних только красных подвязках.

— Я отказываюсь участвовать в этом,— заявил Скотт.

— Ему это не повредит,— сказал Хемингуэй.— Я же тебе говорю — это единственный способ научиться отличать добро от зла.

— Мне он нравится такой, как есть,— сказал Скотт.— И пусть себе лопается от честности и бережет свою невинность, а ты оставь его в покое.

Я нервничал, слушая их, и хотя понимал, что они, очевидно, лишь продолжают свой бесплодный спор, но все же решил, что лучше всего сделать вид, будто это меня не касается. Даже отдаленно. И я даже не слушаю.

Но это было не так-то легко.

— Да черт возьми, чего тогда стоит добродетель, если ее не испытать на прочность,— сказал Хемингуэй.— Вспомни святого Антония.

— Да, но погляди, что сталось со святой Терезой.

Принесли выпивку, и Хемингуэй придвинул ко мне маленький треугольный стаканчик с мятным ликером. Но Скотт отодвинул его.

— Не пей, Кит.

— Слушай, мальчуган,— сказал Хемингуэй.— Единственный способ быть верным своему слову — это нарушить его как можно скорее. Есть известный итальянский метод — стукнуть совесть по больному месту.

— Как можно давать такие возмутительные советы,— сказал Скотт.— Вот уж абсолютная беспринципность.

Меня это, впрочем, не возмутило, потому что Хемингуэй просто вульгаризировал один из доводов Главкона или Фрасимаха в диалогах Платона; то был длинный трактат о морали — античную классику я помнил хорошо.

— Твои методы становятся примитивными и отвратительными,— сказал Скотт.— Хочешь уподобиться животным. Я же тебе сказал — он не поступится своими принципами.

— Ладно, все,— сказал Хемингуэй, и когда мы встали, чтобы идти обедать, он опрокинул в рот стаканчик с ликером.— Забудем об этом.

Я поверил ему, так как они мгновенно потеряли всякий интерес ко мне и стали спорить о присущем Скотту нравственном романтизме, и я был благодарен за каждое произнесенное ими слово, потому что они не ссорились и не издевались друг над другом. Они спорили о любви, о чести, о верности и безнравственности. Но снова и снова, пока мы ели рыбу, потом мясо, потом сыр с хлебом, они возвращались к утверждению Хемингуэя, что все в жизни поверхностно.

— Говорю тебе — никаких глубин нет. Да и не должно быть, потому что важно то, что ты чувствуешь, а не то, что думаешь,— говорил он.— Во всяком случае, когда с человека слетит оболочка, то наверняка под ней ничего не окажется. Моральные принципы, какие б они ни были, не устоят против заступа, и потому, Скотт, остается одно: делать оболочку свою потолще, чтобы ничто не могло проникнуть сквозь нее вглубь.

— Ну и что тогда будет? — спросил Скотт.

Я слушал их разговор затаив дыхание и даже не замечал, что́ я пью. Они за обедом пили вино, потом кальвадос. Мне подавали высокие бокалы с газированной водой. Хемингуэй сказал, что это один из сортов французского лимонада, раз уж ничего другого я не хочу. Лимонад был бесцветный, с пузырьками, и как только я выпивал свой бокал до дна, официант сейчас же ставил передо мной другой. Я ощущал какой-то слабый фруктовый привкус этого лимонада, но не задумываясь пил бокал за бокалом, пока не почувствовал, что со мной творится нечто странное. Мне стало очень жарко, и это подстрекнуло меня выпить еще бокал ледяной газировки, после чего я смутно осознал, что Скотт и Хемингуэй смотрят на меня как-то чересчур пристально.

— Ты хорошо себя чувствуешь, Кит? — спросил Скотт.

— Хорошо... — Но я вцепился в стол, который почему-то стал крениться, причем прямо на меня.

— Ты весь потный,— сказал Хемингуэй.

— Знаю. Я... я, должно быть, простудился...

Но я понимал, что это не простуда. Язык почему-то меня не слушался, слова выплывали неизвестно откуда, и что-то непонятное творилось со зрением.

Хемингуэй потребовал еще бокал. Я стал пить и внезапно понял, что причиной моего странного состояния был этот сладкий газированный напиток.

— Что это такое? — пробормотал я, хотя мне казалось, что я кричал. Я оттолкнул бокал, и он опрокинулся.

— «Вдова Вернэ»,— сказал Хемингуэй.— Тысяча девятьсот двадцать пятого года.

Я слышал, как Скотт сказал Хемингуэю: «Напрасно ты это затеял». Но смысл его слов до меня не дошел, я в это время изо всех сил старался что-то удержать и закрепить в голове. Я не догадывался, что я просто пьян, и не догадался даже, когда до меня откуда-то очень издалека донесся голос Скотта:

— Если он выпьет еще — он, пожалуй, даст дуба.

— Полный порядок,— лепетал я.— Просто мне жарко... Вот и все.

Остального я почти не помню — кажется, я попытался встать, но выяснилось, что ноги меня не держат, и тогда в моем одурманенном винными парами мозгу мелькнула догадка, что я пьян. И как только я это понял, все остальное куда-то кануло, будто в темной пучине мне было гораздо удобнее, чем в здравом уме.

На другой день Скотт рассказал мне, что было потом.

— Но я тебе рассказываю об этом только затем, чтобы всю остальную жизнь ты не ломал себе голову, стараясь вспомнить, что ты вытворял, когда на тебя нашло затмение.

Они заставили меня выпить чашку кофе, чтобы я немножко протрезвел,— им было нужно, чтобы я мог стоять на ногах. Я смутно помню этот кофе с привкусом лакрицы.

Они взяли меня под руки и повели к выходу из ресторана, потом вниз по лестнице и через вертящиеся двери вывели на улицу. В вертушке я, правда, немного запаниковал, но вообще-то вел себя так, будто был решительно, упорно, мрачно и агрессивно трезв, хотя и пытался все время сказать нечто такое, что начиналось со слов: «Я ничуть не... я ничуть не...»

— Что «ничуть не»?

— Вот только ноги что-то... — кое-как удалось выговорить мне.

Скотт и Хемингуэй и сами были не слишком трезвы. Они остановили жандарма, проезжавшего на велосипеде по темной улице, и осведомились, где тут ближайший бордель. Жандарм подвел их к боковой стене собора, потом указал на узкий переулок и сказал, что, пройдя два квартала, мы увидим небольшой дом с жестяными ставнями.

— Только не стучите в дверь, постучите в ставни,— посоветовал он, оседлал свой велосипед и уехал.

Я все еще старался втолковать им, что я «ничуть», но Скотт вдруг заявил, что их затея никак не может решить спор, так как если даже они затащат меня в бордель, я все равно не пойму, что это такое. И разве можно таким способом проверить, устойчивы мои принципы или нет?

— Ты должен объяснить ему, куда он попал, иначе пари будет недействительно,— сказал Скотт.

Они, оказывается, поспорили, удержат ли меня в критический момент мои принципы — бремя морального хлама, как выразился Хемингуэй, и заключили пари на пятьдесят долларов.

— Если у него есть то, что называется нравственностью,— сказал Хемингуэй,— если моральные принципы для него как крепкий хребет, тогда ему не надо объяснять, где он находится. Он поймет инстинктивно.

Я помню, как они барабанили по зеленым ставням, но не помню женщину, которая открыла дверь и велела им угомониться.

— На ней было меховое пальто, большая черная шляпа, а на груди яшмовый крест,— рассказывал потом Скотт.— И когда Эрнест попросил пригласить самую молоденькую, самую хорошенькую и пухленькую и самую глупую крестьяночку в этом доме, женщина заяви-

ла, что у нее приличное заведение и она не желает слушать подобные разговоры.

— Это вам не Сен-Жермен де Пре,— с негодованием заявила она.— Это — Алансон.

Пока что мой инстинкт мне ровно ничего не подсказал, и хотя я наотрез отказался сесть в кресло рядом с другим клиентом в шляпе, листавшим старые журналы, словно на приеме у зубного врача, который должен вырвать ему зуб, я твердил Скотту и Хемингуэю, что никому я своего паспорта показывать не стану. Я решительно отказывался показать паспорт кому бы то ни было, как они ни настаивали. И не вытащил паспорта.

— А как быть с деньгами? — спросил Скотт.

— Достань у него из кармана,— сказал Хемингуэй, и они принялись ощупывать мои карманы в поисках бумажника, но мне показалось, что они потешаются над моими шариками от моли, а может, даже хотят меня ограбить, словом, я не желал, чтобы меня обшаривали. Я стал отбиваться кулаками.

— Когда он пойдет туда, надо снять с него пиджак,— сказал Хемингуэй.

Насчет пиджака я что-то ничего не помню, но Скотт потом говорил мне:

— Ты ковырял в ушах так, словно хотел выковырять оттуда все, что с тобой происходило. Но ты был хорош, Кит, как маленький фазаний петушок, взлетевший на своих крылышках к утренней заре, зная, что его подстрелят.

Потом у них с Мадам в черной шляпе возникли разногласия насчет моего состояния, но поскольку я был тихий, и совсем юный, и серьезный, и чистенький и держался очень прямо, то меня признали вполне подходящим клиентом, и когда Мари-Жозеф окликнула нас с верхней площадки, они потащили меня по узкой лесенке вверх. Но я упирался. Я крепко вцепился в перила.

— Ага! — торжествующе воскликнул Скотт.— Хребет дает себя знать!

Но Хемингуэй был не склонен верить этому.

— Он боится, что на лестнице у него закружится голова, вот и все.

— А я тебе говорю, что это чистейшая, нравственная натура,— возразил Скотт.

Я цеплялся за перила обеими руками и, как уверял потом Скотт, зубами тоже. Они тащили и подталкивали меня с такой силой, что в какую-то минуту было похоже, что вся лестница вот-вот рухнет. Но я не мог выстоять против Хемингуэя, который разжал мою хватку. сильно поддав снизу рукой. Потом он почти на себе поволок меня по лестнице к двери комнаты, где на медной кровати сидела Мари-Жозеф в шелковистом халатике и с покорным видом смотрела на дверь. Скотт потом сказал мне, что она, должно быть, привыкла к тому, что ей доставляют мужчин в таком состоянии.

— Она еще совсем девчонка, лет семнадцати, не больше — такой бы на рассвете в поле ходить да доить тех самых коров, что в очках. Ножищи и ручищи у нее огромные, и пахло от нее протухшим сыром. Бедная девчонка!

— Et voila[1],— сказал Хемингуэй.

Они подтащили меня к самой двери, а я все еще оборонял свои нафталинные шарики и, должно быть, только мельком увидел Мари-

[1] Ну вот! *(франц.)*

Жозеф. Я вцепился в дверной косяк, прирос ногами к полу, и им не удалось втолкнуть меня в комнату.

— Ну хватит,— крикнул Скотт на Хемингуэя.— Он не хочет идти к ней. Оставь его в покое.

— Он даже не соображает, куда смотреть. Он даже не видит девочку,— запротестовал Хемингуэй.— Подожди, пока он ее увидит.

— Он ее отлично видит. Оставь его, Эрнест.

Хемингуэй старался приподнять меня, чтобы ноги мои оторвались от пола, а я прижимался к двери. Наконец я сел на пол и, цепляясь за косяк, стал что-то выкрикивать — они уверяли, что кричал я на каком-то иностранном языке, вероятней всего на немецком. А я был не я, а кто-то чужой.

— Да оставь ты его в покое,— крикнул Скотт, стараясь оттащить от меня Хемингуэя.

— Подведи его к кровати, ради бога,— сказал Хемингуэй.— Пусть посмотрит на девочку.

Хемингуэй оторвал меня от пола и свалил на медную кровать рядом с Мари-Жозеф. Я смутно помню эту кровать, нечто зыбкое, колыхавшееся как вода, как море, но не помню, как я вскочил и бросился к другой двери, которая распахнулась настежь под тяжестью моего тела. Я ничего не помню, кроме неприятного ощущения ярости и запаха газа. Скотт и Хемингуэй сначала оторопели от внезапности моего бегства, а потом на них напал такой истерический хохот, что когда они наконец пустились за мной вдогонку, им никак не удавалось меня найти.

— Ты словно в воздухе растворился. Как сизый дым от здешних сигарет «Голуаз». Тут ими весь дом продымлен. Мы обыскали соседнюю комнату, куда выходила та дверь, это была гостиная Мадам, но и там среди всяких безделушек тебя не оказалось. Единственное окно было наглухо закрыто. Ну прямо фантастика, чудо какое-то, дьявольский фокус с исчезновением. Потом Мари-Жозеф указала нам на камин, но это оказался не камин, а старинная нормандская лестница. И ты туда запросто вбежал. Твои останки лежали на нижнем этаже. По крайней мере мы так думали. Но не успели мы слезть вниз, как ты уже склеил свои останки, словно искусственное чудовище Мэри Шелли, и бежал вприпрыжку, черт бы тебя подрал, как шаровая молния, по булыжной мостовой, будто спасаясь от кого-то, и ты еще что-то выкрикивал то ли по-немецки, то ли по-китайски, а может, даже на языке здешних туземцев...

Они боялись, сказал мне Скотт, что я устремлюсь к реке и упаду в воду или же попытаюсь уплыть на родину. Поэтому они торопливо рассчитались с Мари-Жозеф и Мадам в черной шляпе, извинились за беспокойство и побежали по переулку вслед за мной. Они поймали меня как раз, когда я пытался разуться и, по словам Скотта, кричал, что сейчас буду нырять с моста, а мост-то был не через реку, а над дорогой.

— Ты невероятно дисциплинированный отрок,— сказал Скотт.— Никогда не видел, чтобы человек был так безнадежно и сурово трезв, когда на самом деле он безнадежно и сурово пьян. Но самое главное, Кит, то, что ты остался чистым и неиспорченным, клянусь тебе, что это правда, и если ты можешь простить нам эту скверную шутку с шампанским, то всю остальную свою жизнь ты, по крайней мере, будешь знать, что пьяный ты так же добродетелен, как и трезвый, а это значит, что твои принципы далеко не поверхностны. И это очень важно,— серьезно сказал Скотт.— Поверь мне, Кит, это очень важно.

На самом деле Скотт считал этот случай своей собственной моральной победой и с тех пор относился ко мне так, будто я про-

шел через это испытание только для того, чтобы защитить его принципы и доказать его правоту Хемингуэю. А я и сам в себе сомневался и не мог понять, почему я устоял перед Мари-Жозеф. Конечно, я не могу сослаться ни на какие моральные принципы — что касается меня, то это лишь жалкая иллюзия. Принципы были тут ни при чем.

Они уложили меня в постель, и, кажется, я начал понимать, что я сделал для Скотта, только тогда, когда у меня прошло похмелье, улеглись ярость, гнев и возмущение и мы снова собрались в путь.

— Если тебе хочется распрощаться с нами — я прекрасно тебя пойму,— сказал Скотт.

Я помотал головой. Мне хотелось со злостью сказать им, что, если я сейчас расстанусь с ними, они будут вспоминать меня, как смешной анекдот, а я относился к их проделке совершенно иначе. Но я промолчал.

— Молодец,— сказал Скотт. Он был в отличном настроении. Он выиграл спор и так этому радовался, что даже стал напевать, потом, помахав рукой маленькой старушке, сидевшей у края дороги на стульчике возле молочных бидонов, он с воодушевлением сказал Хемингуэю:

— По-моему, наша поездка в конце концов окажется очень удачной.

— Почему у тебя такое впечатление? — отозвался Хемингуэй.

— Потому что он раз и навсегда доказал, что истинную сущность человека ничто не может скрыть,— сказал Скотт.— Ни дьявол, ни плоть, ни бой быков.

— Ну, возможно, мальчуган не смог скрыть свое истинное «я»,— сказал Хемингуэй.— Но, клянусь богом, я-то могу.

Глава 4

Тут-то и появилась Бо Мэннеринг. То есть она возникла на следующем пункте, предусмотренном в маршруте Скотта, а именно в знаменитом ресторане под названием «La Fontaine Danie» возле Майенны. Ресторан этот стоял прямо над старым заросшим прудом, и мельница семнадцатого века все еще сучила белую водяную пряжу, а Бо сидела в углу за столиком, накрытым на четверых, и посасывала длинный зеленый мундштук с сигаретой.

Настоящее ее имя было Селест, но кто-то не то в школе, не то у знакомых на даче почему-то прозвал ее Бо Селест, и потом она стала просто Бо. Мне такие девушки в жизни еще не попадались. Моя ровесница, одета во все скромное и дорогое,— и надменная серьезность, в которую почему-то не верилось всерьез. Вряд ли и сама Бо уж очень хотела, чтоб в нее поверили. Через полчаса я влюбился и принялся ревновать Бо к Хемингуэю и Скотту, не сомневаясь, что они тоже в нее влюблены. Я тогда пока не знал, что творилось у них с женами, а то бы ревновал еще убежденней, и я до сих пор никак не пойму, знала сама Бо что-нибудь про эти их дела или нет. Она мне, ясно, ничего не говорила. Правда, теперь-то уж после всего, я думаю, может, она и знала. Хотя нет, в общем-то я толком ничего не берусь утверждать насчет Бо.

Она сидела и ждала за столиком, а Скотт задержал нас на минуточку в дверях. Он сказал:

— Глядите-ка, Бо единственная девушка на всем белом свете из плоти и крови, но точная, как часовой механизм.

Бо постучала по длинному мундштуку пальчиком, потом сунула мундштук в угол рта, надула губки. Потом перекатила его к передним зубам, затянулась. Наконец, показав все свои зубы, она стала кивать головой, будто ребенка забавляя, что ли. Это она сама так забавлялась.

— И она единственный механик, одевающийся у Шанель,— сказал Хемингуэй.

Хемингуэй всегда попадал в точку. Длинные, тонкие пальцы Бо сами просились что-то поправить, наладить, и, наверное, никто не умел так хорошо поправлять и налаживать все, как Бо.

— Миленькая! Детка! А где же все? — с порога закричал Скотт.

— В Байё поехали,— сказала она.

— Зельда! — сказал Хемингуэй.

— Ну да. Ну да. Зельда,— сказал Скотт.— А ты чего не поехала?

— У меня в этой «изотте» ноги просто закоченели,— сказала она.

Бо вытащила ноги из-под стола и продемонстрировала их нам. Она была немыслимо хорошенькая, и она смотрела тебе прямо в глаза и будто молча соображала: «Чего это он на меня так уставился?» Либо: «Ах, вот он что думает!» Она показала, кому куда сесть. Подошел официант, она отдала ему свой длинный мундштук, с безукоризненным французским произношением попросила выбросить, и больше я потом никогда не видел, чтобы она курила.

— Господи, да что это с вами? — сказала она, когда мы расселись по местам.— Вид просто жуткий.

— Нет, мы ничего,— сказал Скотт.— Кита помнишь? Дитя природы из Вулломулу. Мы его еще на днях пытались спасти в Дрё.

Мы с Бо встретились мельком, на улице и в темноте, так что сейчас будто впервые познакомились, и в ее взгляде я прочел: «А-а, вот он какой, оказывается, при дневном свете».

— Какой бледный,— сказала она.— Нездоровится?

— Ребенок вчера до того надрался,— сказал Хемингуэй,— что нам пришлось волочить его в постель.

— Вообще-то ты не думай,— сказал Скотт,— он в рот не берет спиртного.

— Как же он тогда надрался? — спросила Бо.

— Он пил шампанское, а думал, что это лимонад.

— Ну, а вы где были?

— Там же, естественно.

— Чего же вы ему не объяснили, что к чему?

— А мы ему экзамен устроили на моральную стойкость,— сказал Скотт.

— Ну и как?

— Сдал на отлично,— сказал Скотт.— Что будем пить?

— Ничего, Скотт,— сказала она.— Сегодня я вам не дам напиться.

Бедный трезвый Скотт. Я уже знал, что срывы у Скотта не тяжелей, чем у других. Просто он интересней других умел их подать.

— Я вчера не был пьян,— сказал он.— И в Дрё я не был пьян. Ты уж со мной поласковей, Бо.

— Ну вот и не будем пить до ленча,— сказала она так ласково и прямо, что Скотт, конечно, не обиделся.

— По стаканчику кампари,— предложил он.

— Нет.

— Ребенку надо бы опохмелиться,— сказал Хемингуэй.

— Чем?

— Да тем же, что его с копыт свалило,— шампанским.

— Нет, так его только снова развезет.

— Ну, Христа ради, Бо, не томи бедняжку,— сказал Скотт.

— Не надо мне ничего,— сказал я.— Мне и так хорошо.

— Зато мне от одного взгляда на тебя выпить хочется,— сказал Скотт.

— За ленчем выпьете вина,— сказала Бо.— Терпение прежде всего.

Я думал, она забавляется, но нет. В аперитиве им было отказано, а вино Бо выбрала сама, и снова меня кольнула ревность, потому что она явно взялась их воспитывать, а они явно взялись ей подыгрывать. Она была достаточно юной для такой роли, а им это льстило. В общем-то они вели себя с нею точно так же, как вели себя со мной, правда, будучи в другом настроении.

После ленча (мне она строго заказала лимонад) Бо сама потребовала счет, вдумчиво проверила, подсчитала сумму на длинных своих нежных пальцах, взяла у Хемингуэя и Скотта ровно по половине (плюс чаевые) и заплатила официанту, который, паря над нею коршуном, успел, когда она поднялась, вырвать из-под нее стул.

— А в следующий раз мы с Китом заплатим,— сказала она.

— Ты-то плати,— сказал Хемингуэй,— а у ребенка денег нет.

— С виду непохоже,— сказала Бо.— Одет он неплохо.

Хоть от меня и попахивало нафталином, все на мне было сшито отлично, тут уж мой отец-англичанин не щадил затрат, потому что сам любил одеваться.

— Он свои денежки оставил в бардаке в Алансоне,— сказал Хемингуэй, но это он Бо дразнил, а не меня.

Бо устремила на меня тихий темный взгляд.

— Ну и все неправда,— сказала она. Она протянула мне свой чемоданчик, который вынес ей официант.— Верно ведь?

Я не ответил. Ведь что ни ответь, все получилось бы глупо.

— И вообще я вам не верю,— сказала Бо спокойно, когда мы вышли из ресторана.— Вы оба жуткие вруны.

Они расхохотались, мы с Бо уселись, поставили в ногах чемодан, и трезвый, проворный Скотт вывел «фиат» из Майенна и повел в сторону Фужера, куда мы, собственно, и направлялись и надеялись добраться засветло.

Но припустил дождь, мы недалеко отъехали и застряли. Мы свернули было с главного шоссе, чтоб поднять откидной верх, и тут наш «фиатик» взбунтовался. Пришлось нам вылезти. Скотт и Хемингуэй заглядывали под изношенный капот, а я толокся вокруг машины бессмысленно и безрезультатно. Потом еще поспорили о том, воняет ли бензином. Но мотор отказал, и хоть Скотт убеждал Хемингуэя, что тот должен разобраться, в чем тут дело, раз водил санитарные машины в войну, Хемингуэй не лучше нас со Скоттом разбирался в механике.

— Черт тебя подери, Эрнест, машины ведь — как священники,— разозлился Скотт,— и тебе бы не мешало в них разбираться.

— А откуда Эрнест разбирается в священниках? — спросила Бо.

— Он их любит. А по мне, пусть бы их и на свете не было.

— Какой цинизм,— сказала Бо.— Если машина испорчена, значит, мы ее испортили, а мы ведь ее не портили, верно?

Мы все ждали от нее каких-то механических чудес, и Скотт с Эрнестом явно подбивали ее выйти из машины и заняться мотором. Но она не поддавалась и сидела чопорно и прямо на заднем сиденье.

— Кто-то должен пойти за помощью,— сказала она.— Скотт, вы идите.

— Почему я, спрашивается? — На голове у Скотта была шляпа «федора», но он был без плаща.

— Вы были за рулем, когда это случилось. Все по справедливости.

— Но я по-французски ужасно говорю, да и дождь.

— Это Кит по-французски не очень-то говорит. А вы вчера в Дрё отлично изъяснялись. Идите и проголосуйте до... — Она поискала по карте,— Арне или Шарне. Эрнест и Кит попробуют наладить машину, и если у них получится, там и встретимся.

— Где именно?

— Ах, ну где-то там. Не все ли равно.

— А далеко до этого проклятого места?

— Километра три. Ну поскорее, Скотт.

Хемингуэй вызвался пойти, потому что у него была плащ-палатка, но Скотт изображал бедную жертву и не уступал. Он надел плащ-палатку Хемингуэя и исчез в дымке дождя на дороге к осеннему Майеннскому лесу. Наверное, Скотт был не прочь погулять под лесным дождем в теннисоновых полутонах грустной сельской природы. Скотт в душе был поэт Озерной школы.

Так он и потерялся, и Бо, которая вечно искала виноватого, винила потом себя за то, что случилось в тот день со Скоттом.

Мы с Хемингуэем копались в моторе «фиата», когда вдруг между нами появилась Бо. Она обладала способностью совсем неожиданно возникать рядом,— по-моему, я и влюбился в нее через плечо. Она, как всегда, забросала нас вопросами, выстраивая слова пирамидками. А это куда, а что оно делает, а для чего это, а что будет, если за это потянуть, почему это должно быть здесь, а не там... Она ровно ничего не понимала в моторах, и хотя ответы Хемингуэя становились все короче и раздраженнее, она своими вопросами, как слепой слепого, заводила его в дебри. Он держал проводок, отсоединившийся от одной из клемм, и Бо спросила его, для чего этот проводок. Из клеммы выпала гайка, и проводок просто отвалился.

— Ну? — сказала Бо.— А теперь что будем делать?

— Привяжем проводок, заведем эту хреновину и помчимся в погоню за Эф Скоттом Фицджеральдом,— сказал Хемингуэй.—Садитесь вперед,— скомандовал он.

— Нет,— сказала она.— Я сяду сзади, на случай если мы его догоним.

— Сзади ты не увидишь Скотта, раз верх поднят.

— Мы его найдем,— сказала она.— Сейчас он уже должен быть в этом городке.

Мы сели в машину, но Бо тут же стала вылезать обратно.

— На случай если мы с ним разминемся, надо приколоть к дереву записку,— пояснила она.

— Какую еще записку?

— Что мы вернемся сюда.

— О, господи, Бо, он уж как-нибудь сам это сообразит,— сказал Хемингуэй. Он завел «фиат», и мы выехали на главную дорогу.

Арне оказался просто придорожной деревушкой, где у каменной стенки с железным навесом от дождя сидел на кухонной табуретке старичок. Никто ничего не знал о Скотте, один только старичок сказал, что в соседней деревне Шарне есть новый гараж. Деревня Шарне была чуть побольше Арне, в ней имелась даже бензоколонка «Антар». Старушка в маленьком кафе за бензоколонкой сказала, что ее сын поехал с американцем на велосипеде в Майеннский лес.

— В какую сторону они поехали? — спросил Хемингуэй.

— Туда, к реке и через церковные поля.

— А почему на велосипеде? — спросил Хемингуэй.— Разве у вашего сына нет машины?

— Так внук же уехал на ней утром в Фужер,— возмущенно ответила старуха.— Откуда ж ей тут быть, этой машине, мосье.

Хемингуэй попросил ее сказать американцу, когда он вернется, чтобы он ждал их тут, в кафе. Потом развернул машину и помчался, как в санитарной карете, к Майеннскому лесу.

— Мы опять упустили этого подонка,— сказал он, когда мы подъехали к лесу.

— Вы сами виноваты, Эрнест,— сказала Бо.— Надо было оставить ему записку.

— Ну, так мы, черт его дери, не оставили,— сказал Хемингуэй,— значит, нам придется околачиваться тут, пока он не объявится.

Минут пять мы просидели в машине, пережидая дождь. Хемингуэй был так зол и нетерпелив, что не захотел больше ждать и включил мотор.

— Я еду обратно в деревню,— сказал он.— Может, он уже там.

Бо опять его остановила. На этот раз она настояла на том, чтобы оставить Скотти записку. Она написала ее на листке из записной книжечки в золотом переплете и приколола к дереву булавкой для шарфа, которую выудила из сумочки. «Дорогой Скотт,— было написано в записке.— Мы непременно вернемся. Ждите нас под этим деревом. Привет. Бо».

На этот раз бензоколонщик в Шарне оказался на месте, он сказал, что американец и механик из гаража уехали не на велосипеде, а на мотоцикле. Они приезжали и, не застав нас, уехали опять, только на этот раз Скотт решил, что мы отправились в соседний городок без него.

— Il était furieux [1].

— Ох, пьяный, безмозглый негодяй,— сказал Хемингуэй.— Ручаюсь, что он нализался в каком-нибудь баре и ждет, пока мы его разыщем.

Мы поехали в Фужер, надеясь, что Скотт где-то тащится по дороге и что мы его нагоним. Но поначалу дорога была пуста. Немного погодя мы увидели вдали мотоцикл с коляской, и Хемингуэй прибавил газу.

— Вон мой плащ,— крикнул он.

— Ничего подобного,— зашептала мне Бо.— Его плащ я бы узнала с первого взгляда.— Она взяла меня под руку, словно нам следовало сейчас крепко объединиться.

На мотоцикле ехал местный паренек в брезентовом дождевике, а плащом оказался связанный теленок в коляске. Хемингуэй, обгоняя их, крикнул пареньку что-то по-итальянски, потом мы без остановки домчались до Фужера. Хемингуэй знал, какая гостиница значилась в составленном Скоттом маршруте, и мы с Бо ждали в «фиате», пока он ходил узнавать, не приехал ли Скотт.

— Почему Эрнест так сердится? — спросила Бо.— Он просто взбешен.

— Скотт тоже будет взбешен,— заметил я.

— Но почему? Что с ними происходит?

— Ну... они хотят что-то выяснить для себя,— сказал я.— Поэтому они так круто обходятся друг с другом.

— А что им нужно выяснить? — спросила Бо.

Мне не очень хотелось объяснять Бо цель этой поездки — я боялся запутаться, но в то же время стремился произвести на нее впечатление, поэтому я как можно небрежнее сказал, что для них это не просто случайная поездка в Фужер.

— Тут нечто гораздо более важное,— сказал я.

— Почему? — спросила Бо.

---

[1] Он был взбешен *(франц.)*.

Я пересказал ей то, что говорил мне Скотт: он и Хемингуэй подвергают их дружбу своего рода испытанию, потому что хотят узнать друг о друге, настоящий ли это Хемингуэй и настоящий ли Фицджеральд, либо оба притворяются и выдают подделки за свою истинную сущность.

— Какой ужас,— сказала Бо.— Неужели это правда?

— Конечно,— авторитетно сказал я.— Вот почему между ними все время идет внутренняя война.

Парусиновый верх «фиата» промок почти насквозь, но я так блаженствовал, что мог бы хоть полночи просидеть в этой отсыревшей итальянской коробочке. Я был страшно доволен собой, потому что, как мне думалось, я наконец-то произвел на нее впечатление. Но потом я сообразил, что, пожалуй, впечатление оказалось слишком сильным, поскольку Бо не намерена была поступать так, как поступал я. Она вовсе не желала держаться в стороне, как я, и изображать нечто вроде греческого хора. Первым ее побуждением было немедленно вмешаться.

— Надо что-то делать,— сказала она.

— Что, например? — нервно спросил я.

— Не знаю. Но надо как-то им помочь, Кит. Это наш долг.

Я сказал, что вмешиваться было бы ошибкой.

— Я бы крепко подумал перед тем, как действовать.

— Почему? Разве вы не хотите им помочь?

Не успел я сказать, что наши старания помочь могут только ухудшить дело, как из «Hotel de France» вышел Хемингуэй, набычившийся, как боксер, выходящий на ринг. Он сказал, что Скотта там нет.

— Они даже его не видели.

— Значит, надо ехать обратно, к лесу,— сказала Бо.

— Господи, это еще зачем?

— Потому что он, наверно, ждет нас под тем деревом.

— Ну нет, я не намерен раскатывать туда и обратно,— сказал Хемингуэй.

— Почему?

— Потому прежде всего, что поездка в Фужер — это была его затея, так что пусть добирается сюда как знает.

— Но он будет ждать, Эрнест. Я же оставила записку, чтобы он нас ждал.

— А я тебе говорил, что никаких записок не надо. Если он там ждет, значит, он спятил.

— Но он ждет. Я знаю.

— Ладно. Поезжайте сами, и пусть мальчуган ведет машину. Для того его Скотти и взял.

— Нет. Поведете вы, Эрнест. Вы должны поехать с нами,— прожурчал мимо меня голосок Бо, и, не глядя на Хемингуэя, я понял, что он поедет. Он сел в машину, завел «фиат», сказал «дерьмо собачье» и повез нас к Майеннскому лесу так, будто гнал санитарную машину сквозь пули и взрывы.

Дождь не прекращался, и начинало темнеть.

— Нет его здесь,— сказал Хемингуэй.— Я же вам говорил.— Всю дорогу Хемингуэй был угрюм и молчалив, теперь он стал угрюмым и раздраженным.— Хорошую же кутерьму ты затеяла, Бо,— сказал он.

— Нет. Это вы ее затеяли,— спокойно сказала она.— Вы не должны злиться на Скотта. Постарайтесь его понять.

— Я вовсе не злюсь, просто он мне до черта надоел. И если б мы не приехали в Фужер, я бы уехал первым же поездом и на первом же пароходе вернулся бы домой, чтобы нас с ним разделил океан.

И чтобы между нами возник огромный умственный барьер. Я не желаю даже находиться на одном континенте с Эф Скоттом Фицджеральдом.

— Но почему, Эрнест?

— Этого не объяснить, по крайней мере на вашем языке. Так что не будем об этом.

— Во всяком случае, мы совсем не туда заехали,— сказала Бо. Очевидно, она перебрала в памяти приметы места, где стояло то дерево, и теперь нашла несходство между тем местом и этим.

Хемингуэй, человек очень земной, вдруг громко расхохотался.

— Из вас вышел бы отличный генерал, Бо,— сказал он и, дав задний ход, вывел «фиат» с узкой проселочной дороги и через несколько километров свернул на другую. В свете фар мы увидели Скотта — промокший и одинокий, он сидел под деревом.— Бедняга,— сказал Хемингуэй.

— О боже милостивый, Скотт, на кого вы похожи,— жалостливо сказала Бо, выходя из машины.

Скотт не пошевелился. Он сидел, скрючившись, как бродяга, пытающийся прикрыть руками свою промокшую нищету.

— Чего это ради вы все вернулись? — спросил он.

— Мы же оставили вам записку.

— Зачем? Ехали бы вы своей дорогой. Я тут сижу и блаженствую, как Диоген в бочке, так что можете убираться туда, откуда приехали.

— А где механик из гаража, что привез тебя сюда?

— Ему некогда было ждать. Я сижу здесь уже шестнадцать часов, а может, и больше.

Хемингуэй не вышел из «фиата».

— Ну иди же сюда, бога ради,— сказал он.— Чего ты, спрашивается, еще ждешь?

Скотт двумя пальцами приподнял свою промокшую, потерявшую всякую форму «федору».

— Я не сойду с этого места,— сказал он.

Хемингуэй пожал плечами.

— Ну, раз так, отдай мне мой плащ, и мы оставим тебя в покое.

— Забирай свой плащ, а я возьму «фиат»,— сказал Скотт.— И тогда, ей-богу, мы бросим тебя тут на добрых шестнадцать часов,— заявил Скотт Хемингуэю.— Ты же бросил меня, подонок.

— Ладно.— Хемингуэй вышел из «фиата».— Я тебя бросил. Ну, давай мне плащ.

Мне показалось, что Скотт сейчас вскочит на ноги и бросится на Хемингуэя. Но вместо того он нарочно упал плашмя, как будто от боли, и покатился по раскисшему от дождя склону. Затем он встал на ноги и сказал:

— Сам видишь. Отличнейший плащ. Непромокаемый! Грязеотталкивающий!

Он пачкал плащ Хемингуэя, хлопая по нему грязными руками, но Хемингуэй, бесстрастно глядя на него, не произнес ни слова.

— Скотт, ну что вы в самом деле! — сказала Бо.— Это уже непростительно.

Скотт опять сел на землю.

— Ладно. Это, конечно, непростительно. Но я уже чувствую себя гораздо лучше, так что все вы можете сматываться. Я остаюсь здесь.

— Хорошо, хорошо, оставайся. Раз ты так решил, то одолжи мне твою шляпу.

Скотт протянул Хемингуэю свою насквозь промокшую «федору». Бо хотела было что-то сказать, но я стиснул ее руку, не дав раскрыть рта; мы ждали, что Хемингуэй в отместку за свой плащ начнет гонять эту шляпу по грязи, как футбольный мяч. По-моему, Скотт тоже предвидел это — он даже пригнулся, чтобы вовремя перехватить свою шляпу.

Но Хемингуэй поддал кулаком дно, расправил поля шляпы, придав ей должную форму, и водрузил ее на голову Скотту.

— Теперь ты одет как следует, Фицджеральд, так что можно ехать.

Но Скотт опять окрысился.

— Ты думаешь, я пьян, да?

— Нет, не думаю. Ты так вымок и такой ты жалкий, что не можешь быть пьяным.

Я взял Бо за локоть и, хоть она сопротивлялась, отвел ее к машине.

— Но они же опять начнут ссориться,— прошептала она.

— Не начнут. Но пусть они сами разберутся. Вы ничем не можете помочь.

— Вы говорите, как старый дед,— сказала она.

— Иногда я и чувствую себя старым дедом.

Мы сели на заднее сиденье «фиата» и смотрели спектакль, который отлично разыгрывал Хемингуэй. В нем, как никогда еще, сказывался английский офицер, спокойно, но властно управлявшийся со старым, но уставшим солдатом, который никак не хотел вылезать из хлюпающей грязи окопа. Капитан Хемингуэй был на высоте — не знаю, что он там говорил на этом раскисшем от дождя майеннском поле боя, но я видел, как Скотт очень точно вошел в свою роль, тонко ее чувствуя, как хороший природный актер. Так я видел это и понял, что не ошибся, когда Скотт вытянулся и ловко, по-английски, отдал ему честь, а потом четко зашагал за ним, повторяя «левой, правой, левой...».

Когда они подошли к машине, Хемингуэй был подтянут и бодр и, очевидно, все еще чувствовал себя командиром.

— Хочешь вести машину? — спросил он Скотта.

— Нет. Веди сам.

— Ты ведешь не хуже меня.

— Нет. Эта машина меня не признаёт,— сказал Скотт.— Она меня ненавидит. Прямо напасть какая-то.

— Это я во всем виновата, Скотти,— вмешалась Бо.— Я напрасно вас отослала. Простите меня.

— Можете получить мою шляпу,— сказал Скотт.

Но Бо поклонилась, и поцеловала его, и сказала:

— Вы такой чудесный человек. Вы просто молодчина. А Эрнест очень беспокоился о вас.

Этим Бо все и испортила.

— Вы дьявольски правы, я о нем беспокоился,— быстро вмешался Хэмингуэй.— Я думал, что он пьян. И один бог ведает, куда бы нас завели наши поиски, если бы он действительно был пьян.

— А, черт бы тебя взял! Неужели нельзя хоть раз не тыкать мне этим в глаза? — жалким тоном сказал Скотт.— Хоть один раз...

Мы подъехали к Фужеру в полном молчании, и хотя мне было понятно, что их связывает нечто гораздо более важное, чем эти перепалки сгоряча, все же я сомневался, надолго ли хватит у них доверия друг к другу. Их, должно быть, постоянно мучило то, что они за собой знали и что им хотелось преодолеть, истребить или забыть.

Я до сих пор не знаю, как объяснить поведение Скотта в Фужере — мстил ли он Хемингуэю, съязвившему насчет его пьянства, или просто ухватился за возможность затеять очередную грызню. Как всегда в спорах, они не выбирали выражений и часто прибегали к самым грубым приемам, чтобы одержать верх, или доходили до жестокости, стараясь уязвить противника. Хемингуэй был жесток к Скотту, чуть ли не обозвав его алкоголиком, а потом и Скотт обошелся с ним, как нам казалось, чересчур жестоко; правда, к концу нашего путешествия я уже не был так уверен в этом. Но что бы мы ни думали, а Скотт ему ничего не простил, и это чуть не привело к трагедии.

Целью нашего путешествия был Фужер, городок, где они должны были выяснить, кто лучше описал его — Бальзак или Гюго,— и разрешить свой литературный спор. Но под вечер за обедом Хемингуэй заявил, что он приглашен на охоту в одно старинное поместье милях в двадцати к югу и собирается завтра уехать туда.

— Ты хочешь нас бросить? — спросил Скотт.

— Да, а что?

— Мы же решили довести дело до конца,— сказал Скотт.— Иначе что за смысл сидеть в этом пейзанском захолустье?

— Я вернусь,— сказал Хемингуэй.

— Ладно. А где это поместье?

Мы сидели в баре-ресторане на вершине фужерского холма. Вдали в легкой осенней дымке цвета апельсиновой кожуры вырисовывалась фужерская крепость. Все было более или менее так, как я представлял себе, читая «Девяносто третий год» Гюго, хотя вскоре мне пришлось разочароваться.

А пока что наша трапеза шла спокойно и трезво. Бо хозяйничала за столом и одним своим присутствием поддерживала порядок и мирный покой. Разговор шел главным образом о детстве и о том, что оно нам дало. Я уже знал, что мое детство было схожим с детством Хемингуэя. Оба мы выросли на природе и гордились этим. Но Скотт лишил нас удовольствия поделиться воспоминаниями. Он сказал, что мы почти ничем не отличаемся от крестьян из прерий и что наша примитивная культура пришла не из лесной глуши, а с городских улиц.

— Нет такой штуки, как культура лесной глуши,— сказал он.— Не было и не будет.

Они стали пререкаться, и на этот раз так озлобленно, что Бо в конце концов вмешалась и спросила, что они собираются делать завтра, и тогда-то Хемингуэй сообщил нам, что решил поехать на охоту.

— Где же этот охотничий замок? — спросил Скотт.

— В Ла-Герш-де-Бретень,— ответил Хемингуэй.

— Так это же поместье Ги де Гесклена.

— Правильно.

— О, господи! Тогда я еду с тобой,— сказал Скотт.

— Нет, ты не поедешь, Скотт. Это только для охотников.

— Ну, вот еще. Гесклены мои друзья, Эрнест, а не твои. Ведь это я тебя с ними познакомил.

— Ну познакомил, что ж из того. Но это охота, и тебя не приглашали.

— Я позвоню Ги по телефону. Я скажу, что мы все приедем. Они будут в восторге.

— Ты никогда в жизни ружья в руках не держал.

— Бог знает что ты говоришь! — негодующе воскликнул Скотт.— Я стреляю в сто раз лучше, чем ты. Я — снайпер. Это общеизвестный

факт. На военных учениях я был лучшим стрелком во всем сорок пятом дивизионе.

И не успел Хемингуэй возразить, как Скотт выскочил из-за стола и пошел за стойку бара, где сидела кассирша и был телефон. Я думал, что Хемингуэй остановит его, но Бо, которая тоже была знакома с Гескленами, быстро сказала Хемингуэю:

— Пока вы будете охотиться, Эрнест, мы можем посидеть в каретном сарае. Мы будем играть в карты с Фиби и скаковыми лошадьми. Не отговаривайте Скотта, Эрнест. И не беспокойтесь за него.

Хемингуэй пожал плечами.

— Это его друзья. Я не могу ему запретить.

— Он не испортит вам охоту,— сказала Бо.

— Пусть только попробует,— спокойно сказал Хемингуэй.— Я его зарежу. В Ла-Герш лучшая в Европе охота на куропаток.

Дом Гескленов в Ла-Герш-де-Бретань был похож скорее на гостиницу, чем на замок. Он полукружьем замыкал мощенный булыжником двор с конюшнями и каретным сараем по бокам; внутри, за широким балконом и по обе его стороны, тянулось множество белых комнат. Это был огромный, толстостенный, холодный каменный дом, куда сейчас съехалось человек двадцать гостей, большей частью французов, и все они смеялись и подшучивали друг над другом, как будто только для того они здесь и собрались. Сначала я не узнал, который из них Ги де Гесклен. По правде говоря, я встретился с ним в его доме, как солдат встречается с генералом в штабе. Зато я разговаривал с его женой, богатой американкой Фиби, высокой и плоской, медленно растягивающей слова молодой женщиной из Новой Англии; судя по всему ей было уже все равно, на что тратит ее деньги родовитый супруг.

Бо сказала мне, что она любит «Фиб», но ее бросает в дрожь при одной мысли о де Гесклене, который каким-то образом приходился ей родней. Она знала его уже много лет, и почти все, что она о нем рассказала, я потом нашел в Томми Барбане из романа Фицджеральда «Ночь нежна». Должно быть, Скотт придал Барбану многие черты де Гесклена, а во всем этом доме было что-то такое французское, такое бессердечное и так пахло большими деньгами, что в конце следующего дня я, сам не понимая почему, с радостью уехал из этого дома. Для меня была непонятна его атмосфера, и мне там не нравилось.

Мы приехали под вечер, охотиться было уже поздно, и Фиби де Гесклен отвела меня в комнатку над одной из конюшен во дворе. Комнатка была чистенькая, белая, заставленная громоздкой мебелью орехового дерева. Ночью я впервые в жизни слушал соловьев, но в начале второго раздался рев въезжавшей во двор машины с зажженными фарами. Это была «изотта». Скотт оставил в Фужере записку для Зельды и Мерфи, и они приехали так, как любила приезжать Зельда,— чтобы сразу перебудить всех в доме.

Во дворе громко смеялись и кричали. Я услышал голос Скотта, предлагавшего вытащить всех из постелей и устроить небольшой выпивон. Потом я слышал, как Джеральд Мерфи увещевал его, сказав, что, если он не угомонится, Ги де Гесклен наверняка сойдет вниз и поставит его на место. А Скотти это будет неприятно, правда ведь?

— По-моему, де Гесклен любит Зельду,— прошептала мне Бо еще вечером, когда мы шли по двору.— Но к Скотту относится ужасно.

В половине шестого утра судомойка с голыми по плечи руками и темными усиками, стуча деревянными сабо, принесла мне чашку горячего черного кофе, кусочек сыру и корзиночку со свежими теплыми булочками. Потом без стука вошел малый в черных эспадрильях

и положил на столик под окном кожаные краги, ягдташ, дробовик и патронташ.

— Rassemblement [1],— сказал он, хлопая локтями по бокам, как птица крыльями. И показал шесть пальцев.— Six heures...[2]

Позже мне довелось гостить в английском поместье и охотиться с собаками на красных куропаток в английской вересковой пустоши, и все было как-то чинно и хорошо организовано, никакой суеты и никакой путаницы. Но когда я спустился вниз, этот французский двор показался мне веселой деревенской ярмаркой. Солнце только всходило, и еще не рассеялась легкая дымка тумана во дворе, а он уже был полон людей. Почти полчаса де Гесклен разделял нас на группы с gardes champêtres [3] во главе каждой (охотничьих собак не было) и наконец призвал нас всех к порядку, как хороших солдат.

— Будете стрелять попарно,— сказал он,— и держаться группами. В каждой группе будет по два gardes champêtre, и еще один будет ждать вас с теми, кто не пойдет на охоту. Они приготовят ленч, вы будете закусывать в двенадцать часов. За расстояние между охотниками ответственны gardes, но ради бога не разбредайтесь в стороны. К сожалению, сегодня vent d'Est[4], но если у вас есть вопросы, лучше спросите у меня сейчас, потому что я тоже буду охотиться и не увижу никого из вас до конца охоты, то есть до вечера.

Мы, как настоящие солдаты, не задали ему никаких вопросов, хотя в этом «vent d'Est», очевидно, было французское остроумие и даже непристойность, потому что все засмеялись,— один только я не понял, в чем тут соль, пока Хемингуэй не объяснил Скотту, что для охоты на куропаток нужен ветер.

— И если ветер восточный, то нужно держать курс на восток, а там где-то будут загонщики с колотушками.

— Хорошо, но почему они смеются? — спросил Скотт.

— Кто их знает. Наверно, из-за кожевенной фабрики.

Фиби объяснила, что в пяти милях к востоку есть кожевенная фобрика, от которой в Ла-Герш идет страшная вонь.

— Ги несколько лет добивался, чтобы ее закрыли, и ничего не мог добиться. Тогда он ее купил, но оказалось, что она приносит уйму денег, и он не стал ее закрывать.

— По правде говоря, деньги де Гесклена очень дурно пахнут,— сказала Зельда.

— Ш-ш! — произнес Скотт.— Это все-таки деньги Фиби, не так ли?

— Тогда сыромятные кожи должны быть от фирмы Шанель,— сказала Зельда.

— Зельда! — воскликнула миссис Мерфи.

Зельда подтолкнула Фиби локтем.

— Она знает, что я хочу сказать, да, Фиб?

Фиби де Гесклен засмеялась, и в этом смехе чувствовались годы и годы смиренности и бесконечных сожалений, пусть даже о каких-то мелочах.

— Может, вы там прекратите сплетничать и станете по местам,— крикнул нам Ги.

Скотт воспринял это как приказ, адресованный ему лично.

— Сейчас будем готовы, Ги, не беспокойтесь.

Скотт, в чужих бриджах и зеленой шляпе, мгновенно взял на себя

[1] Сбор *(франц.)*.
[2] Шесть часов *(франц.)*
[3] Здесь: егерями *(франц.)*.
[4] Восточный ветер *(франц.)*.

роль распорядителя, он советовался с егерями, пересчитывал ягдташи, осматривал ружья и то и дело подбегал к белому столу, где бронзово-загорелый коротышка крестьянин разливал кальвадос из оплетенной бутыли в стаканы толстого стекла.

— Знаешь, довольно, Скотт,— сказал Ги де Гесклен, подойдя к нашей группе.— Не воображай, что ты будешь бродить по моей земле, нахлебавшись яблочной водки, да еще с заряженным ружьем в руках. Напиться успеешь после охоты.

Скотт отнесся к его словам совершенно спокойно, и тут же опять побежал выпить, и тут же опять стал суетиться возле нас. Кажется, ему хотелось, чтобы Зельда тоже участвовала в охоте, хотя она была в туфлях на высоких каблуках, в белых шелковых чулках и в кремовой юбке в складку выше колен. Но Фиби убедила ее остаться.

— Должен же кто-то помочь мне готовить завтрак,— сказала она,— так что ты лучше побудь со мной, Зельда, а то от этих выстрелов я совсем дурею.

— Я никогда тебя не оставлю,— пылко заверила ее Зельда.

До сих пор Зельда не обращала на меня никакого внимания, если не считать шепотом произнесенного «здравствуйте». Супруги Мерфи мне улыбнулись. Бо была одета как мальчик, но выглядела серьезной школьницей, а Хемингуэй упражнялся, то и дело вскидывая свою двустволку. Быть в паре со Скоттом он наотрез отказался.

— Я слишком ценю свой зад,— сказал он.

Партнерами для них могли быть только Бо и я. И они по очереди бросили монетку — на право первого выбора.

Хемингуэй выиграл и выбрал Бо, заявившую, что она охотится с детства, и таким образом я достался Скотту.

— Ты хоть умеешь стрелять, Кит? — шепотом спросил Скотт, когда мы двинулись в путь вслед за нашим егерем в зеленой куртке с черной отделкой.

— Я снайпер,— сказал я.

— Да ну тебя.

— Иначе говоря, я стреляю неплохо,— сказал я, немножко сконфуженный своей шуткой.

— Мы должны их обставить,— серьезно сказал Скотт.— Мне все равно как, но мы должны принести больше птицы, чем Эрнест. Это страшно важно. В сущности, это отличная возможность кое-что доказать, Кит, и, ей-богу, я ее не упущу. Тебе не приходилось читать, что говорит Грант Аллен о джентльменах-убийцах, которые дни напролет занимаются рыбной ловлей, охотой и стрельбой?

— Нет.

— Он называет их титулованными варварами — прямыми потомками полудиких гóтов, которые уничтожили Римскую империю, и, как истинный джентльмен, утверждает, что только постоянная борьба с ними может сохранить культуру. Так вот, клянусь богом, я намерен бороться, и я намерен заставить Эрнеста приглядеться к себе в роли титулованного варвара.

Я никак не мог понять, что он под этим подразумевает и что собирается сделать, а Скотт начал вертеть ружьем так, как это делал Хемингуэй, и я даже чуть испугался. Когда мы двинулись вслед за нашими егерями, Скотт крикнул Хемингуэю:

— Спорим на сто долларов, что мы принесем больше птицы, чем вы! Спорим, иначе ты просто трус!

— Не валяй дурака,— отрезал Хемингуэй.

— Ты трус!..

— Ладно. Ладно. Раз ты такой дурак.

Мы зашагали по небольшому бугристому полю, справа и слева от нас были видны другие охотники. Наш егерь показал руками, куда нам можно стрелять, чтобы не мешать другим. Но Скотт был несколько растерян.

— Я даже не знаю, как выглядит куропатка,— сказал он мне.— У нее длинный хвост, да? Или то у фазана? Какого она цвета?

— Они скорее похожи на жирных голубей,— сказал я.— Только рыжеватые или серые, но я не знаю, какого они цвета здесь.

— А какой величины?

Я показал.

— Они обычно летают парами.

— Ну тогда я вряд ли промахнусь.

Я засмеялся. Но все же я немного нервничал из-за Скотта и его ружья и старался держаться позади него, особенно когда с обеих сторон захлопали ружейные выстрелы. Но мы еще минут десять спотыкались о кочки и канавы, пока я, наконец, не увидел двух куропаток — они выпорхнули из своего укрытия в небольшой копне сена и, прежде чем взлететь, пробежали по земле ярдов десять. Я думал, что Скотт выстрелит, но он стоял не двигаясь и изумленно глядел, как они взлетели против ветра, потом необыкновенно красиво и плавно сделали разворот и полетели по ветру, неизбежно обрекавшему их на гибель. Я не стал ждать. Я вскинул ружье и удачным выстрелом подбил одну из птиц.

— Фантастика! — крикнул Скотт.

Я думал, что это относится к моему выстрелу, но он восторженно сказал:

— Они не летают, Кит. Они просто расцветают в воздухе.

— Почему вы не стреляли? — спросил я.

— Они же так прекрасны! Я не видел ничего подобного.

— Почему же вы не стреляли? — повторил я.

— Мне это даже в голову не пришло,— ответил Скотт.

— Тут надо не упустить минуту и стрелять, пока они поворачивают по ветру,— объяснил я.— Это ваш единственный шанс.

— Ты хочешь сказать, они всегда поворачивают так, чтобы лететь по ветру?

— Всегда.

— Почему?

— Чтобы набрать скорость. Они просто великолепны в воздухе. Они летят страшно быстро, потому что скорость — их единственное спасение.

Скотт захотел посмотреть на мертвую куропатку, которую принес наш егерь Тома. Он бережно держал ее в ладонях; маленькое упитанное тельце было еще теплым и мягким.

Скотт легонько погладил ее пальцем.

— Бедные птицы,— сказал он.— Они попадают в силки и находят свою смерть там, где искали ночлега. Это же просто убийство.

— Возможно,— вызывающе сказал я.— Но раз уж вы охотитесь, то не стоит об этом думать.

— Тогда это просто нелепо,— возразил Скотт.— Неужели ты не понимаешь, что, убивая какое-то живое существо, ты убиваешь что-то в себе самом. Брамины абсолютно правы, и я все время твержу это Хемингуэю, потому что он себя медленно убивает. Но с ним же спорить бесполезно. Можно только показать ему. Вот это я и собираюсь сделать.

У меня мелькнула мысль, что сейчас он откажется от желания обставить Хемингуэя или убивать живых тварей. Но он поразил меня:

— Кит, я хочу, чтобы ты убивал все, что ползает, бегает или летает. Мне все равно кого. Воробьев, голубей, коноплянок, жаворонков. Все, что движется. Просто стреляй во все, что попадется.

— Но зачем, скажите на милость?

— Я хочу показать Хемингуэю.

— Что показать?

Скотт сейчас был похож на зеленоглазого кота в бриджах.

— Ну, просто сделай это для меня,— сказал он.

— Не могу,— запротестовал я.

— Почему?

— Это будет убийство ради убийства.

— Какая разница, раз ты все равно убиваешь? — со злостью сказал Скотт.— Отбор не оправдывает убийства.

Очевидно, он был прав. Но когда мы снова начали охоту, я не стал убивать все, что попадалось, а Скотт стрелял без разбора. Он был неплохим стрелком. В первый же час он подстрелил коноплянку, жаворонка, двух синиц, бежавшего по земле перепела, потом голубя, ему даже удалось убить куропатку, ворона и воробья — вернее то, что от него осталось. Все это он упрямо запихал в свой ягдташ; в моем уже лежало девять куропаток.

— Надо показать Эрнесту,— сказал Скотт.— Пусть знает.

Я еще мог понять, что хотел Скотт доказать Хемингуэю, но мне даже думать не хотелось о том, что скажет Хемингуэй, увидев добычу Скотта. Когда мы пришли к месту сбора для завтрака, Хемингуэя и Бо еще не было, и я ревниво подумал, почему они так задержались.

— Джеральда тоже еще нет,— сказала миссис Мерфи,— так что начнем без них.

Завтрак был сервирован на двух длинных столах, покрытых белыми скатертями. На столах стояли четыре бутылки реймского шампанского в серебряных ведерках, медные мисочки с паштетом, заливное из куропаток, холодная говядина, салями, сыр, масло, молоко и свежий французский хлеб. Зельда дала Скотту хлебнуть из маленькой серебряной фляжки, а со мной заговорила так, будто весь день умирала от желания поболтать со мной.

— Милый Кит,— сказала она своим прелестным дразнящим beauregard [1] голоском.— Я так рада, что Скотти вас не застрелил, я была почти уверена, что этого не миновать.

— Вздор,— сказал Скотт, сделав долгий глоток из фляжки.— Я стреляю без промаха.

— Посмотрим, что там у тебя,— сказала Зельда, берясь за его ягдташ.

— Не трогай,— закричал Скотт.— Я жду Эрнеста.

— Да к черту Эрнеста. Давай посмотрим, с чем ты пришел.

— Оставь, детка,— сказал Скотт, отнимая у Зельды ягдташ.— Тут у меня большой сюрприз для Эрнеста.

Фиби очень мягко отняла у Скотта фляжку.

— Ги разозлится на меня, если узнает, что вы пили кальвадос. Это очень опасно, Скотт.

— Да, знаю,— грустно сказал Скотт.— Но я и без того опасен, Фиб.

Сара Мерфи безмятежно взирала на нас. Это была на редкость спокойная женщина. Она протянула мне стакан молока, я его терпеть не мог, но поблагодарил и отпил немножко. Сара была в белой кружевной шляпе с мягкими ниспадающими полями, и хотя над осен-

---

[1] Здесь: зазывным, кокетливым *(франц.)*.

ней травой кружили пчелы и разные насекомые, миссис Мерфи благодаря своей шляпе, хорошим манерам и склонности к благопристойным развлечениям придавала пикнику некую изысканность. Меня она подкупила всем этим легко. Но вскоре появились Хемингуэй и Бо, и атмосфера сразу изменилась.

— Эрнесту — ни слова,— прошептал мне Скотт, будто я только и думал, как бы поскорее все выложить Хемингуэю.

— А где Хедли? — спросил Хемингуэй, снимая с плеча ружье.

Я совсем позабыл о миссис Хемингуэй, а Фиби, как всегда почему-то застенчиво, сказала, что Хедли уехала в Фужер с Джеральдом Мерфи (он не участвовал в охоте), чтоб отправить телеграмму своим родителям.

— Она очень беспокоится об отце.

— Угу,— только и произнес Хемингуэй.

— Ну?— нетерпеливо сказал Скотт, не открывая свой наглухо закрытый ягдташ.— Показывай свою добычу, Эрнест.

Бо стояла рядом со мной, а я уписывал бутерброд с паштетом. Она подтолкнула меня острым локотком. Но я ревновал ее все утро и сейчас решил показать свою независимость. Я старался не обращать на нее внимания, пока она не сказала мне на ухо:

— Сколько же вы там со Скотти настреляли? Мы все время слышали, как вы стреляли, то один, то другой — бах, бах, бах.

— А чего же вы от нас ждали?

— Должно быть, вы очень часто промахивались.

Скотт осматривал ягдташ Хемингуэя; у них с Бо оказалось двадцать четыре куропатки — не то что наши жалкие десять.

— Ладно,— сказал Скотт.— Теперь поглядите наш.

Все столпились вокруг Скотта. Он развязал парусиновый мешок и, театральным жестом опрокинув его, вывалил жаворонка, коноплянку, ворона, черного дрозда, голубя, растерзанного воробья, куропатку и синиц. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Женщины неловко засмеялись, но были потрясены.

— О, Скотти! — воскликнула Зельда.— Это ужасно.

А Фиби сказала:

— Ради бога, что вы наделали, Скотт? Какой ужас!..

Хемингуэй молчал. Он, видимо, не знал, что сказать. Он смотрел на Скотта так, будто тот был вне всяких пределов морали, вне возможностей искупления и о нем не стоило даже думать. Потом он закричал хозяйским, властным голосом:

— Трезвый человек в здравом уме никогда не станет стрелять в коноплянок и жаворонков. Никогда!

— Я совершенно трезв,— негодующе возразил Скотт и гордо выпрямился.

— Но зачем, Скотт? Чего ради вы это сделали? — в отчаянии спросила Сара Мерфи.

— Хочу доказать Эрнесту, что смерть есть смерть, и что мы все умрем вот так же, и что на его счету множество убитых, птиц или зверей — это неважно. Убийство есть убийство, Эрнест. Отбор не оправдывает гнусности.

— Это что, такой принцип? — буркнул Хемингуэй.

— Конечно. Ты же возводишь в принцип свою идею об убийстве по выбору.

— Да будь я проклят, если дойду до того, чтобы ради какого-то принципа убивать синичек и певчих птиц.

— А разницы тут нет,— уверенно сказал Скотт.— Что львы, что соловьи, быки или антилопы — все равно...

— Это что джин, что виски — все равно,— сказал Хемингуэй.—

Но погляди, что ты с ними делаешь. И, черт бы тебя взял, погляди, что они делают с тобой.

— Предоставляем слово доктору Эф Скотту Фицджеральду,— сказал Скотт.— Доктор Фицджеральд утверждает, что лучше быть чувствительным алкоголиком, чем задубевшим здоровяком с непробойной шкурой. Вот в чем разница, Эрнест.

— Ох, ради бога перестаньте,— сказала Фиби, а Сара Мерфи добавила:

— Да, это уже какое-то ребячество.

И даже Бо сказала:

— Я охочусь с десяти лет, Скотт, но вряд ли меня можно назвать задубевшей.

Только Зельда не сказала ни слова. Она тихонько напевала «тимта-та, тим-та» и плела венок из веток букового дерева, потом опустилась в траву на колени перед Хемингуэем, водрузила венок ему на голову и сказала:

Венок из роз для юных дней,
Мирт — для годов расцвета силы,
Фиалки — для могил друзей
И лавр — для Эрнста могилы [1].

Мне казалось, что Хемингуэй сейчас ее ударит, но он поднял бутылку шампанского, из которой только что пил, и опрокинул ее над золотистой головой Зельды. Струйки потекли с волос на ее лицо.

Зельда вскочила на ноги.

— Какая гадость, Эрнест, оно же липкое!

— Это помазание, Зельда,— сказал Хемингуэй.— Ты помазана вином твоего безумия.

Зельда знала — Хемингуэй считает, что она не только ненормальна, но еще и дурно влияет на Скотта, позволяя ему пить, и мне стало жаль Зельду — на мгновение она показалась мне совершенно уничтоженной. Скотт упорно старался не замечать их дуэли. Но тут Зельда сказала слова, которые теперь, на расстоянии многих лет, кажутся столь грустно пророческими, что, вспоминая их, я восхищаюсь ее проницательностью и чутьем.

— Мы с тобой очень похожи, Эрнест,— спокойно сказала она, снимая с его головы венок.— Мы оба очень боимся смерти. Да, мы боимся смерти. Но я умру мужественно, я сгорю в огне, а ты пустишь себе пулю в лоб.

Зельда надела венок себе на голову и, сбросив туфли, стала танцевать в белых чулках, и я ручаюсь, что видел слезы в глазах Скотта, смотревшего на нее с восхищением.

Все остальные растерянно примолкли, все ощущали напряженность, мало что понимая в этой путанице, а я знал, что спор еще далеко не кончен. И весь остальной день будет логическим продолжением ссоры, с которой он начался, и отношения Скотта и Хемингуэя не станут лучше, а обострятся еще больше. Должно быть, Скотт много выпил — утром кальвадос и шампанское за ленчем,— но он не казался мне пьяным, хотя позже Хемингуэй объяснит происшедшее, обвиняя Скотта в том же, что всегда, и снова затеет прежний спор.

Хемингуэй заглянул в мой ягдташ, сосчитал трофеи и был приятно удивлен.

— Неплохо, мальчуган. Совсем неплохо,— сказал он и предложил мне обменяться партнерами.

— Ты пойдешь с Бо, а я, если хочешь, возьму Скотта, потому что с ним сейчас шутки плохи, он слишком опасен.

[1] Перефразированные строки из стихотворения английской поэтессы Кристины Россетти (1830—1894). Перевод Виктора Лунина.

Но мне не хотелось, чтобы Скотт и Хемингуэй с ружьями в руках оставались наедине, и я почувствовал, что должен оберегать Скотта. Я боялся, что дело может кончиться плохо.

— Если вы не возражаете, я останусь со Скоттом,— сказал я.

— Как тебе будет угодно.— Хемингуэй набил карманы патронами из стоявшего под деревом ящика.— Но ты с ним поосторожнее, мальчуган. Скотти способен на самые дикие выходки — куда хуже, чем убивать жаворонков и коноплянок.

— Ничего, я справлюсь,— сказал я.

Мы снова отправились на охоту, на этот раз в глубь леса, в густые заросли. Теперь мы шли ближе к длинной цепи невидимых загонщиков, которые где-то далеко впереди вспугивали и гнали куропаток в нашу сторону. Слева и справа уже слышались выстрелы, и первая куропатка вспорхнула почти из-под ног Скотта. Он вскинул свою двустволку, и я ждал двойного выстрела, потому что Скотти быстро научился стрелять из двух стволов почти одновременно.

— Давай! — крикнул я.

Но Скотт прицелился и тут же опустил ружье.

— Я больше не стреляю, Кит. Если б я ее сейчас подбил, это было бы хладнокровное убийство.

Он зашел по колено в мягкую сухую траву. Приятно пригревало солнце, стоял чудесный день, и в зеленовато-голубом небе Аквитании не было ни единого облачка. Над дикими цветами жужжали пчелы, и шелестели под солнцем высохшие травы.

— Возьми-ка,— Скотт протянул мне свою двустволку.

Я заколебался.

— Я больше не охочусь,— произнес он.— Я же тебе сказал.

Я понимал, что ружье ему не понадобится, но брать двустволку мне не хотелось. И я отказался. Я предпочитал свое ружье.

— Тогда иди впереди меня,— сказал Скотт.— А я буду тащиться сзади.

— Может, вы хотите сбежать отсюда? — спросил я.

— Чего ради? Я буду наслаждаться болотной грязью и всласть надышусь на гескленовском воздухе гескленовским танином. Восточный ветер будет овевать меня вонью его денег.

Скотт не внушал никаких опасений, и я радовался предстоящей охоте.

— Ну ладно,— сказал я и пошел вслед за Тома, который поторапливал нас сердитой жестикуляцией.

Целый час я был поглощен охотой — чем ближе мы подходили к невидимым загонщикам, тем чаще попадались куропатки, несмотря на стоявший в воздухе тошнотворный запах сыромятной кожи. Я почти ни разу не промахнулся, и Тома пришлось дважды опорожнять мою сумку в металлические ящики на колесах, которые потом должны были привезти загонщики.

Со всех сторон я слышал выстрелы. Скотт исчез из виду, но немного погодя я заметил, что он направляется в ту сторону, где охотились Хемингуэй и Бо. Потом я на время забыл о нем, пока не увидел, что он довольно далеко углубился в участок Хемингуэя; я даже остановился на небольшом холмике, стараясь проследить, куда он идет.

— Почему мосье пошел туда? — спросил егерь. Он тоже стоял на холмике и, очевидно, встревожился за Скотта.

— Не знаю,— сказал я.— Но...— Я не сразу находил французские слова.— Ничего с ним не случится.

— Мосье де Гесклен велел нам ни в коем случае не менять места.

— Знаю. Но он больше не будет стрелять. Он не охотится.

— Это опасно, если другой американский мосье не знает, что он там.

— Да. Но он позади американского мосье.

— Даже если так, все равно опасно.

— А что вы можете предложить?

— Я должен пойти и разыскать его.

— Хорошо. Я, пожалуй, тоже пойду с вами.

— Нет. Вы, молодой мосье, идите все прямо и прямо, пока не увидите белый дом на холме. Это кожевенная фабрика. Тут конец. Но пока вы дойдете, я уже буду там. Я приведу другого мосье. Он недоволен. Мы все должны прийти вместе, иначе мосье де Гесклен спросит с меня. Так что, пожалуйста, не торопитесь. Пожалуйста, будьте осторожны. Пожалуйста, не теряйте меня из виду, мосье. Вы поняли?

— Отлично понял.

Егерь ушел медленным, тяжелым шагом, а я почему-то встревожился.

Пожалуй, никто кроме Скотта и Хемингуэя толком не знал, что произошло в тот день. Бо знала больше всех, а егерь Тома одному только де Гесклену рассказал о том, как, по его мнению, все это было. Скотт и Хемингуэй рассказали мне две совершенно разные истории; впрочем, эти истории чуть-чуть изменялись, когда Скотт и Хемингуэй начинали спорить. Я могу лишь соединить наиболее правдоподобные версии из всего, что я услышал, и добавить то, что я знаю о настроениях Скотта в тот день.

— Я хотел только одного,— сказал мне однажды Скотт, пребывавший в благодушном, доверительном настроении.— Показать Эрнесту, каково это, когда в тебя стреляют так, как он стрелял в куропаток. Мне думалось, парочка неожиданных выстрелов неизвестно откуда и пули, просвистевшие над головой, заставят его что-то понять. Но беда в том, что когда ты кого-то выслеживаешь, Кит, то тебя это так увлекает, так волнует и завораживает, что ты начинаешь охотиться всерьез. И ты не поверишь — под конец мне действительно хотелось всадить в него пулю.

Скотту повезло — на небольших холмиках было много невысоких изгородей и высоких кустов вереска, и ему было где укрыться, пока он искал место, откуда можно сделать первый выстрел так, чтобы пуля пролетела над головой Хемингуэя. Очевидно, он нашел такое место, потому что, как сказала мне Бо, Хемингуэй стоял под низкорослым дубом, поджидая грузную куропатку, которая побежала в кусты и должна была вот-вот появиться опять, Скотт вдруг выстрелил из обоих стволов сразу и на голову Хемингуэя с дерева посыпались листья и сучки.

— Кто это, дьявол его побери?— быстро обернувшись, крикнул Хемингуэй.

Из-за кустов не последовало ответа, но, по словам Бо, они слышали, как кто-то убегал, хотя им и в голову не пришло, что это может быть Скотт.

— Нет, ты видела? — крикнул Хемингуэй Бо, стряхивая листья с головы.

— Конечно.

— Черт его дери, он мне чуть голову не снес.

— Но кто это был?

— Не знаю, но если когда-нибудь узнаю, я убью этого идиота. Должно быть, кто-то из тех полоумных французов в зеленых охотничьих шляпах и с жемчужными булавками в галстуках.

Никто из них не заподозрил Скотта, и, поверив, что кто-то из французов по ошибке забрел на чужую территорию, Хемингуэй и Бо продолжали охоту. Но Хемингуэй то и дело злобно оглядывался через плечо, как будто полоумный француз был еще где-то здесь, поблизости.

— Во второй раз,— рассказывал мне Скотт,— я действовал очень умно. Я знал, что если я поперчу Эрнеста во второй раз, он все бросит и ринется туда, откуда был выстрел. Знаешь, Кит, я, между прочим, отличный солдат. Я вовсе не желал попадаться ему в руки. Надо было его перехитрить. Я забежал вперед и выбрал место, мимо которого наверняка пройдет Хемингуэй. Я влез на один из высоких буков, я чуть не сломал себе шею, но уселся на ветках и стал поджидать его. Настроение было у меня превосходное.

Скотт рассмеялся и даже притопнул ногой.

— Он прошел прямо подо мной,—продолжал Скотт.— Но я выждал, пока он пройдет ярдов двадцать, и пальнул по кустам сбоку от него. Бог ты мой, видел бы ты, как он подпрыгнул, и слышал бы, как он взревел!

— Могу себе представить,— сказал я.

— Нет, не можешь. Он взревел, как бык, и бросился в мою сторону. Он испугался до смерти. Он был в зверином страхе и в зверином поту и звал егеря бежать с ним в чащу.

— И тогда-то он выстрелил в вас?

— Нет. Нет. Он не мог меня найти. Он метался по лесу, кричал, и ругался, и угрожал. Он рыскал по кустам, стараясь меня разыскать, но ему и в голову не пришло взглянуть наверх. А я сидел на дереве и наслаждался — ведь только так и можно было проучить Эрнеста. Спорить с ним бесполезно. Ему надо доказывать на деле.

— Вряд ли он мог понять, что́ вы делаете, если он не знал, что это были вы,— заметил я.

Хемингуэй потом рассказывал мне, что не выстрелы его встревожили и даже не мысль, что кто-то хочет его напугать,— нет, он пришел в ярость от нелепости этой затеи и уже смутно догадывался, что это Скотти откалывает свои штуки.

Поначалу Бо, присоединившаяся к Хемингуэю, отказывалась верить, что это был Скотт.

— Да кто ж это может быть, кроме нашего великого принстонского поэта? Кто тут еще настолько ненормален или настолько пьян, чтобы вот так баловаться с ружьем?

— Ну, я не думаю, что он так уж пьян,— сказала Бо.

— Значит, он сумасшедший, и надо его пристрелить, пока он кого-нибудь не убил.

— Но это же совершенно дурацкие выходки,— сказала Бо.— По-моему, лучше просто плюнуть на все это, Эрнест. Ради бога, не старайтесь ему отомстить.

Но Хемингуэй твердо решил дать Скотту урок стрельбы.

— Он думает, что стреляет в тире. Этот вундеркинд никогда не видел, что бывает, когда один человек выстрелит в живот другому. Он не знает, как выглядит человеческое тело, когда в него всаживают полфунта свинца.

— Но вы ведь не можете проиллюстрировать ему это,— нервно произнесла Бо.

— Чуточка мяса с его зада даст ему некоторое представление.

— О, что вы, Эрнест! Вы, конечно, не сделаете ничего подобного.

— Сделаю. Я говорю серьезно, Бо.

Теперь двое мужчин охотились друг за другом, и когда Скотт выстрелил в следующий раз, Хемингуэй был ярдах в пятидесяти по-

зади Бо и пригнулся, чтобы пролезть сквозь дыру в изгороди. Выстрел был громкий, Хемингуэй на мгновение выпрямился, потом рухнул на землю. Бо говорила, что, когда она обернулась, Эрнест лежал на земле ничком.

— О, боже,— услышала она откуда-то крик Скотта.— Я попал в него!

Бо не верилось, что это так. Потом она увидела Скотта, выскочившего из сделанного им укрытия в виде маленького шалаша, ярдах в двадцати от них.

— Он жив? — крикнул он Бо.— Матерь божья, неужели я его убил?

— Дурак! — крикнула ему Бо и побежала к Хемингуэю.

— Но я целился далеко в сторону! Я не мог попасть в него,— заговорил Скотт.— Ради господа, Бо...

Скотт первый добежал до Хемингуэя, и когда он, еле переводя дух, нагнулся посмотреть, где рана, Хемингуэй прорычал что-то неразборчивое и вскочил на ноги, и, по словам Бо, Скотт так испугался, что лицо его побелело, зеленые глаза стали желтыми, как у кошки, и он едва удержался на ногах.

— Господи Иисусе, Эрнест,— проговорил он, еле переводя дух.— Ты перепугал меня до смерти, болван ты эдакий!

— Это еще не перепуг,— заорал побагровевший Хемингуэй.— Это еще легкая встряска.— И, подобрав с земли свою двустволку, он взял Бо за локоть и отвел ее в сторону, на маленькую полянку.— Если ты сдвинешься с места хоть на дюйм туда или сюда,— сказал Хемингуэй Скотту,— ты получишь весь заряд. Так что стой смирно, потому что стрелять я буду из обоих стволов.

— Ох, нет, Эрнест! — воскликнула Бо.— Нет!..

Но Хемингуэй ухватил Бо за пояс ее брюк.

— Стой здесь,— приказал он.

Скотт уже овладел собой. Он стоял прямо и спокойно.

— Давай,— сказал он.— Я верю в твою меткость. Ты промахнешься.

— Возможно...

— Ну, давай.

— Нет!..— вскрикнула Бо.

— Помалкивай, Бо,— весело сказал Скотт.— Эрнест знает, что делает, и я тоже.

— Ты сумасшедший,— сказал Хемингуэй.— И к тому же пьян.

— А ты по крайней мере теперь знаешь, каково это, когда за тобой охотятся, запугивают и стреляют в тебя,— спокойно сказал Скотт.

— Я и так знаю, болван несчастный, каково это, когда за тобой охотятся, запугивают и стреляют в тебя. Что же ты хочешь доказать?

— Я просто хочу, чтобы ты знал,— чопорно сказал Скотт,— что все, что ты делаешь в последние дни, ведет к страданиям и смерти. Вот до чего ты дошел. Эрнест, только ты слишком испорчен, чтобы понять это.

— А ты дерьмо! — сказал Хемингуэй и выстрелил из одного ствола.

Скотт потом говорил мне, что ему показалось, будто низко над землей пронесся плотный, колючий ветер.

— Я даже не вздрогнул,— рассказывал он,— а Эрнест был так поражен моим поведением, что из второго дула выстрелил гораздо ближе ко мне. Комки земли, клочья травы и вереска обсыпали мне лицо и одежду, а в левой ноге я почувствовал жгучую боль. И увидел кровь...

Бо не выдержала. Наша всегда собранная англичаночка, которой до всего было дело, уже много дней тревожилась о них и оберегала друг от друга, но выстрелов Хемингуэя ее нервы не выдержали. Она потеряла сознание.

— Все мои старания были ни к чему.

Когда она пришла в себя, Скотт и Хемингуэй склонились над ней, стоя на коленях. Скотт обмахивал Бо зеленой охотничьей шляпой, а Хемингуэй похлопывал ее по щекам.

— Я сделала какую-нибудь глупость? — спросила Бо.

— Да. Ты хлопнулась в обморок.

— Ты сразу сплющилась, как складной цилиндр,— сказал Скотт.

— Ох, правда? — простонала она.— Но это только по вашей дурацкой вине,— заявила она, садясь на траве.— Вы оба вели себя, как дикие звери. Вы чуть не убили друг друга.

— Ну что ты, Бо,— возразил Скотт.— Я целился так, чтоб промахнуться на целую милю, и Эрнест тоже.

— Ты едва не снес мне голову,— сказал Хемингуэй.

— Чепуха,— заявил Скотт.— Дело в том, что ты никудышный стрелок. Ты в меня попал. У меня в теле свинец. Я тоже могу показать свои раны.

Скотт начал усиленно хромать, придерживая рукой ногу выше колена, и Бо рассмеялась почти истерическим смехом. А Хемингуэй сердито схватил свой ягдташ и зашагал к конечному месту встречи у белого дома на склоне холма.

— Погоди минутку,— остановил Скотт Бо, которая хотела было пойти вслед за Хемингуэем.— Клянусь тебе, Бо, он в меня попал. Я покажу тебе ногу.— Он попытался закатать узкую штанину выше колена, чтоб показать ей ранку, но штанина никак не закатывалась.

— Да не надо,— сказала Бо.— Пошли.

— Но клянусь тебе, Бо, это правда. Честное слово.

Скотт уже снял башмаки и тщетно бился над бриджами. Потом он увидел двух егерей, вышедших из маленького белого домика. После первого выстрела Скотта они старались держаться в стороне, но последняя перестрелка погнала их к Ги де Гесклену — два сумасшедших американца пытаются убить друг друга, пусть мосье де Гесклен пойдет туда и вмешается. Мосье де Гесклен шагал позади егерей.

— Сейчас Ги сорвет с меня эполеты,— сказал Скотт.— Он хочет вытурить меня из своей феодальной армии. Нет, пожалуй, вызвать меня на дуэль. Ну да, конечно, это в его стиле.

Но на полпути группа встретила Хемингуэя, они остановились, несколько минут поговорили о чем-то и все вместе повернули обратно к белому дому.

— Мы спасены,— сказала Бо.— Интересно, что сказал им Эрнест.

— Он им сказал, что я пьян как скотина и не стоит со мной возиться,— с горечью ответил Скотт.

— Не будьте злюкой, Скотт. По крайней мере он спас вас от ужасного нагоняя, на которые Ги такой мастер.

— Пожалуй, я лягу вот здесь, и пусть меня засыплют листья,— сказал Скотт.

— Нет, пойдемте,— сказала Бо.— Прошу вас...

— Ты знаешь, Бо, что я абсолютно трезв. И все же чувствую себя, как пьяный. Так что, вероятно, Эрнест правильно сказал насчет охоты и убийств. И то и другое действует, как джин.

— Эрнест неправ. Во всяком случае, вы-то не должны так думать.

— Но я мог бы охотиться не хуже, чем он,— сказал Скотт.— А может, и лучше.

— Да не надо об этом думать,— ответила Бо.— Зачем вы себя терзаете?

— Беда только в том,— продолжал Скотт,— что нельзя выследить дичь на Елисейских полях или на Парк авеню, зато можно напиться до обалдения, пройдя из одного конца города в другой.

— О господи!

Скотт вздохнул и стал обуваться.

— Это, конечно, скверная альтернатива,— сказал он.— Но охотиться, выслеживать и убивать в сто раз хуже, чем пить, кутить и танцевать; и я должен как-то убедить в этом Эрнеста.

— Если вы его еще увидите — во всяком случае, по эту сторону океана,— считайте, что вам крупно повезло.

— Ты думаешь, он так рассердился?

— По-моему, да.

— Но это же смешно,— сказал Скотт.— Как он не понимает, что я старался только помочь ему?

— Скотт, вы сошли с ума. Вы абсолютно, безнадежно сумасшедший. Иногда вы даже не понимаете, что вы делаете.

— Ты в самом деле так думаешь? — упавшим голосом спросил Скотт.

— Да, я так думаю. По правде говоря, вы оба перестарались. Вот в чем беда,— сказала Бо, пытаясь успокоиться и успокоить Скотти.— Вам необходимо на какое-то время оставить друг друга в покое.

— О нет! Нет! Это не выход,— сказал Скотт, хромая вслед за нею.— Мы схватили друг друга за глотки. И сейчас не можем отпустить. Вот тебе вся правда. Но не беспокойся, Бо. Эрнест не порвет со мною. Он все вынесет. И ничего с собой поделать не сможет. Так же, как и я. Мы оба должны выяснить, что стоит между нами. Это ссора не на жизнь, а на смерть. И ему, так же как и мне, интересно узнать, чем она кончится.

Глава 6

Скотт был прав. Я тоже считал, что никуда Хемингуэй не денется.

Скотт до того в этом не сомневался, что и бровью не повел даже тогда, когда мы узнали, что Хемингуэй исчез. Первым вернулся в дом, не дожидаясь нашего возвращения, схватил плащ, сапоги и скрылся. Даже Хедли, жена, не знала, куда он отправился.

— Проголосовал и сел в грузовик с кожевенного завода Ги, прямо в кузов, а рядом коровьи кожи громоздились, как торт «наполеон». Куда едет, не сказал, но думаю — обратно в Париж.

— Ну, а я обратно в Фужер,— сказал Скотт.

— А я в Дёвиль,— сказала Зельда.

Бо, Скотт и я сели в «фиат» и уехали из Ла-Герш-де-Бретань, но сперва Ги де Гесклен долго песочил Скотта за нарушение дисциплины в строю, за ношение оружия в пьяном виде и несоблюдение règles du jeu[1].

— Впредь вам нельзя будет тут стрелять, Скотт, если, конечно, вы не научитесь пить.

— Как я пью — это уж мое личное дело,— сказал Скотт не без достоинства.

— Ну не совсем. Вы чуть не убили Эрнеста.

— Не ваша забота. Как-нибудь уж мы с ним сами разберемся.

[1] Правил игры *(франц.)*.

— И честную охоту вы превратили в бойню...

— А каждая пташка оплачена трудом и пóтом американских девушек,— весело заключил Скотт (Фиби делала деньги на туалетном мыле).

— Ну пока,— сказал де Гесклен.

— Пока,— сказал Скотт и погнал «фиатик» со двора прочь, как подбитая птица удирает от надсадных, лишних выстрелов.

Но пусть даже Скотт действительно не сомневался, что Хемингуэй вернется, не знаю, как бы он еще себя повел, если бы вдруг не обнаружил в Бо новых чар — верней, если бы он не позволил себя ими опутать. Может, он бы смирился и поехал в Париж, может, подался бы за Зельдой в Дёвиль и ждал бы там у моря погоды. На улице, в машине, в вестибюле гостиницы, в ресторане — Бо чуть что брала его под руку ласковой, невинной ручкой; прижималась к нему, заглядывала в лицо, как любовница, ловила каждое слово, как нежная подруга. Она не опекала, не воспитывала его, она просто доказывала Скотту, до чего она его любит, и уже через час немыслимо его взвинтила. Я мучился от ревности и чувствовал себя третьим лишним; но когда я мрачно предложил Бо оставить их наедине, она шепнула:

— Молчи, дурачок. Без тебя ничего бы не вышло.

Чего не вышло бы?

Теперь-то я думаю, она имела в виду свое собственное поведение. Бо чувствовала себя как рыба в воде, когда рядом с ней было по крайней мере двое. Я сам тогда еще почти не оставался с ней наедине, зато потом как-то мы провели вдвоем целый день, и она вдруг стала совсем другая — колючая, скованная, в общем, всеми силами давала мне понять, что я напрасно размечтался и все ее ласковые взгляды и слова ничегошеньки не значат. Наверное, она позволяла себе нежность, только когда был невозможен следующий шаг, наверное, как огня боялась этого шага.

А тогда все у нее прекрасно вышло, и Скотт здорово загорелся. Он в нее просто вцепился. То была не юная страсть, ему предлагали нежность и поддержку, и он с радостью и довольно даже подло (я так считал) отдался новому переживанию, как будто из этого могло получиться что-то путное. В первый же вечер в Фужере он спросил меня за ужином, когда Бо пошла наверх проверить его белье (она теперь пеклась о его нуждах):

— Ты сколько раз влюблялся, а, Кит? Ну так, чтоб поддавалось подсчету?

Я покраснел. Тема была не по мне.

— Как это — подсчету?

— Ну, в твоем возрасте,— сказал он,— я в этом деле ввел счет от единицы до тысячи.

— Неужели тысячу раз влюблялись?

— Господи, нет, конечно. Просто я каждой девушке ставил оценку, отметку, в зависимости от того, что мне в ней нравилось, что не нравилось.

— Ну и как? Срабатывало?

— Отлично. И я научился трезво смотреть на девушек. Увы, я отказался от своей системы, встретив Зельду.

— А Зельде что поставили?

— Когда дошло до дела, Кит, мне не захотелось ставить ей отметку по моей тысячебалльной системе.

— А зачем же,— спросил я ворчливо, потому что ревность не отпускала меня,— вообще нужна эта ваша система?

— Затем, что в твоем возрасте я открыл, что есть два вида люб-

ви — разумная, трезвая любовь, поддающаяся оценке, и совсем другая. Ты читал «Mémoires de deux jeunes mariées» [1] Бальзака?

— Нет.

— Он почти так же рисует две провинциальные пары — там один брак по любви, другой — по расчету. Помню, в семнадцать лет я влюбился в одну итальянку. Ее звали Филлис Искус. То есть по-настоящему-то ее фамилия была что-то вроде Искусьон, но ее сократили на английский лад, и она стала Искус. Ты представляешь себе, Кит,— влюбиться в девушку по фамилии Искус? Сколько тут восторга! Я бродил по ночам под старыми вязами Сент-Пола и без конца твердил ее фамилию. Филлис Искус. Я влюбился в темную сочность имени, вернее, в тот образ, какой оно во мне вызывало. На свою беду я старался уговорить девицу соответствовать образу. Ей это почти удавалось. Она была полна пышной, милой и плотской итальянской неги. Но она всегда и упорно толкала меня локотком в бок. Что-что, а эта манера мне претит, но я никак не мог отучить от нее девицу. Пришлось снизить ей отметку с шестисот сорока семи до трехсот сорока шести, и так она ее и не исправила.

Я расхохотался.

Но Скотт говорил совершенно серьезно:

— Ты считаешь, видно, что такой подход совершенно лишен романтичности?

— Ну, а на самом деле?

— На самом деле ничего подобного. Система открывает прекрасные возможности, и я был справедлив. Я требовал, чтобы девушки и меня расценивали по этой системе.

— Ну, и какую же отметку вам поставила Филлис Искус? — спросил я, а официант тем временем нависал над нами с меню в руке, а мы ждали, пока наша распорядительница разберется с бельем Скотта и вернется к столу.

— Она мне этого не сообщила. Но несколько лет спустя я встретил ее в Дейтоне, в Огайо, она тогда вышла замуж за какого-то гостиничного чиновника и ругательски ругала меня за мою систему, потому что, она сказала, с кем бы ни связалась, она всем с тех пор ставила отметки и даже заносила их в записную книжку.

— Надо и мне попробовать,— сказал я.

— Система превосходная, Кит, и убережет тебя от ужасных промашек. Ведь хоть раз ты уже влюблялся так, чтоб отметку можно поставить. Верно же?

Я немного подумал.

— Наверное,— сказал я.

— Ну и что это была за девушка?

— Прекрасная пловчиха, рыжая, и кудрявые волосы зачесаны за уши.

— Рыжим я всегда ставил низкие отметки. А что бы ты теперь поставил своей пловчихе?

Господи, подумал я, и чего ему от меня нужно? Я тщательно разграфил забытые достоинства Доди Даулин и не натянул ей и пятисот.

— Четыреста пятьдесят примерно,— сказал я.

— Ну, а Бо? — спросил Скотт.

Я снова покраснел, и мои подозрения насчет того, куда он гнет, окончательно подтвердились. Скотт зачем-то добивался моей откровенности, но я сказал, что не думал с этой точки зрения насчет Бо.

— Ну, а я думал,— сказал он,— и Бо у меня получила очень хо-

---

[1] «Записки двух новобрачных» *(франц.)*.

рошую отметку. Примерно девятьсот. То есть она обладает прекрасными качествами, с какими только жить и жить.

— Я не так уж близко ее знаю,— буркнул я. Ужасно глупо с его стороны было толковать мне про ее качества.

Но я сразу устыдился своих недобрых мыслей, потому что тут на него накатила минутка неодолимой тоски и он сказал:

— В том-то и беда, Кит, что второй род любви такой, что с ней долго не проживешь, не губя себя вконец. Вот я и надумал вернуться к старой испытанной системе. Почему бы не искать разума и страсти в одной женщине, вместо того чтоб распределять их на двух?

— То есть на Зельду и Бо? — спросил я.

— Ну да.

— Они же ничуть не похожи.

— Именно. В том-то и дело.

— Вы плохо кончите,— сказал я. Мне хотелось его позлить.

— Мне уже плохо, старик. Но что дальше будет — вот в чем весь ужас.

— В старости, что ли?

— Господи, какая старость. Я в тридцать три года умру. Нет. Когда время любви миновало и звезда закатилась моя. Когда не помешала бы разумная связь. Но боюсь — ни я, ни Зельда на это не способны.

Официант сказал:

— Пожалуйста, мосье, уж я вас попрошу. Может, закажете? А то поздно. Вы уж пожалуйста...

Скотт взял у него меню, и на лице его отразилось самодовольство.

— Ты заметил,— сказал он,— я за весь день ни капли джина не выпил. Ни глоточка. Гарсон... Нет... Подожду Бо. Ничего. Attendez...[1] Видишь, как ловко мной управляет эта англичанка?— Скотт вздохнул и сказал: — Нет, ей-богу, Кит. Честное слово. Вообще-то я англичан не люблю. Не то что Эрнест. Но Бо просто какой-то образец, правда? Если я когда-нибудь сподоблюсь ее английских милостей, я многое пойму.

Снова мне захотелось позлить Скотта. Захотелось сказать: «А вам какое дело до ее милостей? Соблазняйте кого-нибудь еще». Но ничего этого я не сказал, да и Бо как раз вернулась. Она села к нам за столик, и ей явно очень хотелось что-то нам поскорей выложить. Она всегда озабоченно морщила лоб, когда ей хотелось что-то выложить, и сейчас у нее был именно такой вид.

— Я ходила в старую почтенную гостиницу на углу,— сказала она,— и справлялась, не видели ли там случайно Эрнеста.

— Зачем? — спросил Скотт.— Что ты все беспокоишься об этом старом убийце?

— Потому что вы, Скотт, очень глупо себя вели.

— Эрнест как Зельда,— сказал Скотт.— Дуется, терпит, молчит, а потом срывается, как бульдог. Не бойся, он еще объявится.

— Там мне сказали, что неделю назад проезжал один американец — Хофмейстер и искал другого американца — Смита.— Бо засмеялась и подозвала официанта.— Интересно, кто такие.

— Известные акробаты,—сказал Скотт.— Хофмейстер и Смит. Хемингуэй и Фицджеральд. Элиот и Паунд. Мировые знаменитости. Бо,— сказал он,— можно мне чуточку джина? На донышке?

— А вы еще не пили? — спросила Бо.

— Ни капли. Ей-богу. Спроси у Кита.

---

[1] Подождите... *(франц.)*

Бо не стала спрашивать у Кита. Она не взглянула на меня. Она сосредоточилась на Скотте, а когда она на ком-то сосредоточивалась, других она почти не замечала.

Она заказала какое-то местное pot-au-feu [1], а Скотт заказал себе выпить, а пока мы ждали, Бо пошла мыть руки (так она сказала). Но мы поняли, что она опять пошла искать Хемингуэя. Она удалилась деловитой, легкой трусцой, почти бегом — она всегда так ходила, когда торопилась, а мы смотрели ей вслед.

— Знаешь, Кит, а ведь секс — единственное здравое установление, господа,— сказал Скотт.— Ты это знал?

Я ответил, что нет, не знал.

— Меня учили считать его скорей кознями дьявола.

— Порочная, еретическая точка зрения,— сказал Скотт.— Выдумки протестантов!

Бо вернулась. Мы смотрели, как она идет к столику. Она сперва не заметила, что мы на нее смотрим, и на секунду Скотт увидел и я увидел чистую, безукоризненно хорошенькую и безумно озабоченную девушку, целиком занятую своими мыслями. Маленькая грудь, узкое английское личико, легкие волосы, ярко-красные губки, выщипанные бровки. У обоих у нас мелькнула грешная мысль, и Скотт шепнул:

— В Бо нельзя не влюбиться. Одни эти ее английские ноги чего стоят. Господи, и откуда она все это берет?

Непонятно, то ли он меня дразнил, то ли маскировал собственные тайные намерения.

В общем, мне это не понравилось, весь вечер я дулся, а потом я сбежал и предоставил им отдаваться велению секса, если уж к тому у них шло. Они были явно в восторге друг от друга. Только один раз Бо обратила на меня внимание. Пока Скотт говорил с официантом, она наклонилась ко мне и шепнула мне прямо в ухо, как всегда, когда хотела чего-то добиться:

— Кит, ну пожалуйста, поищи Хемингуэя. Он где-то тут, я чувствую.

— Сама его ищи,— сказал я и после кофе сразу же ушел, чтобы они сами разобрались, чего им друг от друга надо. Мне-то какое дело?

Но наутро за завтраком я все смотрел на них и ломал себе голову над вопросом, поладили они или нет. Скотт как-то просвещал меня насчет того, что Бальзак назвал накаленным взглядом, это, он объяснял, такой взгляд, каким обмениваются двое, вожделеющие друг друга или друг другу принадлежащие.

— Тут все всегда ясно,— сказал Скотт,— надо только присмотреться.

Но как ни присматривался я к Бо и Скотту, ловя этот самый «накаленный взгляд», я так и не смог толком ничего понять. В общем, все ужасно запуталось, Скотт сидел мрачный, а Бо, наоборот, была очень мила и показала мне за завтраком фокус, до которого только она могла додуматься. Длинными, неуемными своими пальцами она раскатала croissant [2] до исходной формы плоского ромбика, намазала маслом, джемом, снова скатала и превратила в прежний croissant.

— А теперь ты,— сказала она.

Я попробовал было, но у меня ничего не вышло.

— Его надо разгладить,— сказала Бо.— Вот так. На, бери мой.

Я откусил кусочек. Он был сладок, как сама Бо, и с тех пор я только так и ел croissant.

---

[1] Мясо с овощами *(франц.)*.

[2] Булочка в форме рожка или подковки *(франц.)*.

— Нечего из еды делать игру,— строго сказал Скотт.— Будет вам. Это нисколько не поэтично, Бо. Даже грешно.

— Ш-ш,— сказала Бо.

Нет, по их виду ничего нельзя было заключить, но, правда, вчерашняя безмятежность начисто изменила Скотту.

— Я думал, старому убийце пора бы объявиться,— сказал он, и я понял, что если вчера он кое-что позабыл насчет Хемингуэя, то сегодня припомнил. Что Гектор без Ахиллеса? И где Ахиллес?

— Он где-то тут! Я уверен,— сердито сказал Скотт сразу после завтрака.— Давайте проверим все гостиницы. Потом бардаки. Потом базы для гонщиков. Потом ипподромы.

— Скотт, миленький,— как-то таинственно прошептала Бо (голосом она тоже выделывала черт-те что — тут он ее не подводил, как и пальцы, губы, волосы),— я уж вчера подумала, если Эрнест прячется где-то в гостинице, он в конце концов сам объявится. Чего же его искать, пока он не хочет обнаружиться?

— Я же говорил,— сказал Скотт,— он как Зельда. За ним нужен глаз да глаз, не то он удерет.

Мы облазали все холмы Фужера и по всем гостиницам (а их там шесть) расспрашивали, не останавливался ли у них американец по фамилии Хемингуэй — большой, красивый, темноусый, с огромными ножищами и в грязном плаще.

Мы его не нашли, но одна консьержка, особа с ямочками на локтях, сказала, что странный малый в плаще с огромными ножищами ел вчера у них в ресторане и даже раскокал кофейную чашку, потому что у него палец такой громадный, что не пролез в ручку.

— Это Эрнест, больше некому,— сказал Скотт,— и он, конечно, пока где-то тут.

Но мы его не нашли, и как ни присматривала Бо за Скоттом, он все же остановился у какого-то бара и опрокинул стаканчик джину.

— Боксер сам никогда не знает, когда выйдет из угла,— объяснил он.— А пока давайте забудем про него и пойдем поглядим на крепость мосье Гюго под горкой, хотя, конечно, будь с нами Эрнест, уж он бы все нам живописал не хуже самого Гюго, который, по его мнению, сделал это блистательно, а по-моему, ничего блистательного. Ровно ничего.

Он остановился еще у одного бара («Бар Вело») и опять выпил джину. Бо и бровью не повела, и вот мы прошли через большие деревянные ворота во двор фужерского замка, и Скотт вдруг забыл про Хемингуэя и, подбоченясь, с восхищением уставился на могучие каменные стены.

— Невероятно! — сказал он.— Смотрите-ка! Живейшее отражение кровопролитных древних битв. Теперь-то мне ясно, почему Гюго использовал все это для напыщенных писаний, от которых Эрнест в таком восторге.

— Старик Гюго ничего этого не использовал для напыщенных писаний, от которых я в таком восторге, невежда ты несчастный.

Мы до того увлеклись видом старых стен, что не заметили Хемингуэя, а он сидел сзади на остатках стены и ел виноград.

— Старый убийца! — завопил осчастливленный Скотт, и Бо поскорей оттащила меня, а Скотт бросился к Хемингуэю и стал приплясывать вокруг него.

Он приплясывал, выбрасывал на Хемингуэя кулаки и приговаривал:

— Мы все бардаки обыскали, все захудалые, паршивые притоны, куда охотники забегают удовлетворить низменные нужды.

Хемингуэй сидел на камне в одних носках и ел виноград. Он сказал:

— Ты мне должен сто американских долларов.

Скотт замер.

— За что? — спросил он.

— За наглую пьяную похвальбу. Выкладывай.

— За какую еще пьяную похвальбу?

— Ты собирался настрелять больше птицы, чем я. Помнишь? Ну, и проиграл...

— Ничего подобного,— вскипел Скотт,— я просто раздумал.

— Но слово есть слово. Выкладывай сто долларов, либо я ухожу и в жизни больше не попадусь на твои пьяные глаза.

— Господи! — сказал Скотт и скривился.— Вечно ты со своими деньгами! Ладно уж. Выдай ему деньги, Кит.

— Погоди-ка,— сказал Хемингуэй.— Детка, разве у тебя его деньги?

— Нет,— выпалил я.— И у самого меня тоже нету ста долларов.

— Тогда дай их ему во французских франках,— распорядился Скотт.

— Оставь свои деньги при себе,— сказал Хемингуэй,— нет, Скотт, уж ты у меня раскошелишься. И лучше не тяни. Ну же!

Бо посмотрела на одного, посмотрела на другого и решила вмешаться.

— Эрнест совершенно прав,— сказала она.— Вы сами с ним поспорили, Скотт, и проиграли. Надо платить.

— Тебе лучше не вмешиваться, Бо,— сказал Хемингуэй.— Мне хочется поглядеть, как ведет себя принстонский поэт, когда дело идет о чести, о которой он вечно толкует.

— Никогда, никогда я не говорю о чести,— возмутился Скотт.— Зачем о ней говорить. И не верю в красивые жесты.

— Вы оба хороши,— сказала Бо.— Ссоритесь, как школьники из-за мячика.

Но Хемингуэй не сдавался.

— Сто долларов,— повторил он.

Скотт застонал, полез в карман и вытащил оттуда двадцатисантимовую монетку. Потом усмехнулся, предвкушая забаву.

— Кидаем монетку. Или я тебе плачу вдвое, или мы квиты,— сказал он Хемингуэю.— А деньги пусть для верности пока подержит Бо.

— Нет уж,— сказала Бо.— Мое дело сторона. Сами разбирайтесь.

— Но ты же только что велела, чтоб я с ним расплатился,— сказал Скотт.

— Чтоб вы не увиливали от своих принципов,— сказала Бо.— Должны же они у вас быть?

Скотт развлекался.

— Кит,— сказал он.— Вот все мои наличные.— И он протянул мне пухлый бумажник, набитый стофранковыми купюрами.— Бросай монету.

Я нерешительно глянул на Хемингуэя.

— Ладно,— сказал Хемингуэй.— Только, чур, мое слово.

Я бросил монету. Хемингуэй сказал «решка». Мы нагнулись над монетой. Она упала решкой вниз. Скотт сделал несколько танцевальных па.

— Господь любит честных,— сказал он.— В добрых делах и праведности обретается вера.

— Господь любит пьяниц,— сказал Хемингуэй.— Монеткой праведности не докажешь.

— Зато мои сто долларов при мне, верно?..

Хемингуэй чуть было опять не вскинулся, но тут Бо сказала, что у него такой вид, будто он спал в канаве. Я тоже это заметил. Хемингуэй был весь грязный, мятый. К брюкам пристали сучки и травинки.

— А я и правда спал под открытым небом,— сказал он.

— Господи, почему?

— Искал настоящий замок Ла Тург. Единственный. Подлинный. Который Гюго описал в «Девяносто третьем годе». Который он скрывал от всех поклонников и мародеров.

— А я думал, это он и есть,— сказал Скотт.

— Естественно, старина, ты так думал, ведь ты же, вроде Марка Твена, не в силах отличить задницу Брет Гарта от жопы Дина Хоуэлса.

Я мучился, когда Хемингуэй отпускал такие словечки при Бо, но она как будто ничего и не расслышала, и я тоже все пропустил мимо ушей.

— Ну, а это какой же замок? — не отступал Скотт.— Незабвенные башни, вековечные стены и подземелья?

— Этот замок ерунда. Забудь про него.

— Хорошо. Забуду. Но где же таинственный замок Ла Тург?

Хемингуэй пыхтя натянул ботинки. Он сказал, что у него затекла спина, и Бо нагнулась и завязала ему шнурки.

— Тебе очень хочется на него поглядеть? — спросил Хемингуэй.

— Надо же нам где-то затеять литературную ссору,— сказал Скотт.

— Ладно. Тогда поедем туда, посмотрим на него и начнем ссориться.

Мы ушли со двора старинного фужерского замка, те двое впереди, мы с Бо — сзади, и Бо взяла меня под руку и сказала:

— Правда, пусть уж они сами разбираются, Кит, у них ведь все хуже и хуже. Только вот никак не пойму, при чем тут Оноре де Бальзак и Виктор Гюго.

Глава 7

В общем-то сами они о Гюго и Бальзаке почти не говорили.

Лет через десять, когда я стал их лучше понимать, я было счел, что Скотт и Хемингуэй неверно выбрали себе прообразы. Я решил было, что в Скотте очень мало от Бальзака и он куда ближе к стилю проповедей Гюго, чем Хемингуэй. А вот Хемингуэй, казалось бы, ближе к Бальзаку. Его бурное восприятие жизни всегда укладывалось в формулу: «Что есть — то есть», а таким мироощущением проникнута вся «Человеческая комедия».

Но еще позже, потом уже, когда изжила себя их эпоха, я заново оценил этот выбор истоков. Я прочел к тому времени достаточно книг, и я понял, что именно романтики вроде Гюго делали то же, что Хемингуэй. Это они надрывали душу, навязывая самим себе некую вторую ипостась. Я укрепился в своей мысли, прочтя в дневнике у Сент-Бёва, что в Гюго всегда жили два человека: выспренний поэт с одной стороны и с другой — отличный репортер. И Флобер говорил то же — что было два Гюго. Один прятался и рождал шедевры, а другая ипостась жила в Париже как скучная, высокопарная консьержка. Потому при всей разнице Гюго в самом деле в сущности подходил Хемингуэю, и спорил он в те поры со Скоттом, скорей смутно догадываясь об этом сродстве, чем будучи убежден в преимуществах Гюго, потому что Бальзака он ценил ничуть не меньше.

Ну а Скотт вечно ставил себя в положение жертвы. Поль Элюар говорил мне в 1952 году, что женщины убивались по Виктору Гюго, а бедняжка Бальзак сам по ним убивался. Скотта загубили, конечно,

не женщины, но им с той же неотступностью владела страсть, в конце концов его загубившая. Так что Бальзак очень ему подходил, и когда однажды, сидя в парижском метро, я прочел у Готье, что Бальзак мечтал о беззаветной, преданной дружбе, о слиянии двух душ, о тайном союзе двух смельчаков, готовых умереть друг за друга,— я чуть не подпрыгнул прямо в вагоне, чуть не закричал: «Да это же вылитый Скотт!» Да, я узнал Скотта, и если я нуждался еще в доказательствах, я нашел их у Бодлера, который писал, что гений Бальзака — в умении понять сущий вздор, погрузиться в него и обратить его в высокую материю, ничуть не видоизменяя. И Скотт такой же.

И теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что они удачно выбрали опорные фигуры для своей литературной распри.

Но тогда я ничего этого не понимал, а понимал только, что для обоих настало решительное время и, когда они ссорятся по поводу Гюго и Бальзака, речь идет о серьезных, существенных разногласиях.

Мы сели в «фиат», и Хемингуэй сказал:

— Вот доедем до Ла Турга, и я покончу с тобой в первом же раунде. Удар под вздох — и нокаут.

— И как ты нашел этот замок, если он так таинственно упрятан?

— А я пошел прямо к единственным людям в городе, которые могут про него знать.

— Разве у тебя тут есть знакомые? — усомнился Скотт.

— В редакции «Journal de Bretagne».

— В местной газетенке?

— Ну да.

Скотт расхохотался.

— Ну вот первый раунд ты-то и проиграл,— сказал он.— Я тебя без единого слова одолел.

— Как это?

— Ты не можешь избавиться от репортерских повадок, Эрнест. А всем известно, что Гюго писал как репортер. И неудивительно, если местные газетчики знают вдоль и поперек все эти сухие буквальные описания в «Девяносто третьем годе». Кому же еще это интересно?

— Ладно,— спокойно сказал Хемингуэй,— сейчас проверим, буквальные они или нет.

Скотт был в длинном мягком верблюжьем пальто Джеральда Мерфи. Оно доходило ему чуть не до щиколоток, и он, на переднем сиденье «фиата», принялся отчаянно рыться сперва в правом кармане, потом в левом. Когда Хемингуэй вез нас Фужерским лесом по первому крутому холму, в руках у Скотта оказались две книжки: «Девяносто третий год» Гюго и «Шуаны» Бальзака.

— Прелестно,— сказал Скотт и открыл «Девяносто третий год».— Послушай-ка этот сухой, буквальный репортаж.

И, перекрикивая ветер, грохот мотора, он заголосил словами Гюго, рисующего Ла Тург — замок и крепость, где разворачивается главное действие «Девяносто третьего года» и происходит заключительное сражение между белыми и синими.

— «Сорок лет назад,— орал Скотт по книжке,— путника, входившего в Фужерский лес со стороны Леньеле и выходившего к Паринье, встречало на опушке глухого древнего бора мрачное зрелище. На краю чащи высился перед ним замок Ла Тург...»— Скотт помахал книжкой и засмеялся.— Разумеется, высился перед ним. Башни, горы, деревья, колокольни и склоны иначе и не ведут себя в газетах. Они всегда высятся перед тобой, и у тебя при этом захватывает дух.

— Читай дальше,— сказал Хемингуэй.

— Зачем? — сказал Скотт и стал листать и считать страницы.— Семь глав целиком посвящены сухому описанию замка, и ничему больше. Газетный отчет. Никакого действия. Ничего не происходит. Совершенно. И главы-то как называются — прямо по Бедекеру[1]: «Провинциальная Бастилия», «Брешь», «Подземелье», «Мост», «Железная дверь», «Библиотека», «Амбар»... Без шуток. Полное описание каждого уголка и закоулка.

— Ну и что же?

— Ну какая же это литература, Эрнест! Старик заблудился в путеводителе. Одного я не пойму,— Скотт снова подначивал Хемингуэя,— что ты в нем нашел? Сплошная нравоучительность, пышнословие, сухость, скука et cetera.

— Хватит тебе! — сказал Хемингуэй.— Обождал бы, пока мы доберемся до места.

— А что это даст?

— Больше, чем ты думаешь.

Он взял с сиденья бальзаковских «Шуанов» и через плечо передал назад, мне.

— Детка,— сказал он.— Открой-ка наудачу. На первой попавшейся странице.

«Фиат» прыгал и пыхтел, снова взбираясь на холм, а я наобум открыл «Шуаны» не то на сто пятой, не то на сто шестой странице.

— А что мне тут искать? — спросил я.

— Женщина упомянута?

— Да.

— Открой в другом месте. Где хочешь.

На сей раз выпала страница двести двадцать первая.

— А тут женщина есть?

— Есть.

— Продолжай в том же духе, детка.

Я ткнулся взглядом в книгу еще раз десять в разных местах.

— Ну?

— Да,— сказал я.— Везде женщины.

— И что из этого? — спросил Скотт.

— А то, что наш беззубый донжуан писал для женщин, ради женщин и потрафляя вкусу женщин. Даже войну белых и синих он описывал так, чтобы угодить парижанкам. Полевой походный будуар. Все женские глупости, а война ни при чем.

— Ну и чушь ты порешь! — заорал Скотт.

Бо тихонько взяла меня под руку и прижалась ко мне.

— Уйми их,— шепнула она.— Ну же!

— Зачем? — шепнул я.

— Потому что они завелись не на шутку, а это плохо кончится, уж я знаю.

— Но они сами разберутся,— сказал я.— Лучше не трогай их. Не вмешивайся, Бо.

— Ты еще пожалеешь,— шепнула она прямо мне в ухо, и ее губы ласково коснулись моей мочки. Она сжала мне руку и так осталась сидеть, пока нас подбрасывало на скверной дороге, и мы слушали дальше разговор тех, впереди.

— Беда в том,— говорил Скотт,— что тебя все больше и больше гипнотизирует величие Гюго. Ты выходишь на тот же круг. Тоже начал работать под полубога. Да что тебе толковать. Ты же ничего не слушаешь.

[1] Бедекер Карл (1801—1859) — немецкий издатель путеводителей.

Мы опять въезжали в лес, и Хемингуэй гудел велосипедисту и на каждом своем слове жал черную кнопку в середине руля.

— Все это в сто раз лучше, чем твоя безнадежная надежда. Деньги и постель. Аристократия на свалке. Богачи! Господи... богачи. Ты кончишь, как Бальзак — будешь стоять перед ними по стойке «смирно». Гюго ни перед кем так не стоял.

— А кончил тем, что никого уже не мог убедить в том, что он подлинный Гюго.

— Ну, это уж пошла чистой воды фицджеральдовщина.

— Нет, это истинная правда.

— Ладно. Назови мне хоть одного хорошего писателя, который бы не блефовал.

— Шоу.

— Вот уж Антей.

— По крайней мере, он никогда ничего из себя не корчил.

— Вранье. Вообще, каждый стоящий писатель раздвоен. Есть два Толстых, два Шелли, две Жорж Занд, два пьяницы Бодлера, две крошки Эдит Уортон, два жирных Эзры Паунда...

Скотт натянул шляпу на уши и сказал:

— А я не слушаю. Я лично не намерен раздваиваться, даже если ты к этому гнешь.

— Да ведь уже поздно упираться,— сказал Хемингуэй.— Твой алкоголический двойник хуже всех моих самых жутких вымыслов, потому что ты не властен над этим ублюдком. Ей-богу, он тебя еще удушит, вот увидишь.

В пылу спора Хемингуэй гнал «фиат» все быстрей, теперь мы мчались вниз по крутому спуску второго холма, в лес, в лес. Он выжимал семьдесят миль в час из старого тогдашнего «фиатишки», и мы словно висели на подножке экспресса. Бо вцепилась в меня обеими руками, она молчала, но, взглянув на нее, я увидел совершенно белое лицо.

— Вы бы сбавили скорость! — завопил я Хемингуэю. Нас бросало, болтало, трясло, и ветер уносил все, что слетало с моих пересохших губ.

Хемингуэй не обратил на меня внимания, а Скотт обернулся и заорал:

— Не бойся, Эрнест — лучший гонщик Франции.

Скотт наслаждался быстрой ездой.

— Я потеряю скорость на следующем подъеме,— сказал Хемингуэй, а тем временем мы обошли моторный велосипед на застывших колесах, обогнали грузовик и, наконец, чуть не задев по тележке, промчались мимо фермерских лошадок.

— Браво,— сказал Скотт на спуске с последнего холма.

Хемингуэй выключил мотор, и мы просто полетели с горки. Мы слепо вверялись ему, а он вел машину так уверенно, что я и теперь сразу вспоминаю ту езду, открывая его книгу. Я читаю ее и знаю, что Хемингуэй — за рулем, он правит, и этим все сказано. И нечего спрашивать, что он делает и куда вас везет.

С вершины третьего холма мы взяли влево от главного шоссе. Я и не заметил грязной дорожки, пока мы на нее не въехали. Она вывела нас на брусчатку между двумя фермами, а потом, северной опушкой Фужерского леса, снова на простор. Мы покатили полем, мимо мрачноватого пруда.

Потом Хемингуэй опять погнал влево, холмами, по какой-то упрятанной дорожке, мы падали, ныряли, скользили по крутому грязному спуску и вот оказались в темной низине возле лесопилки. В 1975 году я полдня разыскивал эту дорогу, а Хемингуэй сразу и безошибочно

на нее попал. Ей-богу, вряд ли хоть пятидесяти иностранцам удалось обнаружить, где же расположен знаменитый замок Ла Тург. Мы вышли из машины, и Скотт не мог поверить, что это то самое место, о котором он только что читал.

— Ты нас дурачишь,— сказал он.

Мы увидели домишко (теперь его перестроили) и лесочек и услыхали в зарослях рокот ручья.

— Ты только что прочел про замок, ведь верно? — сказал Хемингуэй.

— Ну прочел...

— Ну и можешь проверить сухое, буквальное описание от слова до слова. Башня, крепость, арсенал, мост, ров, библиотека...

Мы пошли за Хемингуэем заросшей тропкой под темными вязами и вышли к быстрой речушке.

— Под ноги глядите,— сказал Хемингуэй,— тут сыро.

— Да тут ведь чудесно! — сказала Бо и поглядела в вышину, на собор из света над нами, на синее полотно неба над осенней листвой.

— И как сюда могла пройти армия? — усомнился Скотт, пока мы продирались сквозь заросли.

— Так же, как сюда попал замок Ла Тург,— сказал Хемингуэй.

Мы вышли на пологий берег против хоть и крутого, но весьма скромной высоты обрыва на другом берегу — облепленного листвой, мокрого и увенчанного двумя большими валунами.

— Et voila,— сказал Хемингуэй.

— Что — et voila? — спросил Скотт.

— Вот вам и Ла Тург...

— Да тут же ничего нет!

— И никогда ничего не было. Ла Тург — голый вымысел, чистейшая литература. Однажды летом семьдесят первого года Гюго, сидя на этих валунах, выстроил крепость, и башню, и арсенал, и библиотеку, создал их по кирпичику в своем убогом воображении. Вот тебе, милый старина Скотт, и сухой репортерский путеводитель.

— Почем ты знаешь, что это именно тут?

— Да по дневникам Гюго. И тысячи есть других указаний. Это здесь, и нигде больше! — Хемингуэй пнул ногой груду листьев.— А там, на том берегу, он и сидел.

— Вот так черт! — сказал Скотт. Но он нисколько не огорчился. Он стоял в этом своем пальто из верблюжьей шерсти и даже восхищенно смотрел на валуны.— Вот так черт!

Хемингуэй повернулся ко мне и сказал:

— Не забывай, детка. Никогда ничего не принимай буквально, пока не проверишь, буквально это или нет. И никогда не слушай поэтов вроде Скотта Фицджеральда, которые думают, будто только у них есть фантазия и воображение.

— Да, в общем-то, разве важно, вымысел это или факт? — спросила миротворица Бо.— Какая, в общем-то, разница?

— Господи! А ведь Бо права! Абсолютно права! — сказал Скотт.— Пусть Гюго выстроил все у себя в мозгу, а описание-то все равно дотошное и сухое. Ну согласитесь!

Хемингуэй рубанул рукой по воздуху.

— Нельзя дотошно описать то, чего нет! — сказал он.

— Еще как можно! И я правильно говорил...

— Нет, неправильно. И все, что ты говоришь,— неправильно. Ты с самого начала запутался.

Скотт вытащил фляжку из заднего кармана.

— Чего же тогда ты сразу не сказал, что он все сочинил, а поволок нас сюда? — сказал он.

— Потому что тебя всегда и во все надо ткнуть носом. Тебя надо бить фактами, иначе тебе ничего не втемяшишь.

Скотт передал фляжку Хемингуэю, и тот отпил глоток. И тут же сплюнул.

— Джин! — сказал Хемингуэй.

— А ты думал что?

— Кто же льет во фляжку джин? Ну, я понимаю, виски, или бренди, или хоть кальвадос. Только уж не джин.

— Твой мичиганский папочка неверно тебя воспитал,— сказал Скотт.— Но не хочешь — не надо.

И сам как следует приложился к фляжке.

Тут Бо схватила меня под руку и прижалась ко мне, как всегда, когда рвалась предотвратить их ссору. Может, это она хотела, чтобы я ввязался в разговор? Но я не стал вмешиваться.

— Знаешь, что тебя ожидает, Скотт?

— Я-то знаю. А вот ты не знаешь...

— Ты кончишь, как все те ребята, которые не дотянули до тридцати, потому что боялись не выдержать испытания жизнью.

— О ком это ты?

Хемингуэй будто не расслышал.

— Ты и пить-то не умеешь,— огрызнулся он.

— Да чем, к черту, мое пьянство отличается от твоего?

— Ты пьешь, как баба.

Скотт как-то истерически хихикнул. Содрал шляпу, скатал мячиком, подбросил и поддал ногой так, что она покатилась в реку.

— В тебе, Эрнест, не меньше бабьего, чем во мне,— сказал он.— Не в каждом ли мужчине сидит женщина? А тебя выводит на чистую воду та одержимость, с какой ты доказываешь свою мужскую одержимость. И зачем же тебе что-то скрывать, раз всякий стоящий писатель все равно выдает свою вторую ипостась? Да иначе ты бы и писать про это не мог. Это у всех у нас как седьмое покрывало. Или, может, восьмое. Ну ладно, пусть я пью, как баба, зато ты ссоришься, как баба. То-то ты и не можешь полюбить женственную женщину. Ты вообще даже не знаешь, что такое женщина.

— Хватит,— сказал Хемингуэй.— Что-то ты понес чересчур сложную ахинею. Дурак я, что вообще это начал.

— Однако ты начал,— взвился Скотт,— так дай уж я докончу. Ты все ищешь алиби, старина. Старый боксер, старый рубака, стрелок, старый охотник и старый гермафродит...

— Ладно, ладно,— прервал Хемингуэй.— Доказал, дальше только испортишь.

Хемингуэй был, видно, сам не рад. Он повернулся к нам и спросил:

— Вы голодные?

Мы стояли поодаль, объединенные и отстраненные от них тем, что они творили друг с другом.

— Я умираю с голоду,— быстро сказала Бо.— И Кит.

— Тогда поедем отсюда.— И Хемингуэй пошел вперед, сквозь лес.

Тут Бо бросила меня и взяла под руку Скотта. Хемингуэй слегка ошеломил его. Скотт был огорошен, сбит с толку, растерян. Он смотрел, как его шляпа расправилась в воде и теперь отчаянно билась в водовороте между двумя камнями.

— Бедная моя шляпа! — сказал он.— Она заслуживает лучшей участи.

Он вырвался от Бо, подобрал пальто и вошел в воду по колено.

— А тебе, Кит, урок,— сказал он мне, выходя из воды со спасенной шляпой,— ничего не губи за то только, что кто-то хотел убить тебя. Это уж штучки старины Эрни.

— Ну, зачем вы так? — сказала Бо и взяла у него шляпу. Не хуже любой шляпницы она ловко расправила «федору», стряхнула с нее воду и передала шляпу Скотту. Но он ее отверг.

— До чего же вы иногда бываете глупый! — сказала Бо.— И поглядите на ваши брюки.

Скотт засмеялся и вздернул голову.

— Ничего, старушка,— сказал он, передразнивая ее английское произношение.— Я обещаю, что не буду на нем ничего срывать.— И он зашагал к «фиату», громко хлюпая двуцветными ботинками.— Я никогда ни на кого не держу зла,— сказал он.— Почти никогда.

Хемингуэй уже сидел, как аршин проглотил, в «фиате» с включенным мотором. Мы сели, он проверил мотор, и мы выпрыгнули на верхушку грязной горки, как краб из норы. На сей раз глупая ссора зашла дальше, чем обычно. Все молчали. Мы протрусили по немощеной дороге до северной опушки Фужерского леса.

— Вот бы тут и устроить пикник,— сказала Бо, показывая на круглую полянку среди берез.

Лучи проходили сквозь листву, место было ровное, спокойное, осеннее, сухое, и Скотт закричал, что это отличная мысль.

— Я большой специалист по пикникам. Так мы и сделаем, Бо.

— Только есть у нас нечего,— сказала Бо.

— Предоставьте все мне,— заторопился Скотт. Он попросил Хемингуэя остановить машину.

— Всем нам в городе делать нечего,— сказал он,— так что вы застолбите это место, а мы с Эрнестом поедем купим хлеба и вина и всякого такого, чтоб покормить муравьев.

Хемингуэй не остановил, но потом Скотт Христом-богом упросил его повернуть и возвратиться на то место. Дальше командовал Скотт.

— Вылезайте,— сказал он нам с Бо.— Мы вернемся через полчаса. А вы пока расчистите местечко для оборонительной позиции. Только, ради всего святого, не на муравьиной куче и не в сетях у паука.

Хемингуэй ни слова не проронил. Он хмуро, покорно, молча клял нас всех. Бо очень не хотелось выходить. Я тянул ее за рукав. Она упиралась.

— Нельзя их так отпустить,— шептала она. Но я-то знал, что гораздо лучше оставить их одних. Я догадывался, что Скотт будет пытаться загладить ссору. Так что я схватил Бо за руку и осторожно потянул ее из машины.

— Нет,— опять зашептала она.

— Да! — настаивал я.

— Мы вернемся,— крикнул Скотт из тронувшегося «фиата».— Не волнуйтесь.

— Мы с вами! — крикнула Бо им вслед.

«Фиат» свернул с главной дороги и скрылся под горкой, а мы с Бо все стояли, глядя друг на дружку, и у меня на душе стало совсем спокойно, и я сказал, поддразнивая, что, наверное, мы их больше не увидим. Никогда...

— Ты, пожалуйста, не дразнись,— серьезно попросила Бо. Она еще держала в руке спасенную шляпу Скотта и теребила ее своими длинными пальцами.— Они вернутся. Я уверена, они вернутся.

— В таком настроении они что хочешь могут выкинуть,— сказал я.

В общем-то я даже очень радовался, что все так обернулось. Верней, радовался, пока не взглянул на Бо и не понял, что она ломает голову, как вести себя со мной, и как я буду вести себя с ней, и что нам делать, раз мы остались один на один в пустом и тихом старом лесу, пока те двое не вернутся.

Глава 8

Нетрудно было угадать, что она втайне трусит, что она явно возводит против меня свои укрепления, а может, наоборот, махнула на все рукой? Но я был чересчур неопытен, и где уж мне было это понять, и чересчур застенчив, чтобы преодолеть ее настроение, а тем более им воспользоваться. Все мои силы уходили на борьбу с собственной робостью, и не будь я так отчаянно влюблен в Бо, я бы, может, в тот день вел себя получше. И, может, у меня потом было бы какое-то утешение, хотя кто его знает?

— Давай начинай расчищать место для пикника,— сказала Бо в той своей быстрой, твердой, отстраняющей английской манере, к какой она сразу прибегала, стоило нам остаться наедине.

— Да ну еще,— сказал я.— Место и так хорошее.

— Скотт велел, чтоб не было муравьев,— наседала она.— Давай уж сделаем, чтоб их не было.

— Муравьев и не видно,— сказал я и пнул горстку хрустких листьев.

— Но что-то надо же делать!

— Что?

— Господи, откуда же я знаю.

— Ну хочешь, я встану на четвереньки и немножко подчищу листочки?

Бо отошла в сторону.

— Ты точно как Эрнест, когда так говоришь.

Я надулся.

— Ничего я не Эрнест, я говорю, как я.

— Ну, значит,— сказала она,— ты циник и злюка и ты намерен ссориться.

— Я?

— Ты. Ты вечно только и выжидаешь случая, чтобы сказать что-то неприятное.— И произнося эти слова, Бо очень решительно от меня удалялась.

— Да я же всегда молчу, Бо,— недоумевал я, плетясь за нею.— Я никогда не вмешиваюсь, если от меня ничего не зависит.

— Нет, ты не молчишь, ты говоришь, ты мне десять раз говорил, чтоб я не лезла, не совалась.

Я был слегка ошарашен этим вулканическим взрывом. За что? Я стал защищаться.

— Я говорил тебе, чтоб ты не совалась,— сказал я,— потому что они ведь старались сами что-то уладить.

Бо немелодично засвистела и бросила шляпу Скотта на груду сухой листвы.

— Пойду прогуляюсь,— сказала она.

— Ладно,— сказал я.— И я с тобой. Посмотрим, что это там такое.— Я показал на какой-то шалаш не шалаш из веток и папоротника.

— Я хотела одна пройтись,— сказала она.

Я подумал, она хочет использовать лес в качестве уборной, и покраснел.

— Извини,— сказал я.— Я не понял.

— Тут и понимать нечего.— Она посмотрела на меня как на идиота.— Я не собиралась использовать лес так, как ты вообразил,— Бо глубоко вдохнула лесной воздух. Деревья, и кусты, и травы льнули к стройному мальчишескому, неопытному телу, мечтая прикоснуться к нему, как я. Иногда Бо так и сыпала электрические искры. Но она была и вся в колючках — попробуй дотронься.

— Ну ладно,— сказала она.— Пошли уж.

Бо пошла впереди, я следом. Она ловко и безошибочно попадала на тропки, огибала стволы, перепрыгивала канавки и все опережала меня, будто ужасно куда-то спешила.

— Куда мы идем, по-твоему? — крикнул я задыхаясь, отставая.

Бо просто не ответила.

— Туфли испортишь,— крикнул я.— Погляди-ка на них.

Из туфель словно вырастали нежные побеги — такие ноги были у Бо. Она стала, взглянула через плечо себе на пятки, сказала:

— Ах, да ну тебя,— и бросилась дальше в лес.

Я на нее разозлился, а если б я знал тогда все, что знаю теперь, я бы понял, что ей того и надо было.

— Ты чересчур спешишь, за тобой не угонишься,— взвыл я.— Я пошел обратно.

Я затопал в гору, я даже не оглянулся на Бо, и, набредя на шляпу Скотта, я растянулся на солнышке, на груде сухой листвы, предоставив Бо свободу действий. Я думал про Бо, я дулся на Бо, рвался к Бо, и я начал понимать, что она боится самой себя больше, чем меня. Ласковая, колючая, незавершенная, она, замерев на самой кромке весны или лета, ждала, чтобы кто-то ее завершил, закончил. Она была готова на все. Она только опасалась беззаботного, легкого, неверного шага, а я, скорей все это угадывая, чем понимая, ревновал ее к двум настоящим мужчинам, у которых было куда больше шансов на успех. Бо ведь обращалась с ними как с двумя небожителями, сошедшими с небес и признававшими только себе подобных.

А мне оставалась одна моя фантазия, зато работала она усиленно. Я лежал на солнышке и изобретал положения, в которых я брал над ней верх, одолевал ее элегантное благоразумие, пересиливал ее снисходительную нежность и ломал все преграды, мешавшие ей навсегда стать той открытой, доверчивой девочкой, которая так ласково брала меня под руку. Мне бы только обойти ее укрепления. Но я совсем замучился, истомился, отупел, а ленивое осеннее солнце так мирно пригревало, что я мирно уснул.

Я проснулся и увидел Бо рядом на пеньке, она легонько водила прутиком по моим ногам.

— Я давным-давно тут сижу и слушаю, а ты храпишь, как Циклоп,— сказала она.

Я сел.

— А? Что? Который час?

— Уже четвертый, а их все нет.

Я даже не поверил.

— Четвертый! Так куда же они, к черту, запропастились?

— Не знаю,— сказала она.— И ты не знаешь.

— Может, они задержались из-за...

— Из-за чего? — перебила она.

— Ну откуда я знаю? — И тут я наконец-то проснулся.— Ну, может, Скотт выискивает какое-то особенное шампанское, а может, он охотится за местным паштетом или нормандским сыром, или он хочет купить чего-нибудь зелененького, или черненького, или красненького, или новую шляпу.

— Нет. Просто они нас тут бросили,— сказала Бо.

— Да зачем это им?

Бо подобрала прутик, которым меня щекотала, и разломила пополам. Потом смерила половинки. Они были в точности одинаковые, потому что Бо и не могла сломать прутик иначе.

— Им хочется посмотреть, что получится из этой ситуации,— сказала она.

— Из какой еще ситуации?

— Пожалуйста, не раздражайся, Кит,— сказала она, и, кажется, из той Бо, что металась одна по лесу, она снова превратилась в спокойную и доверчивую Бо.

— Они устроили себе за наш счет олимпийское развлеченье. Сделали себе из нас, бедных смертных, две игрушки.

— Может, и так,— сказал я.— Но надолго они нас не бросят. Ты только не волнуйся, Бо.

— А утром говорил — они вообще не вернутся.

— Ну говорил,— покаялся я.— Но один из них будет обязательно настаивать на том, чтобы вернуться,— хотя бы просто ради дурацкого спора.

Бо вздохнула и чуть-чуть успокоилась.

— Ох, может, ты и прав,— сказала она и принялась терзать шляпу Скотта.

— Как думаешь, чем все это у них кончится? — спросила Бо, помолчав.— Нет, честно, Кит. Во что это все выльется?

— Даже не знаю,— сказал я.— Хотя Скотт прав, наверное. Уж каким каждый вернется из этой поездки, таким на всю жизнь и останется.

— Ты действительно, ты серьезно так считаешь?

Бо стояла на коленях, раздвинув сзади свои несравненные ноги — поза факира или лягушки. Нелепая поза для женщины, но для Бо, для ее красоты и ее достоинства все было нипочем.

— Чудно́, что мы-то с тобой в это втянулись,— сказала она.

— А я и не думал втягиваться,— сказал я.— Я просто наблюдаю.

— Ну, а я втянулась,— сказала она.— Не могу видеть, как они друг друга оскорбляют. И как бы это пресечь...

— Да как же ты можешь это пресечь?

— Ну, значит, это очень плохо кончится.

— Почему плохо? — сказал я.— Оба играют с мыслью о смерти.

Она приложила палец к губам.

— Ой, что ты такое говоришь?

Мне самому стало неудобно. Обычно такие фразы я держал про себя.

— То есть я хочу сказать, все хорошо кончится,— сказал я.

— Думаешь, Скотт бросит пить, а Эрнест перестанет убивать и драться?

— Нет, я не про то. Я про их дружбу.

Мы еще потолковали насчет них. Оказывается, когда Эрнест стрелял тогда куропаток, он говорил Бо, что главная беда Скотта — Зельда. Если он излечится от Зельды, он и пить бросит.

— А по-моему, неправда это,— сказала Бо.— Зельда в точности такая, как надо Скотту. Верно ведь?

Я сказал, что плохо ее знаю.

— Но разве она тебе не нравится?

— Нравится,— сказал я.— И, по-моему, у них все в порядке, я ничего такого у них не замечал.

Я говорил честно, но вдобавок мне хотелось, чтобы Скотт был прочно связан с кем-то, лишь бы не с Бо.

— А ты давно их знаешь?

— Сто лет. С тех пор как они подружились с Мерфи.

Я почти ничего про нее не знал, и хоть мне хотелось спросить, как она познакомилась с Хемингуэями и с Мерфи, я боялся спрашивать. Инстинкт самозащиты подсказывал мне, что чем больше я про нее буду знать, тем она станет недостижимей и недоступней. Я только что выбрался из глуши, был свеженький, с речного берега, а Бо вращалась в роскошной, блистательной среде и сама была немыслимо роскошная и блистательная. И вдобавок я чувствовал, что кому-то из нас скоро достанется Бо, и боялся грубой ошибкой уничтожить собственные надежды. Особенно после того, как Бо сказала, что мы с ней похожи.

— У тебя такое удивительное тело, Кит,— бегучее, охотничье, плавучее, прыгучее тело. Как у меня. Но вот странно, тело не всегда соответствует человеку. Я сама совсем не такая, как мое тело. А ты?

— Я, наверное, тоже,— сказал я.— Разве что когда оно меня уж очень тешит.

— Например, когда ты красиво так, с большой высоты ныряешь ласточкой, да?

— Как ты догадалась?

— А по твоему виду. Видно, что ты любишь прыгнуть с жуткой, жуткой высоты, а потом замереть в воздухе, а потом — уф! — ласточкой в холодную синюю воду.

И как только она догадалась? Я был молод, здоров, и жизнь вообще клокотала во мне. Но с тех пор, как я уехал от реки, меня наваждением преследовало воспоминание о таком вот прыжке в синюю воду. Так я грустил по детству — больше ничего не осталось в душе от громадных летних дней моей «жизни на Миссисипи».

— Ну, это уж ты под дьявола работаешь,— сказал я.— И как можно догадаться?

— Просто ты на меня похож. Такое тело не скроешь. Оно само за себя говорит. Я, например, летаю, и чего я только не делаю.

— Ну да, например, стреляешь куропаток,— поддел ее я.

— Ага,— сказала она серьезно.— Но я не про то.

— Ты где стрелять научилась?

— А меня один из моих бесчисленных дядьев научил. Верней, учили сразу многие. Они у меня все стреляют. А знаешь, ведь Эрнест не такой уж классный стрелок.

— Да? А я-то думал, он лучше всех.

— Он стреляет очень прилично, но я лучше. Эрнест слишком себя помнит, а для стрелка это не годится. Он всегда думает о том, что он делает и хорошо ли, плохо ли у него выходит. А стрелять хорошо можно, только когда совсем себя забудешь. Наверное, у него и с боксом и с боем быков тоже так. Когда что-то делаешь, нельзя о себе помнить.

Милая, милая Бо. Пусть она стреляет в птиц, пусть их убивает, а я все равно ее любил, и просто не верилось, что вот я лежу, опираясь на локоть, и гляжу в эти ясные, нежные глаза. Опрятность, совершенство, красота, мягкие волосы, ловкие руки и точный, четкий очерк тела. Пусть она сама про себя думает, что хочет, а я наконец решился и попытался завладеть ее уклончивыми пальцами.

Бо выдернула руки.

— Так нельзя,— выпалила она.

Я залился злой краской.

— А как же тогда можно?

Бо поджала губы и не ответила. Она встала.

— Их все нет,— сказала она.— Давай выйдем на шоссе и проголосуем до Фужера.

Но я не собирался так сразу от нее отступаться.

— Помнишь, что было со Скоттом, когда мы его оставили одного в лесу? — сказал я.

— Ну, это совсем другое дело.

— Ничего не другое. Что же, по-твоему, на них совсем положиться нельзя? Они вернутся.

Бо задумалась.

— Ладно,— сказала она.— Но я им уже не очень-то доверяю.

Я стоял у нее за спиной и опять набирался храбрости.

— Пошли,— быстро сказала она.— Я возьму тебя под руку, Кит, только ты ничего не делай. Ну пожалуйста.

Два невинных младенца. Бо взяла меня под руку. Мы шли по сухой листве под густыми, налитыми солнцем березами, и я чувствовал ее дрожащую руку через все пласты — сквозь пиджак, рубашку, сквозь кожу. Бо крепко меня держала, а я благоразумно замер. Пусть уж сама всем управляет.

— Бо,— снова почти простонал я.

— Ш-ш-!— осадила она меня.— Ш-ш-ш!

— Но нельзя же так все время идти и идти. Это бесчеловечно.

— Не делай ничего, Кит. Пожалуйста...

А что, собственно, я мог сделать? Что мог я сделать, не нарушив ее хрупкой, нежной власти и воли, против которой я был бессилен? Странно, власть Бо была куда сильнее секса, но вся им пронизана.

— Ну и что, по-твоему, нам надо делать? — взбунтовался я.— Долго нам еще ходить по лесу? Ты туфли совсем стопчешь.

— Я же говорю «ш-ш-ш»! — И она еще крепче уцепилась за мою руку.— Лучше уж так, чем все испортить.

— Почему испортить?

— Потому что так бывает в лесу у крестьянских парней и девок.

— Я не крестьянин,— разозлился я.— Да и ты на крестьянскую девку непохожа.

— Ну вот увидишь.

— Глупости. Давай остановимся.

— Нет! Пожалуйста! — Она крепко держалась за мою руку и тянула меня за собой.— Не сердись,— сказала она ласково и чуть прижалась ко мне.— Знаешь, за что я тебя люблю, Кит? Почему ты такой милый?

— Нет, не знаю.

— Ты чистый, ты нетронутый, совсем неиспорченный. И пожалуйста — ну, останься таким.

Я воспринял эти ее слова как поощрение, остановился, схватил Бо за плечи и силой повернул к себе. Сделал я это неуклюже, неловко, глупо, и я стоял в неудачной позе. Бо просто взяла и стряхнула мои руки.

— Пойми меня,— сказала она.— Неужели ты не понимаешь, Кит? Если что-то случится, если я тебе позволю что-то со мной сделать — мне тогда просто конец.

— Зачем ты мне все это говоришь?

— Я не про тебя, Кит,— сказала она горько.— Просто случись такое со мной — и я не знаю, что со мной будет. Ужасно будет... Я тогда пропала... Мне уже не оправиться. Тогда уж все.

— Ну ладно, ну ладно, Бо,— сказал я нежно. Вид у нее был перепуганный, и она чуть не убежала опять.— Ничего не будет. Не бойся.

— Нет, все равно ведь это случится. И если будет что-то не так, я просто умру. А ты не чувствуешь такого?

— Может, и чувствую,— сказал я и вдруг прибавил с такой злостью, что даже сам удивился: — Но раз ты такое чувствуешь, ты бы

лучше поостереглась Хемингуэя и Скотта, уж они-то не станут нюни распускать.

— Знаю! Знаю! — сказала она.— Господи, только бы мне-то самой ума набраться! Или хоть бы это был кто-то вроде тебя. Вот ты такой смешной сейчас стоишь, такой злой — и решительный и независимый. А ведь на самом-то деле ты в точности как я, ну вылитый. Тебе нужен кто-то, чтоб все время был с тобой и тебя уговаривал, что напрасно ты злишься и что вся эта твоя стеснительность и подозрительность ни к чему. Скотт говорит, тебя в жизни еще обидят, тебя еще измордуют...

— Чего это он?

— Любит он тебя. Себя в тебе угадывает. Но я думаю, не обидят тебя. И я не хочу, чтоб меня обижали. Знаешь, Кит, когда человек стареет, ему в голову лезут разные грустные мысли. А по-моему, все это глупо.

— Это у них называется опыт,— кисло промямлил я.

Но Бо совсем забыла про оборону, и хоть она успела было очень умно отвлечь меня, я все же решил снова попытать счастья. А вдруг... А если... Но я не успел еще изготовиться, а Бо уже говорила:

— Не трогай меня, Кит, ну пожалуйста, ну погоди, дай мне время, погоди хоть немножечко...

Я часто думаю, почему я, дурак, тогда не воспользовался своей возможностью. Ее ничего не стоило уговорить, убедить, кому-то надо было тогда победить ее — нежно и твердо. И почему бы не мне? Но Бо меня перехитрила. Она щекотала мне ухо таким нежным шепотком и локоном, а глядела так открыто, так беззащитно, так заморочила меня посулами, что я отступил.

И тут она сказала с усмешкой, почти равнодушно:

— И ведь день еще не кончился, правда, Кит?

Разумеется. Далеко еще не кончился.

Глава 9

Кто-то звал нас. Вроде: «Шу-у-уа-ны, шу-уа-ны».

Потом — дальний голос Скотта:

— Кит! Бо! Сейчас же выходите из лесу! И не стыдно вам? Где вы?

— Скотт опять напился,— сказала Бо.

Снова таинственный клич: «Шу-у-аны, шу-уа-аны».

— Это Эрнест,— сказала Бо.

— Сейчас! — крикнул я в ответ.— Идем!

Бо потянула меня за руку.

— Зачем?

— А вдруг они уедут?

— Ну и пусть! — сказала Бо.

Но поздно. Скотт уже кричал:

— Если вы немедленно не выйдете, Кит, мы идем на вас войной.

— Тьфу ты,— сказала Бо.— Неужели Скотт хоть разок не мог удержаться?

Когда мы подошли, Скотт уже расстелил на листьях чистую жатую скатерку и выкладывал на нее ветчину, маслины, ростбиф, хлеб, паштет, сыр, виноград, яблоки, дыню, какие-то белые тарелки поставил, шесть бутылок вина и четыре стакана.

— И кто все это будет есть? — сказала Бо.

Скотт снял пиджак и остался в жилете. Он разместил закуски с ловкостью вышколенного официанта, распрямился и посмотрел на нас пытливо и насмешливо.

— И что это вы тут делали, а? — спросил он.— Отвечайте немедленно.

— Неважно,— сказала Бо.— А вы где пропадали?

Скотт все усмехался и обшаривал нас взглядом, а Хемингуэй рыл ямки во мху, совал туда вино и тоже на нас смотрел. Пришла их очередь перехватывать наши «накаленные взгляды».

— Мы попали в город ровно через две минуты после того, как пробило двенадцать,— сказал Скотт.— Ровно на две минуты опоздали. А ведь у французов в двенадцать все закрывается, и это непреложно, уж скорей святой Георгий забудет затворить ворота чистилища.

Бо занялась угощеньем, но еще раз поинтересовалась, что они все это время делали. Уже шестой час, и как только им не стыдно, да они, бессовестные, сразу видно, к тому же и выпили.

— Конечно, мы выпили,— сказал Скотт.— А что еще нам оставалось делать в черном, мертвом, пустом французском городе, закрытом на обед? — Они отсиживались в кафе, пока не откроются магазины.

— А про нас и думать забыли,— сказала Бо. Но уже она глядела на Скотта ласково и, кажется, сама не рада была, что задала этот вопрос.

— Ей-богу. Клянусь, Бо, мы про вас не забыли. Просто мы затеяли одну историю.

— Какую?

В два часа, когда открылись магазины, они купили все для пикника, даже скатерть и стаканы. Но в кафе они затеяли спор и, чтобы его разрешить, отправились из города в противоположную сторону — искать дом, который Бальзак называет Виветьер и который, оказывается, вовсе не там, где он помещает его в «Шуанах», а далеко-далеко, в совершенно другом месте. Зато уж они увидели ту самую лестницу Королевы, по которой поднималась мадемуазель де Верной роковой ночью, когда она встретила маркиза де Монторана и свою погибель.

— Эрнест точно знал, где что находится,— сказал Скотт.— Удивительный человек. Репортерская выучка. Живой путеводитель.

Скотт ужасно оживленно все это выговорил, а Хемингуэй пошел за кустики облегчиться. Оба были красные от вина, но не пьяные. Мы с Бо переглянулись — кажется, Скотту удалось разрядить атмосферу, и, кажется, настало перемирие, по-честному, без настороженности.

— Мы с Эрнестом выработали удивительный, поразительный, рискованный и решительный план действий. Тактический план,— говорил Скотт, пока Бо усаживала нас вокруг скатерти и раскладывала по тарелочкам ветчину, ростбиф, маслины, огурчики и хлеб.

— Что за план? — спросила Бо.

— Да вот...— Скотт держал стакан, Хемингуэй лил туда вино.— А знаешь, Кит, ведь французы разбавляют вино водой во время еды.

— Глупости, Скотт,— сказала Бо.

— Ей-богу. Правда ведь, Эрнест?

Никогда еще я не видел Хемингуэя таким разнеженным. Он разметал могучее тело и ножищи и пустил мятый галстук по листве, как разлапившая ветки и разбросавшая яблоки яблоня. Но вдруг ни с того ни с сего все-таки рубанул рукой воздух.

— Крестьянин — да, и лавочник разбавляет, а вот рабочий никогда,— сказал Хемингуэй.

— А знаете, что мы еще заметили в кафе? Француз никогда не закажет бордо или бургундского, если покупает бутылку. Входят и заказывают литр десятиградусного, или двенадцатиградусного, или

там сколько-то градусного. Это все равно как у нас войти в «Риц» и заказать кварту сорокаградусного вместо джина или виски.

Мы проголодались и увлеклись едой, но тут Скотт вдруг вскочил, порылся в недрах «фиата», вытащил оттуда какую-то еще бутылку и поставил ее мне под нос.

— Без излишеств, Кит,— сказал он.— Без пьяного разгула.

Оказалось, это лимонад, и Хемингуэй усмехнулся своим сухим смешком.

— Малого газы разопрут от этого пойла,— сказал он.

— Ничего ему не сделается,— и Скотт выхватил у Хемингуэя стакан с вином, заготовленным для меня, и опрокинул себе в глотку.— Пикник у нас будет чинный-благородный. Полная свобода. И никаких разногласий.

— Да, так что это у вас там за рискованный план? — спросила Бо.

Но Скотт, кажется, уже совершенно все забыл. Он вытаращил на нее глаза, и я вдруг увидел, как трудно дается Скотту веселость и трезвость.

— Не впутывай ты их в это дело,— сказал Хемингуэй.

— А что? — сказал Скотт.— Пусть они судят. На всех военных играх бывают судьи.

— Какие военные игры,— вскинулась Бо,— что вы еще выдумали?

— Все рассчитано,— шепнул Скотт.— Не беспокойся.

— Господи, да не томите душу! — сказала Бо.— Пугаете, осложняете. И так все сложно.

Скотт глотком выпил стакан вина — вряд ли даже он его вкус почувствовал.

— Ты лучше от этого подальше, Бо,— сказал Хемингуэй.— Пусть его тешится своими военными фантазиями.

— От чего подальше?

— Ах, музыка войны и охоты,— и Скотт развалился на траве, подставляясь вечернему солнцу.— Знаешь, Кит, ведь войны пошли с деления имущества. Широко известный факт. И все из-за розни между мужчинами и женщинами. Смотри, что получилось, когда рухнул матриархат...— Он дал нам возможность переварить эту идею и помолчал, пока мы усердно двигали челюстями.— Но вот ты задумывался когда-нибудь над тем, что стало бы с современным обществом, уцелей матриархат и власть женщин? Представляешь себе — государством правит женщина, а мужчина гнет спину у очага, варит, чистит кастрюли, возится с детишками и с домашней птицей. А ведь правда,— сказал он,— женщинам бы и охотиться и добывать пищу. Чем они хуже кошек, львиц?..

— Нет, это лев охотится и убивает,— сказала Бо,— а не львица вовсе.

— Вот и ошибаешься,— сказал Скотт.— Именно львица приносит в когтях антилопу. Во всяком случае, так говорит Эрнест, а уж он-то такие вещи знает. В общем-то, Бо, мужчины ведь паршивые охотники. Им вечно надо себя подстегивать, ритуальными ли танцами, сексом или спиртным. А женщина — нет, женщина разжигается, разгорается сама по себе, пока совсем не ошалеет, и она всегда твердо знает, чего ей нужно.

— Вот уж глупости-то,— сказала Бо.

— Поэтому солдат из них не выйдет,— нес дальше Скотт.— Солдату нужна животная тупость. И привычка к такой грязи, какой женщина и пяти минут не вытерпит. Кроме того...— Скотту нравился собственный доклад,— да, кроме того, женщина может убить только

определенного человека. А мужчина на войне преспокойно убивает направо и налево, не глядя.

— Ладно тебе,— сказал Хемингуэй.— Хватит.

В общем-то, никому всерьез не хотелось перебивать Скотта, потому что он был блестящ в жанре поучений и наставлений. Но, на нашу беду, он вдруг перескочил на генерала Лафайета [1], задел запретные струны, и опять у них пошло. Уж не помню, как он напал на эту тему, но почему-то такое он сказал, что Гюго в «Девяносто третьем годе» возводит известный поклеп на Лафайета, наглую ложь выдавая за очевидную истину.

— Где? — спросил Хемингуэй.— Какой поклеп?

— Гюго заявляет, что семнадцатого июля тысяча семьсот девяносто третьего года в Париже Фурнье-Американец покушался на жизнь Лафайета и будто бы Лафайет сам заплатил убийце, чтобы тот выстрелил и промахнулся.

— Э, да охота тебе ворошить старье...— сказал Хемингуэй.

— Пусть даже это правда,— сказал Скотт очень серьезно,— хотя я отказываюсь в такое верить,— но не следовало бы французу нападать на единственного человека, которому Вашингтон доверил стоять против Арнольда [2] в Виргинии. Только он один мог отбиться от тысячи двухсот блестяще вышколенных английских солдат, не имея ни припасов, ни амуниции, ни возможности платить жалованье своим людям. И что бы стоило Гюго упомянуть об этой простой и ясной американской правде, вместо того чтоб городить тонкую французскую ложь?

— Да какого черта? — сказал Хемингуэй.— Ты хочешь, чтоб Гюго весь роман посвятил Лафайету и расписывал бы, какой это был самовлюбленный эгоист?

— Я требую уважения! — заорал Скотт.

— Чушь собачья, старина,— сказал Хемингуэй угрюмо.— Лафайет — второй Буфалло Билл [3]. Просто пыжащийся французик, который так цеплялся за свою репутацию, что в конце концов превратился в жалкого актеришку в роли самого себя.

— Не желаю слушать это про героя Лафайета! — вопил Скотт, не помня себя и даже не замечая своего дурацкого стишка.— Да сам-то ты, сам-то ты, Хемингуэй, не к тому ли идешь? Ты-то небось не пыжащийся французик, а пыжащийся американец!

Всем стало неловко. Мирный договор был сорван, союз поруган, нарушена граница.

— А ну тебя к дьяволу,— горько, спокойно сказал Хемингуэй.

Скотт уже терзался. Он своими руками сломал то, что так заботливо строил.

— Господи,— сказал он несчастным голосом.— Ну почему, почему, Эрнест, я всегда ни с того ни с сего говорю такое? — Он оглянулся по сторонам, будто в воздухе мог висеть ответ на его вопрос. Взгляд упал на бутылку.— Вино паршивое,— объявил он.— Гадкое вино на гадость и толкает. Вино виновато.— Он взял бутылку и щедро оросил содержимым землю, как на дионисийском пиру.— Господи, избави мя от напасти,— сказал он.

Но он поздно опомнился. Хемингуэй уже схватил его мокрую «федору» и диском метнул в лес.

---

[1] Лафайет Жильбер Мотье (1757—1834) — маркиз, французский генерал, участвовал в Войне за независимость на стороне американцев.

[2] Арнольд Бенедикт (1741—1801) — американский генерал, участник Войны за независимость, перешедший на сторону англичан.

[3] Буффало Билл (Уильям Фредерик Коди, 1846—1917) — американский колонист, прославленный скаут, актер.

— В один прекрасный день, дружище Скотт,— сказал он,— ты вот так же по-собачьи запустишь во что-то зубы, а когда станешь вытаскивать, там и оставишь и челюсть, да и мозги, да и кишки.

— Совершенно верно,— затравленно подтвердил Скотт,— сам на это надеюсь.

Мы молча ели и я думал: теперь-то уж вечер. Солнце увязло в золотой сети за лесом, и ничего не осталось от нашей пирушки, кроме бледной вечерней запинки перед падением темноты. Лес тоже приуныл и вылинял. Скотт поднялся на ноги. Он слегка пошатывался, но он не был пьян. Я вообще уже разобрался, что Скотт часто и вполовину не был так пьян, как прикидывался. Его иногда что-то будто глодало, грызло изнутри и заставляло изображать нализавшегося до полусмерти. Вряд ли, правда, он сам себе отдавал в этом отчет. Вот и сейчас — деловито подошел к скатерти, сгреб ее за все четыре уголка вместе со стаканами, мясом, хлебом, сыром, фруктами и закинул за спину мешком.

— Ты готов, Эрнест? — спросил он.

Я было подумал, он сейчас всем этим запустит в Хемингуэя. Хемингуэя передернуло.

— Ты опять за свое?

— А что? Надо же решать, как по-твоему?

— Делай, что хочешь. Только ведь ты леса совсем не знаешь. И ничего ты мне не докажешь.

— Нет, это уж ты мне доказывай, пожалуйста,— сказал Скотт, и я понял, что речь у них опять о таинственной «военной игре», только о какой игре — непонятно.— Сперва,— сказал Скотт натянуто,— я зарою эти отбросы вон у того шалаша, и пусть некий американский паломник грядущих веков откроет их и подивится, что бы могли они значить.

Скотт направился к шалашу, который я давно заприметил под горкой.

— Скотт, милый, неужели вы все это выбросите,— крикнула Бо ему вдогонку.— Жалко ужасно.

— Когда остаются дурные воспоминания — тоже жалко ужасно,— кинул Скотт через плечо.— А у нас останутся одни дурные воспоминания, если мы будем хранить эту дрянь.

— Останови ты его,— сказала Бо.

— Нет, пускай,— сказал Хемингуэй спокойно.— Сейчас с ним лучше не связываться.

Я тоже так подумал, и мы смотрели на Скотта, как он, шатаясь, заковылял под горку со своим узлом. Упал, поднялся, снова упал, встал, добрался до шалаша. Там он опустился на колени, поаккуратней, потуже увязал узел. Потом пихнул его в шалаш и старательно засыпал листьями. Не вставая с колен, подправил холмик из листьев, а потом присел на корточки, созерцая свежую могилу.

— Молится он там, что ли,— сказала Бо.

Но Скотт, наверно, просто сидел там, стараясь похоронить жуткую свою никчемность, которая вдруг ни с того ни с сего одолевала его и отравляла ему радости, дружбу, любовь, пикники, минуты восторга и часы простой благопристойности. Я и раньше уже видел, как он боролся с низостью в себе, и никогда мне не было его так жалко, как тогда, когда он спохватывался, каялся, терзался.

— Бедненький Скотт,— сказала Бо.— Вот уж кому нужен духовный отец.

Она пошла за деревья выручать шляпу Скотта, а Хемингуэй вырыл последние бутылки и теперь смотрел, как Скотт бредет к нему.

— Ну вот,— преспокойно и трезво сказал Скотт и надел пальто.— День кончился, историческое место освящено. Так что давай приступим, Эрнест?

— К чему это вы приступите? — спросила Бо.— Да скажите же, что вы затеяли, я уже прямо с ума схожу!

Но они ничего ей не объяснили, только вылакали в несколько глотков бутылку розового и снова начали спорить. Перебрасывались отрывистыми фразами — со стороны не понять. Единственное, что я понял: они разошлись в толковании тактики шуанов — бретонских крестьян, боровшихся на стороне контрреволюции здесь, в Фужерских лесах, в 1793 году,— и вот требовали друг от друга доказательств. Для того они и затеяли «военную игру» — чтоб проверить свои теории на практике, тут же в лесу.

— Вы просто спятили,— сказала Бо, сообразив, что они надумали.— Темно, а лес на много миль тянется. Тут опасно. Да и что вы друг другу докажете?

— Нет, все логично,— упирался Скотт,— а иначе нельзя, Бо.

— Да что вы собираетесь делать?

— Бороться,— сказал Скотт.— В ночной тиши лесов.

— Эрнест, ради Христа...

— Он пьян и сам не знает, что мелет,— сказал Хемингуэй. Скотт был в подпитии, но не пьян. Просто опять он работал под пьяного. Но Хемингуэй уже распалился от собственных слов, голос, и всегда-то резкий, стал совсем пронзительным, так вечно бывало, когда он перепьет.— Фицджеральд пьян, как сапожник, и наплюйте на него.

— Нет, скажите, что вы затеяли? — наседала Бо.

— Я сейчас...— сказал Скотт и нагло задрал голову.— Я сейчас исчезну в лесу. Я запрячусь в чаще, а Эрнест, ха-ха, бравый молодец Эрнест меня найдет. Это он так думает. Думает, он меня поймает.

Уже совсем стемнело, и соваться в лес, не зная его, значило за полчаса заблудиться. Мы стояли возле «фиата», и, по-моему, лучше всего было бы дать им выговориться. Но Бо все требовала, чтоб они одумались, а одуматься оба не могли, так что Бо их, в общем-то, только подначивала.

— Ладно,— сказал Скотт.— Я пошел.

— Куда ты, идиот несчастный? — сказал Хемингуэй.— Куда ты попрешься?

— Дай мне десять минут и увидишь,— Скотт вдруг развеселился.— Увидишь, если что разглядишь в этой тьме, Эрнест. Нет уж, тебе меня не поймать!

— Вопрос ставился совершенно не так. Вечно ты все к черту корежишь.

— А, ты на попятный! — Скотт рассовывал две бутылки по карманам роскошного верблюжьего пальто Джеральда Мерфи, а остальные Хемингуэй уже сунул в свой огромный пиджак.

— Я пошел,— сказал Скотт.

— Иди себе на здоровье. Только я за тобой не пойду.

— Ты на попятный.

— Ты пьян, как пудель Эдит Уортон. И ничего не соображаешь.

— Ради Христа,— взмолилась Бо.— Вы бы уж договорились заранее, чего вы хотите. Ну, пожалуйста...

— Не волнуйся, Бо,— сказал Скотт ласково.— Просто я хочу показать Эрнесту, кто он такой. Он думает, он замечательный солдат. Понимаешь, он путает две вещи — одно дело стоять под пулями, другое дело — быть солдатом. Я под пулями в жизни не стаивал, только вот под пулями Эрнеста, но, ей-богу, я солдат не хуже его, а самовлюбленность и самоуверенность его только губят, ну, и я выведу

его на чистую воду. Вот и посмотрим, как он со мною сладит. Это понятно?

Нам все было понятно. Мы старались их отговорить, но разве могли мы с Бо предотвратить классическое мужское состязание, особенно (как потом выразилась Бо) учитывая, что состязающиеся были пьяны и притом американцы. А Бо еще вдобавок сдуру снова стала говорить, до чего опасно соваться в огромный лес, где темно, хоть глаз выколи, и тянется, мол, он на много миль, и там, мол, полно рытвин, оврагов, ручьев и болот. И там можно заблудиться, сломать ногу, руку, можно спьяну свалиться, уснуть, и тебя засосет болото.

— Чистое безумие,— заключила Бо.

— Это все он затеял,— сказал Хемингуэй.— А мне-то что прикажете делать? Снабдить его путеводителем?

Но, в общем-то, теперь уже Хемингуэй не желал отступать.

— Только уговор: я буду действовать по-своему,— сказал он Скотту.

— И чудно. Ты же в военных операциях гений. Действуй как тебе угодно, я тебя все равно обставлю.

— Ну вот, опять пошла пьяная похвальба.— И Хемингуэй подобрал «федору» Скотта. Он нацепил ее на палку, а палку всадил в землю.

— Сюда и нацелиться.

— Зачем — нацелиться? — Бо, кажется, вообразила, что у них с собой ружья.

— Мы поедем сейчас на тот край леса,— объяснил Хемингуэй.— И там я сброшу Скотта Фицджеральда. И ему надо будет пройти весь лес и раньше меня добраться до этой шляпы. И чтоб я его не перехватил. А потом он снова вернется к «фиату».

— Запросто,— сказал Скотт и сел в машину.

— Нет! — крикнула Бо.— Я не еду.

Но я затолкал Бо в машину, потому что понял, что, если нам не ехать с ними, они нас бросят тут на всю ночь и, хоть лично мне только того и надо, Бо тут же зашагает к Фужеру.

Правда, она заставила меня сесть за руль.

— Хочу добраться туда живьем,— сказала она.— Не хочу раскроить череп об дерево в этом темном, страшном лесу.

Глава 10

Уж не помню, как я гнал «фиат» извилистыми, грязными дорожками, повинуясь Хемингуэю, который хлопал меня сзади то по левому, то по правому плечу, когда надо было повернуть. Мы довольно долго добирались до какой-то просеки, в свете фар казавшейся мне туннелем. Нас отделяло от шляпы Скотта километров пять, не меньше, густого, непроходимого березняка.

— Вылезай,— скомандовал Хемингуэй.— Вылезай, дружище.

Скотт мирно спал, Хемингуэю пришлось основательно его тряхнуть. Он выключил фары, и сердце у меня замерло, я будто с высокого трамплина прыгнул вдруг в темную, бездонную, глубокую пропасть. Лес затаился, ошеломил нас тишиной. Бесплотные наши голоса доносились ниоткуда.

— Нельзя, нельзя вам этого делать,— сказала Бо.

— Тьфу ты,— сказал Скотт и попробовал застегнуть верблюжье пальто.— Не выдумывай, Бо.

А Бо уже свирепо шипела мне в ухо:

— Останови ты их!

— Не могу,— зашипел я в ответ.

— Тогда иди со Скоттом.

— А ты? Не могу же я тебя тут одну бросить!

— Я пойду с Эрнестом. За меня не беспокойся. Я ходить умею. Только Скотту не говори, а то он шум поднимет. Как-то надо кончать с этой дурацкой историей.

Я не стал спорить, она была права. Скотт окончательно проснулся, и тут я сказал ему как ни в чем не бывало, что иду с ним.

— Зачем еще?

— На случай, если ты заблудишься,— сказал Хемингуэй.— Это весьма вероятно.

— Нет,— вскинулась Бо.— Нет, просто вдруг ногу подвернете или что... И если вы не возьмете Кита с собой, я, честное слово, сейчас же сажусь в машину и уезжаю вместе с ним.

Долго спорили и в конце концов решили, что я иду со Скоттом, но буду во всем его слушаться и не стану обгонять ни при каких обстоятельствах. Скотт вдруг даже обрадовался, он нашел тут свою логику:

— Если мне удастся провести через лес одного человека, значит, я провел бы и целый батальон. Ну ладно, пошли.

Он сделал шагов десять и со всего размаха плюхнулся ничком.

— Господи Иисусе! — простонал он, и хохот Хемингуэя полетел по лесу, как призывный клич ночной птицы.

— Ах, мне жаль тебя,— причитал Хемингуэй,— мне жаль тебя! Ах, капитан, капитан...

Скотт выронил бутылку и шарил по листьям в ее поисках, я подошел, помог ему подняться.

— Ничего, погоди, скоро и тебе придется протопать на своих ножищах по этой ничейной земле,— кинул он Хемингуэю.

— Да ты даже не в ту сторону пошел! — хмыкнул Хемингуэй.

— Как?

— Ты взял на восток. А тебе надо на запад.

— Я сам знаю, куда мне надо.

Оба говорили весело, и я понял, что, несмотря на всю жестокость затеи, они ею наслаждаются.

— Куда нам, Кит? — шепнул мне Скотт. Он старался застегнуть верблюжье пальто, взбухшее от бутылок.— Ты мне только направление покажи, а дальше уж я сам.

Я почти не видел его, чуть не наугад взял его под руку, мы вломились в густую листву и вдруг очутились у крутого обрыва. Я поскорей потянул Скотта за собой, туда, где, как мне казалось, лежал прямой путь к его шляпе, до которой я мало надеялся добраться.

— Я минут через пятнадцать несколько раз прокычу совой,— крикнул Хемингуэй,— в знак того, что я иду за вами по пятам, как охотничий пес!

— Вот я вернусь и с тобой разделаюсь, капитан Хемингуэй,— крикнул Скотт.— Путь открыт, идем напрямик!

Но не прошли мы и ста ярдов, как я понял, что ничего у нас не получится. Осенняя ночь упала на нас сразу, черная и сырая, земля была вся в ухабах, лес мрачно затаился, мы не различали даже ближних деревьев, натыкались на них. Скотт растерялся.

— Кит... Господи... Ты хоть что-нибудь видишь?

— Ничего. Тут невозможно пройти.

— Ну вот, что за слова. Эрнест только таких от нас и ждет.— Тут Скотт снова упал. Застонал, поднялся.— Пошли,— сказал он.— Вперед. Будем как тот безумный англичанин, который силком волок коней всю дорогу до Южного полюса. Важно стремиться к цели, Кит...

Он пошел напролом; мои глаза привыкли к темноте, и я бросился за ним, как некогда доблестные соратники за великим Робертом Фолконом Скоттом [1]. Что еще им оставалось? Что еще оставалось мне?

— Скорей,— бормотал Скотт,— Эрнест догонит.

Не успели мы одолеть еще одну горку, Скотт снова плюхнулся и заорал, потому что я споткнулся об него и на него навалился. Ямы, рытвины крылись под густым папоротником на каждом шагу, и как только мы, слава богу, добрались до какой-то полянки, я схватил Скотта за руку и сказал, что дальше его не пущу.

— Да вы хоть в ту сторону идете-то? — сказал я.— Нельзя ломиться наобум.

Скотт вспотел, задыхался, я тоже.

— Почем я знаю, в какую нам сторону,— прохрипел он.— Просто надо идти и идти, чтоб Эрнест не догнал.

— Ладно,— сказал я.— Ладно. Вы только не волнуйтесь.

Снова мы поскакали по папоротнику, по скользким, облиплым кочкам. Я уже было освоился с этой гонкой, но тут Скотт рухнул в огромную груду листьев, перекувырнулся и зарылся в нее чуть не с головой.

— Все пальто проклятое,— проговорил он, задыхаясь и выныривая из-под листьев, как пловец из воды. Он содрал с себя верблюжье пальто, швырнул на низкий сук березы.

— На обратном пути захватим. Нож у тебя есть?

Я всегда таскал с собою нож.

— Открой бутылку,— и он сунул ее мне в руки.— Надо горло промочить. Тошно мне.

Я не стал спорить. Зачем? Что толку? Я открыл бутылку и протянул ему. Скотт налег спиной на березовый ствол, а голову свесил и все не мог отдышаться. Потом он задрал голову, несколько раз приложился к бутылке и отдал ее мне.

— Нет, спасибо,— сказал я.

— И правильно,— сказал Скотт.— Совершенно правильно, Кит. Не сдавайся. Только не сдавайся, никогда. Поверь, уж я-то знаю.

Вино как стимулирующий укол мгновенно подействовало на Скотта, верней, оно подстегнуло его актерские способности. Когда Скотт встал, он снова шатался. Но я-то знал, что вовсе он не пьян. Он еще как бык трезв, удивительно трезв, хотя он ужасно странно и путанно говорил.

— Давайте сюда бутылку, я понесу,— сказал я, а сам решил зашвырнуть ее подальше.

— Ха-ха. Не лишай меня моего единственного неотъемлемого права, старина Кит. Не тронь! И не учи меня,— прибавил он злобно.

И вдруг побежал вперед, будто услыхал за собой лай собак и улюлюканье охотников.

— Бежим, бежим,— чуть не взвизгнул он.

Я подобрал его пальто и тоже побежал. На бегу он швырнул бутылку. Она разбилась о ствол.

— Что это? — он даже остановился.

— Вы бутылку разбили.

— Я?

Он снова побежал, добежал до крутой горки, не смог ее взять, свалился в грязь и там остался лежать. Он так задыхался, что я подумал, он все пошлет к черту. Тут мы услыхали, как на бретонский лад кычет сова.

---

[1] Капитан Скотт Роберт Фолкон (1868—1912) — английский полярный исследователь с четырьмя товарищами добрался в 1912 году до Южного полюса и погиб на обратном пути.

— Шшшу-аны... шшшуаны...

— Хемингуэй.— И Скотт поднялся на ноги.— Господи, догоняет.

— Погодите-ка, Скотт,— сказал я.— Ему нас тут ни за что не найти. Почему бы сперва не разобраться толком, в какую нам сторону?

— А Эрнест и не станет нас искать, неужели ты не понял? Он хочет нас обогнать, вот и все. Он хочет раньше добраться до моей шляпы. И, ей-богу, он доберется до нее, как пудель Эдит Уортон, только чтоб доказать, какой он замечательный солдат и как он здорово ориентируется в лесу. И нечего тебе со мной спорить. Пошли.

Он снова пошел, он спотыкался как слепой. Свесил голову и шарил руками по воздуху, чтоб не наткнуться на дерево. Я двигался за ним таким же манером, и хоть смысла во всем этом было не больше, чем прежде, я тоже спотыкался, падал, вставал,— а что мне еще оставалось? — а он то и дело скатывался в ямы, в вороха листьев и вот, кажется, совсем изнемог. Потом он насилу поднялся, подполз к поваленному дереву, оперся об него и сказал:

— Только ты ради Христа меня подымай, Кит. Если ты меня оставишь лежать — я пропал.

— Да какая разница? — простонал я, шлепаясь на мертвый ствол с ним рядом и изо всех сил глотая воздух.— Мы же все равно не знаем, где мы.

— Брось ты свои английские штучки,— осадил меня Скотт. Он попробовал подняться, не держась за дерево.— Я точно знаю, где мы. Я разработал план кампании, и вся позиция у меня в голове как на карте.— Он постучал себя по лбу.— Так что держи свои английские штучки при себе.

Опять он сунул мне бутылку — последнюю. Только тут уж я отказался ее открывать.

— Если вы выпьете еще хоть каплю этой дряни, нам не видать вашей шляпы и нам вообще не выбраться отсюда.

— Открывай!

— Нет.

— Открывай немедленно, щенок!

Я рукой отстранил бутылку.

— Лесной дикарь! — заорал он.— Неужели тебе не ясно, мне вина-то и не надо! Ты только открой...

Я выдернул пробку и отдал бутылку. Скотт ее выхватил, как-то странно замахнулся на меня, потом запустил полной бутылкой в темноту.

— Ну как, доволен? — спросил он.

— Да.

— Вот и хорошо. Теперь давай соображать, где мы, а то я ни черта не понимаю.— И он как-то жалостно прибавил: — Неужели и ты не знаешь, Кит, где мы? А еще называется — житель лесов!

— Сами сюда забрались. Не я же вас привел.

— Наверное, нам надо вон туда,— и он снова стал продираться сквозь чащу.

Потом начался сплошной бред, мы с хрустом ломали сучья, спотыкались, падали, для нас будто нарочно нагородили кочек, понапрятали щелей и дыр, и мы одолевали их как траншеи, как заграждения из колючей проволоки на полях Пикардии. Я весь вымок, я извалял брюки в грязи, изодрал их к черту, куртка промокла, ботинки расквасились, волосы липли к лицу, меня бросало то в жар, то в холод, я злился, и я совсем замучился.

— Чушь собачья,— бормотал я.— Надо же было придумать такую дурацкую, идиотскую, проклятую чушь!

В конце концов Скотт просто рухнул, и я прислонил его к грязному пригорку. Лица я не видел, но я знал, что он смотрит на меня как угодивший в капкан изнемогший зверь. Я так и чувствовал на себе затравленный взгляд светлых глаз.

— Когда-нибудь, Кит, дружище,— сказал он, когда я его поднимал,— ты еще умрешь за родину, как Эрнест. Общеизвестный факт. Хемингуэй погиб под Капоретто. От него уже ничего не осталось.— Он вздохнул, а потом весь ушел в себя и вдруг крепко заснул.

Я накинул на него спасенное верблюжье пальто, не глядя, как попало. Он уже храпел, а я переминался с ноги на ногу, чтобы согреться, и не знал, что с собою делать.

Бросить его! — решил было я мрачно. Бросить и вернуться к машине.

Я его не бросил. Но, в общем-то, я его обманул, я, в общем-то, предал его. До тех пор я был на стороне Скотта. Хотел, чтоб он переспорил Хемингуэя, хотел не из-за Хемингуэя, а ради самого Скотта. Хотел, чтоб он выиграл этот дурацкий спор. Но, наверное, я вел себя неправильно, потом-то Скотт говорил, что я тоже виноват во всем, что́ в конце концов случилось. «Если б ты тогда не дал мне спать, если бы ты их не окликнул, если б ты не был так уверен, что ничего у меня не получится, все, может, еще повернулось бы иначе». Так он говорил.

Но тогда я и думать не думал о том, правильно или нет я поступаю. Скотт мне осточертел, и я не стал будить его, я просто решил ждать, когда рассветет, а тогда уж можно идти к машине.

Пока Скотт спал, я раз десять слышал крик хемингуэевой совы, я прислонился к стволу, и так стоял, и надеялся, что они на нас набредут. Но их крики были такие далекие, что в конце концов я задрал голову и откликнулся австралийской совою — «кууууеее», а этот вопль дальше раскатывается по лесу, чем всякий иной звук, производимый горлом, языком и гортанью.

Тут-то я и предал Скотта.

Ответ меня удивил:

«Чирип-чип-чип...»

Эта сова явно разговаривала по-английски, не по-французски. Значит, Бо.

Каким-то чудом и Скотт ее услышал, меня не слышал, а ее услышал. Он вскочил, заспанный, с мутным взглядом, и снова бросился в лес, на ходу сбрасывая пальто.

— Пошли, Кит. Они догоняют.

Он очень быстро рванулся, я не успел еще поднять пальто, а он уже исчез.

— Да погодите вы! — рявкнул я.— Постойте!

— Ради бога, не застревай там! — орал он из темноты.

— Сами не знаете, куда идете! — крикнул я.— Заблудились ведь уже!

Тут он остановился. Я догнал его, и он сказал несчастным голосом:

— Ну вот, я все испортил, да? Эрнест меня обставил.

— Да нет, почему,— сказал я.— Небось тоже заблудился.

— Кто? Эрнест? Господи, ты правда так думаешь?

— Конечно, а чем они лучше нас?

— Тогда поищи дорогу, ну пожалуйста. А я за тобой. Только бы обскакать Эрнеста. Обштопать старого убийцу. Ты уж веди, а я за тобой, как пес.

Снова прочирикала англичанка-сова.

— Что это? — спросил Скотт.

— Это Бо.

— Как? Где она?

— С Хемингуэем,— сказал я.

— Как? Она с ним — в лесу?

— Ну да.

— Я не знал. Я думал, она в машине осталась.

— Бо пошла с Хемингуэем, а я с вами.

— Нет, она, видно, рехнулась. Одна с Эрнестом — в темном лесу! Да лес и тьма богом нарочно созданы для соблазна! Тут Эрнеста не проведешь. Он и писал про это. Что же ты мне сразу не сказал?

— Бо просила не говорить.

— Но неужели ты не соображаешь, что нельзя оставлять девушку с Эрнестом в темном лесу? Как же ты ее отпустил?

— Бо сама за себя отвечает,— сказал я.

— С ума сошел! Эрнест умеет так опутать женщину, что та и ахнуть не успеет.

Я пока рассматривал Бо просто как смотрительницу, защитницу Хемингуэя от вина или, если хотите, наоборот. А сейчас мне передался страх Скотта, я вспомнил, как Бо мне тогда говорила — только бы ей не пропасть, только б не было с ней, как с крестьянской девкой в лесу. Только бы!.. Значит, она сама за себя не отвечала.

— Бо! — хрипло взвыл Скотт.— Как ты там?

— Она не услышит,— сказал я.

— Тогда сам крикни, чтоб услышала.

Я послал свой вопль в ночь, в лес, и мы ждали ответа. По ветру донеслось что-то дальнее, невнятно английское.

— Где они? — спросил Скотт.

— Где-то за нами.

— En avant, Кит, en avant![1]

— А как же шляпа? — сказал я. Странно, мне и тут еще не хотелось, чтоб Скотт бросил свою идею, хоть я волновался за Бо.

— К черту шляпу. Надо было с самого начала призадуматься, стоит ли так надсаживаться из-за Хемингуэя. У каждого своя судьба, Кит, и ты от нее никого не спасешь. Человека не спасешь даже от его собственных глупостей.

— Теперь-то чего уж,— сказал я.

— Думаешь, он ее уже соблазнил?

— Я почем знаю,— огрызнулся я.

— Тогда повторяй свой австралийский клич, не давай Эрнесту покоя. Знаю я его...

Мы наугад пошли в сторону криков Бо. Я все время орал, а она отвечала редко и как будто с разных мест, так что мы совсем запутались. Целый час мы промаялись еще хуже, чем раньше, и продолжали идти, по-моему, только потому, что я злился на Бо, а Скотт серьезно боялся, как бы Хемингуэй ее уже не соблазнил...

— Нет, это ему так просто не сойдет,— бормотал Скотт, задыхаясь и ковыляя за мной по пятам, как хромой пес.— Это уж чересчур, даже для Эрнеста...

Я совсем замучился и перестал окликать Бо. Я отчаялся. Дважды Скотт от меня отставал, я чуть не плакал от усталости. Где же конец нашей нелепой, безнадежной, жуткой дороге? И вдруг — снова Бо.

— Чиррип-чип-чип...

Так близко, что мы даже вздрогнули.

— Ну, попался, голубчик,— сказал Скотт. Он стоял рядом со мною и дрожал. Он крикнул:

---

[1] Вперед! *(франц.)*

— Бо, где же ты, ох, господи?

— Тут я... Только осторожней... Вы слышите меня?

— Да, да! Идем!

Только на последних пятистах ярдах я убедился, как здорово мы научились обходить неожиданные канавы, скрытые рытвины, скользкие листья, упрятанные стволы, мы качались, спотыкались, но больше не падали, а на самой опушке Бо уже направляла нас, как с диспетчерской вышки направляют обессилевших летчиков. Мы попали туда же, откуда вышли,— к «фиату».

— Привет,— крикнула Бо.— Шляпа у вас?

— К черту шляпу,— крикнул Скотт.— Почему ты фары не включила?

— Господи, я и не догадалась.

— Ну, ты как, ничего?

— Конечно, ничего.

— А где негодяй Эрнест?

— Спит в машине.

— Добрались вы туда? — спросил я, подойдя к ней вплотную.

— Да ты что? Мы заблудились.

— Ха! — сказал Скотт.— Эрнест — и заблудился? Кто поверит, чтобы великий воин и следопыт заблудился, идучи через эдакий жалкий скверик?

— И тем не менее, Скотт. А потом он стал ужас что вытворять, и упал, и ногу повредил. Здорово ушиб, хоть, надеюсь, не сломал.

— А как же вы сюда-то добрались? — спросил Скотт недоверчиво.

— Сама не знаю, ей-богу. Сперва он шевельнуться не мог, но потом поднялся и заковылял. Но снова упал и другую ногу вывихнул. Я уж думала, вам его нести придется.

— Нализался, наверное? — спросил Скотт.

— В общем-то да,— призналась Бо.— Но я сама все время падала, и я сказала ему, что если он не уймется, я одна вернусь, сяду в машину и доеду до этой проклятой шляпы. Он еле шел, стал ругать вас обоих и дурацкую шляпу и сдался — якобы только ради меня. Чудо еще, что я машину нашла.

— Это ты ее нашла? Да?

— Какая разница кто? Мы сюда добрались. Эрнест прикончил последнюю бутылку, а теперь мирно храпит, как...

— Мужик! — сказал Скотт.— Он к тебе лез?

Бо минуту молчала, а в такой темноте мы со Скоттом не могли разглядеть, накаленный у нее взгляд или нет.

— Дурацкий вопрос,— сказала Бо, но моему ревнивому сердцу это показалось неубедительным.

— А с ногой правда плохо дело? — спросил Скотт.

— Он еле ходит.

— А так хвастался своими ножищами.— Скотт явно веселился.— Вот и опростоволосился.

— Я закоченела,— сказала Бо.— И чего тут торчать? Ну пожалуйста! Пошли в машину и поехали, пока он не проснулся.

— Ага,— сказал Скотт.— Прыгай на заднее сиденье, Кит, я поведу.

— Нет,— сказала Бо.— Пусть Кит ведет. А вы садитесь к Эрнесту. Он ужасающе храпит.

Мы все посмотрели на Хемингуэя. Он лежал вдоль заднего сиденья, ноги нелепо свисали в открытую дверцу.

— Запихните ему ноги,— сказал Скотт.

Мы посадили его. Он был мокрый и грязный, как мы все, он дико глянул на нас, проворчал что-то невнятное, отпихнул нас и тут же опять заснул. Скотт снова сказал: «Мужик!» — втиснулся на заднее сиденье, и я повел наш охрипший, несчастный «фиатик» из этого жуткого леса.

Было почти пять, и рассвет не настал как тихое пробужденье от сна, а настиг как дикая, разламывающая головная боль с похмелья. Я только и мечтал добраться до гостиницы, сбросить с себя все мокрое, завалиться в теплую постель и — спать. Мы долго колотили в дверь «Hotel de France» в Фужере, пока добудились портье, который не сразу поверил, что эти дымящиеся грязные вороха мокрых листьев уже занесены в гостиничную книгу в качестве постояльцев. Бо его убедила. Я вошел следом за нею, а Скотт будил Хемингуэя и орал ему, что мы приехали.

— Все! — кричал Скотт.— Пошли.

— Я из этой коробки никак не выберусь,— ворчал Хемингуэй.

— Тогда вываливайся. Скорее!

— Отстань ты,— заорал Хемингуэй, когда Скотт потянул его за руку.

— А я и так отстал. Успокойся.

— Я упаду!

Скотт не унимался, и Бо посылала меня их выручать, но мне уже было все равно. Лучше держаться от них подальше. Бо проследила, как Хемингуэй ввалился в вестибюль, и запретила мне уходить, пока они не доберутся до лестницы.

— Вам со Скоттом надо сразу в постель и проспаться,— сказала она им.— И больше не пейте.

— После чего нам проспаться? — спросил Хемингуэй.

— После всей этой глупости. Вы пьяны, Эрнест.

Интересно, что означило «вся эта глупость»? Но нет, мне не хотелось, не хотелось про нее думать.

Ни с того ни с сего Скотт вдруг развеселился.

— Да ты хоть понимаешь,— сказал он Хемингуэю, таща его по лестнице,— что ты сплоховал, опростоволосился, что ты никудышный солдат и никчемушный охотник?

— Я не виноват,— проурчал Хемингуэй.

— Но ты же туда не добрался! — торжествовал Скотт.— А больше нам и знать ничего не надо. Ты опростоволосился!

— А сами-то далеко ли проползли на четвереньках?

— Почти полпути. А потом стали волноваться насчет Бо и вернулись. Спроси у Кита.

Портье в сабо шептал: «Ш-ш-ш» и «Taisez-vous»[1].

— Зачем мне Кита спрашивать? — во весь голос орал Хемингуэй.— Погляди лучше на свой костюм от братьев Брук. На четвереньках ползал!

— Тем не менее мы выиграли, а ты проиграл.

— Господи, ну и что из этого, что это доказывает?

— А то это доказывает, капитан Хемингуэй, что ты утерся, провалился и ты такой же воин и охотник, как я.

— Заткнись ты...

Они искали ключи, высматривали свои номера, орали во все горло.

— Ты физически никудышный, как святой Антоний,— радостно провозгласил Скотт.

— Хватит, может быть? Сам-то ты ничего не выиграл. Ни черта!

---

[1] Молчите *(франц.)*.

— Никто и не думал, что я выиграю,— сказал Скотт.— А вот ты опростоволосился.

Хемингуэй нашел, наконец, свою дверь. Он близоруко гнулся к дверной ручке, высматривая, куда сунуть ключ. Отверг помощь Скотта, сам всадил ключ, повернул.

— Ты пьян! — сказал он и захлопнул дверь у Скотта перед носом.

Скотт прислонился к стене, растерянный, но веселый. Я подумал, Бо сейчас сунется ему помогать.

— Не надо! — сказал я.

Он стянул ботинки и на цыпочках пошел по коридору, напевая и вглядываясь в цифры на дверях. Потом тихо вошел в свою дверь, снова выглянул и выставил сильно пострадавшие ботинки. Бо прижалась ко мне:

— Неужели это кончилось! Мне просто не верится.

— И мне,— сказал я. Я чуть не спал на ногах.

Она взяла меня под руку, мы уже подходили к моей лестничной площадке.

— Я спущусь завтракать в девять,— решительно сказала она.— Если хочешь, тоже спускайся.

— Ой, в девять? Ну что ты, Бо!

— Ровно в девять. Я буду уже внизу, за завтраком.

Я смотрел, как грязные, безупречные ноги Бо ступают по лестнице к следующей площадке. Юбка от Шанель промокла до пояса. Руки заляпаны до локтей. Но спина была чистая и сухая, и мои ревнивые подозрения поутихли.

— Бедный Скотт,— шепнула она, свесившись ко мне через перила.— Неужели уж ты не мог добраться до дурацкой шляпы?

— В такой тьме?

— Ты бы все же постарался.

— А зачем? — громко сказал я.— Хемингуэй проиграл. Остальное неважно.

— Ну как ты можешь так говорить? — шепнула она.— Непременно надо было помочь Скотту выиграть.

— Теперь-то чего уж меня пилить? — сказал я. Я так разозлился, что снова заговорил громко.

— Ш-ш-ш! — зашикала она.— Как думаешь, им это хоть немного пойдет на пользу, а, Кит?

— Не знаю,— ответил я хриплым шепотом.

— Наверно, пойдет.

— Завтра поглядим,— сказал я.

Бо подарила меня алым, крепким поцелуем со своей собственной ладони, и я пошел спать, и в конце концов все не так уж плохо складывалось. За Хемингуэя и Скотта можно было не беспокоиться, да и за Бо, в общем, тоже. Ничего. Мне ужасно хотелось спать, я свалился в постель, и свернулся калачиком, и решил не думать о них совсем. Да ну их всех, господи.

Я не знал, что с девяти часов утра пойдут новые события, и они на весь остаток жизни изменят наши пути.

Глава 11

Непонятно, зачем Бо решила завтракать в девять, и когда я сел к ней за белый столик в баре, я высказал ей свое недоумение:

— Спать жутко хочется.

— День надо начинать с начала,— сказала она. Она была совершенно свежая, выспавшаяся, розовая, как пион на солнышке.— А то его вовсе не начнешь, проволынишься, а я этого терпеть не могу.

— Но ты спала-то часа два всего. И я тоже.

— Я хотела тебя увидеть, пока те не встали,— сказала она.— Я кое-что тут решила.

Она заказала два двойных кофе, уже раскатала мой и свой croissant, намазала маслом, джемом, снова скатала. И первый положила мне на тарелку.

Значит, она кое-что решила...

— Насчет чего? — спросил я.

— Насчет тебя, конечно.— И тут она спросила, сколько мне лет.

— Девятнадцать,— сказал я.— А что?

— Мне два месяца назад восемнадцать исполнилось,— и она облизала с губ джем.— Но я гораздо тебя старше, женщины вообще гораздо раньше развиваются.

Я радостно задрожал, прежде чем успел как следует оценить эту мысль.

— Куда ты гнешь? Какое тебе дело до моего возраста?

— Просто я подумала, что ты еще ужасный ребенок.

Она очень деловито наливала мне кофе. И тут в первый раз при мне она оказалась неловкой. Поставила кофейник не глядя, прямо на кусок сахара, косо, кофе пролился на скатерть.

— Ох ты черт!

Кофе не успел еще как следует впитаться, а она уже прикрыла пятно развернутой салфеткой.

— Дай-ка свою,— велела она. Я протянул салфетку, она обтерла кофейник. Подозвала официанта, попросила еще две салфетки. И только когда пятно было надежно прикрыто и чистота, порядок и гармония вполне восстановлены, она вернулась к начатому разговору:

— Знаешь, что я подумала, когда тебя увидела в первый раз?

Я глупо моргнул, не зная, куда она клонит.

— Я подумала, что ты дико чистый,— сказала она.— Нетронутый такой и дико чистый...

Я даже не донес чашку до рта, так и плюхнул ее на блюдце.

— Ну... сам понимаешь.

— Ничего я не понимаю,— не выдержал я.

— То есть ты вышел из лесов совершенно естественным, в чем мать родила — и это сразу ясно.

— Да ну тебя, Бо!

— Нет, правда,— продолжала она свое.— Ты так прелестно сохранился. Эдакий зверик. И ты весь из одного куска. А меня всю жизнь клеем склеивают.

Бо приложила руки к груди, будто демонстрируя свой тезис.

Я сказал: клей, видно, замечательный, каждому бы такой.

— Ты куда меньше меня похожа на «сложи картинку».

— Просто ты ничего про меня не знаешь, верно ведь?

— Да,— сказал я.— Мало что знаю.

— Нет, ты именно ничего не знаешь,— сказала она.— Это к лучшему.

И она скорчила на своей восемнадцатилетней мордашке то, что, видимо, казалось ей ужасной гримасой:

— Ой, хорошо б тебе так про меня и не узнать. Ты б ничего не понял.

Кусок не полез мне в горло. О чем это она?

Но Бо засмеялась.

— Да нет же, не пугайся. Я как ты — совсем еще зеленая. Je suis encore toute étourdie[1]. Только я этого не стесняюсь, а ты

[1] Я пока совершенно ошеломлена *(франц.)*.

стесняешься. Просто моя жизнь на твою ну ни капельки не похожа. Вообще-то даже смешно. И она б тебе показалась дико странной и необыкновенной, и она б тебе не понравилась. Вот и все.

— Не понимаю, про что ты говоришь,— сказал я. Бо явно хотела, чтоб я приставал к ней, выуживал из нее каждое слово. А я не умел. Я ужасно нелепо себя вел.

— Хорошо бы мы были лет на десять постарше,— сказала она.— Или хоть ты был бы постарше.

— Зачем?

— Тогда было бы куда больше смысла в том, что я задумала.

Я немного обождал.

— Ну,— сказал я наконец.— А что же ты задумала?

Бо нервничала. Она сцепила пальцы и только закачала головой.

— Не дразнись! — выпалил я.

— А я и не дразнюсь. Я все тебе скажу. Честное слово, я сама скажу. Я только не знаю, как начать, ты уж меня не пытай.

Я пожал плечами.

— Как хочешь.

— Не сердись и не пожимай плечами. Мне, ей-богу, не до того. Заманила меня в такую рань к завтраку, а теперь дает обратный ход. И я снова стал есть, решив молчать как рыба, и пусть говорит, когда ей вздумается, или вообще не говорит. Утомлять ее я не буду.

— Ну вот, ты и расстроился,— сказала она.— Я ведь вижу.

— У тебя все какие-то намеки, недомолвки,— проворчал я.— Что же прикажешь делать — силой из тебя слова выжимать, да?

Бо собрала шарф, перчатки, лакированную сумочку и схватила меня за руку.

— Кит, миленький, ты не сердись, у нас еще столько времени впереди. И я хочу тебе все рассказать по порядку, как следует, чтоб ты не пугался, не удивлялся и не думал, что я на тебя давлю. Вот и все.

— Ладно уж,— сказал я ласково. Я видел, какое серьезное у нее лицо, и понял, что она правда хочет мне сказать что-то очень важное.

— Ну, ты все съел?.. Тогда пошли,— сказала она.

— Куда это? — спросил я вставая.

— Я хочу спасти бедненькую шляпу Скотта.

— Господи, зачем?

— А зачем мы ее там бросили? Это безобразие. Несправедливо.

— Да как ты до лесу-то доберешься? — спросил я, выходя следом за нею на улицу.— Дотуда миль шесть-семь переть.

— На «фиате», конечно. Ты можешь править?

— Править-то я могу,— сказал я.— Но вдруг Скотт будет недоволен?

— Чем?

— Ну, что мы машину взяли.

— Но машина моя, Кит.

— «Фиат»?

— Ну да. А ты не знал?

— Не знал. Скотт говорил, это машина племянницы Джеральда Мерфи. Да, кажется, так он говорил — племянницы.

— А это я.

— Джеральд Мерфи — твой дядя?

— Нет. Не в полном смысле. То есть у меня сотни таких дядь. В общем, Сара — знакомая моей мамы.

Я стоял на тротуаре, задавал Бо множество вопросов, а она делалась все непонятней, так что впору просто спросить, кто она и откуда.

— У тебя все на лице написано.— Теперь она подтрунивала надо мной.— Ну чего ты удивляешься? Мог бы догадаться. Так что давай, будешь править.

— Ой нет,— сказал я.— Это твоя машина...

— Не дури.

— Вдруг я ее разобью.— Я вспомнил свои неудачные опыты. К тому же я не сомневался, что Бо правит в сто раз лучше меня.

— Ладно,— сказала она.— Жалко. Но раз тебе не хочется...

Я затряс головой, мы сели в машину. Руль радостно подался под руками у Бо. Все ладилось, к чему только ни прикасались эти пальцы, и ладони, и запястья, эти руки и ноги. «Фиат» взял с места не кашлянув, и мы свернули в улочку и покатили мимо витрин, как на самокате.

— Осторожней! — не выдержал я. Мощный грузовик вынырнул впереди из переулка, а Бо его не заметила.

— Ненавижу эти серые грузовики,— сказала она. Она катила по людным улицам, как по пустыне. Мне вдруг захотелось зажмуриться. Мы выехали на площадь, и тут я окончательно понял, что Бо не умеет править. Все движения у нее были точные, но замечала она только то, что под носом. Водить машину — это не часы чинить. Бо не замечала ни людей, ни велосипедов, ни собак, ни кошек.

— Смотри! — Женщина переходила дорогу в пятидесяти метрах от нас, и мне снова пришлось орать.— Смотри же, Бо!

— Знаю! — крикнула она.— Французы дико неосторожны, правда?

Я ухватился за щиток одной рукой, за дверцу — другой, и я почувствовал облегчение, лишь когда мы выехали на пустую сельскую дорогу, которая шла в гору, в Фужерский лес, и привела нас к поляне, где мы оставили на палке шляпу Скотта.

— Ой, она еще тут,— обрадовалась Бо, выходя из машины.

Мне в дороге свело челюсть, и теперь я не сразу обрел дар речи.

— А ты как думала? — сказал я.— Что один из них прокрадется сюда ночью и ее стащит?

— Не напускай на себя цинизм,— ответила она.— Наивный и обиженный ты куда милей. Правда, ты тогда мне гораздо больше нравишься.

Нет, я окончательно понял, что ничего не могу с нею поделать. Я беспомощно и жадно глядел, как она осматривает бедную шляпу, расправляет вмятину, вертит «федору» в руках, дышит на нее, пытаясь восстановить былое совершенство.

— Она вся промокла. А что ты с брюками-то сделал? Они ведь у тебя тоже все промокли и на заду разодрались...

— Я их выбросил,— сказал я.— А тебе советую выбросить шляпу. Вряд ли Скотт такую наденет.

— А ты скажи Эрнесту и Скотту про свои брюки, пускай они тебе новые покупают.

— Обойдусь,— выдавил я.

Бо засмеялась. Как всегда, моя гордость подвела меня и вогнала в краску. Но я так сгорал от любви к Бо, что уж не до того было, краснеешь или не краснеешь. Я все время злился, страдал, томился и радовался. Правда, я старался перебороть себя, и страх, и застенчивость, но у меня все было на лице написано.

— Вот бы мне быть как ты,— сказала она.— У тебя все чувства наружу. Я люблю, когда ты краснеешь.

Она стояла совсем рядом, почти прикасалась ко мне грудью. И тут я положил ладонь ей на лицо. Она отстранила мою руку и крепко ее сжала.

— А я и не краснею,— сказал я.— Просто у меня температура.

Она не слушала, моя попытка сострить провалилась. Бо спросила, что думаю я про Хемингуэя и Скотта.

— Останутся они друзьями, а? То есть настоящими друзьями?

— А что? — сказал я.— Пока они ведь еще держатся.

— Но ты разве не чувствуешь? Они оба стараются измениться, что-то из себя сделать новое, а у них не выходит.

— Скотт, может, и старается,— сказал я.— И думает, что Хемингуэй старается тоже.

— Нет, правда, я вот еще хотела тебя спросить,— она все не отпускала, а крепко держала мою руку, будто я собирался ее вырвать.— Думаешь, оба и есть то, за что себя выдают? Они ведь ужасно оба запутались. Правда же?

— Они тут ничего не могут поделать. Они вечно друг друга злят. И кажется, им того и надо.

Мы кружили вокруг «фиата», будто прогуливались по фойе оперы, и Бо все не отпускала мою руку.

— Им помощь очень нужна, вот что я поняла,— сказала Бо.— То есть она им обоим нужна.

Меня кольнула ревность.

— Какая помощь? — насторожился я.

— Ну... — Тут Бо явно собиралась мне что-то объяснить, но вдруг передумала и спросила, какого я мнения, в частности, о Скотте.— Мне надо знать, во что Скотт действительно верит, а, Кит?

В то время часто задавали этот вопрос. Он тогда был в ходу, как и еще другой вопрос — «что у него за душой?». В общем, ответ требовался серьезный.

— По-моему, Скотт во все на свете верит,— рискнул я.

Бо сжала мою руку.

— Ой, верно,— сказала она.— Потому-то он так легко обижается, и потому-то он пьет. Ему необходимо во что-то верить, иначе он погибнет.

— И Хемингуэй такой же,— сказал я.— Просто он это лучше умеет скрывать.

— Господи, я и сама знаю, Кит. И во время этих их жутких перепалок он ведь из кожи лезет вон, чтобы только себя не выдать. И вся его жестокость отсюда, ему либо убивать, либо себя убить, а как жалко, ведь на самом деле он совершенно не такой.

Наверное, теперь мне следовало бы посмеяться над тем, как Бо (восемнадцати лет и двух месяцев от роду) и я (девятнадцати лет и двух месяцев) судили о них как о равных. И все же мы были правы. А Бо, кажется, совсем уже подошла к тому, что собиралась мне выложить.

Она примолкла, и мы побрели дальше.

— Смешно,— вдруг сказала она.— Каждый из них настоящий мужчина, но у них все по-разному. И кто же из них прав, а, Кит?

— Но что у тебя на уме, не пойму,— сказал я.

— Сама пока не знаю. То есть не совсем знаю,— и тут она остановилась.— Понимаешь, мне надо менять мою жизнь. И тебе, по-моему, тоже. И Скотт с Хемингуэем тоже стараются изменить свою жизнь. И у всех у нас разные причины. И удивительно, как это мы вдруг встретились.

И ведь снова Бо была права, все мы на что-то решались, к чему-то готовились, что-то важное творилось у каждого в душе. Каждый собирался бросить вызов богам.

— Пошли,— сказала она.— На меня давит это место. Здесь я ни-

чего тебе больше не расскажу. И вдобавок есть хочется. Надо еще раз позавтракать.

Мне не хотелось отпускать ее руку. Я цеплялся за Бо, пока мог, а в ней, по-моему, боролись противоречивые чувства, когда мы на миг застыли в нежной зеленой дымке, как пар от дыхания, висевшей над остатками нашего брошенного пикника.

— Ну, поехали,— сказала она.

Я выпустил ее руку. Мне и подумать было страшно о том, как Бо снова меня повезет, но я сразу сел не за руль, а рядом. Бо оценила мой жест, прижалась ко мне щекой, носом, ухом, засмеялась, потом включила мотор и немного обождала. Потом проговорила:

— Наверно, мне надо набраться храбрости, раз уж я решилась, Кит. Да и тебе, наверно, тоже.

Господи, ну что она хотела этим сказать? В какую еще загадку меня втягивала? О ком думала? Обо мне? О Скотте? О Хемингуэе? Или просто-напросто о себе? Одно я знал твердо — в любом случае ответ я получу не раньше, чем она займется раскатыванием croissant'ов, а потому я захлопнул дверцу, схватился за щиток, и Бо повела «фиат» в сторону шоссе.

Даже сегодня, стоит мне только закрыть глаза, меня обдает болью той секунды, когда Бо повернулась ко мне — что-то сказать, выехала на шоссе и врезалась в грузовик, который вез строительные материалы. На нас рухнули полы, крыши, стены, перила, столы, полки, брусья. Нас раскололо надвое, и хоть я не видел, как именно ее убило, я все сразу почуял нутром. Прежде чем ударило меня самого, я успел понять, что серый грузовик уничтожил Бо и просто ее больше нет на свете.

Глава 12

Бо погибла, а я остался жив — чистейшая случайность. Правда, когда Скотт и Хемингуэй пришли меня навестить, а потом Зельда, и оба Мерфи, и миссис Хемингуэй, я лежал на железной кровати в иностранной больнице, беспомощный, затуманенный и почти никого не узнавал.

Скотт, и Хемингуэй, и Джеральд Мерфи выступали сквозь дымку мудрыми старцами, пастырями, отцами, дядями, утешителями.

«Погоди, детка, все образуется»,— слышал я. «Ты молодцом», «Ничего, ничего...»

Сара Мерфи, помню, всплакнула — из-за Бо, наверно, а может, глядя на то, какой я тихий, черный, оглушенный. Зельда обращалась со мною, как со сломанной куклой, и, хоть я мало что соображал, очень меня этим стесняла. Миссис Хемингуэй я просто не помню. Вообще мало что помню. Я слушал, старался понять, спал. Вот и все как будто.

Я тогда еще не подозревал, что как только я оправлюсь, мне придется отчитываться не перед ними всеми и не перед собственной совестью, а перед французскими следователями. Французский закон дотошно требует именно объяснений, придавая им больше значения, чем даже фактам, ну а объяснить тут что-то мог я один.

Как только я смог садиться, у моего одра нарядили следствие при участии шестнадцати персон. Тогда мне все это показалось естественным. Ну, иностранцы. Ну, французы. Ну, суетятся. И только много лет спустя я узнал, что Джеральд Мерфи поторопил события, чтобы решить дело сразу и окончательно и тем избавить меня в дальнейшем от таскания по судам, от жандармских допросов, адвокатов, страховых компаний и прочего. Да, поздно я узнал о том, что́ сделал для меня Джеральд Мерфи, и так я его и не поблагодарил.

Я старался говорить правду. Вновь и вновь повторял с помощью пе-

реводчицы — маленькой смуглой женщины в трауре,— что мы не были пьяны, мы не пили, что у Бо было отличное зрение, что она не теряла контроля над собой, знала code de la route [1], умела водить (прости меня, господи) и что я ей не мешал. Мне пришлось воссоздавать для них ее последние минуты, и я с болью воссоздавал их в собственной памяти.

Но я, наверно, очень жалко выглядел, и судья сказал, что задаст мне один последний вопрос, необходимый вопрос, и закроет дело. Он спросил, не хочу ли я выдвинуть обвинение против водителя того грузовика, мосье Бедуайе. Он сказал, что я имею на это право. Мосье Бедуайе, плотный бретонец, едва помещался на стуле. Железный господин, под стать своему грузовику. Он утирал глаза чудовищным кулачищем всякий раз, когда упоминалось имя Бо.

— Нет-нет,— сказал я.— Я не хочу обвинять мосье Бедуайе. Он не виноват.

— Совершенно точно?

— Да-да, совершенно точно.

Далее судья по всем правилам заключил разбирательство, сообщив мне, что я признан невиновным и могу покинуть Фужер, как только почувствую себя в силах. Об остальном позаботятся родственники трагически погибшей мадемуазель.

И, кажется, тут только я понял, что Бо умерла.

Наверно, странно, что я говорю обо всем этом так спокойно. Сжато, сухо. Но, в общем-то, мне надо уже расстаться с Бо и вернуться к тому, с чего я начал,— к путешествию Скотта и Хемингуэя и зачем оно им понадобилось и к чему привело. В общем-то, просто я стараюсь свести память о Бо к той роли, которую она потом сыграла. Наверное, я совсем бы о ней не упоминал, если б мог, потому что не в ней дело. Нет, не в ней дело.

Но смерть ее нас всех подстегнула. Каждый день в больнице я ломал голову в поисках безвозвратно потерянного. Но чувствовал я (если можно чувствовать то, чего уже нет), чувствовал я только рвущую боль последней секунды, и отпускала она меня лишь на короткие промежутки. Я был молодой и умел долго терзаться. Мне было всего девятнадцать, и смерть совсем рядом, конечно, ошеломила меня. Я только беспомощно складывал осколки. Снова и снова перебирал в памяти тот последний разговор, месил, месил ее слова, как тесто, задавал и задавал себе вопросы, а ответа на них не было.

Что собиралась делать Бо? Зачем ей требовалось набраться храбрости? И для чего могло понадобиться мужество мне? Но самый мучительный был вопрос, который помог бы ответить и на все остальные. Если она решила отдаться Скотту либо Хемингуэю (а это возможно), то кому же из них? А может, я зря преуменьшал собственную роль?

Потом я снова начал о них беспокоиться. Будь я подальновидней, я бы, наверное, махнул на них рукой. Но я имел неосторожность спросить у Зельды, что с ними делается. С тех пор как я стал садиться в постели, Зельда была со мной нежней, внимательней, добрее всех. Я тотчас же сдался. Я полностью и без раздумий доверился ей.

Она выслушала мой вопрос про Хемингуэя и Скотта, а потом, как девочка, скакнула на мою кровать, поджав губы и вонзив красные ногти в белые ладони.

— А зачем тебе о них знать? — спросила она.

— Да так,— сказал я.— Просто интересно, какие у них планы.

— Тебе это всерьез не все равно?

— Конечно,— сказал я.

[1] Правила движения *(франц.)*.

— Смешной мальчик,— сказала она. Она пристально на меня посмотрела, не то испытывая, не то стараясь смутить — у нее никогда было не понять.— Ты разве не догадался, что оба пытались влюбиться в Бо?

— Я не замечал... — пролепетал я.

— Не ври! Ты ревновал, Кит. Только напрасно ты это. Оба вели себя как два бодрящихся старика, и нужна-то им Бо была только для того, чтоб кинуть последний взгляд.

— На что?

— На самих себя, на что же еще? — сказала она. Зельда выглядела довольно скверно, и губы она накрасила тоненькой, узкой полоской, будто нарочно, чтоб казаться злой или даже противной.

— Неужели ты не понимаешь? — сказала она.— Ну да, как же тебе понять? Ты-то любил Бо. А мы все влюблены в собственную молодость. В том-то и беда наша, Кит. Страшно. Теряем себя капля за каплей. Молодость проходит. «Благоуханье мига и того не боле». И она проходит совсем, вот в чем весь ужас, Кит. У тебя-то остается твоя гладкая, юная кожа, Кит, а наша ежедневно и отвратительно облупляется. Как рыбья чешуя, как старые сухие листья мака.

Я полусидел, обложенный подушками, и Зельда наклонилась и на секунду прижалась ко мне, она будто хотела одарить меня своим теплом. И ничего больше. У нее было совершенно спокойное лицо, но мне на шею капнула слезинка.

— Бедные дети,— запричитала она.— Бедная, милая Бо. Мотылек в пламени.

Потом она села повыше, сбросила туфли, уткнулась локтями в колени, острым подбородком в ладони.

— Ты не знаешь, не знаешь,— задумчиво протянула она, раскачиваясь по своему обыкновению,— как вы оба были прелестны, безупречны, совершенны. Даже когда вы стояли ярдов на пятьдесят друг от друга, далеко-далеко друг от друга, мы всегда смотрели на тебя и на Бо так, будто сами мы — только призраки и это вам принадлежат наши истинные тела. А ты ничего не замечал, да?

— Нет, не замечал.

— Ты признавался Бо в любви? — спросила она резковатым своим, вибрирующим голосом, по-южному растягивая слова.

— Нет, никогда.

— Господи, почему же?

Я ей ничего не ответил.

— Тогда берегись,— сказала она.— Если ты правда любил Бо, память о ней будет вечно преследовать тебя, и мучить, и портить твои отношения с женщинами, так что берегись. Вдруг «ласк неизведанных упрямый образ заполонит вполне воображенье...». А в твоем возрасте это ужасно.— Она снова пристально в меня вгляделась.— Понял, что́ я пытаюсь втолковать тебе в глупых, бесплотных словах Шелли?

— Да. Но вы зря беспокоитесь.

— Не зарекайся,— отрезала она.— Вот, например, сможешь ты забыть Бо и нас всех к концу той недели?

— Вряд ли...

— А надо бы. Забудь нас всех вместе взятых, Кит. Особенно Скотта и Эрнеста.— Она ударила по кровати кулачком.— Не попадайся к ним на удочку, хватит, если сам себе не желаешь зла.

— Почему?

— Потому что они так по-идиотски поглощены собой, что лучше держаться от них подальше. Они одержимы собой и друг другом. Помешаны на драке. Они гладиаторы в кровавой битве, и победит непременно Эрнест. Он всегда побеждает.

Зельда иногда подводила глаза черным, и она щурилась, как кошечка, играя в эти свои поэтические игры. И сейчас она тоже щурилась.

— Мы тебе не компания, Кит, ведь ты пока еще ничего не утратил. Так что пусть уж Скотт и Эрнест без тебя охотятся за собственным бессмертием.

— А они продолжат поездку? — спросил я.

— Не знаю.— И Зельда поднялась с моей кровати.— Да и какое мне дело? Толку все равно не будет.

Зельда поплыла к порогу и, уже почти скрывшись за дверью, томно помахала мне рукой в перчатке.

— Отправляйся домой, Кит! — крикнула она мне из коридора, и хоть я отдавал должное искренности ее предостережений, я так и не понял, что же намерены делать дальше Скотт и Хемингуэй. Ответ в некотором роде я получил от самого Хемингуэя.

Он уже захаживал вместе со Скоттом и Джеральдом Мерфи, когда я был в полузабытьи, но один пока не приходил. Бросит мне на постель спортивный, охотничий или французский журнал, скажет, что я молодцом. А сам ко мне присматривался, один раз подробно расспрашивал о моих повреждениях. Три дня после катастрофы я почти не приходил в себя, и это его очень беспокоило, он волновался из-за моего сломанного ребра, синяка под глазом, из-за кровоподтеков, которые мешали мне двигаться и держали меня в постели.

— Ну как ты, детка? — спросил он на сей раз, бросая мне на постель иллюстрированный номер «Лондон ньюс».— Тут тьма картинок.— Он ткнул в журнал пальцем.— Запомни, если хочешь стать газетчиком: куда больше можно почерпнуть из чужих картин, чем из чужих слов. Присмотрись как-нибудь к Брейгелю. Ну, как твоя голова?

— Все в порядке,— сказал я и сел.— Меня в пятницу выписывают.

— Да, так мне и старая мужичка сказала, йодом выпачканная.

— Сестра Тереза? — Я захохотал. Сестра Тереза, у которой пальцы были выпачканы йодом, была не столько старая мужичка, сколько очень старая деревенская святая.

— Да. Сестра Тереза. Она как будто выскочила из «Кентерберийских рассказов» Чосера. Толстая, снисходительная к грешникам. Я сказал ей, что, судя по ее пальцам, она, видно, тайком курит до потери сознания, а она давай хохотать, чуть чепчик с головы не свалился.

— А я хуже сострил,— сказал я.— Как-то ей сказал: о такой монахине, наверно, мечтали все умирающие солдаты,— а она это приняла всерьез. Всплакнула, взяла меня за руку и сказала: господи, может, и правда, может, и правда.

— Наверное, многого понавидалась,— ласково сказал Хемингуэй.— Ну вот, детка, а я попрощаться зашел.

До сих пор я точно не знал, нужен я ему или нет. Когда мы разговаривали, я должен был просто все выносить и слушать. Но сейчас, сидя на некрашеной кровати и глядя, как Хемингуэй сидит у меня в ногах, я вдруг понял, что ему хочется поговорить именно со мной, излиться, что, может, я ему и нужен.

Я спросил, куда он собирается.

— Обратно в Париж. А потом, наверное, в Нью-Йорк или в Барселону.

Он запрокинул голову и посмотрел на меня сквозь усы, будто говоря: «Ну, детка, я знаю, что у тебя на уме, уж выкладывай».

И я выложил.

— А как же Скотт? — спросил я.

— Все в порядке,— сказал он.— При чем тут Скотт?

— Что он говорит по этому поводу? Я думал, вы с ним еще не разобрались.

— Вылазка окончена, детка. С моей стороны, во всяком случае, бесповоротно. А Скотт пусть как хочет. Но ему, по-моему, тоже уже все равно.

— Но он мне говорил перед самой катастрофой, когда мы валялись без сил в лесу, что вы собираетесь в Тур, там вроде многое связано с Гюго и Бальзаком?

— Я же сказал тебе, детка, тема исчерпана. И забудь про нее.

— Он знает, что вы уезжаете?

— Нет, и ради бога не говори ему ничего, пока я не уеду. У меня нет никакой охоты заново объясняться со Скоттом Фицджеральдом. Это в моей жизни пройденный этап. Ну, а тебе-то хочется еще болтаться по дурацким французским городишкам?

— Нет. Не хочется.

Хемингуэй откинулся на неструганую спинку моей кровати и сказал, что я многого в их затее не понял.

— Понимаешь, ты на все смотрел затуманенными голубыми глазами Скотта, а боже избави тебя кончить, как Скотт. И я скажу тебе сейчас, почему я еду, детка, и почему наша вылазка была с самого начала обречена. Так вот, если тебе угодно выслушать правду,— я ведь не для того тут сижу, чтоб преподносить тебе отеческие наставления, пусть их тебе другие преподносят,— я скажу тебе правду.

Он на меня нападал. Я вспыхнул.

— Не беспокойтесь,— натянуто сказал я.

Хемингуэй ткнул меня локтем.

— Тебя когда-нибудь еще подведет твоя красная физиономия,— сказал он.— Итак, я хочу вбить в эту англосаксонскую башку, что мы со Скоттом пустились в поход из-за ложных посылок. На самом же деле движущей пружиной была безумная теория Скотта про него и про меня. Он считает, что оба мы прикидываемся и заблуждаемся. И что мы убьем в конце концов истинного Фицджеральда и великого поэта Хемингуэя. Убьем непониманием. Да, наверное, он тебе уже все это излагал, и ты схватываешь, о чем речь.

— Да, он мне говорил.

Хемингуэй пожал плечами.

— Ладно,— сказал он.— Но, видишь ли, детка, первые двадцать лет жизни — самые лучшие годы; как бы тебя ни хлопнули, ты поднимаешься на ноги. А потом уж оно потрудней. Надо выискивать большущую стену, чтоб спрятаться и чтоб никто тебя не тронул. Запомни.

— Скотт мне объяснял...

— Знаю я, что он тебе объяснял,— сказал Хемингуэй грубо.— Слушай дальше. Я отправился в эту поездку для того, чтоб спасти Скотта от пьянства. Но я не могу ни в чем убедить идиота, который изо всех сил старается затащить меня в братство, просто не существующее вне войны и мифологии. И положить конец его стараниям, спастись от его миссионерского пыла можно только бегством. Вот я и бегу. И не слушай, если он начнет толковать тебе другое.

— Разве вам необходимо бежать? — спросил я. Я защищал интересы Скотта.

— Другого выхода нет,— сказал Хемингуэй. Он терпеливо мне все объяснял, втолковывал, чтоб я плохо про него не подумал.— Я не желаю больше видеть этого психа,— прибавил он с расстановкой.— Он никогда не уймется. От меня ничего не зависит. Стоит мне оказаться

рядом, он, даже еще не раскрывая рта, уже берется меня спасать от меня самого. Но дудки, я не дамся, чтоб Скотт меня спасал — ни от чего, ни от кого, даже от меня. И не думай, будто я с легким сердцем махнул на него рукой. Просто ты влип со стороны в нашу печальную историю, вот я тебе ее и растолковываю, хоть ты, наверное, все равно думаешь, что я его обидел.

— Нет,— сказал я.— Но мне кажется, вы совершенно отрицаете дружбу.

Хемингуэй вздохнул с покорностью, в нем неожиданной.

— А ведь ты прав,— сказал он.— Я не способен к самопожертвованию, верная дружба до гробовой доски — не в моем духе. Я не могу навьючивать на себя такую большую ответственность до конца дней, а Скотт, конечно, на меня ее навьючил бы, опутал бы меня по рукам и по ногам, и потому я сбегáю.

Хемингуэй встал. Он сказал все, что хотел сказать, и выслушивать мои соображения ему было неинтересно. Обычная его манера. Но вдруг он меня удивил.

— Ладно, детка,— сказал он.— Ты, кажется, хочешь что-то спросить, так лучше выкладывай, чем терзаться, мучиться своей милой английской робостью.

— Я вот думал насчет одной вещи,— решился я.

— Валяй.

— Это связано с Бо,— предупредил я.

— Ну хорошо, что же связано с Бо?

— Вы бы не уехали, если б Бо не погибла?

— Думаю, не уехал бы,— ответил он сразу. Потом засмеялся.— Точно бы не уехал. Тут уж Скотт меня водил на поводу... Но почему ты задаешь мне такие вопросы? Хочешь что-то сказать про Бо?

— Нет. Не хочу.

— Ничего, детка. Ужасная вещь, понимаю. Но истинная трагедия — Скотт. Бо умерла — и кончено. А Скотт по-прежнему проблема для всякого, кому не лень, и, наверное, ему оставался единственный выход — отделаться от этой своей истории с Зельдой и бежать к Бо. В том-то вся и жалость. За беднягой нужен присмотр. Если ты мужчина — лучше будь с ним построже, но если ты женщина — тебе надо холить его, нежить, заботиться о нем. А Зельда не умеет заботиться, вот он, наверное, и рассчитывал на Бо.

— И думаете, Бо могла с ним связаться?

— Ох ты черт, конечно же нет. Он, может, на нее и рассчитывал, но она думать про такое не думала.

— Откуда вы знаете?

— Господи, детка. Не задавай глупых вопросов. Уж поверь мне на слово, а лет через двадцать, может, и сам поймешь. Ну, до свиданья, детка, и не вешай нос. Все там будем...

Он ушел, и когда он закрыл дверь — хоть он вырвался сразу, мгновенно одолев палату своими ножищами,— я понял, что Хемингуэй всегда стеснялся меня не меньше, чем я его стеснялся. Со мной всегда разговаривал вымышленный Хемингуэй, и он всюду таскал этого вымышленного Хемингуэя с собою, и потому-то их смутные усилия понять друг друга потерпели крах. Ладу между ними не получилось.

И теперь остался только Скотт.

Я жалел Скотта, и мне не терпелось узнать, как он отнесется к отъезду Хемингуэя. Скотт пришел на другой день, в день моей выписки, напряженный, взвинченный, неся мой чемодан, и сразу сказал:

— Ты огорчишься, старина, но Эрнест сделал нам ручкой.

— Не понимаю!

— Он смылся.

— Опять! — лицемерно сказал я.— Но это же ему не впервой.

— На сей раз он правда уехал. Все кончено, Кит. Кончен бал.

Вид у Скотта был отважный — борец, человек действия. Он часто на себя напускал такой вид. Но он явно злился, и я решил было, что он принял жест Хемингуэя так, как тот его задумал: дружба прервана, с одиссеей покончено. Но, оказывается, Скотт расстраивался совсем по другому поводу.

— Ты знаешь, Кит,— сказал он, бродя взад-вперед по палате,— Эрнест приобретает ужасающее влияние на молодых американцев. Зельда говорит, ему уже подражают. Что же станется с нашими детьми и внуками, если они все примутся обезьянничать с этого варвара? Он всю республику развратит к чертям.

— Он вчера заходил,— кинул я небрежно. Я хотел унять Скотта.

— Он тебе сказал, что намерен смыться?

— Сказал, собирается в Париж или Нью-Йорк,— уклончиво ответил я.

— Бери свои вещи.— Скотт показал на чемодан. Повернулся и вышел.

Я понял, что никогда их больше не увижу. Меня будто вышвырнули. Но открыв чемодан, я обнаружил там всякую всячину — разные подарки: рубашки, брюки, ботинки, и розовый галстук от Зельды, и очень милую куртку с пришпиленной записочкой от Скотта, чтоб я «не лез в бутылку», потому что, мол, все это «законное возмещение» убытков, понесенных мною в лесу. (У сестры Терезы при виде моей одежды вытянулось лицо, и она сказала, что окровавленное тряпье надо сжечь.)

«Мы все в субботу куда-то едем,— гласила записочка Скотта,— но ждем, когда тебя выпустят из твоего французского чистилища, и надеемся повидаться с тобой на прощание».

Ну ясно, Скотт собирался уехать, ни словом не помянув ни Хемингуэя, ни Бо, и даже вполне понятно, почему ему не хотелось про них говорить. Вполне естественно, меня уже исключили из игры. Я и не ждал от Скотта прощальных восклицаний и точек над i. В конце концов, он ведь с самого начала говорил мне, что от этой поездки зависит все дальнейшее развитие их судьбы. А теперь-то чего уж.

Он вошел ко мне в номер в полтретьего утра в субботу. Он включил свет, и я проснулся. Я нашарил часы и увидел, что еще ночь.

— Что случилось? — спросил я.

— Ш-ш-ш,— громко прошипел он. Он покачивался, но, по-моему, нарочно.— Ничего не случилось. Просто я хочу с тобой поговорить, пока все прочие во Французской Республике крепко спят в своих ореховых кроватках. Лучше времени для разговора не придумаешь, Кит, и я безумно извиняюсь, старина, что тебя разбудил. Ну, как ты?

— Ничего,— произнес я сипло.

Он пришел от Гескленов и выглядел прилично. Он был в твидовом костюме и четко выговаривал слова. Правда, он отчаянно размахивал тросточкой, но, кажется, не был пьян. Во всяком случае, не очень. Как-то странно и сосредоточен и рассеян.

— Я пришел... — Он был веселый и важный, и он отчаянно подыскивал слова.— Я пришел,— сказал он,— дать тебе один очень существенный совет. Так что садись-ка и слушай внимательно. Совет очень существенный. И кроме меня никто тебе его не даст.— Секунду это обещание витало в воздухе, и вдруг он о нем совершенно забыл.

— Какой совет? — спросил я, окончательно просыпаясь.

— Необходимый совет,— отрубил он, но в его усталых глазах отразились только отчаянные потуги вернуть Скотта Фицджеральда с дальнего синего горизонта, куда он неуклонно ускользал.— А? Что я говорил, Кит? Что я говорил?

— Вы хотели дать мне какой-то важный совет.

— Правда?

— Вы так сказали.

— Гм. Гм. Хорошо же.— Скотт ткнул в меня тросточкой и крикнул во все горло:

— Бамм! — Потом: — Ну как, Кит? Здорово я стреляю?

— Ш-ш-ш,— зашипел уже я.— Вы всю гостиницу разбудите.

Скотт, все так же колеблющийся на грани здравости и забытья, вдруг подтянулся и громко зашептал:

— Верно, старина. Я терпеть не могу, когда плюют на других. Еще моя мама говорила: это признак уроженца Чикаго.

— Вы бы сели,— сказал я.

— Нет, нет,— проворчал он.— Я пойду. Я тут больше ни минуты не останусь. Я пришел только тебе сказать, что с Эрнестом я провалился. И ты это знаешь. И Эрнест знает, и ты знаешь, и Зельда, и Джеральд Мерфи знает, и Сара, и Хедли. Вот и все, что я хотел тебе сказать, старина.

Мне оставалось одно — тщательно взвешивать свои вопросы.

— И что вы собираетесь делать дальше? — спросил я.

— Делать? — взорвался он.— Почему я обязан что-то делать?

Тут я смутился и довольно глупо брякнул:

— Значит, вы считаете — это все?

— Откуда я знаю? Хемингуэй продал нас с потрохами, верно? Он предатель, верно? И ты спрашиваешь меня, что я собираюсь делать дальше? Ты бы лучше его спросил! — Скотт закрыл глаза, отгоняя какой-то неприятный образ, а когда он снова их открыл, он уже критически меня разглядывал, будто недоумевая, откуда я взялся. Потом он снова заговорил, с усилием, с удивлением: — Кит, но почему он уехал? Что его отпугнуло?

— Не знаю.

Скотт вдруг схватился за простыню, ужасно закашлялся (я тогда еще не знал, что у него туберкулез), потом он вздохнул, и снова на него напал ужасный, неодолимый кашель. Лицо сразу стало бледное, больное. Он мучительно ловил какую-то мысль.

— Что, по-твоему, хуже дезертирства? — сказал он.— Кит!— сказал он. Потом встал и вдруг накинулся на меня: — И зачем ты мне задаешь идиотские вопросы?

— Никаких я вам не задаю вопросов,— отрезал я.— Просто я хотел узнать, что вы намерены делать.

— А, ну тогда ничего,— выдавил он.— Но когда-нибудь,— пригрозил он устало,— когда-нибудь Эрнест еще напишет мне ужасное, жалостное письмо, знаешь какое?

Я покачал головой.

— Он напишет: «Скотт, миленький, я умираю! Я медленно умираю жертвой самозаклания, и ради бога приди и спаси меня».

Он ужасно тяжело дышал, и я снова стал уговаривать его, чтоб он сел.

— Хоть на минуточку,— просил я. Я боялся, что ему вот-вот станет дурно.

Он присел на кровать и еще раз с усилием выбрался из той тьмы, в которую он теперь то и дело так надолго погружался.

— Да, еще вспомнил! — И вдруг он перешел к своей манере рассерженного учителя.— Я пришел тебя предупредить, чтобы ты бросил

свои английские штучки. Они ужасны! Отвратительны! И надо покончить с ними, старина, пока не поздно. От таких вещей лучше вовремя избавляться. Не бери пример с Эрнеста. В один прекрасный день Эрнест надолго замолчит, и вот тогда он и напишет мне то жуткое письмо...

Он встал и пошел к двери, подняв трость, как волшебную палочку. Я увидел, как он сдерживает кашель, давится кашлем. Снова я испугался, что ему вот-вот станет дурно. Но он вдруг вернулся.

— И еще одно! — выдавил он, одолевая кашель.— Напомню тебе слова Лоуэлла, обращенные к Спенсеру. Знаешь, что он ему сказал?

— Не знаю.

— Он сказал: нельзя позволять гению уничтожать собственный гений. Вот вы все думаете, я сдался Эрнесту. Да? Ни черта! Он у меня еще попляшет.

Опять он пошел к двери, и опять он вернулся и спросил, думал ли я о том, что было бы с ним и с Эрнестом, если бы Бо не погибла.

— Задавался ты таким вопросом?

— Я только об этом все время и думаю,— сказал я.

— Так вот я тебе скажу, что было бы,— сказал он.— Эрнест никуда бы не уехал. И я бы выиграл все — но Бо мы оставим в стороне.

— То есть как?

— Я в лесу тебя предупредил насчет Бо, верно? А ты на это наплевал, верно?

— Ничего подобного. Я сразу вернулся вместе с вами.

— Но ты не знаешь, что с ней было, верно?

— О чем вы, не понимаю,— я не желал ему подыгрывать, раз речь зашла о Бо.

— Ладно,— сказал он таинственно.— Пусть тайна умрет вместе с ней. К тому же, если б так дальше пошло, она бы с Эрнестом намаялась.

— Да что такое? Что у них случилось?

— А ты-то сам как думаешь?

— Не знаю. Думаете, она хотела с ним связаться?

— Господи, конечно нет. С чего ты взял? — сказал Скотт.— Может, старина Эрни на нее и рассчитывал, да только мало ли кто чего хочет.— Тут он расхохотался и снова отступил к двери, взялся за ручку, застыл. Но на сей раз переступил порог.— Бедная Бо,— сказал он грустно.— Она переживала пору равноденствия, которую знают только женщины. Еще бы немного — и сменился бы сезон. Но не для Эрнеста. Никогда.— Он еще потоптался, покашлял, он чуть не валился с ног от изнеможения.— И ведь какой ужас, Кит, какой ужас. Правда?

— Да.

— Ну, спокойной ночи, старина.— И он ушел.

— Спокойной ночи, Скотт,— сказал я, и я встал и прикрыл дверь, потому что он оставил ее открытой.

Глава 13

На другой день, или, верней, уже наутро, мы расстались. Скотт и Зельда за завтраком ели croissant'ы, а мне казалось, что они жуют эпитафии по нашей исчезнувшей девочке. Меня они, правда, окружили вниманием и заботой. Кит такой, Кит эдакий, Кит миленький, Кит-старина; а я-то знал, что никогда больше их не увижу. Я уже стал для них горьким воспоминанием.

Они отправлялись в Руан на «изотте», а меня оставляли в Фужере, пока я как следует не поправлюсь. Я беспокоился насчет уплаты за больницу, но Джеральд Мерфи уже оплатил счет, он говорил, что это

пойдет из состояния Бо, которым он должен будет распорядиться. Он и за гостиницу заплатил, и вручил мне вдобавок билет до Лондона, хотя билет у меня уже был, мне его еще раньше прислали из Парижа. Так что отношения, в общем, закрепились, и я спросил Джеральда Мерфи, можно ли мне будет доехать с ними до Фужерского леса, если это им по дороге в Руан.

— Разумеется, отчего бы нет? — отвечал он в своей старомодной манере.— Но как вы обратно доберетесь? Это километров пять, а вы еще не окрепли.

— Я проголосую,— сказал я.— Не беспокойтесь.

Скотт мне объяснял, что у Джеральда Мерфи принцип — не задавать лишних вопросов.

— Хорошо,— сказал он.— Мы едем через полчаса, если Скотт справится с замком на своем сумасшедшем чемодане.

Я чистил зубы у себя в номере, когда Сара Мерфи постучалась и спросила:

— Кит, можно мне на минуточку?

— Пожалуйста,— сказал я, натягивая пиджак.

Сара подошла прямо ко мне и вложила голубой шелковый платок мне в кармашек.

— Все не могла найти такого цвета,— сказала она.— Только сегодня утром попался.

Сара вечно смушала меня, я сказал, что мне страшно неудобно, но мне нечем ее отдарить.

— Вы уже нас осыпали дарами,— сказала она.— Вы с Бо так радовали нас. В общем-то, я пришла кое-что рассказать насчет Бо. Сядем-ка на минутку.

— Они там ждут внизу,— сказал я.

— Подождут,— сказала она, села на незастланную постель и рассказала мне почти все, что я теперь знаю про Бо. Она не ответила на мои немые вопросы, даже на половину их она не ответила, но я хоть немного понял, кто такая Бо.

Она была сирота, правда богатая. В восемь лет она лишилась обоих родителей и детство провела по разным родственникам, разным загородным домам, разным виллам над морем, по разным школам. С Сариных слов я составил представление об озабоченной, серьезной девочке, которая переезжала от одних родственников к другим, из одного дома в другой, не теряя самообладания и не хныча. Отца ее окружала тайна. Никто даже не знал толком, откуда он, не то француз, не то венгр, не то американец, не то вовсе из Герцеговины. Мать ее была английская аристократка, богачка и странница, где-то вышла замуж за чужака, а потом его бросила. Он погиб в начале войны, сражаясь на стороне французов. Мать Бо далее бросила ребенка на родных и друзей и продолжала свою красивую и беспутную жизнь — где вздумается и куда занесет богатство. Погибла она в Вене, весьма трагически: наклонилась к своей собачке, та тявкнула, она отпрянула, свалилась с железнодорожной платформы на рельсы и попала под экспресс дальнего следования. Бо досталось богатое наследство, и вся жизнь ее, с помощью родственников и друзей, превратилась с тех пор в сплошное переучивание, перемогание, переезды. Бо собирали по частям, склеивали клеем.

— Поразительно,— говорила Сара.— Но натура Бо все одолела, и она осталась естественной, чистой девочкой со строгой моралью и без претензий. Я любила ее мать, хоть она порой бывала невыносима. Бо пошла в нее внешностью, и только. Мы с Джеральдом всегда старались сделать для Бо что могли, но у нее лет с десяти были свои твер-

дые, незыблемые понятия. Бо — чудо, Кит. Воспоминания, может быть, уже заслоняют Бо, но не совсем.

Сара Мерфи все это рассказала, чтобы приблизить ко мне образ незнакомой девочки. Но я вдруг понял и другое, я понял, почему Бо так старалась устроить чужие жизни, уладить чужие отношения, унять распри, почему она так рвалась к правде и справедливости. И, наверное, историей ее детства объяснялась тяга к мужчинам гораздо старше нее, желание кому-то посвятить стремление к порядку и преданность, в ком-то найти черты незнакомого отца.

Но Сара словно угадала мои мысли:

— Вряд ли сама Бо понимала, кого она ищет — отца, брата, опекуна или человека, в которого она сможет верить, на которого она сможет положиться до конца жизни. Но я уверена, что она искала именно такого человека, Кит, и на вашем месте я приписала бы себе эту роль.

Скотт уже кричал снизу:

— Кит, ради бога. Мы ждем! Сара там?

— Да. Сейчас.

Мы еще минутку постояли, и Сара нежно взяла меня за руку.

— Я все это рассказала вам, Кит, потому что не хочу, чтобы ее совсем забыли, и думаю, уж вы-то ее запомните. Я надеюсь, что частица Бо засела в вас до самой смерти. И теперь мне даже не так страшно бросать ее в этом жутком, мрачном городе.

Я кивнул.

Спускаясь по лестнице, Сара не выпускала мою руку.

— Ужасная история. Но, думаю, вся затея была с самого начала обречена. Скотту и Эрнесту вообще нельзя ни минуты находиться под одной крышей.

Тут я не мог с ней согласиться, но я не сумел бы ничего доказать, да и поздно было спорить. На улице она снова попросила меня не забывать Бо.

— Ну пожалуйста, Кит, не забывайте ее.

— Да, это маловероятно,— сказал я.

— Милый мальчик,— сказала она, и тут мы подошли к «изотте», верх ее был откинут, и все уже сидели на местах.

Я сел сзади, Скотт крикнул: «En avant!» — и Джеральд Мерфи покатил мимо магазинов, той улочкой, которую Бо тогда одолела как птица. На Скотте была помятая «федора», видимо, спасенная в полной невредимости из-под развалин «фиата».

Джеральд Мерфи обернулся ко мне:

— Скажете, где вас сбросить.

— Где-нибудь на горе.

Мы выехали из города и потащились по тряской дороге в гору, к лесу. Все молчали, каждый уже ушел в себя. Перед той развилкой, которой я ждал, я крикнул: «Тут» — и поскорей выскочил из машины.

— Спасибо большое,— крикнул я, перекрывая урчанье «изотты».

— Милый, славный Кит,— весело крикнула Зельда.

— До свиданья! — заорали они хором, когда «изотта» покатила по длинному, прямому шоссе.— До свиданья, старина. Adieu, Кит...

Машина шла вверх по холму, я смотрел ей вслед. Вот Зельда сорвала «федору» с головы Скотта, запустила ею в лес, и шляпа описала красивую траекторию — как всегда.

Глаза у меня затуманились, потому что мне примерещилась девушка, она бежала за глупой шляпой, поднимала ее из грязи, поправляла чуткими, четкими пальцами и мгновенье держала на вытянутой руке, словно самой себе доказывая, что жизнь должна быть разумной и правильной, а не разрушительной и нелепой. И тогда я подумал, гля-

дя вслед «изотте», что Бо, может, как-то и определила наши судьбы. Ведь это из-за Бо уехал Хемингуэй, из-за нее вот-вот скроется за холмом Скотт, из-за нее я стою на дороге, и вижу призрак, и меня мучит вопрос, которого мне вовек не решить. Вопрос о том, что сталось бы со Скоттом Фицджеральдом, и Эрнестом Хемингуэем, и с литературой целого поколения, не разбейся Бо на этом самом месте — на грязном шоссе у Фужерского леса, обсыпанном листьями.

Но все это не умещалось тогда у меня в голове, а вопросу моему суждено так и остаться без ответа.

Послесловие

Перед читателем произведение несколько необычное, иным оно может показаться даже странноватым Первое, что бросается в глаза при беглом его чтении и может вызвать ощущение неприятия,— это весьма субъективное отношение автора к материалу, несовпадение многих деталей его повествования с широко известными фактами. А ведь пишет Джеймс Олдридж не о выдуманных героях, а о таких знаменитых писателях, как Эрнест Хемингуэй и Скотт Фицджеральд, биографии которых популярны, пожалуй, не менее, чем их книги. И, конечно, читателя может удивить, когда уже на первой странице Олдридж обозначает время действия «Последнего взгляда» сентябрем 1929 года и тут же пишет, что Хемингуэй уже прославился своим романом «Прощай, оружие!». Как известно, роман вышел в свет только в октябре 1929 года, как раз накануне великого экономического кризиса. Точно так же могут вызвать недоумение читателя неоднократные упоминания о жене Хемингуэя Хедли, хотя, как известно, они разошлись задолго до этого и Хемингуэй в эти годы был уже женат на Полине Пфейфер. Кстати сказать, косвенно это находит свое отражение в книге Олдриджа, когда автор вкладывает в уста Фицджеральда ехидную реплику о том, что Хемингуэй женился на богатой женщине, которая его содержит.

Количество таких примеров можно умножить. Но, как мне кажется, наличие в книге столь очевидных несоответствий объясняется отнюдь не небрежным отношением автора к фактической стороне дела. Скорее это принципиальная позиция автора, которую он заявляет открыто в первых же строках, когда предупреждает читателя, что это его версия, являющаяся чистейшим вымыслом, а не подтасовкой фактов. Поэтому фактические несоответствия представляются мне чем-то вроде дорожных знаков, которые писатель расставил по пути своего повествования и которые должны напоминать читателю, что вся история является именно вымыслом, авторской версией того, что произошло между этими двумя людьми.

Такой подход имеет право на существование. Вспомним Тынянова, который утверждал: «Там, где кончается документ, там я начинаю». Более того, такой подход интересен, ибо когда писатель пишет о другом писателе или, как в данном случае, о двух писателях, в этом всегда присутствует и его собственная творческая личность, его собственные проблемы, которые он опрокидывает на тех, о ком он пишет.

Олдридж видит в дружбе Хемингуэя и Фицджеральда классическую драму, дружбу-вражду, дружбу-соперничество между двумя писателями, которые по-разному понимают цели и средства литературного творчества, но у которых тем не менее много общих человеческих и писательских проблем. Хемингуэй и Фицджеральд ведут в его книге непрерывный спор — то явный, то скрытый, вспыхивающий вроде бы по пустякам.

Внешним поводом для вымышленной Олдриджем поездки Хемингуэя и Фицджеральда в Вандею является их желание на месте разрешить спор о сравнительных достоинствах двух романов — «Девяносто третьего года» Гюго и «Шуанов» Бальзака — и о том, кто из этих двух писателей лучше. Но при этом Фицджеральд в разговоре с Китом, вымышленным персонажем, от имени которого ведется повествование, приоткрывает и другие, более глубинные и гораздо более серьезные причины.

Одна из них заключается, по словам Скотта, в том, что в их жизни — и Хемингуэя и Фицджеральда — назревает опасный перелом. Смысл этого опасного перелома он определяет так: писателю, добившемуся успеха, необходимо спрятать свою собственную индивидуальность, защитить ее и заслониться спасительными копиями самого себя, сделать их наспех из того, что найдется под рукой — алкоголь, истребление птиц, женщины и тому подобное. «Ты должен всегда держать в тайне свои внутренние возможности,— говорит Фицджеральд,— и прятать их от подлых глаз и наглых пальцев». Но в этом таится своя опасность. «Беда только в том,—продолжает Фицджеральд,—что наша защитная маскировка берет над нами верх. Эрнест действительно похож на профессионального боксера, он и разговаривает, как боксер, а я становлюсь похожим на пьянчугу». И далее эта тема получает развитие в словах Фицджеральда: «Уже всем известно, что мы с Хемингуэем постепенно превращаемся в нечто, ни на меня, ни на него не похожее».

Другой причиной, по версии Олдриджа, оказывается испытание их дружбы. «Если дружба Хемингуэя и Фицджеральда сможет выдержать обиды,— говорит Скотт,— которые, по всей вероятности, мы будем наносить друг другу во время поездки, так она, черт ее возьми, будет длиться вечно».

И, наконец, еще одна тема — тема уходящей молодости, «последнего взгляда», который герои обращают на самих себя. Наиболее четко эту тему в книге формулирует жена Фицджеральда Зельда, когда она говорит: «Мы все влюблены в собственную молодость... Теряем себя капля за каплей. Молодость проходит». Этим судорожным хватанием за уходящую молодость Олдридж хочет объяснить те дикие выходки, которые по его воле позволяют себе герои — стрельба друг по другу во время охоты, состязание в ночном лесу.

Такова версия Олдриджа. И если он выносит ее на суд читателей, то у критика есть, надо полагать, право высказать свое отношение к этой версии, ибо она, на мой взгляд, далеко не во всем совпадает с действительной историей, известной нам по многим материалам, в том числе и оставленным самим Хемингуэем.

Начать здесь, наверное, нужно с того, что отношения Хемингуэя и Фицджеральда в тот год, о котором пишет Олдридж, выглядели далеко не так, как их изображает автор. Известный исследователь творчества Хемингуэя и его биограф профессор Карлос Бейкер, имеющий доступ к личному архиву писателя, в том числе к его неопубликованным письмам, пишет в своей книге «Эрнест Хемингуэй. История жизни» как раз об этом периоде: «Несмотря на свои собственные писательские трудности Эрнест играл по отношению к Фицджеральду роль доброго дядюшки, уговаривая его продолжать работу над романом «Ночь нежна». Единственное, что можно сделать с романом, говорил он, это закончить его. Состояние депрессии, переживаемое сейчас Скоттом, утверждал он, не что иное, как Награда Художника... Художник не должен сожалеть, когда проходит пора его расцвета. Люди не персики. Они, подобно ружьям или седлам, становятся лучше, когда немного поизносятся... Как всегда с Фицджеральдом, Эрнест вел себя как седой ветеран лет пятидесяти, а не сравнительно молодой человек тридцати лет, который еще не успел опубликовать свой второй роман».

Отношения Хемингуэя и Фицджеральда с самого начала их знакомства складывались, как известно, довольно сложно. Когда они познакомились в Париже в 1925 году, Фицджеральд был уже весьма популярным писателем, а Хемингуэй успел к тому времени издать всего две крохотные книги — «Три рассказа и десять стихотворений» и сборник рассказов «в наше время»,— вышедшие ничтожными тиражами и почти не замеченные критикой. И тем не менее их отношения никак нельзя было назвать отношениями между мэтром и учеником. Фицджеральд сразу влюбился в Хемингуэя, в его талант. А Хемингуэй, хотя он очень высоко ценил роман Фицджеральда «Великий Гэтсби», относился к его автору гораздо более скептически.

Их разделяло очень многое. И прежде всего — отношение к своему творчеству. Хемингуэй, который жил в то время со своей семьей впроголодь, перебиваясь случайными заработками, был исполнен суровой уверенности, что он не может, не имеет права писать только ради денег. «Будь я проклят,— писал он,— если напи-

шу роман только ради того, чтобы обедать каждый день! Я начну его тогда, когда не смогу заниматься ничем другим и иного выбора у меня не будет».

У Фицджеральда была совершенно иная позиция. «Он рассказал мне,— вспоминал Хемингуэй,— как писал рассказы, которые считал хорошими — и которые действительно были хорошими — для «Сатердей ивнинг пост», а потом перед отсылкой в редакцию переделывал их, точно зная, с помощью каких приемов их можно превратить в ходкие журнальные рассказики. Меня это возмутило, и я сказал, что, по-моему, это проституирование. Он согласился, что это проституирование, но сказал, что вынужден так поступать, потому что журналы ему платят деньги, необходимые, чтобы писать настоящие книги. Я сказал ему, что, по-моему, человек губит свой талант, если пишет хуже, чем он может писать».

Разделяла их и еще одна весьма серьезная проблема. Олдридж в своей повести затрагивает ее, но как-то по касательной, словно не придавая ей большого значения. Между тем это была очень серьезная проблема, и расхождение во взглядах на нее привело через несколько лет к резкому охлаждению между Хемингуэем и Фицджеральдом. Речь идет об отношении к богачам.

В «Последнем взгляде» эта тема просвечивает в споре двух писателей о Гюго и Бальзаке, когда Хемингуэй в пылу спора бросает в лицо Фицджеральду обидную реплику: «Ты кончишь, как Бальзак,— будешь стоять перед богачами по стойке «смирно». Гюго ни перед кем так не стоял».

Действительно, известно, что Фицджеральд благоговел перед богачами, его прельщала их раскованность, их умение жить широко и легко, превращая жизнь в нескончаемый праздник. Ему принадлежит печально известная фраза: «Богатые не похожи на нас с вами», которую Хемингуэй впоследствии высмеял в рассказе «Снега Килиманджаро». Фицджеральд тогда смертельно обиделся и написал Хемингуэю резкое письмо. И здесь надо сказать, что в этом вопросе Хемингуэй был не вполне прав: отношение Фицджеральда к богатым людям было совсем не однoплановым, каким его представлял себе Хемингуэй. Фицджеральд преклонялся перед богачами, но одновременно и ненавидел их. Для него это был довольно сложный комплекс, оставшийся с детских лет.

Кстати сказать, в жизни Хемингуэя был период, когда он сам прошел через такой искус. И примечательно, между прочим, что это испытание было связано с теми самыми Джеральдом Мерфи и его женой, которые фигурируют в книге Олдриджа. Это было в 1925 году, Хемингуэй был уже известен, как подающий большие надежды писатель, и Дос Пассос познакомил его с супругами Мерфи. Впоследствии в книге «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэй так вспоминал об этом эпизоде своей жизни: «Поддавшись обаянию этих богачей, я стал доверчивым и глупым... То, что каждый день нужно превращать в фиесту, показалось мне чудесным открытием. Я даже прочел вслух отрывок из романа, над которым работал, а ниже этого никакой писатель пасть не может».

Но Хемингуэй быстро преодолел это искушение — нравиться богачам и разделять с ними соблазнительную «сладкую жизнь». Об этой опасности для художника он с беспощадной откровенностью написал в рассказе «Снега Килиманджаро». А Фицджеральд так и прожил всю свою жизнь — ненавидя в глубине души богачей и в то же время благоговея перед ними.

Как уже говорилось выше, значительное место в олдриджевской версии драмы Хемингуэя и Фицджеральда занимает проблема «защитной маскировки», необходимой писателю. Эта тема проходит через всю книгу. Ни один из его двух героев не ставит под вопрос такую необходимость. Спор между ними идет только о том, какая маскировка менее вредна для писателя. Фицджеральд говорит, что «охотиться, выслеживать и убивать в сто раз хуже, чем пить, кутить и танцевать; и я должен как-то убедить в этом Эрнеста».

На мой взгляд, в том, что касается Хемингуэя, Олдридж оказался несколько в плену расхожей легенды, изображавшей Хемингуэя грубияном, человеком, для которого охота, рыбная ловля, бокс стали средством самоутверждения. Чтобы быть справедливым, надо признать, что Хемингуэй действительно в какой-то мере сам создавал легенду о себе, сам лепил в глазах публики свой образ. Возможно, Олдридж и

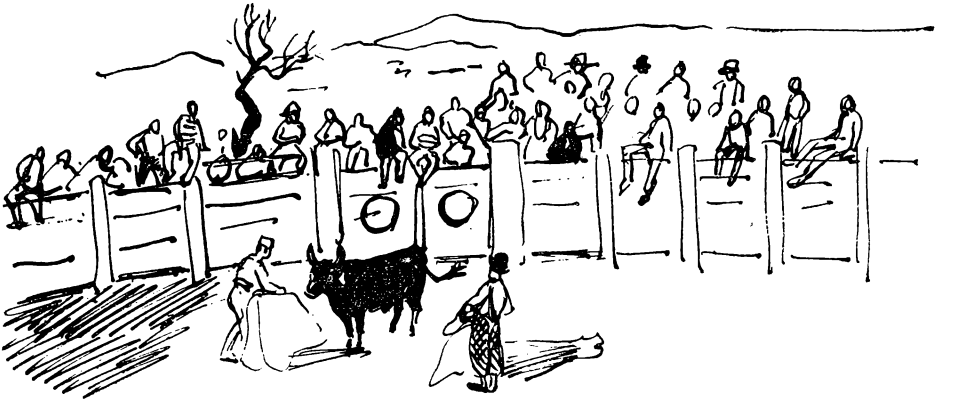
прав, утверждая, что Хемингуэю это было нужно для того, чтобы сохранить и уберечь свою индивидуальность. Он даже вкладывает в уста Хемингуэю следующую многозначительную реплику: «Назови мне хоть одного хорошего писателя, который бы не блефовал... Каждый стоящий писатель раздвоен. Есть два Толстых, два Шелли, две Жорж Санд...». Но при этом надо сказать, что «защитная маскировка», если таковая действительно была у Хемингуэя, никогда не мешала его творчеству, не входила в противоречие с его писательскими принципами.

Несколько иначе обстояло дело с Фицджеральдом. Его «защитная маскировка» очень скоро стала второй натурой, пьянство переросло в болезнь, и это, конечно, было его трагедией и не могло не сказаться пагубно на его творчестве.

И, наконец, здесь нельзя не сказать об очень серьезной творческой проблеме, поднятой Олдриджем в его «Последнем взгляде». Речь идет о придуманном им споре между Хемингуэем и Фицджеральдом о Бальзаке и Гюго. Надо признать, что придумано это хорошо. Скотт утверждает, что Гюго с репортерской, скрупулезной точностью описал в романе «Девяносто третий год» существующий замок, а Хемингуэй со всей очевидностью доказывает, что Гюго выстроил его целиком в своем воображении. Этот эпизод выглядит так убедительно, поскольку вполне проистекает из творческих принципов Хемингуэя. Он всегда утверждал, что «придуманное» или «созданное» настоящим художником оказывается подлинным в более высоком понимании, нежели описание подлинного факта. «Задача писателя — говорить правду,— писал он.— Его уровень верности правде должен быть настолько высок, что придуманное им на основании его опыта должно давать более правдивое изображение, чем любое описание фактов».

Таковы те немногие соображения, которые возникают при чтении книги Джеймса Олдриджа «Последний взгляд». В целом же хочется повторить, что это интересное произведение, оно будит мысль, будоражит воображение и, конечно, привносит много нового в представление читателя о двух крупных и сложных писателях XX века.

Б. ГРИБАНОВ



ИВ БРАЙЕР. Франция. Рисунок.

Из болгарской поэзии

БОЖИДАР БОЖИЛОВ

Ода шуму

Да разве это в наших силах —
бороться с шумом?

Шумит, вздыхает море, не смолкая,
хотя ни ветерка на белом свете.
Шумят леса, шумит листва и ветки.
Гудят в созвездьях темных пчелы.

На кладбищах же и в больницах —
тишина.

Стучит в груди и днем и ночью сердце.
Шумят за окнами моей квартиры
троллейбусы, трамваи, люди.

Болтают, плачут, весело смеются
мои смешные маленькие дочки.
Жена мне что-то крикнула устало —
и тут же гимн исполнил пылесос.
Тарелками и ложками гремя,
снует по кухне моя старенькая мама.
Строчу я на своей машинке оду
непрекращаемому, сладостному шуму.
Я воспеваю
ритм и рифмы:
не будь вокруг привычных звуков, шума —
они мгновенно превратились бы в Ничто.

Мудрость

Обнажает сердца с прямотой беспощадной
успеха костюм — просторный, нарядный.

На друзей своих давних смотрю я с опаскою
вознесенных успехом и славой обласканных.
Им льстят похвалы, их пьянят поздравления.

Удача, успех — это шаг к отчуждению.

Я встречусь с тобою в одно из мгновений,
когда тебе шумная слава изменит
и все пошатнется, что кажется прочным...
Когда ты вернешься к поэмам и строчкам.

Падения, взлеты, провалы, удачи
для нас с тобой, друг, разве что-нибудь значат?

Когда в летний полдень, горячий и солнечный,
ты будешь дрожать, словно зимнею полночью,—
подам тебе руку, спрошу о знакомых,
тебя провожу, как бывало, до дома.

И радости наши, и наши печали
в картине эпической — только детали.
Они постепенно значенье теряют,
и вечная мудрость ее озаряет.

Искреннее стихотворение

Что делать! Да, любовь подобна птице.
И силою ее не удержать.
И я тебя ни в чем не упрекаю.
Я знаю, что любовь — это свобода.
А ложь в любви — нет, это не по мне.
Меня не любишь ты . Пускай же ветер
навеки унесет дыханье ночи,
когда, счастливый, я шагал к тебе!

Да, я люблю любовь. Люблю, как жизнь.
Любовь же, знаю я, насилия не терпит.
Свобода и любовь неразделимы —
и не могу тебя я упрекать.

Всю жизнь пишу стихи я о свободе.
Ее солдат, я за нее сражаюсь,
и от нее отречься я не в силах —
пусть даже и в меня она нацелит
свое сверкающее острие...

Мне тяжело, но славлю я любовь,
мне тяжело, но славлю я свободу.
Что делать! Да, любовь подобна птице,
и силою ее не удержать.

И я тебя ни в чем не упрекаю,
я лишь смотрю, как ввысь она летит,
как кружится свободно надо мною
в прозрачном небе, черт его возьми,
похожем на твои глаза — таком же синем...

Круговорот

Корнелии

Приходят весны и уходят чередою.
Я молод был. Пройдут года — и я состарюсь
Потом умру. И не останется на свете
от нас с тобой ни знака, ни следа —
одни стихи останутся, в которых
приходят весны и уходят чередою,
я буду молод, а потом состарюсь,
потом умру, и не останется ни знака
и ни следа от нас с тобою — кроме
любви...

Желания

Когда-то мечтал я воскреснуть.

Уцелеть после жестоких болезней.
Уцелеть после бомбардировок.
Уцелеть в полицейском аду.
Уцелеть, сражаясь в окопах.

Когда-то хотел я, чтобы меня любили
прекрасные женщины. Хотел путешествовать.
Быть всюду, где людям
песня нужна. Хотел умереть,
чтобы все были живы. Представьте себе,
я даже хотел много трудиться,
быть ученым, отважным исследователем.
Быть...

А сейчас я хочу написать
обо всех снедавших меня желаниях
стихотворение из трех строк.

Беззвездная ночь

Опять сияет странным светом воздух.
И мысль тебя пронзает, словно луч,
что небо над тобой давно не в звездах,
что нет на нем ни облаков, ни туч.

Слой пыли незаметно покрывает
луну и звезды, медленно растет.
И горизонта линия кривая
как в Судный день поддерживает свод.

Я о тебе, наверное бы, вспомнил,
когда б горела хоть одна звезда...
Нет, лучше, если небо будет темным
или прозрачным, словно глыба льда.
Оно же только пусто. И похоже
на храма свод, что стар как мир и прост.
Без многого мы жить на свете можем.
Без одного не можем мы — без звезд!
Нам одиноко средь пространств бескрайних,
миров застывших, мчащихся веков.

Когда нет звезд — не шепчет небо тайны
и не диктует нам своих стихов.

Перевод ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

ЕВТИМ ЕВТИМОВ

Пирйн

Жить хочу талантливо на свете,
как живет Пирйн, гора моя.
...Засияет свет, повеет ветер,
вспыхнет синь, заговорит струя.

Ветка вздрогнет, птица встрепенется,
лопнет почка, жемчуг заблестит,
лист защепчет, песенка взовьется,
и звезда по небу полетит.

Озеро сверкнет, согреет солнце,
озарит закат вершины гор,
расцветет цветок и улыбнется,
опьянит трава земной простор.

Снег белеет, тишина таится,
облака плывут, огонь гудит,
камень по крутой горе стремится,
эхо скал над пропастью звенит.

Оживает все в минуты эти,
не дождавшись даже и утра.
...Жить хочу талантливо на свете,
как живет Пирин, гора моя.

Женщина с ситом

Под темным небом женщина стояла,
держала лунный круг она в руках
и ясным лунным светом озаряла
холмы, деревья, жито на полях.

Нет, не луну — она держала сито!
Работою своей увлечена,
просеивала золотое жито,
полову отделяла от зерна.

Она зерно с земли брала горстями,
а мне казалось издали одно:
земную даль с морями и лесами
она просеивала, как зерно.

А лишь ветров и молний перебранка
заполонила звездный край совсем,—
просеивала облака крестьянка
и отделяла, как полову, темь.

Земля и небо наполняли сито...
Мне женщина запомнилась такой:
просеивает белый свет открыто,
чтоб мир был чист и царствовал покой.

Круги

Приятели, на время, деловые.
Признание, случившееся вдруг...
Движения пустые, круговые —
и вот я заключен в никчемный круг.

Но разрываю я мирок окружный
и из него в широкий мир бегу,
мне постоянно небо видеть нужно,
простор земли и радугу-дугу;

подняться над балканскою скалою
и ощутить сознанием своим:
жизнь кружится не детскою юлою —
большим круговращением земным.

И по земле хочу идти я просто,
и просто жить, и верить, что никак
меня не свяжет мелких чувств короста
и не собьюсь на семенящий шаг.

Стою в горах я, ослеплен снегами,
и признаю я в дивной вышине
лишь путь орлов — они плывут кругами,
как бы орбиту пролагая мне.

Припомнил я...

Я вспомнил день охотничий, бурлящий,
охота сотрясала целый край.
...Охотники — в засаде. А по чаще
несутся голоса, что песий лай.

Стрелял охотник и его напарник.
Стонала серна, раненная в бок.
Загонщики бегут, круша кустарник,
вершину оглушает топот ног.

Загонщикам лишь рыскать по окружью,
будить медвежьи сонные углы,
а уж охотники нацелят ружья,
ведя за зверем чуткие стволы.

Ты — как загонщик! Жизнь твоя — обманна,
но примирился ты с судьбой такой...
Ты лишь бежишь, покрикивая рьяно,
а целится и насмерть бьет другой.

Бабье лето

В зеленый лес вступает бабье лето,
уже студена по утрам роса,
осенний ветер властвует с рассвета,
лишая мощи зябкие леса.
И начинают радоваться чащи
уже не пенью птицы, а тому,
что заскользил по тропке лист шуршащий,
что лепестки осыпались во тьму,
что теплое дыханье над лугами
еще плывет в вечерней синеве,
хотя уже под крепкими шагами
не распрямиться в полный рост траве.

В осенний лес торжественно войдете —
горит багрянец дивной красоты,
но блекнут краски, силы на излете,
размыты леса ясные черты.

Открытие

Поведи и помоги, дорога,
мне в лесу осеннем обрести
скрытый звук и эхо издалека,
слово на неведомом пути,
подивиться краскою случайной
в зоревом негаданном краю...
Но хочу я на земле бескрайней
только сам открыть любовь свою.

Мне не надо никакой подмоги
в поисках любви... Летит она
через чащи, горные отроги,
степью, где дремотна целина,
дружит с нивами и облаками,
с птицами завязывает связь,
неожиданно в безмолвный камень
входит, тайною оборотясь.

Сам хочу открыть тебя в природе.
Если ты вершина, что в снегу,—
не устану в горном переходе;
если ты на дальнем берегу —
я переплыву любое море;
если луч в заоблачной дали —
я тебя в заоблачном просторе
отыщу, упрямый сын земли.

Там, где и идти мне невозможно —
упаду и встану меж камней...

Выстрадать мне это чувство должно,
чтобы цену знать
любви своей!

Перевод О. ШЕСТИНСКОГО

■

РЕНЕ-ВИКТОР ПИЙ

Обличитель

РОМАН

Перевод с французского Т. ЕРОФЕЕВОЙ и Е. ШИШМАРЕВОЙ

XVIII

Ровно в 21 час я постучался в дверь таверны «Гулим», в тупике дэ Ронс. В дверном окошке показалась голова со встрепанными волосами, и хриплый голос спросил:

— По чьему приглашению?

— По приглашению Аберо.

— Какой у вас номер?

— Какой еще номер?

— Вы один из двенадцати маниту «Россериз и Митчелл-Франс»?

— Не знаю, кого вы называете маниту,— ответил я нетерпеливо,— но я действительно принадлежу к этой компании.

— Тогда у вас должен быть номер.

— Мне не говорили ни о каком номере, Аберо просто пригласил меня на собрание. Он уже пришел?

— Да, маниту Аберо здесь.

— К черту ваших маниту! — воскликнул я.— Если Аберо здесь, сходите за ним и скажите, что его ждет директор по «человеческим отношениям».

— Ладно, скажу,— проворчал лохматый страж,— однако странно, что у вас нет номера.

Пять минут спустя он вернулся вместе с Аберо. Окошечко в двери сухо щелкнуло, открываясь, и в полумраке блеснули очки заместителя директора по прогнозированию.

— Да, это он, можете отпереть,— услышал я.

Тяжелая дверь беззвучно повернулась на петлях и тут же закрылась за моей спиной. Когда глаза мои привыкли к полумраку, царившему у входа, я не мог сдержать удивления при виде странного наряда Аберо: на нем был широкий темный плащ, спускавшийся до колен. Вместо галстука он нацепил пышный зеленый шелковый бант, какие мне случалось видеть у некоторых франтов, но я никак не мог себе представить такую штуку на шее у достойного представителя правления компании. На плаще я заметил с левой стороны зеленый пластмассовый значок с черной цифрой 5. Аберо молча повел меня

Окончание. Начало см. в № 11 за 1978 г.

по длинному, похожему на трубу, коридору, который, казалось, спускался куда-то в глубину, и когда мы вышли в громадный зал причудливой формы, он все еще не сказал ни слова. Быть может, он не хотел пускаться в объяснения, на которые я имел право, из-за стража, следовавшего за нами, пока мы не вошли в зал. Тут Аберо схватил меня под руку и увлек на красный бархатный диванчик. Убедившись, что никто его не услышит, он сказал шепотом:

— Извините меня за недоразумение с номером; хотя я не сомневался, что вы придете на наше собрание, я все же не мог за это поручиться, а не будучи полностью уверен, не мог доверить вам наш шифр. Он очень прост: на предприятии мы будем впредь называть друг друга только по номерам, разумеется, лишь когда речь пойдет о нашем расследовании. У вас будет номер седьмой. Каждый получает номер в порядке давности поступления в фирму «Россериз и Митчелл». Все остальные ждут вас в заднем зале, снятом мною для наших собраний. Они не были уверены, что вы примкнете к нам, и обрадуются вашему приходу.

— У меня к вам один вопрос,— сказал я,— что это за выдумка с «маниту»?

— А! — воскликнул Аберо.— Это придумал здешний привратник, славный парень, но чудак; он называет иногда клиентов «маниту» или заправилами, но не для того, чтобы придать им важности, а чтобы представить их чем-то вроде колдунов или магов, вы знаете, таков ведь точный смысл этого слова: маниту — это великий колдун у индейских племен Северной Америки; привратник знает, что я работаю у «Россериз и Митчелл», и потому дал мне такое звание. Наши коллеги и вы тоже удостоились его, всех вас возвели в сан «маниту»; что ж, сказать по правде, он нам скорее идет,— закончил он довольно развязно.

Мы пересекли зал. За столиками в клубах густого дыма сидели женщины и мужчины, но мне не удалось разглядеть выражение их лиц. Однако меня поразило необычное в наше время количество мужчин с длинными остроконечными усами и женщин в длинных платьях и кружевных жабо. Я вздумал пошутить:

— Скажите, эта таверна случайно не клуб усачей?

— Молчите,— прошептал Аберо,— не смейтесь над ними и не говорите громко об усах или нарядах. Вы рискуете их оскорбить, и дело может кончиться потасовкой.

Я удивился, но прикусил язык и молча следовал за своим проводником, думая, что если эти люди могут рассердиться из-за такого пустяка, у них, должно быть, очень скверный характер. Аберо тихонько толкнул маленькую круглую дверку, и я сразу почувствовал, что мы спускаемся. Мы шли с четверть часа по плохо освещенному коридору. Мне уже не хотелось разговаривать, и я бы не на шутку встревожился, попади я один в такое место, но силуэт шедшего впереди Аберо все время напоминал мне, что руководящие кадры «Россериз и Митчелл-Франс» назначили здесь свое собрание. Внезапно мой проводник остановился и сказал шепотом:

— Вот гардеробная. Вы должны надеть плащ, завязать бант и приколоть значок.

Я не стал возражать. К чему протестовать, если уж я зашел так далеко? Конечно, когда Аберо завязывал мне зеленый бант, я не считал свой костюм вполне корректным — ни этот плащ, накинутый на плечи, ни значок с цифрой 7, приколотый мной на груди. Но если мои коллеги еще до меня согласились на такой маскарад, если они, черт возьми, считали нужным собираться в маскарадных костюмах, то с моей стороны было бы неучтиво отказаться выполнить их при-

чуду, в том случае, разумеется, если я не решил бы бросить эту затею, вернуться домой, позвонить по телефону Сен-Раме и сообщить ему: «Ваши руководящие сотрудники тоже посходили с ума». К тому же не следует забывать, что я выполнял служебное поручение. В мою миссию входило проникнуть в группу моих бунтующих коллег, а значит, надо подчиняться их правилам и применяться к их поведению. Наверно, у них были веские основания встречаться в «Гулиме», носить особую форму и отличительные значки. Я не принимал участия в их совещаниях, и мне было трудно себе представить, чтобы сотрудники вроде Бриньона, Селиса или Лё Рантека с легким сердцем согласились играть роль в этом фарсе, не имея на то тайных и весьма существенных причин. Аберо оглядел меня с ног до головы, поправил мне бант и выразил удовлетворение:

— Вам больше, чем кому-либо из нас, идет этот наряд, вам будут завидовать. Следуйте за мной.

Мы направились к массивной квадратной двери, которую Аберо открыл, навалившись на нее всей своей тяжестью. И тут я их увидел. Они сидели вокруг прямоугольного стола, в креслах с очень высокими спинками. Мое появление не вызвало никаких комментариев, никакого движения, никакого удивления. «За столь короткое время они здорово научились владеть собой,— подумал я.— Аберо имеет на них еще большее влияние, чем я предполагал,— вот дьявол!» Аберо движением руки указал на предназначенное мне место: между Шавеньяком — номер 6 и Бриньоном — номер 8. Затем он уселся в кресло в конце стола, напротив Лё Рантека, который таким образом как бы оспаривал у него председательские права. Аберо взял слово:

— Дорогие коллеги, позвольте мне выразить свою радость, что нас теперь стало двенадцать, ибо это придает новый и совсем особый характер нашему содружеству. Двенадцать — отнюдь не нейтральное, а многозначительное число. Таким оно будет и для противника, которого мы преследуем, ибо таинственность — главный источник его силы и причина успеха. А так как мы решили нанести ему ответный удар на его же территории и его же оружием, для него далеко не безразлично, что ему противостоят двенадцать решительных кадровых сотрудников, которые создали организацию, определенный ритуал, форму одежды, а скоро будут иметь и план действий. Меня радует также, что тот, чье сотрудничество с нами довело до двенадцати число участников нашей группы, не кто иной, как наш выдающийся директор по «человеческим отношениям».

При этих словах руководящие сотрудники подали наконец некоторые признаки жизни и закивали.

— Я не считаю,— продолжал Аберо,— что напрасно потрачу время, если объясню нашему коллеге, что побудило нас установить некоторые правила, способные, я согласен, удивить руководящего сотрудника, если он заранее к этому не подготовлен. Речь идет о выборе места наших собраний, ношении значков и особенностях нашей одежды. Дорогой мой директор по «человеческим отношениям»,— продолжал Аберо чуть ли не сладким голосом,— я вам признателен, что с той минуты, как вы проникли в таверну «Гулим», и до настоящего времени, когда вы очутились среди нас как полноправный член нашей группы, вы лишь изредка проявляли нетерпение. Если бы вы запротестовали, мы бы вас поняли, так как вы оказались в таком окружении, которое может удивить всякого честного гражданина. Знайте же, друг мой, что в то время как наши руководители и их детективы делают бестолковые попытки выяснить причины мрачного и мучительного положения, в котором находится сейчас наше предприятие, мы нашли правильный путь. Однако путь этот необычен. Он

очень сложен и извилист, требует силы воображения и ведет нас окольными, но верными тропами к самой двери нашего противника. Если до сих пор расследование ни к чему не привело, то этому причиной два равно чудовищных факта: а) тот, кто нападает на предприятие, видимо, уверен, что сумеет отвести от себя обычные подозрения; б) причины его враждебных действий свидетельствуют о том, что это случай из ряда вон выходящий; было бы ошибкой искать их в банальном разочаровании или примитивной озлобленности. Выгнанный с работы сотрудник, желчный администратор, горсточка смутьянов — все это лишь мелкая сошка, не способная питать столь холодную, дьявольскую ненависть к нашей компании. Эти соображения убедили нас, что наши руководители не способны справиться с подобного рода злом. В последние дни мы были встревожены их странной вялостью, непонятной апатией и нерешительностью, прежде не свойственными нашим начальникам, которые столько раз выказывали себя выдающимися финансистами и коммерсантами. Однако в данном случае ими словно бы овладела болезненная неспособность действовать. Как будто противник, прежде чем начать наступление, ввел в умы и сердца наших начальников какой-то вирус или влил им подавляющее волю снадобье. Словом, он ведет борьбу исподтишка, коварно, и порой его действия смахивают на колдовство. Кроме того, мы считаем доказанным, что в подземельях нашей фирмы и в подземных склепах кладбища скрываются загадки, которые необходимо раскрыть, если мы действительно хотим защитить наше предприятие. Вот почему, дорогой директор по «человеческим отношениям», мы избрали своим местопребыванием эту таверну «Гулим», связанную глубокими извилистыми ходами с другими подземными галереями, которые мы вместе обследуем. И кроме того, мы вынуждены жестко регламентировать свое поведение и даже подавлять свою волю. Мы так не привыкли судить о том, что выходит за рамки вообразимого, что, не имея ритуала, могли бы потерпеть неудачу. Мы должны выковать в себе дух боевого отряда. Кадровые работники, почтительные, изысканные, в строгих костюмах, не подошли бы для такого дела. Вот почему вы сегодня, наверно, находите, что все мы очень изменились. И вы правы: мы уже не те, кем были раньше. Не боясь показаться смешными, мы преступили некоторые границы. Мы надели плащи, банты и значки. Для чего служат военная форма и парадные одеяния в армии, в церкви, на официальных церемониях, если не для того, чтобы священники, генералы, государственные мужи, верующие солдаты, народ — все прониклись бы величием задач, которые призваны выполнять Страна, Армия, Церковь? Вы обратили внимание на наши цвета — зеленый и черный? Это те же цвета, что у ленты, обвязывающей свитки. Мы не боимся того, кто решил погубить нашу фирму: мы взяли себе его цвета. Мы сами подвергнем его наказанию, а не обычный суд, которому было бы не под силу вести подобный процесс... А теперь наш коллега Лё Рантек подведет итог всему, что мы думаем об этом деле, после чего мы обсудим, какие меры следует принять. Желаете ли вы что-нибудь сказать, дорогой директор по «человеческим отношениям»?

Эта вступительная речь произвела на меня сильное впечатление. Ведь он развивал близкие мне идеи, которые я сам много дней обдумывал, но ни разу не решился высказать публично. Вот почему, пренебрегая убогой мизансценой, придуманной моими коллегами, я сосредоточил внимание на их речах, а они очень меня заинтересовали. Коллеги мои не стали мне симпатичнее, но то, что они мне объяснили устами Аберо, показалось мне очень разумным и не лишенным хитрости. По существу, они, вероятно, были правы, внушив себе, что

им надо скинуть с себя старые шкуры несносных, придирчивых и спесивых администраторов и надеть платье, в котором они почувствуют себя свободнее и легче примут новое обличье охотников за дьяволом. Ибо теперь уже никто, и я в том числе, не сомневался, что противник, которого мы преследуем, перенял свои приемы у Сатаны. С этого вечера я уже не сдерживал своего восхищения заместителем директора по прогнозированию. Ненависть к нему родилась у меня позже, но она была следствием непредвиденного мною в ту пору изменения моих взглядов и чувств, в свою очередь вызванного ошеломляющей эволюцией нашего дела. Но это уже другая история. На вопрос, которым Аберо закончил свое выступление, я ответил просто:

— Выслушав вас, я могу лишь высказать вам банальное одобрение, ибо оно опирается на мой личный анализ фактов, который очень близок к вашему. Теперь я лучше понимаю, почему вы все уделяете такое внимание самым мелким деталям и почему носите эту одежду. Я понимаю также, почему вы приняли по отношению ко мне некоторые предосторожности. Я на вас не в обиде, а так как в принципе мое сотрудничество с руководством должно продолжаться, я могу быть вам очень полезен, делясь с вами информацией, которая мне будет доступна.

— Благодарю вас от имени всех наших коллег,— сказал Аберо,— мы воспользуемся разными преимуществами, которые вы сможете нам предоставить благодаря вашему положению на предприятии. А теперь я передаю слово номеру девять — мы должны привыкать к нашим номерам.

Лё Рантек, номер 9, заявил, извиваясь всем телом:

— Согласно нашему решению на последнем собрании, я добыл план подземелий под предприятием благодаря одному другу, бывшему студенту Школы администраторов, который теперь работает при префекте; но прежде чем я разверну перед вами этот план и дам к нему пояснения, я думаю, было бы правильно, чтобы номер десять сделал краткое сообщение по хозяйственным вопросам. Я предлагаю это потому, что наше собрание затянется допоздна, потом мы будем ужинать, и я боюсь, что его сообщение не встретит должного внимания. Как вы думаете, номер пять?

Номер 5 (Аберо) согласился, и слово было дано номеру 10, Селису.

— Я хочу напомнить номеру семь,— то есть мне,— впервые присутствующему на нашем совещании, а также номерам два, три и двенадцать, что они должны после собрания уплатить мне членские взносы; последние, как видно, забыли, а первый об этом не знал. Установленная сумма взноса — полторы тысячи франков. Мы уже пошли на значительные расходы: двенадцать плащей, сшитых фирмой «Зарт и Ламю» с авеню Монтеня, из лучшего драпа, изготовленного в деревне Мадре-де-Диос, стоимостью тысяча сто франков штука; двенадцать бантов зеленого английского шелка, стоимостью двести пятьдесят франков штука; двенадцать значков с выгравированной цифрой, стоимостью восемь франков штука. Это составляет сумму в шестнадцать тысяч двести девяносто шесть франков. Итак, остается всего тысяча семьсот четыре франка, из которых мы должны заплатить за наем зала и гардероба, а также за ужин. Следовательно, завтра у нас останется совсем мало денег. Каждому следовало бы внести завтра дополнительно пятьсот франков, что позволит нам работать до конца месяца в размеренном ритме: два собрания и два ужина в неделю плюс в запасе два внеочередных собрания без ужина.

Номер пять, вы согласны поставить на голосование мое предложение?

— Разумеется,— сказал Аберо,— а в конце месяца мы уже добьем это дело.

Мы единогласно утвердили дополнительный взнос. Лё Рантек снова взял слово. Он встал, развернул большой план и прикрепил его кнопками к стене.

— Дорогие коллеги, перед вами план подземных галерей, над которыми высится наше здание из стекла и стали. Всем известно, что город Париж построен на целой сети подземелий и подземных коридоров. Вот подземный ход, который тянется, извиваясь, под авеню Республики до самого Восточного кладбища, где он разветвляется по меньшей мере на тридцать второстепенных рукавов. Вот подземелье под улицей дез Амандье, а вот место, где мы сейчас находимся, как раз над этим запутанным клубком разветвлений. А теперь хорошенько протрите глаза и уши и посмотрите на эту толстую черную линию,— так вот, она обозначает отверстие в стене как раз напротив нашего зала для конференций, который находится в подвале. Другие, менее толстые, линии обозначают другие отверстия, поменьше первого, но все же позволяющие пройти человеку среднего роста и телосложения. Чтобы в этом убедиться, достаточно взять сантиметр и свериться с масштабом. Итак, надо запомнить, что под нашим зданием и, главное, под трещиной тянется коридор, вход в который был заделан строителями, однако он цел и невредим и — следите за моим пальцем — круто спускается вниз, затем как будто расширяется и даже вот тут образует нечто вроде зала или склепа, размеры которого я затрудняюсь определить, однако он, несомненно, достаточно велик и может вместить несколько человек и оборудование. Дальше этот коридор сужается до своего прежнего диаметра, долго петляет подобно змее и вдруг трижды расширяется, образуя один за другим три зала того же размера, что и первый склеп; здесь, как мы видим, от него отходит как бы отросток, кончающийся тупиком. Дальше коридор тянется по прямой и выходит в поистине громадный зал, раз в десять больше предыдущих. Но вот любопытное явление: дальше коридор расширяется, растягивается и сам превращается в зал, в центре которого есть новый ход, напоминающий колодец; он спускается отвесно, затем поворачивает, снова спускается, а потом поднимается вверх почти вертикально и выходит на вершину холма — конусообразного возвышения вроде маленькой подземной горки. И от подножия этой остроконечной горки отходит, петляя, очень узкий рукав, который делает резкий поворот и поднимается прямо вверх на поверхность земли, то есть проходит по прямой весь путь, который мы проделали, следуя из залов в галереи, из галерей в колодцы и, наконец, на горку. А знаете, куда он выходит? Прямо на Восточное кладбище — туда, где стоит роскошный склеп из черного и зеленого мрамора. Господа, наша прогулка окончена. Но прежде чем закончить свое сообщение, я открою вам, что направило нас на этот путь. Так же как в самых сложных задачах, отгадка тайны, связанной с нашей фирмой, проста: следовало лишь поразмыслить или, вернее, присмотреться. Присмотреться к чему? К тому, что цвета ленты, обвязанной вокруг свитков, те же, что и цвета склепа. И кто же, дорогие коллеги, это заметил? Наш номер пять, гулявший на днях по кладбищу. Наш противник, не удовлетворившись тем, что он на нас напал, захотел еще посмеяться над нами! И это было его ошибкой. Он не предвидел, что в один прекрасный день кто-нибудь из нас хлопнет себя по лбу и воскликнет: я нашел! Эти цвета — черный и

зеленый — наверняка что-то значат. Цвета склепа! Но почему цвета склепа? А теперь, может быть, продолжит наш дорогой номер пять?

— Охотно,— заговорил Тьери Аберо.— Меня стала преследовать мысль, что этот склеп, это кладбище, подземелья нашего предприятия могут быть связаны с трещиной и с распространением свитков. Я сообщил свои подозрения Рустэву, но он не принял их всерьез. Мы решили лишь посетить вечером тупик дэ Ронс и осмотреть наш заброшенный склад. Мы ничего там не обнаружили, но, по-видимому, нам следовало бы его сторожить, так как впоследствии в нем хранился весь запас второй партии свитков. Этот инцидент укрепил мою уверенность в том, что территория, заключенная между нашим предприятием, тупиком дэ Ронс и кладбищем Пер-Лашез, и является полем боя. Но он убедил меня также в бесполезности предупреждать о чем-либо генеральную дирекцию, застывшую в бездействии и свалившую все это дело на двух частных сыщиков. И тогда у меня в голове зародился проект: объединить руководящих сотрудников и приобщить их к моим планам. Один человек не может в одиночку справиться с задачей хотя бы потому, что следует установить множество наблюдательных постов. Мы это обсудим немного погодя. Я хочу задержать ваше внимание на склепе. Вполне возможно, что провокатор выбрал цвета этого склепа, сделав его как бы символом смерти и разрушения нашего предприятия. Быть может, даже склеп имеет еще бóльшее значение; у меня есть соображения на этот счет, но мы должны быть осторожны и считаться с законами. Черный склеп меня очень интересует, и если бы я поддался своему желанию, я пошел бы еще раз взглянуть на него. Но это значило бы неосмотрительно оповестить противника о наших намерениях и рисковать быть изгнанным с кладбища. Вы ведь знаете, что на кладбище много постоянных посетителей, которые скоро заметили бы, что мы слишком много бродим вокруг этого склепа. Нет, вот что следует предпринять: организовать два-три похода в подземные галереи с соответствующим снаряжением. Я предлагаю завтра же ночью запереться в подвалах под зданием и осмотреть подземелья. Я сам постараюсь днем провести разведку. Если какой-нибудь из входов в подземные галереи был недавно вскрыт, это легко обнаружить. Как бы то ни было, нам нетрудно общаться друг с другом на предприятии, и завтра в двадцать часов вы будете знать все подробности будущей операции. А теперь начнем обсуждение.

Чувства, которые я испытывал в начале этого собрания, были спутанны и противоречивы. С одной стороны, мне казалось, что все это сон,— настолько догадки Аберо были схожи с моими. Моя интуиция меня не обманула. Я тоже понял, что царство мертвых играет в этой зловещей истории немалую роль. С другой стороны, у меня было такое чувство, будто меня чего-то лишили: Сен-Раме едва ли станет прислушиваться к моим предложениям. А ведь какую славу заслужил бы директор по «человеческим отношениям», если бы раскрыл тайну от имени руководителей транснационального, самого могущественного в нашу эпоху предприятия! Из всех сидевших за этим столом только Аберо был так же близок к истине, как я, но я не извлек из этого никакого преимущества, никого не опередил по служебной лестнице. И наконец, еще одно странное ощущение содействовало тому, что мне было не по себе: мне становилось ясно, что группа руководящих кадров вытесняет бессильную генеральную дирекцию, не способную защитить интересы нашей фирмы. Однако такая перспектива не только не радовала, а скорее тревожила меня. Размышляя таким образом, я уже видел, как американцы, оценив действия своих французских администраторов, их стиль и достигну-

тые результаты, хвалят Аберо и его гвардию за инициативу и упрекают Сен-Раме за неумение использовать их сообразительность и энергию. Вызовет ли эта история перестановку в иерархии предприятия, думал я, и не в этом ли истинная цель Аберо? Возможность некоего государственного переворота, подготовляемого руководящими сотрудниками против правления Сен-Раме, ослабила энтузиазм, с каким я примкнул к этой группе, и я задал себе вопрос: «Почему они меня так быстро вовлекли в свои ряды?» Не боялись ли они, что я их выдам? Быть может, лишь для того, чтобы впутать меня в это дело и иметь всегда под рукой? Было бы странно, если бы человек с таким трезвым умом, как Аберо, не учел того, что я могу вести двойную игру. Но я отложил на завтра свои размышления, сказав себе, что главное — разоблачить провокатора, а тогда еще будет достаточно времени обдумать создавшуюся ситуацию. А так как мои сведения об их догадках были очень неполны, я взял слово и спросил:

— Могу ли я узнать, что вы думаете о самих фактах и о том, как опознать личность нашего противника или противников?

— Мы думаем, что очень просто,— ответил Аберо.— Какой-то тип, обладающий незаурядным умением действовать и соображать, забрал себе в голову погубить компанию «Россериз и Митчелл-Франс», по каким причинам — трудно сказать, но, действуя таким образом, он, по-видимому, хочет нанести удар самой идее транснациональной компании. Вот как он мог поступить — я консультировался с экспертами, и они подтвердили это,— он мог, либо рассчитав силу взрывного заряда, либо при помощи автогена, либо посредством водяной струи, повредить опоры, поддерживающие здание: разрезать их или заставить осесть, и тогда стены дали бы трещины. Это нелегко, но вполне по силам злоумышленнику, хорошо знакомому с такими делами. Гражданские инженеры разбивают стены в заранее намеченном месте с удивительной точностью. В нашем случае, например, если бы взрыв повредил железобетонный столб, что стоит на повороте подземного хода, ведущего из склепа в соседний зал, он мог бы вызвать известную нам трещину и не был бы слышен снаружи. Одновременно этот человек распространяет среди сотрудников двусмысленные листовки, стараясь окутать их таинственностью. Он старается поразить наше воображение с помощью новых приемов, которые застают наших руководителей врасплох. Он досконально знает все подземелья под зданием и чувствует себя там как рыба в воде. Наконец, он так прекрасно и так дерзко подражает голосу Анри Сен-Раме, что приводит всех в полное смятение, распространяя ложные сведения. Наши руководители теряют голову и не знают, что предпринять. Они либо скрывают, либо приуменьшают значение фактов и тем самым делают их более значительными или говорят о них насмешливо и несерьезно и тем их усугубляют. Так, например, в последние дни наш генеральный директор своим странным поведением и несвойственными ему речами травмировал персонал, ибо чрезмерно бодрое настроение тоже может нанести травму. Но, дорогой мой номер семь, я уверен, что мои коллеги горят нетерпением услышать от вас рассказ об обеде у Сен-Раме и о причинах, которые привели вас и наших американских друзей на улицу Оберкампф во время ночного бдения. Мы подумали, что усталость была не единственной причиной вашего обморока, когда вы вошли в большой мраморный зал. Не было ли это также следствием удивления, волнения, внезапного испуга? Что вы знаете доподлинно об этом ночном бдении? Наши идеи на этот счет туманны, и возможно, сами того

не зная, вы держите ключ к разгадке этого непристойного представления.

В голосе Аберо проскользнул инквизиторский тон, который мне не понравился, и я вдруг задал себе вопрос: не привлекли ли они меня в свою группу с тайной целью выведать, что организатором ночного бдения был не наш генеральный директор, а обманщик? Тут я вспомнил, что Сен-Раме просил меня вести эту игру без оглядки и что моя миссия состоит в том, чтобы разузнать и точно передать ему все действия и намерения руководящих сотрудников. Я подробно рассказал им о событиях этой злосчастной ночи. Когда я закончил, мои коллеги несколько минут сидели молча. Наконец Аберо замогильным голосом подвел итог:

— Значит, все произошло так, как мы и думали, представление было организовано обманщиком; и все попались на удочку,— добавил он сквозь зубы,— все, во главе с руководителями! Какое падение! Спасибо, дорогой номер семь, что вы открыли нам глаза и к тому же подтвердили мои подозрения. Сейчас у нас есть огромное преимущество перед нашим противником: внезапность действий. Он и не подозревает, что мы открыли место, где находится его логовище. Завтра же вечером мы выйдем на охоту. Пусть распространяет свои последние обличения, конец его близок. А скажите, кто назвал его послания «обличениями»?

— Сен-Раме,— ответил я,— в ночь бдения у гроба.

— А, это очень интересно! — пробормотал Аберо, после чего заключил: — Если больше ни у кого нет вопросов, нас ждет ужин! Завтра утром не удивляйтесь, что не увидите меня на нашем предприятии. Я останусь дома, чтобы подготовить нашу ночную экспедицию; после обеда я пришлю вам инструкции.

Тут меня вдруг осенило, и я спросил, уместно ли мое сотрудничество с Рюменом и генеральной дирекцией.

— Оно будет нам очень полезно,— заметил Аберо, как я и надеялся.— Не меняйте своего поведения, будьте в курсе намерений дирекции, следите за настроениями персонала; ближайшие дни будут решающими во многих отношениях.

Мы встали и последовали за Аберо, который величавой поступью медленно вышел из зала. Мы пошли по коридору, как и прежде слабо освещенному рассеянным фиолетовым светом, и мне показалось, что мы спускаемся все глубже в недра земли. Было жарко, но я не решался снять плащ. Я отдавал должное власти, которую приобрел Аберо над своими коллегами. Мы шли гуськом, в порядке наших номеров. Шавеньяк обернулся и послал мне вымученную улыбку, искаженную фиолетовым полусветом. По лицу его катился пот. Я, должно быть, странно оскалился ему в ответ, ибо он мгновенно отвернулся. Так начался роковой поход руководящих кадров «Россериз и Митчелл-Франс». Один за другим мы шли навстречу нашей судьбе, возглавляемые заместителем директора по прогнозированию. Наконец мы вышли в слабо освещенный обеденный зал, напоминавший ротонду. В середине стоял круглый стол, а вокруг него такие же кресла, как и в зале, где было собрание. Возле каждого кресла стояли навытяжку высокие лакеи, бледные, усатые, застывшие, с белой салфеткой на левой руке. Они были в черных костюмах и белых рубашках. Аберо остановился и сказал нам:

— Господа, здесь довольно прохладно, давайте сядем не снимая плащей.

И правда, здесь было свежо, и вскоре у меня побежали мурашки по спине и похолодели руки. Мы расселись. Нам подали жарено-

го кабана, и тощие лакеи наполнили вином тяжелые оловянные кубки. Тут непонятно откуда послышалась музыка, и Аберо поднял кубок:

— Выпьем за здоровье всех руководителей главных штабов западного мира и Японии!

Мы выпили. Тем временем лакеи с бескровными лицами поспешно разрезали кабана. Наши тарелки вскоре наполнились большими жирными кусками, и потоки вина полились в глотки руководящих кадров «Россериз и Митчелл-Франс». Аберо провозгласил тост за западные демократии. Тем временем бледные лакеи убрали наши тарелки и заменили их громадными мисками, в которых лежали толстые куски говядины. Головы разгорячились, умы затуманились, и начался кутеж, за который наши руководители дали бы нам хороший нагоняй, если бы они нас случайно увидели. Аберо поднял кубок в честь промышленных и коммерческих достижений Голландии, потом приветствовал выдающееся участие Бельгии в создании Общего рынка, затем поздравил Италию с ее экономическим чудом. Наконец, он произнес прочувственный тост за Великобританию. А мы пили. Теперь мои коллеги тоже разошлись. Каждый вставал и предлагал новый тост по своему вкусу. Затем настала и моя очередь. Несмотря на всяческие ухищрения, я все же не мог совсем не пить и понемногу пьянел — у меня слегка кружилась голова и туманились мысли, что было скорее приятно и даже вызывало возбуждение. Итак, я встал и, держа кубок на уровне груди, произнес молитву:

— О Создатель, ты соизволил милостиво благословить рождение, расцвет и размножение громадных транснациональных и американских компаний, так даруй же нам силы, необходимые, чтобы их сохранить! Благодаря им количество благ и товаров, изготовленных в этом грешном мире, все увеличивается и скоро обеспечит пищей, одеждой, комфортом и отдыхом все человеческие существа, которые ты создал по образу и подобию твоему. Благодаря им, Создатель, международные финансы оздоровились, мужчины и женщины всего мира, невзирая на границы, национальный эгоизм и религиозную нетерпимость, подали друг другу руки с чувством солидарности и братской любви. Ибо непреложен тот факт, Создатель, что, с тех пор как эти компании существуют и все расширяют свое влияние, мир никогда еще не знал такого взлета честности и справедливости. Это факт, Создатель, что те, кто правит судьбами этих компаний, никогда не были ближе к твоим апостолам, чем ныне, и никогда люди не воплощали с такой полнотой твою доброту и человеколюбие. О Создатель, за то, что эти компании творят добро для нашего грешного мира, за то, что они расходуют деньги, чтобы облегчить страдания больных или голодающих народов, они вызывают ненависть злопыхателей и завистников. И вот теперь может случиться, что распространение счастья на нашей планете будет остановлено из-за происков посланцев Сатаны. И я горячо молю тебя позаботиться, чтобы миролюбивые и бескорыстные деяния этих транснациональных обществ, единственное и сокровенное желание которых — лечить язвы, облегчать страдания, усмирять гнев и утешать обездоленных детей, не были уничтожены силами зла. О Создатель, изгнавший из храма торгашей, изгони из наших стен Сатану! Создатель, я пью за твое всемогущество и молю тебя милостиво простить прегрешения двенадцати руководящих сотрудников главного штаба, твоих смиренных слуг, которые собрались здесь этой ночью и пытаются своими слабыми силами отразить супостата и отбить его гнусное и безбожное нападение. Выпьем!

Мы выпили. Я прочел на их пьяных рожах, что моя молитва

произвела впечатление. Итак, бог тоже будет с нами в эту ночь. Бриньон последним поднял свой кубок и закричал:

— Выпьем за Японию и порадуемся массовому сооружению зданий из стекла и стали, которые прославляют и украшают этот благословенный архипелаг!

Мы выпили за индустриальное и коммерческое могущество Страны восходящего солнца. Некоторые из нас уже изрядно накачались, когда по знаку Аберо бледные лакеи распахнули двустворчатую дверь, вделанную в одну из стен, чтобы впустить оркестр. У музыкантов были только духовые инструменты вроде тромбонов и охотничьих рожков. Музыка, заинтриговавшая меня в начале ужина, зазвучала снова, но на этот раз оглушительно громко. Аберо встал, хлопнул в ладоши и крикнул:

— Все в большой зал! Вставайте!

Мы двинулись вереницей вслед за музыкантами, за нами — несколько изможденных лакеев и пошли тем же длинным коридором, освещенным фиолетовым светом, но в обратном направлении и под грохот оркестра вступили в большой зал неправильной формы. Навстречу нам вышли женщины с высокими прическами, в длинных платьях, с суровыми лицами и пышными бюстами, затянутыми в корсеты. Музыканты с еще большим жаром наяривали странный мотив в ритме то ли польки, то ли мазурки. Однако у этого мотива не было достойных слов, и вдруг в порыве вдохновения я привлек к себе всеобщее внимание. Я окликнул Аберо, который двигался в объятиях одной из старомодных и мускулистых матрон, и сказал:

— Эй, номер пять, как жалко, что такой меланхоличный, даже роковой мотив звучит без слов! У меня в голове вертятся простые и забавные слова песни. Хотите послушать?

— Отличная идея, номер семь! — с энтузиазмом поддержал Аберо.— Господа,— закричал он, продолжая кружиться,— номер семь сейчас будет импровизировать слова песни! Да здравствует номер семь!

Музыканты подошли и окружили меня, а я запел слова, которые в этот вечер, под влиянием неописуемого возбуждения, родились в моей голове. Они подчинились ритму и слились с музыкой, словно она была создана для них. Тем, кто лечит меня и окружает заботами, да и вообще всем, кто когда-нибудь прочитает мои записки, я горячо советую напевать эту песню в минуты подавленности и безотчетной тоски.

Ха, ха!
Импортируем, экспортируем,
производим и пакуем,
продаем и растем,
хвала тебе, свекла,
хвала тебе, соя,
слава, слава зерновым,
кукурузе и пшенице,
ура свинине и говядине,
импортируем
лучшие куски:
вырезку, и антрекот,
и бифштекс, и филе,
и баранью ножку,
сеньор,
и баранью ножку;
экспортируем
бычий хвост, и хрящи,
и грудинку, и огузок,
суповое мясо, и зашеину,
и постную лопатку,
сеньор,
и постную лопатку;

ха, ха,
да здравствует Пер-Лашез,
да здравствует красотка «Россериз и Митчелл»,
пышный бюст и жирный зад,
пышный бюст и жирный зад.

Слова моей песни имели шумный успех. Припев подхватывали хором и лакеи с мучнистыми лицами, и затянутые в корсеты надутые матроны, и музыканты, и руководящие сотрудники главного штаба нашей компании; их голоса гулко отдавались под сводами «Гулима». А когда мы закончили эту бурную ночь шествием перед входом в здание «Россериз и Митчелл-Франс», на глазах у ошеломленного ночного сторожа, мы продолжали петь, не замолкая и указывая рукой на вершину здания из стекла и стали: «Здравствуй, красотка! Пышный бюст и жирный зад! Пышный бюст и жирный зад!»

Когда такси развозили нас по домам, разгоралась заря. День, который она предвещала, сулил нам много испытаний и тревог.

XIX

В 10 часов утра меня разбудил телефонный звонок. Голова у меня трещала от жестокой мигрени, и я с трудом дотащился до аппарата. Звонил Сен-Раме; он удивлялся моему отсутствию, довольно резко выражая свое недовольство, и требовал, чтобы я как можно скорее пришел к нему, ибо, подчеркнул он, в это утро произошли новые события. Я вяло запротестовал, ссылаясь на сильное недомогание, но он довольно сухо перебил меня и велел мне быть у него в кабинете в 11 часов. Он повесил трубку, пренебрегая обычными формами вежливости. У меня оставался час — достаточно, чтобы привести себя в порядок и доехать, но отнюдь не достаточно, чтобы рассеять ночные пары, туманившие мне голову. Я проглотил таблетку от мигрени, принял почти холодный душ, выпил кофе и вызвал такси. Поджидая его, я пытался прояснить свои мысли. Прежде чем предстать перед генеральным директором, мне очень важно было решить, как вести себя с ним. Буду ли я подробно пересказывать все события этой ночи, или, наоборот, скрою их, или только сокращу? Чем вызвано его едва прикрытое раздражение по поводу того, что меня не было в 9 часов? Ведь он знает: я человек добросовестный, преданный и по его же совету примкнул к мятежным кадрам главного штаба. Такси прибыло без задержки, и всю дорогу я рассматривал эту проблему со всех точек зрения. Вылезая из машины перед главным входом, я принял решение соблюдать официальную, законную иерархию и честно служить ей.

Мигрень моя прошла, и я уже чувствовал благотворное действие крепкого кофе. Войдя в лифт, я поднялся прямо на этаж генеральной дирекции. Сен-Раме тотчас принял меня. Но он был не один: Мастерфайс, Ронсон, Рустэв, Рюмен и два детектива уже находились у него, и все были явно возбуждены. Они бросали на меня укоризненные взгляды, должно быть, потому, что на предприятие свалились новые неприятности, а директор по «человеческим отношениям» тем временем нежился в постели, вместо того чтобы быть на своем посту.

Стол генерального директора был завален газетами и бумагами, и из этой кучи торчал свиток, обвязанный зеленой с черным лентой. Тут я понял нетерпение Сен-Раме, сухость и лаконизм его телефонного разговора. Прибыло третье обличение.

ЧТО ЗНАЮТ ТЕ, КТО УПРАВЛЯЕТ ФИРМОЙ «РОССЕРИЗ И МИТЧЕЛЛ»?

Они знают, кроме всего прочего, как себя самофинансировать и самоорганизовать. Ибо невежественные массы и руководящие сотрудники, не входящие в главный штаб, могут сколько угодно поднимать вой и вызывать беспорядки — ни те, ни другие не несут ведь высшей ответственности, лежащей на правителях наших предприятий, которые должны неусыпно следить за постоянной занятостью и выплатой заработной платы, без чего граждане и гражданки, их дети и старики были бы обречены на голод и жили бы под угрозой великих бедствий. Наша эпоха отличается неблагодарностью по отношению к тем, кто в лоне предприятий, администраций и правительств овладел самыми сложными теориями и труднейшей техникой, породившими невиданный прогресс, достигнутый нашей цивилизацией. Впрочем, эта неблагодарность проистекает из глубокого невежества, которое, вследствие странного парадокса, свойственно в наши дни громадному большинству людей. Вот почему полезно время от времени напоминать — если уж не объяснять — несколько важнейших понятий, которые лежат в основе счастья современных индустриальных народов. А понятия эти — «cash-flow», «staff and line» и «интегрированное управление». Миллионы рабочих, служащих, среднего и даже высшего административного персонала каждое утро вливаются в ворота и подъезды наших великолепных фирм, как будто иначе и быть не может, как будто — благодаря ежедневно повторяющемуся чуду или какому-то закону природы — эти стены, конторы, машины были сооружены и поставлены здесь по воле святого духа, чтобы предоставить им работу, заработную плату, оплаченный отпуск и еще целую кучу материальных и духовных радостей! Ни одной из этих женщин и ни одному из этих мужчин и в голову не придет задать себе вопрос: что стало бы с этими стенами, с этими конторами, с этими машинами, с этой заработной платой и всеми благами без хорошего cash-flow, разумного staff and line и твердой системы интегрированного управления? А что думают о cash-flow работницы и работники, которые целый день слышат разговоры о нем, как они себе его представляют? В общем и целом они представляют себе, что cash-flow означает приток денег. Согласно этому определению, cash-flow в семейном бюджете, например,— это наличные деньги, которые остаются в семье после того, как оплачены все расходы. Нет, вы только подумайте! Видите, куда нас заводит пресвятая вульгаризация! Будь это правильным определением cash-flow, разве людям приходилось бы так долго изучать предназначенные для посвященных книги и вводить cash-flow в учебные курсы великих американских профессоров и их знаменитых немецких, японских и голландских учеников? Нет! По правде сказать, cash-flow — понятие более высокое и более неуловимое, и определить его может лишь тот, кто обладает безупречным опытом управления и врожденной способностью к современной великолепной административной деятельности. И Анри Сен-Раме, наш генеральный директор, который, быть может, станет первым европейцем, поднявшимся на пост президента громадной американской и транснациональной компании, знает, что такое cash-flow предприятия. Да будет угодно небу, чтобы этот текст, несмотря на свою неизбежную сжатость, послужил примирению широких масс, которыми управляют, с горсткой тех, кто ими управляет, хотя бы в том, что касается cash-flow. Итак, что же на самом деле знают о cash-flow те, кто управляет фирмой «Россериз и Митчелл»? Скажем так, они могут точно и откровенно ответить на следующие вопросы. Откуда берутся доходы компании? От продажи машин, кото-

рые она производит. На что идут эти доходы? Прежде всего, на оплату счетов от поставщиков. Затем на заработную плату своим рабочим, служащим, техникам и административному персоналу. Потом эти доходы служат для оплаты использованной энергии, электричества, горючего и т. д. Наконец, они служат для оплаты общих расходов. После чего оставшиеся деньги используют на покрытие амортизации и создание некоторых запасов. В конце концов остаются еще кое-какие деньги — это называется прибылью. Кончаются ли на этом познания Сен-Раме? Ничуть не бывало. Ему придется проделать еще немало добавочных умственных упражнений. Что же он будет делать? Он подсчитает эту прибыль и разделит на три части: одна пойдет на уплату налогов (вот откуда пошло выражение, часто непонятное для мелких служащих: прибыль до или после вычета налогов); вторая часть предназначается для акционеров, пайщиков и администраторов в виде тантьем и дивидендов. А что такое тантьема? Сен-Раме знает. Он знает, что это значит определенное число частей от известной суммы. А дивиденд? Ну что ж, дивиденд, или делимое,— это понятие, противоположное делителю. Это количество прибыли, или проценты, которые приходятся на долю каждого акционера. Чтобы получить ее, достаточно произвести деление; однако это надо знать. Третью часть прибыли предприятие оставляет себе в виде резервов, которые, в свою очередь, делятся на резервы, определенные по закону, и на резервы, определенные уставом компании. Вот теперь мы приближаемся к cash-flow — к маленькому сердечку каждой компании, которое бьется внутри большого сердца. Мы только что говорили, что предприятие продало свои машины, получило выручку от этой продажи, оставило при себе сумму, в которую вошли амортизация, стоимость запасов и нераспределенная часть прибыли, помещенная в резервные фонды. Эти деньги, эти звонкие монетки, которые предприятие никому не должно,— его собственность, оно кладет их в собственную кассу, и они служат для самофинансирования. Это значит, что предприятие, не прибегая к помощи третьих лиц, к займам у банков или у частных кредиторов, сможет покупать новые участки, возводить новые стены, приобретать новые машины, финансировать исследования — короче говоря, инвестировать капитал. Вот что официально называется cash-flow. Это свободная сумма денег, находящаяся в полном распоряжении предприятия, положившего ее в свою кассу. Можно подумать, будто знания Сен-Раме о cash-flow этим и ограничиваются, что уже было бы неплохо; но наш генеральный директор и его пэры знают еще больше, и, в частности, никто не сравнится с ними в умении разумно использовать свой cash-flow. Что же они знают еще, черт возьми? А вот что: они долго размышляли и спрашивали себя: каким образом наш cash-flow может принести человечеству максимальную пользу? И однажды, хлопнув себя по широким и выпуклым лбам, они ответили: увеличиваясь. Здесь не следует поддаваться первому впечатлению, будто ответ этот упрощает дело, ибо, по правде говоря, вовсе не обязательно отвечать именно так. Можно было бы сказать: уменьшаясь.

Поскольку пресловутый cash-flow состоит из сумм на амортизацию и нераспределенной прибыли, это значит, что чем меньше амортизировать, тем больше можно распределить прибылей и тем меньше останется денег в кассе для самофинансирования. Однако мы видели, что амортизировать — это значит включать в себестоимость машин стоимость износа станков, стен и т. д.; следовательно, чем быстрее амортизировать, тем выше будет стоимость машин, а чем больше удерживать непосредственных прибылей, тем меньше акционеры предприятия получат денег. И вот cash-flow становится основным источ-

ником для инвестиций. Словом, благодаря ловкости Сен-Раме и его пэров мир присутствует при неожиданном и захватывающем зрелище: чем больше растут предприятия, чем больше увеличивается их cash-flow, тем больше повышаются цены на продукцию и тем медленнее растут прибыли, распределяемые среди акционеров. Сен-Раме и его пэры нашли решение проблемы изобилия и благоденствия западного общества: вместо того чтобы использовать деньги для производства и строительства, само производство и строительство становятся средством производства денег. Отныне наивно и бесполезно изучать размеры прибылей, чтобы судить о здоровье предприятия. Если официально распределенные прибыли и скудны, то теперь значение имеет не кривая роста прибылей, а кривая роста cash-flow, то есть самофинансирования инвестиций. Ну как, понятно? Теперь до вас дошло, что cash-flow — не просто поток денег, служащий для оплаты cash (наличными)? Сен-Раме днем и ночью бодрствует, охраняя истоки обильного и благодетельного cash-flow фирмы «Россериз и Митчелл-Франс». Те, кто в Японии, Греции, Голландии, Германии и повсюду в других местах управляют бесчисленными фирмами «Россериз и Митчелл», чьи здания из стекла и стали вздымаются во всех странах мира, тоже бодрствуют, охраняя каждый свой cash-flow. И все эти cash-flow затем подсчитываются, складываются вместе — там, в Де-Мойне, штат Айова, в великолепном штате Северной Америки, и образуют единый поток — могучий величественный cash-flow; он извивается по всей планете, огибает равнины французского Прованса, ласкает крутые склоны итальянских Альп, наводняет Шварцвальд, вливается во фьорды Скандинавии, окружает Йоркшир, добирается до Ботнического залива, затопляет Японию, Австралийский континент, затем орошает край Амазонки, Анды, возвращается в Вашингтон и тут внезапно уходит вглубь и исчезает на глазах у миллионов ошеломленных людей. Таков поток cash-flow, в теплых водах которого западные народы, привыкшие к росту заработной платы и цен, полощутся и освежаются, не беспокоясь о больших акулах, рыщущих под защитой экзотических водяных лилий. Да, уж кто, как не Сен-Раме, знает, что такое cash-flow! Быть может, прочитав эти строки, вы почувствуете, что в глубине вашего сердца пробуждается немного сочувствия и признательности к людям, которые, подобно вашему генеральному директору, жертвуют своим досугом и семейной жизнью ради роста, экспансии, стабильности, занятости, устойчивого жизненного уровня и неустанно следят за поступлением cash-flow.

Значит ли это, что Сен-Раме приходится заниматься только cash-flow? Разумеется, нет; ведь ему надо еще организовать расстановку кадров и работу на своем предприятии. Еще совсем недавно отношения между высшими и низшими служащими в фирме были просто скопированы с механизма экономики, который и сам был еще примитивен. Но когда наступил постиндустриальный век, когда денежные и коммерческие связи приобрели мировые масштабы — поверх границ и территорий отдельных государств,— оказалось, что обычный человеческий мозг уже не справляется с задачами товарооборота. Законы банковских и экономических операций стали доступны лишь маленькой кучке людей с гениальным умом, и эти внезапно повысившиеся требования к интеллектуальному уровню руководителей отразились на внутренней структуре предприятий. Таким образом, наша компания «Россериз и Митчелл», которая указала путь развития cash-flow, сегодня выводит на дорогу staff and line — систему, позволяющую персоналу работать, жить счастливо и подчиняться справедливым законам. Как могли бы жить все эти веселые

и беззаботные женщины и мужчины, заполняющие наши громадные американские и транснациональные предприятия, если бы никто не изобрел системы staff and line? К счастью, Сен-Раме и его пэры сумели привнести в эти фирмы человеческое тепло, необходимое для внутренней атмосферы компаний. И здесь они тоже искали и нашли. Что же они открыли? Они открыли, что такая организация командования и разделения ответственности, какую создали военные всех стран на протяжении веков, оказалась в конце концов более тонкой и более эффективной, чем принято считать, и если применить ее к большим предприятиям, то они способны творить чудеса. Тогда отделили директоров и функциональные кадры от оперативных. Функциональные кадры — это эксперты, советники. Они существуют лишь для выполнения своих функций, а не для производственных операций (которых никогда не выполняют). Производственные операции выполняют оперативные кадры. На нашей фирме «Россериз и Митчелл-Франс» Сен-Раме окружают двенадцать высших администраторов, которые с утра до вечера проводят экспертизы и дают консультации и таким образом вносят громадный вклад в развитие и успехи фирмы. Они составляют то, что массы называют вульгарно staff — штаб. Мелкие служащие так и говорят о сотрудниках главного штаба: это «штаб». Остальные: начальники отделов, директора заводов, коммерческих предприятий, следовательно, те, кто изготовляет, упаковывает и продает машины,— заняты оперативными делами. Они находятся on line — в строю, так сказать на линии фронта. И подчиняются непосредственно генеральному директору. Анри Сен-Раме сумел организовать такую систему и управлять ею, и благодаря его искусству у него на предприятии царят гармония и радость. У кого же он этому научился? У Дугласа Макгрегора, который еще недавно преподавал в Массачусетском Технологическом институте эти высокие революционные принципы, сочетающие рост фирмы и рентабельность ее капитала с энтузиазмом в работе и братством человечества. Это краткий обзор того, что знает наш генеральный директор. Конечно, не следовало бы прерывать на этом перечень его знаний, ибо Сен-Раме овладел еще и многими другими, особенно со времени появления колоссальных электронно-вычислительных машин, породивших систему интегрированного управления и управления с помощью телевидения. Благодаря тем, кто знает, административные задачи станут все более централизованными, оперативные решения все более децентрализованными. Мужчины и женщины, освобожденные таким образом от прежней отупляющей работы, посвятят себя занятиям, требующим ума и воображения. Я надеюсь, что теперь воодушевление персонала «Россериз и Митчелл-Франс» возрастет до предела. А пока помолимся богу, чтобы наша компания выиграла экономическую войну во имя великого счастья всего человечества, и попросим его сохранить в добром здравии руководителей, которые неустанно следят за нашим ростом и расширением. Слегка приоткрыв то, что они знают и какое несут бремя, я стремился лишь вызвать к ним еще большее уважение.

Пока я читал, военный штаб «Россериз и Митчелл» хранил молчание, что можно было истолковать либо как знак уважения ко мне, либо как выражение недовольства. Обычно, если лицо, занимающее высокий пост, приходит на собрание с опозданием, принято давать ему познакомиться с основными вопросами, стоявшими на обсуждении. Но хотя я недавно получил повышение и выслушал за эти дни немало поздравлений, я отметал первую возможность. Во всяком слу-

чае, директор по «человеческим отношениям», который нежится в постели в то время, когда появляется третье обличение, заслуживает того, чтобы ему указали на серьезность его проступка. Вот почему, сильно смущенный, я осторожно положил свиток на стол Сен-Раме. Они ждали, пока я заговорю, и это еще усиливало мое замешательство. Прошло две-три минуты, и я робко спросил, как нашкодивший мальчик:

— А как его распространили на этот раз?

Сен-Раме ответил:

— Сегодня ночью на досках для объявлений, что висят по одной на каждом этаже, были расклеены объявления, извещавшие, что в большом подземном конференц-зале лежит целый запас свитков для всех сотрудников, желающих их прочесть. Сторожа все предусмотрели, но не догадались пересчитать сообщения, объявления, рекламы, которыми постоянно пестрят эти доски; провокатор пошел на заведомый риск: конечно, его могли захватить с поличным, но ему надо было расклеить всего одиннадцать объявлений, что же касается того, как и когда он накопил свой запас свитков в подземельях,— это пока остается тайной.

При этих словах я вспомнил безумную ночь, проведенную администраторами главного штаба, подозрения и поиски которых сосредоточились на кладбище и в подземелье. Я подумал, что обличителю удалось найти секретный вход под его темные своды, и почувствовал, как трудно вести двойную игру, когда ты к этому не привык. Властный голос Мастерфайса отрезвил меня:

— Ну, что же вы думаете об этом тексте? И о ситуации, которую он создает?

Теперь я уже окончательно проснулся, это новое событие оживило мой мозг, и я приступил к анализу, по-видимому, довольно тонкому, так как он заинтересовал всех моих слушателей. Вот сжатое изложение того, что я сказал в то утро:

— Господа, я замечаю, что этот текст гораздо длиннее предыдущих и что он написан как бы на одном дыхании, в отчаянной попытке сделать завершающий обзор некоторых основных вопросов — таких, как cash-flow, staff and line и информативное интегрированное управление с помощью телевидения. Эти послания следуют по стремительно восходящей кривой: в первом с юмором и иронией трактуются лишь общие вопросы экономики, и можно подумать, что автор просто развлекается, а главное, что он не спешит,— он не торопится, запомните это, господа, он исподволь готовит свое нападение. Ритм второго послания ускоряется, и хотя в нем еще заметна ирония, стиль порой нарушается и выходит за намеченные автором рамки; за первым двусмысленным текстом следует второй, более многозначительный; вспомните, например, выражения вроде «крупные соленые слезы», как будто невольно вырвавшиеся у автора и не соответствующие сухому стилю и резкой иронии первого послания. В третьем, мне кажется, автор торопится, у него мало времени, он уже не затрудняет себя украшательством. Текст, который я только что прочел,— недвусмыслен, его автор прямо идет к цели, он открыто насмехается над нашим генеральным директором и в его лице над руководителями всех транснациональных фирм и над всемирным сообществом технократов. Конец этого текста сокращен и доделан кое-как. Видно, что автору хотелось бы гораздо подробнее изложить особенности системы организации staff and line и информативного управления, но создается впечатление, что он вынужден действовать наспех и как можно скорее нанести удар. Вот что интересно, господа. Почему? Отметим попутно, что эта эволюция текстов

тесно связана со способами их распространения: так, например, первое послание было разложено повсюду, почти небрежно, с полным спокойствием, в каждом кабинете, на каждом столе, человеком, прекрасно знавшим все подробности внутренней жизни предприятия. Второе послание было отправлено очень хитрым и окольным путем. Наконец, третье послание дошло до персонала с помощью обходного маневра, как бы рикошетом и с наименьшим риском для нашего противника, так как ему надо было лишь, выбрав подходящую минуту, сложить свои свитки внизу и расклеить одиннадцать объявлений. Он прекрасно знал, что персонал отправится за свитками хотя бы из чистого любопытства, а дирекция не сможет этого запретить, не подвергая себя разным неприятностям и даже насмешкам. Подведем итог: эти послания как по своему содержанию и эволюции стиля, так и по способам их распространения свидетельствуют о том, что провокатор начинает выдыхаться. А это может обозначать, что: а) наши усилия и усилия наших детективов не пропали даром и противнику становится все труднее продолжать свои злодеяния и действовать внутри предприятия; б) конец его ближе, чем кажется; он все больше торопится и тем показывает нам, что и сам в этом уверен. Как знать? Этот свиток, возможно, последний.

Во время моего сообщения Сен-Раме тихонько постукивал очками о кожаный бювар, задумчиво устремив взор куда-то вдаль. Он отозвался на мою речь раньше Мастерфайса и сказал тихим, совершенно не свойственным ему голосом:

— Дорогой друг, я не собираюсь оспаривать победу, которая, возможно, будет принадлежать вам одному, а хочу уверить вас, что с тех пор, как управляю предприятием, я редко встречал сотрудника, который за столь короткое время проявил бы такую исключительную проницательность. Я не только согласен с вашим анализом, но я вам даже завидую. Это доказывает — хотя в этом и нет нужды,— что вы досконально изучили дело, которое наши американские друзья, Рустэв и я сам доверили вам несколько дней назад, мрачное и таинственное дело об обличителе фирмы «Россериз и Митчелл-Франс». Благодарю вас.

Хотя Сен-Раме воплощал в себе все достоинства и недостатки особой породы руководителей, рожденных постиндустриальной цивилизацией, он никогда не вызывал со стороны своих сотрудников обвинений в лицемерии. Он пользовался репутацией человека уравновешенного, учтивого, умеющего поощрять или наказывать, но не склонного к перегибам в ту или иную сторону. Этой репутацией и объясняется глубокое изумление, вызванное его ответом. Американцы, Рустэв и Рюмен не верили своим ушам. Я же привык рассматривать все это дело в его сверхъестественном, немыслимом аспекте и видеть в нем лишь чудовищную аномалию, громадный фурункул, болезненный психологический побочный продукт беспорядочной гонки общества изобилия к своей гибели и потому не очень удивился. Я сразу понял, что поздравления моего генерального директора требовали расшифровки. Должен сказать, я еще был под влиянием злобных сил, вырвавшихся на волю прошлой ночью на моих глазах. Если администраторы главного штаба были способны опуститься до шутовской мелодрамы, то почему их начальник не может в свою очередь опуститься до нее? И мне невольно пришла в голову мысль, что Сен-Раме питает тайное, но несомненное восхищение к человеку, разрушающему его предприятие, и это повысило значение битвы, которую мы вели. На этом совещании мы решили усилить наши наблюдательные посты, а потом выслушали сообщения детективов. Сопоставляя те или иные факты, те или иные разговоры, они оба, не

сговариваясь, пришли к единому заключению: провокатор принадлежит к персоналу предприятия и занимает довольно высокий пост. Они не обнаружили никакого следа, никакого потайного выхода, хотя обыскали все подвалы здания. Они сообщили нам, что прошлой ночью в «Гулиме», в тупике дэ Ронс, состоялся банкет сотрудников главного штаба и с невинным видом попросили меня изложить все подробности, по той простой причине, что видели меня среди моих коллег. Они извинились передо мной за вмешательство в мою личную жизнь, но, сославшись на создавшееся положение, еще раз подчеркнули, что не могут отказаться от гипотезы о виновности одного из двенадцати главных руководящих сотрудников. И тут я понял, почему американцы надулись, когда я вошел. Они были недовольны мной не за опоздание, а за мое участие в этом пиршестве. Я с большой охотой сообщил им множество подробностей: да, мы очень весело поужинали. Да, мы произносили тосты за прекрасную и щедрую Америку, за нашу фирму, за правителей западного мира. Да, мы оплатили счет из собственного кармана, а не из кассы предприятия, но вино было хорошее, а мясо сочное; да, по примеру детективов мы подозревали друг друга; нет, это не испортило нашей пирушки; да, именно поэтому у меня припухшие глаза; да, у моих коллег вполне здоровое направление ума; нет, даже слегка опьянев, они не отрицали ценности нашего западного мира; да, они — сторонники торговли со странами Востока, урегулирования валютных вопросов, сохранения политического статус-кво,— они готовы забыть об идеологиях и свободах и думать только об увеличении товарообмена, об обращении товаров и капиталов, о модернизации Сибири, о снабжении американских бензоколонок; нет, они не любят тоталитарного коммунизма; да, они одобряют продажу зерна господину Гусаку, да, они считают, что народы, которые кричат, будто им нужна свобода, поистине беспокоят весь мир и докучают американским банкирам и что уделять этим народам много внимания — значит наносить ущерб производству, упаковке и продаже товаров, следовательно, это не принесет никакой пользы. Тут американцы успокоились, лица их прояснились и Адамс Мастерфайс, восхищенный умонастроением руководящих сотрудников своей французской фирмы, спросил Рустэва о состоянии пресловутой трещины. Зять Габриэля Антемеса, человек, продавший нашим американским друзьям свой опыт и знание французского и африканского рынков сбыта машин для дорожного строительства, ответил глухим голосом:

— Сегодня утром меня вызвал служащий, которому я специально поручил непрерывно наблюдать за трещиной; я прибыл на место и обнаружил, что она еще больше расширилась. Наш главный архитектор, немедленно вызванный мною, не мог объяснить причину этого расширения, что меня очень встревожило. Если экспертам не удастся установить, почему появилась эта дьявольская трещина, то можно опасаться, что она расширится, изовьется как змея и вскоре поставит под угрозу прочность всего здания.

Рустэв умолк. Слушая его последнюю фразу, я почувствовал, как у меня по спине пробежала сладостная дрожь. Вот и у Рустэва тоже сдали нервы! Сен-Раме, странно улыбаясь, с любопытством рассматривал своего заместителя. Мастерфайс, раздраженный несдержанным языком Андре Рустэва, гневно спросил:

— Говоря, что трещина продолжает извиваться как змея, вы попросту хотите нам сказать, что зданию грозит обвал?

Несчастный Рустэв стоял жалкий и неузнаваемый. Он ответил, с трудом подбирая слова:

— Извините, господин президент, но сходите посмотрите сами, это производит очень сильное впечатление... Эта трещина похожа на мерзкую змею... Она просто отвратительна...

— Ну знаете!..— воскликнул Ронсон, который вмешивался лишь в решающие минуты.— Что с вами случилось, дорогой Рустэв? Мы привыкли видеть вас более сдержанным и хладнокровным! Неужели французские руководители самого мощного предприятия в мире, у которого cash-flow за прошлый год превысил бюджет Аргентины и Парагвая, вместе взятых, и вправду посходили с ума? Любопытно, что за странная болезнь как будто поражает лучшие умы и расстраивает их речь! Во-первых, Рустэв, видели ли вы когда-нибудь красивую трещину? Какая, по-вашему, разница между красивой и мерзкой трещиной? Послушайте, все это просто несерьезно! Почему отпустили американских экспертов после сделанной ими первой починки? Их надо вернуть сегодня же ночью! Кончится тем, что вы убедите меня, будто эти события серьезней, чем они кажутся! Давайте разберемся: всего неделю назад наша французская фирма процветала, благоденствовала, набиралась сил и вызывала восхищение нашего совета в Де-Мойне; ее дирекция была гордостью нашей компании. Благодаря знаниям и таланту Анри и его штаба наши принципы постепенно проникли даже в такую страну, как Франция, туго воспринимающую новейшие концепции прибыли и самофинансирования, и вдруг, из-за того что какой-то сумасброд вздумал распространять бессмысленные листовки и это совпало со смертью одного из руководящих сотрудников и с появлением трещины, достижения могут пойти насмарку! Полноте, господа! Протрите глаза, бросьте заигрывать с призраками, придите в себя! Трещина расширяется? Допустим. Но ведь трещины расширяются не случайно; это, вероятно, происходит от изъяна в грунте — изъяна, который мы проглядели,— или от оседания почвы. При наших технических средствах мы быстро покончим с этой трещиной. Но умоляю, забудем об ее виде — о ее красоте или уродстве — и будем сдержанны в выражениях. Мы находимся здесь среди высокоответственных и уважаемых людей, мы знаем друг друга, и при разных обстоятельствах не раз показали, на что мы способны; следовательно, мы имеем возможность высказаться спокойно и вполне откровенно. Сознайтесь, Анри, что отдельные выражения, которые вы употребили в своих недавних речах, могли поразить воображение; а вы, Андре, обычно такой сдержанный, говорите нам, что трещина извивается как змея! Вы сами, дорогой Адамс, назначая (и должен сказать, по заслугам) нашего здесь присутствующего друга директором по «человеческим отношениям», пользовались терминами, которые удивили бы всякого, кто, как я, знает и уважает вас столько лет: и сам директор, о котором мы говорим, недавно очень странным образом описал роль административных кадров в транснациональных предприятиях. Итак, куда же мы идем? Кто вас околдовал? Что в самом деле происходит здесь, у «Россериз и Митчелл-Франс»? Господа, вот уже несколько дней мне хотелось поговорить с вами. Я боялся задеть людей, к которым питаю доверие, но совет Де-Мойна, после моего сообщения, дал мне полную свободу действий. Теперь я этим воспользовался. Будем же вместе бороться с интоксикацией, которая распространяется и у нас, и вне этих стен.

Инстинктивно мы обратили взгляды на Адамса Мастерфайса. Слово было за ним. Ронсон, будучи специальным представителем Де-Мойна в Париже, официально не занимал никакого административного поста. Мастерфайс был одним из крупнейших транснациональных боссов, Сен-Раме — бесспорным и могущественным начальником

французской фирмы. Но в Ронсоне я всегда чуял некий душок тайного советника, он был чем-то вроде префекта полиции при компании, своего рода представителем гестапо на предприятии, разумеется в ином масштабе. На мой взгляд, он разоблачил себя. Или, вернее, нарочно сбросил маску. Из этого я заключил, что такое важное решение не было бы принято без абсолютной необходимости. Значит, главный штаб фирмы счел ситуацию во Франции чрезвычайно серьезной. Даже сам Мастерфайс был отстранен этим политическим комиссаром, чаще всего молчавшим как рыба, но, по моим наблюдениям, смотревшим на всех взглядом беспощадного инквизитора; он был всегда начеку, всегда настороже. Американский вице-президент сделал вид, будто всем доволен, тем более что ему-то была известна настоящая роль Ронсона. Он даже с большой ловкостью воспользовался словами своего американского друга.

— Обращаясь к вам таким образом, Берни выполнил свой долг, а меня освободил от этой обязанности. Исходя от меня, эти слова могли бы показаться вам порицанием, а исходя от него, они выполняют свое назначение — дать вам полезный совет. Мы живем не в средние века, и наши враги не бродят по ночам, подобно призракам, звеня цепями. У наших врагов есть имена и лица, это — рабочие, артисты, интеллектуалы, молодые разгильдяи с длинными волосами, правители-националисты с замашками диктаторов и народы, которые нам завидуют, хотя если им нечего есть или у них нет денег, то лишь потому, что они не желают или не умеют работать, а вовсе не из-за засухи или скудости природных ресурсов, как они заявляют в ООН. Что обнаружили мы, американцы, высадившись в свое время на далекой земле? Нас встретила не статуя Свободы, а враждебные леса, полные хищных зверей, ядовитых змей и диких, жестоких индейцев. Наводнения и засуха были постоянным бичом наших предков-поселенцев. Наша нефть не забила сама из недр земли; наш хлопок и наш хлеб не выросли по волшебству на скудной и порой бесплодной земле; и мы поднялись вверх по Миссури не на моторных лодках, а на самых примитивных пирогах. Так вот, наши враги здравствуют, и если только каждый вечер в наши чашки не подливают тайком какого-то проклятого зелья, то я не вижу причины бормотать чепуху, декламировать, как на сцене, и злоупотреблять цветистыми оборотами, особенно когда к этому нет привычки. И если сотрудникам показалось, что, говоря о новом назначении, я впал в слащавый романтизм, то я готов извиниться, что ввел их в заблуждение. Но у меня были смягчающие обстоятельства: первый раз в жизни я назначал руководящего сотрудника на должность как бы на поле боя. Итак, инцидент исчерпан...

— Я не ожидал, что история со свитками зайдет так далеко,— пробормотал Сен-Раме.

— А я,— сказал Ронсон,— намерен сообщить о ней в Де-Мойн, иначе мы из нее не выпутаемся. Мы слишком глубоко увязли в этом деле, и нам трудно взглянуть на него со стороны. И сам президент Мастерфайс, который ввязался в него случайно, я уверен, согласится со мной. Большому Совету следовало бы прибыть сюда в полном составе, разумеется, тайно, чтобы не вызывать любопытства прессы и персонала. Признаюсь, я сам не знаю, с какого конца распутывать это дело, а оно осложняется с каждым днем. Я молю небо, чтобы провокатора схватили как можно скорее. Откровенно говоря, за все время моей службы я не видел ничего подобного!

Итак, твердый и циничный Ронсон тоже попался в сети. Я наблюдал за Анри Сен-Раме: улыбка застыла у него на губах, и он с любопытством вглядывался в Адамса Мастерфайса. Что происходило

между ними в это короткое мгновение? Сегодня я знаю правду. И хороша же она, эта правда! Вице-президент одобрил предложение Берни Ронсона, а затем устало закрыл заседание, даже не посоветовавшись с генеральным директором. Они вышли из кабинета тяжелым шагом, понурые, с озабоченными лицами. Когда я уже переступал порог, Сен-Раме окликнул меня:

— Господин директор по «человеческим отношениям», есть у вас еще свободная минутка? Я хотел бы поговорить с вами наедине и, в частности, узнать, что все-таки происходило вчера в этой таверне... как ее... забыл название.

— «Гулим», мосье.

— Да, «Гулим», гм... очень странно.

— Что странно?

— Название «Гулим» вам ничего не говорит?

— Нет, мосье.

— Оно похоже на Голем.

— Что за Голем?

— Вы не знаете, кто такой Голем? — удивился Сен-Раме, ехидно поглядел на меня и снова стал серьезным.— Голем, друг мой, очень красивая легенда. Представьте себе, в тысяча пятьсот восьмидесятом году пражский раввин Лев бен Бецалель вылепил из глины человеческую фигуру и наделил ее душой, во имя всевышнего. Это создание, этот жуткий автомат сбежал и наводил ужас на жителей города... Страшновато, верно?

— Да,— ответил я не очень уверенно.

Сен-Раме отошел к окну и как бы задумался, потом вернулся и, смотря мне прямо в глаза, проговорил:

— А если бы Голем проник на наше предприятие, господин директор по «человеческим отношениям»? Что вы об этом думаете? Расскажите мне, как вы провели ночь в этой таверне, вы не встретили там случайно какого-нибудь человека со странной внешностью?

В то утро Сен-Раме затронул несколько тем, и, хотя он рассуждал спокойно, порой непринужденно, я не раз с трудом узнавал в нем того человека, которого американцы сделали управляющим французской фирмой. Я почти уверен, что мое поведение во время последних событий вызвало у него все возрастающую симпатию ко мне и что в этой беседе с глазу на глаз он попытался прояснить мои мысли, протянуть мне руку помощи. Но мог ли я это понять? Я бродил в полном мраке, и слабый лучик света не способен был его рассеять.

— Итак,— сказал Сен-Раме,— сегодня вечером вы устраиваете экспедицию в подземелья? Поразительно! Как вы думаете, я, наверно, единственный генеральный директор в мире, чьи сотрудники главного штаба в маскарадных костюмах собираются обследовать подземелье его предприятия?

— Да, думаю, вы правы,— искренне ответил я. Потом, вспомнив о своем двойственном положении, добавил: — Я рассказал вам о действиях моих коллег, это было моим долгом; но если они об этом узнают, я попаду в ужасный переплет. Поэтому я осмеливаюсь спросить вас, как вы думаете использовать мои сообщения?

— О, не волнуйтесь! — воскликнул Сен-Раме.— Я буду очень осторожен. Пока лучше всего дать развернуться этой интересной инициативе, она удачно дополнит наблюдения наших детективов; между прочим, они были в курсе ваших возлияний, но не ваших намерений. Когда мы поймаем обличителя, я приглашу вас всех на вечер в «Гулим»... Скажите, пожалуйста, а что вы сами думаете об этой трещине?

— Я думаю, что она возникла из-за осадки грунта.

— Вы не думаете, что ее вызвали нарочно?

— Честно говоря, я не представляю себе, как можно это сделать.

— Вы же говорили мне, что Аберо предполагал возможность злого умысла!

— Да, говорил, но я ведь не специалист, а priori [1] мне это кажется маловероятным.

Сен-Раме несколько минут стоял задумавшись. Потом, смотря мне прямо в глаза, спросил:

— А как по-вашему, кого я считаю обличителем?

Я колебался несколько минут, прежде чем ответить:

— Мне кажется, вы подозреваете Аберо и Лё Рантека.

— Представьте себе — я говорю вам это под строжайшим секретом,— так думают оба детектива и Мастерфайс.

— А Ронсон? — спросил я.— Кого он подозревает?

— О, Ронсон — это другое дело: у него есть какая-то тайная мысль, но, должно быть, она ужасна, так как он упорно отказывается сообщить ее, пока у него нет неопровержимого доказательства. Быть может,— пошутил генеральный директор,— он думает, что виновный — это вы?

Я не очень-то оценил эту шутку, ибо находился на передовых позициях уже несколько дней и жаждал отдохнуть. В конце концов я не принадлежал ни к какой партии, я ушел от коммерческих дел, чтобы иметь покой, я увлекался «человеческими отношениями» и собирался заниматься ими вопреки всем и вся. Я счел уместным напомнить об этом Сен-Раме и в заключение заявил:

— То, что у нас происходит, случилось из-за равнодушия начальников нашей фирмы к вопросам, касающимся жизни отдельных работников и их человеческого достоинства.

— Вы совершенно правы,— сказал генеральный директор,— я чувствую, что задел вас, назвав в списке подозреваемых, но, право, я пошутил; к тому же успокойтесь: я знаю виновного. Да, я, Анри Сен-Раме, знаю, кто он.

— Как! — воскликнул я.— Вы его знаете? Вы в этом уверены?

— Абсолютно... С самого начала я знаю, кто обличитель, и жду только подходящей минуты и еще нескольких дополнительных доказательств, чтобы разоблачить и сокрушить его; неужели вы и вправду думали, что я бездействовал все это время? Я вам доверяю, вот почему разоткровенничался с вами; и надеюсь, вы не разболтаете того, что я вам сообщил. Я сказал это только вам. Во всяком случае, знайте: Аберо на верном пути. Я не удивлюсь, если эта ночь будет чревата событиями. Не исключено, что я и сам пройдусь по подземельям. Сети затягиваются. Ответ почти наверняка запрятан где-то под нашим фундаментом, наши американские друзья и детективы уже готовы этому поверить. Теперь до всеобщей встречи сегодня ночью в подземельях — всего один шаг! А если обличитель — один из двенадцати руководящих работников, он поневоле окажется среди нас; это обещает нам весьма напряженную развязку в стиле «Тайны желтой комнаты» [2]

И Сен-Раме закончил свою тираду громким хохотом. Я откланялся и, глубоко задумавшись, отправился в свой кабинет. Папки с неотложными делами громоздились на столе. Секретарша вручила мне записку, собственноручно переданную ей Аберо. В ней содержалась следующая инструкция:

«К сведению номера 7: в конце вечера запереться в будке, примыкающей к подземному залу с аудиовизуальной аппаратурой...

[1] Заранее *(лат.)*.

[2] Детективный роман французского писателя Гастона Леру.

ждать притаившись до 11 или 12 часов — за вами придет номер 3... запастись мешком и вложить в него: ваш плащ, бант, значок, электрический фонарь, веревку не менее 30 метров длиной, бутылку воды, два бутерброда, пару резиновых сапог — все».

Хотя я и был предупрежден, я растерялся при виде материального воплощения решений, принятых прошлой ночью. Итак, это была правда, а не дурной сон. Я, директор по «человеческим отношениям» фирмы «Россериз и Митчелл-Франс», выполняя свои обязанности, должен сегодня вечером спуститься в глубину подземелий под моим предприятием вместе с одиннадцатью замаскированными сотрудниками главного штаба, разъяренными ловким пройдохой, издевающимся над cash-flow и системой преподавания в прославленном Массачусетском Технологическом институте! Меня бросило в дрожь при мысли, что руководители предприятия, движимые тем же побуждением, что и мы, могут встретиться там с нами. Какова будет их реакция, когда они увидят эти двенадцать привидений с фонарями и веревками, обшаривающих подземелья фирмы в погоне за призраком подрывателя основ? Я взывал к Гэлбрейту [1], Макгрегору [2], Ренсису Лайкерту [3] и другим знаменитостям постиндустриального общества и молил бога, чтобы по окончании нашей фантастической эпопеи нашелся выдающийся западный деятель, который стал бы обучать гарвардских студентов, как управлять и делать вычисления, когда участвуешь в росте и экспансии своего предприятия, находясь на глубине в 30—80 метров под землей, под конторами, под залами с аудиовизуальной аппаратурой и электронно-вычислительными машинами.

XX

В тот день, только я собрался выйти, чтобы купить веревку и резиновые сапоги, как в мой кабинет неожиданно вошел Берни Ронсон и, ни слова не говоря, уселся передо мной. Такое поведение посланца из Де-Мойна, наверно, поразило бы меня два дня назад, но теперь я остался почти равнодушным. Однако я не сомневался, что только серьезная причина могла заставить его появиться таким странным образом: проскользнуть ко мне словно кошка. Лицо его было озабочено. Но в конце концов он, может, и сейчас разыгрывал комедию? Я ждал, чтобы он заговорил первым, и довольно спокойно перенес его долгое молчание. Наконец он сказал тихим голосом:

— Арабы больше не желают продавать нам нефть, вы уже знаете об этом?

— Нет,— ответил я.

— Эта новость только что получена, и Де-Мойн ее подтвердил.

— Сам Де-Мойн? — повторил я с невольной иронической ноткой в голосе.

Ронсон с удивлением взглянул на меня.

— Не похоже, чтоб это вас очень волновало,— заметил он.

— Это не вызывает у меня изумления,— сказал я,— но такое решение арабских стран, вероятно, увеличит затруднения нашей фирмы.

— Увеличит? — удивился Ронсон.— Почему увеличит? Не увеличит, а создаст! Мелкие неприятности, которые в последнее время мешали нашей фирме, не идут ни в какое сравнение с колоссальными

[1] Гэлбрейт Джон Кеннет — видный американский экономист.

[2] Макгрегор Кларенс Генри — американский экономист, автор книг по маркетингу и управлению розничной торговлей.

[3] Лайкерт Ренсис — американский социолог, автор книг по управлению и «человеческим отношениям».

проблемами, с которыми мы, транснациональные компании, столкнемся, если арабы, желтые, черные и метисы станут отказываться продавать нам свое минеральное сырье, лес, шерсть или нефть.

— Я не могу вам этого доказать,— сказал я задумчиво,— но я убежден, что все эти события так или иначе связаны между собой.

— Ах, господин директор по «человеческим отношениям», вы всегда удивляете меня,— сказал Ронсон,— но оставим в покое нефть, я пришел поговорить с вами не об этих вопросах; я должен передать вам совершенно секретную инструкцию, слушайте внимательно.

Американец наклонился ко мне и прошептал следующее невероятное сообщение:

— Точно в пятнадцать часов вы должны быть в заднем зале «Кафе Республики», там вас будет ждать человек в очках с черной оправой и в белом свитере. В руках он будет держать большие круглые золотые часы с монограммой «Россериз и Митчелл». Этот человек поручил мне передать вам, что он желает с вами говорить.

— Могу я узнать его имя? — спросил я, стараясь сохранять спокойствие.

— Этот человек предпочел бы сам сказать вам свое имя; однако, в случае если вы будете настаивать, он разрешил мне вам его открыть. Вы настаиваете, господин директор по «человеческим отношениям»?

— Да, настаиваю,— сказал я твердо.

— Так вот, этот человек не кто иной, как Ральф Макгэнтер собственной персоной.

— Как?! — вскричал я.

— Тсс...— сказал Ронсон.— Не говорите слишком громко и, главное, не проболтайтесь. Итак, я выполнил свою миссию; не спрашивайте меня о том, что нужно Макгэнтеру,— я не знаю. Но еще раз — и вы, и я должны быть немы, как могила; никто об этом не знает — ни Мастерфайс, ни один член Большого совета в Де-Мойне; итак, идите спокойно позавтракайте и приготовьтесь к этому разговору; знайте, что увидеть этого человека собственной персоной и получить возможность поговорить с ним при таких обстоятельствах — это огромная честь.— Ронсон встал, еще раз повторил: — Главное, никому ни слова, будьте немы, как могила...— и вышел.

— Как могила,— прошептал я. И понял, что наступила решающая фаза моей жизни. Итак, Ральф Макгэнтер, таинственный и всемогущий президент компании «Россериз и Митчелл-Интернейшнл», ждет меня в 15 часов в белом свитере в заднем зале парижского бистро! Зачем? Что ему надо? Кто мог говорить ему обо мне?

Я решил немного пройтись — лучше подышать воздухом, чем сидеть в ресторане. Инстинкт или просто привычка привели меня к Пер-Лашез. Когда я подошел к решетчатой ограде, мое внимание привлекли более многочисленные, чем обычно, группы ответственных сотрудников и других служащих нашей фирмы, которые прогуливались по дорожкам кладбища. Я тоже отправился туда и время от времени кивал головой тем, кто здоровался со мной. Служащие «Россериз и Митчелл-Франс» были, как видно, очень взволнованы проблемами бензина и нефти. Они бродили между могилами, оживленно жестикулируя, а порой кто-нибудь, забыв о святости этого места, подчеркивал свои слова громким восклицанием. Тут я заметил одну группу — более сплоченную, более оживленную и более шумную, чем остальные. Я узнал в ней большинство моих коллег по штабу, которые толпились вокруг величественного склепа из черного и зеленого мрамора. Я хотел уклониться от встречи с ними, но Фурнье увидел меня и воскликнул:

— Эй, господин директор по «человеческим отношениям», идите сюда, мы тут почти все собрались.

Пришлось и мне присоединиться к ним. Аберо, возвышавшийся в центре группы, широко улыбнулся мне.

— Ну как? — спросил он.— Что вы думаете об этой новости?

Я пожал плечами:

— Я не знаю никаких подробностей. Ронсон мне только что сообщил об этом, я даже не знаю толком, в чем дело.

— Вам сообщил Ронсон? — удивился Аберо.— Когда же? Вы видели его сегодня утром?

Я допустил ошибку и постарался ее исправить:

— Я встретился с ним в лифте, выйдя из своего кабинета.

— Вот как, вам повезло,— сказал Аберо.— А я все утро пытался его поймать.

Появление Лё Рантека, к счастью, отвлекло нас от этой темы. Он был чрезвычайно возбужден.

— Представляете себе, ведь мы идем прямо к спаду и безработице! — кричал он.— Мы вступаем в эру нехватки сырья! Вот вам великая проблема! Следует ли держаться «политики доходов»?

Лё Рантек продолжал выкладывать заимствованные из газет общие места, которыми лицемерные журналисты в своих передовицах кормили граждан и гражданок все время, пока длился этот смутный период. Привлеченные воплями и кривляньем главного экономиста предприятия, мелкие служащие, гулявшие в этот день по кладбищу, сбежались, и вскоре уже множество сотрудниц и сотрудников толпились вокруг монументального склепа. Мне показалось, что Аберо недоволен этой толчеей и шумихой, но было невозможно их остановить. К великому удивлению слушателей, Лё Рантек заговорил о «Seven Majors». Этот термин звучал в те времена примерно так же, как «cash-flow», «валютная змея», «staf and line», то есть все они входили в язык «тех, кто знает». Вот что объяснил в тот день Лё Рантек части персонала фирмы, собравшейся на кладбище Пер-Лашез. Чтобы его было лучше слышно, он взобрался на верхнюю ступеньку склепа из черно-зеленого мрамора.

— Вся проблема заключается в правильном понимании термина «Seven Majors»! Перевести это выражение чрезвычайно трудно, но, чтобы определить его истинный смысл, скажем так: «семь великих», или «семь первых», или даже «семь граций» — почему бы и нет! Короче, это семь крупнейших мировых компаний, занимающихся нефтью. Пять из них — американские, одна — английская и одна — голландская. И совершенно естественно, что эти компании колоссальны; ведь им приходится участвовать во многих стадиях операций с нефтью, и потому они должны обладать грандиозными капиталами! Каковы эти стадии? Прежде всего, это поиски нефти — ведь она находится под землей; затем — добыча этой нефти, то есть масса деррик ов и бурильных машин, которые буравят земную кору! Потом надо перевозить нефть, затем очищать ее, а дальше — продавать! И наконец, существует колоссальная нефтехимия! Весь мир говорит о нефтехимии, хорошенько не зная, что это такое. Так вот, это обозначает всю химическую промышленность, базирующуюся на нефти! Seven Majors стоят во главе всей этой деятельности в целом! Что же будет с ними теперь, когда арабы хотят завладеть источниками нефти? А что будет с нами без нефти? Эта тема так же необъятна, как и тревожна, ее можно обсуждать много часов подряд. Давайте лучше перейдем к вопросам — кто хочет задать вопрос?

— Может быть, теперь возродится уголь? — спросил низший кадр, сидевший верхом на старом надгробии.

Рядом со мной другой пробормотал, прыснув от смеха:

— Уголь, что ли, возродится из пепла? — чем доказал, что несмотря на перегрузку кадры в наше время еще не утратили чувства юмора.

— Вполне возможно,— ответил Лё Рантек,— вопрос только в прибыльности и в капиталовложениях, а также покрытии расходов; в настоящее время капиталовложения ниже амортизации, и доходы покрывают расходы лишь на шестьдесят семь процентов! Но если в один прекрасный день арабы взорвут нефтяные скважины, возможно, цифры эти изменятся. А пока, конечно, только атомная энергия конкурентноспособна и рентабельна!

Тут рядом с нами неожиданно послышались молитвы и рыдания. Это было похоронное шествие, приближения которого мы не слышали и не видели, настолько были все поглощены речью Лё Рантека. Мимо прошли священник, родственники и друзья покойного, с удивлением разглядывая нас. При виде обряда предания земле и, должно быть, вспомнив, где они находятся, администраторы и служащие «Россериз и Митчелл-Франс» стали молча расходиться. Некоторые, слегка смущенные, крестились и быстро удалялись. До них вдруг дошло, что неприлично устраивать конференцию о производстве и нехватке нефти среди могил. Положительно, смерть повсюду преследовала наше предприятие, будь то внутри или вне его стен, и так продолжалось уже почти неделю. Сегодня это было открытое вторжение. Я ускользнул как можно незаметней и задолго до 15 часов прибыл в «Кафе Республики», где заказал себе тушеную капусту со свиными сосисками в ожидании Ральфа Макгэнтера, человека в белом свитере и с золотыми часами. Я воспользовался завтраком, чтобы прочитать газету. Я задержался на комментариях по поводу растущей нехватки нефти и угрозы, нависшей над цинком, медью, бокситами и даже над фосфатами. Итак, Запад, следуя примеру Северной Америки, оказывается, жил не по средствам. И если обитатели индустриальных стран достигли поразительного повышения жизненного уровня, то они обязаны этим не только своему умственному развитию, усердной работе и мастерству, но и в еще большей степени — низким ценам, которые они платили за сырье. Вот чем объясняется почти всеобщее обнищание огромной части мира и процветание и мотовство меньшей его части. Я дал себе слово поговорить об этих вопросах с президентом фирмы «Россериз и Митчелл-Интернейшнл». Я удивлялся, что не чувствую смущения перед предстоящей встречей. В другое время я был бы очень взволнован. Но события, будоражившие мое предприятие, вместе с кризисом, вызывавшим падение ценностей постиндустриального общества, поддерживали мое решение пренебречь чинопочитанием и держаться независимо. По существу, разве все это не говорило о том, что готовится падение Макгэнтера? Был ли человек, пожелавший меня видеть, все еще таким могущественным? И это я тоже спрошу у него, решил я; ведь если бы я не был ему очень нужен, он не искал бы встречи со мной. Ровно в 15 часов я заметил небольшого человека в очках с черной оправой и в белом свитере. Он бродил между столиками в заднем зале, подчеркнуто играя большими золотыми часами. Я подошел к нему.

— Который час? — спросил я по-американски.

— Посмотрите сами,— ответил он.

Посредине циферблата я увидел переплетенные буквы Р и М. Я наклонился к нему и тихо спросил:

— Вы Ральф Макгэнтер?

— Собственной персоной,— прошептал человек,— и я очень рад

встретиться с вами, господин директор по «человеческим отношениям»; давайте сядем туда, в уголок, там мы можем спокойно поболтать.

Мы сели друг против друга за маленький квадратный столик, стоявший в стороне. К нам подошел официант, и я заказал анисовку, а он — кока-колу. Не мне надлежало начинать разговор, однако случилось именно так, и мой собеседник был этим, видимо, удивлен.

— Знаете,— сказал я,— мои нервы пришли в такое состояние, что теперь ничто и никто меня уже не поражает, я даже не знаю, действительно ли вы Макгэнтер, и признаюсь, мне на это наплевать; возможно, Ронсон подстроил мне ловушку, ведь он самостоятельно ведет расследование таинственных явлений, с недавнего времени происходящих на нашем предприятии,— так, может быть, вы еще один детектив? Во всяком случае, знайте, что мне не в чем себя упрекнуть, разве лишь в том, что, принимая слишком близко к сердцу свои обязанности директора по «человеческим отношениям», я очень переутомился. Теперь я играю роль буфера между моими коллегами — сотрудниками главного штаба — и генеральной дирекцией. В этих условиях действительно ли вы Макгэнтер или нет, в конце концов, не имеет большого значения.

Человек посмотрел на меня серо-зелеными близорукими глазами. Эти глаза нисколько не походили на те, какими их изображали в журналах фирмы «Россериз и Митчелл» и даже в крупных западных еженедельниках, говоривших о знаменитом «пронзительном взгляде» Ральфа Макгэнтера. Это «взгляд орла,— писали они,— взгляд хищника, сокола, грифа, гремучей змеи, кобры...». Один из них особенно отличился, написав: «История мало знает людей, наделенных столь необыкновенным взглядом, видящим одновременно близкое и далекое: его правый глаз устремлен к дальним горизонтам будущего человечества, а левый смотрит на вас, на ваше будущее как беспощадный разящий стальной клинок».

А я видел перед собой за очками в черной оправе два выпуклых, близоруких серо-зеленых глаза. Он по-прежнему ничего не говорил, и я почувствовал глухое раздражение, которое и не стал скрывать, заговорив о его взгляде.

— Не знаю,— сказал я,— действительно ли вы президент, но ваш взгляд скорее убедил бы меня в обратном.

Это замечание, казалось, заинтересовало его, так как он соизволил наконец заговорить.

— Мой взгляд? А что в нем особенного? — спросил он, и, должен признаться, тон его выдавал человека, привыкшего командовать.

— Видите ли,— сказал я на этот раз несколько неуверенно,— в нем именно нет ничего особенного.

— А почему бы ему быть особенным? — спросил он уже с легким нетерпением.

— Не знаю,— ответил я,— но я читал множество описаний вашего взгляда у разных журналистов, которые всегда восхищались им.

— Еще бы! Я им платил.

— Всем? Даже тем, кто пишет в крупных международных еженедельниках?

— Разумеется,— ответил он почти мечтательно,— так или иначе, я им всегда платил.

— Но некоторые, однако, писали, что у вас взгляд грифа или кобры.

— Ну и что же? Это как раз то, что надо: людям это нравится. Я велел провести множество опросов о том, какой должен быть у меня взгляд или каким его представляют себе люди; не думайте, что народы или сотрудники президента транснациональной компании бу-

дут осуждать его за орлиный взгляд, это его нисколько не порочит. Ну а вы, как бы вы определили мой взгляд? Что вы видите за моими очками?

— Прошу прощения, но я вижу выпуклые серо-зеленые глаза.

— Браво! Я так и знал, что вы нужный мне человек! — воскликнул американский магнат.— Совершенно верно: у меня выпуклые серо-зеленые глаза, но уже очень давно мне никто этого не говорил! Вся эта история с моим взглядом — прекрасное вступление к нашему разговору; сначала оно вызвало у меня раздражение, но по существу оказалось интересной проверкой. Да, несомненно, вы тот самый человек! Мои сотрудники совсем не плохи, но как только проблема выходит за обычные рамки, они сразу теряют почву. Я сыт по горло, скажу вам прямо, этой дурацкой историей в нашем французском филиале и не желаю, особенно теперь, во время экономического кризиса, чтобы у вас во Франции продолжались эти бессмысленные волнения! И вот два дня назад я сам взял папку с вашими делами и хорошенько разобрался в них, как разбираюсь в каждом деле, за которое берусь лично; я изучил биографии главных администраторов «Россериз и Митчелл-Франс» и пришел сам на далеком от вас расстоянии к следующему выводу: этот человек — вы! И ваше рассуждение о моем взгляде это прекрасно подтверждает. Я сразу заметил в досье, что директор по «человеческим отношениям», работающий в Париже,— своеобразная и сильная личность; тогда я отправился к нему самолично, и никто об этом не знает, кроме Ронсона; я приехал, чтобы встретиться и поговорить с вами: я очень нуждаюсь в сотрудниках вашего масштаба, дорогой мой! Я приехал не наказать, а наградить вас, повысить и взять к себе! Вы отдаете себе в этом отчет? Вы понимаете, что сам Макгэнтер сидит здесь перед вами в белом свитере? Вы-то знаете, но все сидящие здесь за столиками и не подозревают об этом. Кому официант только что подал бутылку кока-колы? Ральфу Макгэнтеру! Да, я приехал к вам не колеблясь, не стыдясь, не гордясь — я всегда улаживаю свои дела именно так. В прошлом месяце я отправился самолично, чтобы встретиться с безвестным членом боливийского кабинета! Мои сотрудники были ошарашены! Я, Макгэнтер, отправился в Боливию, чтобы встретиться не с президентом, а с какой-то никому не известной личностью! Зачем? А-а, вот в чем вопрос! Так зачем же? Ну что ж, я вам отвечу: неизвестная личность с будущего понедельника станет министром земледелия, да, дорогой мой, понимаете? Не министром транспорта или внутренних дел, а земледелия! Вам еще не ясно, в чем дело? Наша продажа сельскохозяйственных машин колоссально возрастет в обмен на кое-какие мелкие услуги! Например я устрою этим боливийцам заем через Международный банк в Сан-Франциско, таким образом они смогут оплачивать наши машины и одновременно оснащать свою армию. Ха, ха! Понимаете? Если Макгэнтер трогается с места, значит, что-то произойдет. И вы — теперь уж я знаю — тот самый человек, которого эти идиоты Мастерфайс и Сен-Раме ищут без толку уже почти неделю! Валяйте, признавайтесь мне без страха, я не только не осуждаю вас, но восхищаюсь вашим умом, вашей смелостью и хладнокровием.

Окончательно сбитый с толку этой чуть ли не безумной тирадой, я спросил:

— Но кто же я по-вашему на самом деле? О каком человеке вы говорите?

— Будет вам,— сказал Макгэнтер, подмигивая мне вульгарно, как сообщник.— Мне ясно, вы хотите, чтобы я первый сказал вам: господин директор по «человеческим отношениям», вы тот, кого французы прозвали «обличителем».

— Что?! — подскочил я совершенно ошарашенный.

— Да, господин обличитель, позвольте вас поздравить, вы провели всех, кроме меня, разумеется, кроме Ральфа Макгэнтера, в настоящее время одного из трех или четырех самых могущественных людей на земном шаре. Отныне вы будете работать со мной в Де-Мойне и Нью-Йорке, вы будете моим личным сотрудником. Вы начнете с будущей недели. А теперь расскажите мне все, со всеми подробностями, ваша история меня очень увлекает.

И президент «Россериз и Митчелл-Интернейшнл» приблизил свою голову к моей, сдерживая жадную и сардоническую улыбку, змеившуюся в уголках его губ.

Значит, я — обличитель! Вот тебе и раз! Господин Макгэнтер добился того, чего не удалось ни его частной полиции, ни его вице-президенту, ни французским руководителям фирмы! Дело «Россериз и Митчелл-Франс» по существу его просто забавляло. Это было любопытное дело, способное разрядить нервное напряжение у человека, обычно занятого свержением правительств или сменой режимов, противоречащих его интересам, и время от времени ставившего в тяжелое положение некоторые валютные системы. А что он задумал на этот раз? Предпочитает ли он договориться с эмирами или, наоборот, хочет принудить американских правителей захватить силой нефтяные месторождения и залежи минерального сырья? А может, проведет сразу оба маневра? Среди этих многотрудных занятий французская фирма предложила ему неожиданное развлечение. Только подумайте! Смешные листовки таинственным образом распространяются на улице Оберкампф, кто-то, подражая голосу генерального директора, организует нелепые мелодраматические похороны, и в это же самое время стена дает трещину! Тогда Макгэнтер разрешает себе поездку инкогнито в Париж, в лучшем стиле классической традиции романов плаща и шпаги. Потому что, сидя один вдалеке, в своем роскошном укрепленном лагере Де-Мойн, он сам разгадал эту загадку и таким образом посрамил всех, кто беспомощно барахтался в клоаке «Россериз и Митчелл-Франс». Только вот беда, Макгэнтер-то ошибся: ведь я не обличитель! И он сделал еще одну ошибку, более грубую, когда так легко отнесся к происшествию в его французской фирме, ибо этот случай предвещал кризис гораздо более серьезный, чем нехватка нефти или повышение цен на сырье: кризис умов, эру убийств в недрах громадных американских и транснациональных предприятий, а следовательно, и эру убийств в постиндустриальных обществах, плохо освоивших свои электронно-вычислительные машины и не переваривших награбленные богатства. Значит, этот человек считает меня обличителем. Пусть так. Как же я должен себя вести? Ну что ж, пока я не буду его разубеждать. И чтобы правильно понять почему, следует вспомнить об умонастроениях руководящих сотрудников того времени. Прежде всего человеку моего уровня очень редко удавалось встретить во плоти одного из корсаров, которые в те времена опустошали мир. Эти люди утверждали, что они более могущественны, чем политические вожди, и, к несчастью, часто бывали правы, так как вызывали войны или заключали мир по собственному усмотрению и в своих интересах, определяли объем производства, цены на товары и условия товарооборота. Следовательно, директор по «человеческим отношениям», достойный этого титула, не мог упустить случай либо сделать крупный скачок по иерархической лестнице в своем предприятии, либо, наоборот, сразу излить все, что у него накопилось на сердце. Если вы встречаете столь могущественного человека, то либо нарочно оскорбляете его, либо стараетесь вытянуть у него доходное местечко. Но я в тот день ясно понимал, что мой

случай — особый. Обличитель, как видно, не очень-то любил свое предприятие и своих начальников. И по-видимому, Макгэнтер именно за это его и одобрял. Итак, играя роль обличителя, я мог одним выстрелом убить двух зайцев: высказать свое недовольство и тем самым поднять себе цену. Чем враждебнее я буду к «Россериз и Митчелл-Франс», тем больше это будет в духе обличителя и тем больше шансов, что я сойду за него перед Макгэнтером и заслужу его похвалу. Я повел себя с такой ловкостью, что даже теперь, спустя много времени после всех событий, мне приятно это отметить. Прежде всего я принялся все отрицать, но без всякой горячности.

— Господин президент,— объяснял я,— хотя, как мне кажется, вам полюбился этот обличитель, должен сказать по правде, что это не я. Я очень смущен, утверждая это, но нет правил без исключений: на этот раз вы ошиблись.

— Мне нравится, как вы разговариваете со мной, и я вижу в этом еще одно доказательство правильности моей интуиции; затем должен вам сказать — мне вовсе не полюбился обличитель. «Любить» — слово, которое я давно выбросил из своего словаря. Не потому, что я не способен быть нежным: в детстве я с нежностью относился к птичкам, и благодаря мне ежегодные взносы «Россериз и Митчелл» в британское общество покровительства животным чрезвычайно велики. Но надо выбирать: либо власть, возможность влиять на дела своего времени, либо тихая жизнь среди птичек. Нет, я не люблю обличителя, я и вас не люблю, мой дорогой, ни вас, ни кого другого, но я научился действовать эффективно, и ваши достоинства, или, если хотите, недостатки, благодаря которым вы сумели взбудоражить все предприятие, я могу использовать иначе, для более значительных целей, в соответствии с вашим честолюбием. В эту минуту все ищут вас — а я вас уже нашел. Все хотят вас наказать — а я хочу вас наградить. Все хотят вас изгнать — а я хочу вас возвысить. В который раз мои директора во всем мире не смогут понять моего решения, но потому я и стал президентом, что я Ральф Макгэнтер; а не то я был бы сегодня вульгарным директором по «маркетингу» или в лучшем случае каким-нибудь Мастерфайсом, который не имеет своего лица, но загребает большие деньги.

— Почему вы сбросили президента Чили? — спросил я резко без всякого перехода.

— Вот это мне нравится! Право, нравится! Положительно, вы мой человек! В следующий раз вы сами его сбросите! — обрадовался Макгэнтер.— Почему? Вероятно, я вас удивлю: отнюдь не по политическим мотивам. Вы знаете, я очень изменился, и теперь мне в высшей степени наплевать на политические мотивы. Сейчас, когда я разговариваю с вами, я готовлю для торговли с Востоком и Китаем обширный рынок, который принесет нам много денег. Да, да — с Китаем. У меня есть специальный посланец даже в Албании. Я признаю, что товарищ Энвер Ходжа туго поддается на уговоры, но и он станет у меня ручным! Во всяком случае, сейчас я там уже добился успеха: они не выгнали моего специального посланца! В Чили все произошло не по экономической или финансовой причине — вскоре я, вероятно, даже потерплю убытки в этой стране... Зачем же мне было сбрасывать правительство, если я так мало на этом заработаю, как вы думаете?

— Сознаюсь, вы меня удивляете,— сказал я искренне, внимательно слушая его.— Так зачем же?

Макгэнтер сжал мои руки в своих. Они у него были пухлые, белые и жирные.

— Вы знаете,— сказал он,— ведь это правда, что я провел большую часть жизни в погоне за выгодой, в поисках новых рынков и в постоянном увеличении производства; но вот уже несколько лет, если я и слежу за нашим cash-flow, то прежде всего для того, чтобы мои акционеры не приставали ко мне, чтобы они были спокойны, горды и не требовали слишком высоких дивидендов; меня же самого теперь интересует только власть.

— Власть денег,— сказал я.

— Нет, нет, не власть денег,— живо возразил Макгэнтер.— Если б вы знали, какую острую радость доставляет мне обвинение, которое бросает мне весь мир: вы свергли чилийский демократический строй! Вот это власть, это истинное могущество: создавать экономические и валютные кризисы, содействовать вооружению той или иной страны, бросать их затем одна на другую — вот власть, какую не могут дать одни только деньги! Для этого нужна громадная организация, уменье обрабатывать умы, формировать психологию боевых отрядов, да что я говорю — не боевых отрядов, а крестоносцев, завоевателей! Всеми этими возможностями в наши дни обладает компания «Россериз и Митчелл-Интернейшнл»: мы уже недалеки от мирового господства. Нет ничего общего между мной и нефтяным магнатом или самым богатым в мире банкиром, даже если наши интересы и тесно переплетены: они могущественны потому, что богаты, а я могуществен потому, что доход меня больше не интересует, потому, что настанет день, когда я или мои преемники заставим правительства дать фирме «Россериз и Митчелл» право бросать в бой армии!

— Целые армии! — воскликнул я недоверчиво.

— Да-да! Это вас удивляет? Однако вы увидите. Наши владения во всем мире будут под угрозой, ибо мы вызовем ненависть и зависть народов. Ни одно государство, даже Америка, не будет иметь ни средств, ни желания защищать эти владения, когда на них нападут; посмотрите, куда привела нас война во Вьетнаме! Представьте себе, что везде: в Азии, в Африке, в Латинской Америке — наши владения будут осаждены, наше влияние подорвано, наши специальные агенты убиты! Да разве западные державы смогут, даже объединившись и вступив в коалицию, отстаивать наши интересы на шестидесяти или двухстах полях боя вроде Вьетнама или Анголы? Средства государств слишком ограничены, и к тому же у правительств не будет достаточно веских доводов: народы их в конце концов потребуют мира и отозвания войск; нет, западные демократии не способны нас защитить. Но если я организую защиту в мировом масштабе, соединив колоссальные возможности трех или четырех самых мощных транснациональных компаний, если вооружу отряды наемных солдат на местах, если заставлю хорошо оплаченных транснациональных боливийцев драться с боливийцами национальными, затравленными и отощавшими, если я выставлю индонезийские полки против студентов и деревенских партизан из Джакарты,— тогда я одержу победу, тогда стану властителем мира, тогда западные правительства, освободившись от военных забот, смогут успокоить свои народы, заняться социальным законодательством, градостроительством и уличным движением. Тхиеу в Южном Вьетнаме — плохой пример: его поддерживает американское правительство, а так как мы поддерживаем это правительство, все думают, что и мы поддерживаем его. Но это неправда. Я вам ручаюсь, что если бы Тхиеу поддерживала коалиция транснациональных компаний, он выиграл бы войну, мы выиграли бы войну давным-давно. Во Вьетнаме мы совершили ошибку, поддерживая Тхиеу лишь потому, что он не коммунист; эти дрязги уже устарели; критерием для поддержки служит совпадение интересов при установлении ге-

гемонии нового типа. Вы думаете, я люблю чилийскую хунту? Они не преступники, а просто идиоты, коалиция транснациональных компаний конечно же не стала бы поддерживать хунту.

— А кого бы она поддержала? — спросил я тихо.

— Не знаю, вероятно, она оставила бы этот вопрос открытым. Главная ее идея — овладеть землями, недрами, лесами, океанами и установить над ними иерархию правителей, не верящих ни в бога, ни в черта.

— Но когда вы были ребенком...

— Когда я был ребенком,— оборвал он,— я думал только об одном: как заработать деньги. Моя мать целый день лезла из кожи вон, чтобы дать мне возможность учиться, а вечерами латала мою одежду. Я очень рано возненавидел весь мир: сыновей банкиров, и промышленников — за то, что они трусы, лентяи и в лучшем случае посредственности; выходцев из народа — за то, что они бедны и плохо воспитаны; сыновей коммерсантов — за то, что они ограниченны и малодушны; священников — за то, что они лицемерны; а позже я стал презирать и самих промышленников и банкиров — за то, что они жаждут лишь одного: превратить десять долларов в пятнадцать и удвоить площадь своих владений; потом я стал презирать и административные кадры, и работавших на меня директоров, потому что у них была только одна цель: понравиться мне, чтобы повысить свое жалованье с пятнадцати тысяч до двадцати тысяч долларов в год и число подчиненных им людей с трехсот до пятисот человек. Да,— заключил задумчиво президент «Россериз и Митчелл-Интернейшнл»,— думаю, что, за исключением моей матери, я никогда никого не уважал, и сегодня я уверен, что был прав: меня обманывали только другие, а сам я никогда не обманывался.

— Однако,— спросил я,— почему вы рассказываете все это мне — самому незначительному из незначительных администраторов, скромному директору на одном из ваших бесчисленных предприятий?

— Прежде всего, случайно; я рассказал вам все это случайно, и это не может мне повредить; случай привел меня сюда, переодетым, в задний зал парижского бистро, и мне доставило удовольствие не стесняясь выложить вам свою подноготную. Затем, дорогой мой, если вы вздумаете это разболтать и станете уверять что как-то после обеда Ральф Макгэнтер, сам великий Макгэнтер, рассказал вам свою жизнь, сидя в свитере в парижском бистро, будьте спокойны: никто вам не поверит. Но я был с вами терпелив, теперь изложите мне подробности вашего метода, меня это интересует больше, чем вы думаете; например, каким способом вы вызываете в стене трещину и потом день за днем следите за ее расширением, что так пугает бедного Мастерфайса?

И тут я изменил свою тактику и решил пойти ва-банк. Оценив, какие преимущества я получу в глазах этого своеобразного человека в качестве обличителя, я заявил:

— Господин президент, слушая вас, я составил себе представление о вашей исключительной личности, я поражен вашим необыкновенным чутьем, вашей удивительной способностью анализировать дела, вашим умением читать между строк и готов вам признаться: вы открыли правду. Я действительно обличитель. И почту за честь служить вам, как вы мне предложили, но прошу вас об одной милости или, вернее, позволю себе поставить одно условие, первое и последнее, которое я когда-либо вам поставлю: разрешите мне довести до конца мой дьявольский план, не принуждайте меня открыть вам сейчас его подробности. Только человек вашего масштаба может его полностью оценить. Взамен я обещаю вам прекратить расширение

трещины и сохранить стены в целости; я предполагал разрушить все здание, а теперь пощажу его. Но зато ради красоты развязки, ради того удивления, которое она вызовет у вас, ради изысканного удовольствия, которое она вам доставит, дайте мне довести до конца мой план.

Макгэнтер сиял от восторга и гордости. Даже черты его лица немного смягчились. Он сжал мне руки и поглядел на меня почти с нежностью.

— Дорогой мой,— сказал он,— зачем вы говорите мне об этом чертовом здании! Я же сказал вам: я не банкир и не промышленник. Что останется от вашего великолепного плана, если эти стены не рухнут? Я не только разрешаю вам не открывать мне сейчас тайну вашего замечательного замысла, но вдобавок я желаю, нет, вернее, приказываю вам: пусть трещина все расширяется, пусть появляются новые трещины, пусть наше роскошное здание из стекла и стали рухнет и провалится в недра развороченной земли! Сегодня вечером я отправляюсь обычным рейсом в Нью-Йорк, но завтра я вернусь, окруженный моим главным штабом идиотов; так было решено. Мастерфайс, потеряв голову, известил совет о событиях на нашей французской фирме, и вчера мы постановили приехать в Париж, чтобы выяснить вопрос на месте; никто не знает, кроме вас с Ронсоном, что я уже во Франции: в Де-Мойне считают, что я сейчас в Парагвае; никто, кроме меня и вас, не подозревает, кто обличитель, и это обещает мне завтра очень приятное развлечение, ибо скоро я буду играть роль президента, раздраженного тем, что ему приходится заниматься таким незначительным вопросом из-за бездарности своих сотрудников и французских руководителей. Никто не должен догадываться, что мы с вами уже знакомы, но прежде, чем мы расстанемся, могу ли я в свою очередь попросить вас об одном одолжении?

— Об одолжении, господин президент?

— Да, об одолжении великому Макгэнтеру! Можете вы хотя бы сказать мне, когда и как, по-вашему, ваш план будет окончательно завершен?

— Да, это я вам скажу,— ответил я, на этот раз совершенно уверенный в правильности моего предсказания.— В ближайшие дни главные административные сотрудники предприятия, их начальники и, вероятно, члены вашего главного штаба из Де-Мойна погибнут страшной смертью, а перед этим их постигнут ужасные испытания; спасемся только мы с вами. Земля разверзнется и поглотит здание из стекла и стали.

— Невероятно,— пробормотал сквозь зубы Макгэнтер. Он восхищенно присвистнул и медленно повторил: — Их постигнут ужасные испытания, после чего они провалятся в недра земли. Какой план... Инстинкт не обманул меня, я знал, что вы — обличитель; но личность обличителя даже превзошла мои надежды; вы достойны стать моим преемником. Я научу вас управлению в мировом масштабе, разным махинациям с капиталами; но вы не меньше меня ненавидите человечество и питаете склонность к карающей власти; для вас, как и для меня, люди — это просто пешки, луга — лишь земная поверхность, дающая траву, горы — прежде всего камни и минералы, моря — всегда только резервуары соли, энергии и рыбы; сегодня вы заставили меня испытать волнение — первое и, вероятно, последнее за всю мою карьеру. Да, тщательно выполняйте ваш план, уготовьте смерть нашему французскому предприятию — вот что позволит мне изменить общественное мнение, разжалобить его, показав, какие несчастья ожидают крупные промышленные объединения, если не под-

нимать их авторитета; вот что снова сделает актуальным проблемы роста продукции и занятости, вот что позволит многим правительствам расстреливать и заточать в Бастилии тысячи революционеров! Я сделаю из этого случая прецедент в мировом масштабе. Меня не огорчает то, что расплачиваться за эту политику придется нашей французской фирме: Франция не раз служила козлом отпущения для других народов. Право, я еще раз поздравляю вас, господин обличитель, но теперь я чуть ли не восхищен вами.— Макгэнтер встал, горячо пожал мне обе руки и сказал на прощанье: — Я ухожу без вас: не хочу, чтобы нас видели вместе; меня они не узнают, но вас — другое дело. Завтра, когда я буду выполнять свои официальные обязанности, кто-нибудь, видевший нас сегодня, может задать себе вопрос: «Интересно, что делал президент вчера вечером в «Кафе Республики» вместе с директором по «человеческим отношениям» фирмы «Россериз и Митчелл-Франс»?»

Макгэнтер ушел. Я проследил глазами за тем, как этот маленький человек пробирался между официантами и клиентами, вставшими со своих мест, чтобы расплатиться, или ждавшими в раздевалке. Вскоре я потерял его из виду. Я подождал еще минут десять и тоже вышел из кафе. Конечно, эта встреча, все мною выслушанное и то, что я сам счел полезным сказать,— все в целом даст мне богатую пищу для размышлений, как только я выберу свободную минуту. Но сейчас события были слишком свежи; я решил разобраться в них попозже и, в частности, обдумать ответ на вопрос: какими могут быть для меня последствия этого свидания? Изменят ли они мое будущее на предприятии, мою роль и поведение в деле обличителя — короче говоря, всю мою судьбу? Тут я вспомнил, что сегодня состоится ночной поход в подземелья «Россериз и Митчелл-Франс» и что мне предварительно следует сделать кое-какие покупки. В частности, мне предстояло обзавестись длинной веревкой и мешком, чтобы сложить в него свое снаряжение. Выйдя в поисках спортивного магазина на улицу Жан-Пьера Тимбо, я вздрогнул и прижался к стене. То, что я увидел, придавало неожиданную пикантность и без того довольно сложному положению, создавшемуся на нашем предприятии: мужчина и женщина, прижавшись друг к другу, тихонько разговаривали, как будто обсуждая важный вопрос: входить ли в отель, возле которого они остановились? Вдруг оба взглянули на часы: хватит ли у них времени? Да, времени хватит. И они вошли. Я был ошеломлен и простоял несколько минут как пригвожденный к стене. У меня, право, перехватило дыхание: в этой любовной связи, которую я только что невольно подсмотрел, было что-то зловещее и соленое, как кровь! Итак, значит, ничто не минует фирму «Россериз и Митчелл-Франс». С приближением конца каждый готовил себе место, чтобы лучше насладиться жестокостью предстоящего зрелища, чтобы поближе увидеть вырождающуюся мораль, страдание и унижение. Встревоженный и опечаленный, отправился я на поиски спортивного магазина. Какая грязная и безумная история! С каких пор Аберо и госпожа Сен-Раме спят вместе?

XXI

Ночь спустилась на мое предприятие. Персонал разошелся. Только руководящие сотрудники, каждый притаившись в тайнике, указанном Аберо, да сторожа, не извещенные о готовящейся экспедиции, оставались в здании. Во мраке моего убежища я ждал, согласно ин-

струкции, когда номер 3, то есть Самюэрю, придет за мной. Я размышлял. Мысленно я пересматривал все события истекшего дня. Я думал о решении стран — производителей нефти подточить экономику западных стран и Японии. Я предвидел, что газеты будут снова заполнены финансовыми и валютными подсчетами. Сейчас больше чем когда-либо будущее мира будет брошено на милость статистики, процентов роста цен на свеклу, снижения цен на свиные туши, твердых и колеблющихся курсов валют. Громче чем когда-либо зазвучат голоса о том, что сегодня нет больше места красноречию. Чувство и слово должны быть упразднены. Надо экспортировать столько-то тонн стали за такое-то время, если мы хотим сохранить свой рост и занятость. Что станется с народами, если их покинут те, кто знает, как устанавливается цена на баррель нефти? Ведь они — единственные, кто может полностью охватить этот вопрос! Почему бы не изъять Монтескье из программы наших школ, заменив его изучением барреля, полубарреля и пинты кокосового масла? Я думал обо всем этом во мраке моего убежища. Но я думал также и о том, что происходит в эту минуту в стенах и подземельях «Россериз и Митчелл-Франс». Что делают все эти администраторы из «штаба», питомцы самых передовых западных институтов, считающиеся тонкими знатоками экономики, валюты, установления цен на баррель нефти и тонну овечьей шерсти, что делают они в этот вечер, вырядившись в опереточные костюмы спелеологов и забившись в тайные убежища? Почему они тратят время на изучение подземелий своего предприятия? Не сходят ли они тоже с ума? Неужели разоблачить какого-то сумасбродного смутьяна важнее, чем заняться изучением последствий экономического кризиса для нашего предприятия? Кроме того, я думал еще о двух новых событиях, произошедших сегодня после обеда: о моей встрече с Макгэнтером и обнаруженной мною связи Аберо с госпожой Сен-Раме. Аберо уже не раз показывал мне, что не стесняется в средствах для достижения своих целей. Была в нем некая циничная решимость, которая при всей своей целеустремленности не вызывала доверия. Соблазнив жену Сен-Раме, сделал ли он просто еще один ход в своей шахматной игре? И что крылось на деле за этой связью? Как госпожа Сен-Раме пошла на такой шаг? Аберо не был красив. В нашем предприятии он занимал лишь второстепенный пост. Насколько я знал, у него не было состояния. Жена Сен-Раме была представительницей высшей буржуазии. Ее муж занимал несравненно более высокое социальное положение, чем Аберо. У него была очень привлекательная внешность. И, наконец, среди людей, с которыми общался Сен-Раме, его жена могла найти много мужчин более соблазнительных, чем Аберо, и гораздо более для нее подходящих. Разумеется, я на минуту предположил, что они могли встретиться с другой целью, а не для тайной любви: например, один из них мог передать другому какое-нибудь послание. Быть может, Сен-Раме сам отправил свою жену к Аберо с каким-нибудь поручением. Но не говоря о том, что для этого им не надо было встречаться в отеле, я видел собственными глазами, как они нежно держались за руки и смотрели друг на друга с явно недвусмысленным выражением. Вот почему я утвердился в предположении об адюльтере.

Медленным шагом, со стесненным сердцем подхожу я все ближе к ужасной развязке, а те, кто окружает и лечит меня, чувствуют это и тревожатся. Они понимают, что я буду теперь рассказывать отнюдь не забавные факты. Главному врачу тоже не очень-то понравилась эта связь Аберо с женой Сен-Раме. Однако он еще не знает того, что знаю я. И когда я сказал ему: «Некоторые души гниют так же быстро, как и тела», он ответил: «Да, это правда».

Итак, в эпоху, когда страны, имевшие в своих недрах нефть и богатые залежи всевозможных минералов, решили их придержать или заставить страны, наслаждавшиеся изобилием, платить за них дороже, во Франции, в Париже, в здании из стекла и стали, возвышавшемся на углу авеню Республики и улицы Оберкампф, неподалеку от Восточного кладбища, готовилась очень странная экспедиция. В полночь двенадцать руководящих сотрудников из штаба компании «Россериз и Митчелл-Франс», возглавляемые заместителем директора по прогнозированию — Аберо, выломав небольшую каменную плиту, поползли на животе по узкому подземному ходу с сочащимися водой стенами и двигались молча друг за другом, пока не достигли галереи примерно в 2 метра высоты и в 2 метра ширины. Они отправились не на поиски нефти или медной руды и отнюдь не затем, чтобы нанести визит многочисленным скелетам, сваленным в знаменитых катакомбах; обозленные и свирепые, они бросились на поиски неизвестного, который вот уже несколько дней сеял тревогу на их предприятии и ставил под сомнение самые основные принципы его существования; прибегая к разным ухищрениям и окружая их тайной, он взвинчивал нервы сотрудникам и особенно двенадцати администраторам, которые видели, что эта агрессия ставит под вопрос их способности, их моральный и политический авторитет и внушает им чувство собственной неполноценности и виновности. Уверенность, что агрессором является, несомненно, один из них, создавала невыносимо тяжелую атмосферу подозрительности, и хотя лица их были плохо освещены электрическими фонарями, на них можно было прочесть страх, смешанный с яростью. Тому, кто встречал их поодиночке или всех вместе неделю назад, было бы очень трудно, увидев этих странных субъектов в плаще, сапогах и с вещевым мешком в руке, шлепающих, задыхаясь, по грязи подземелья под их предприятием, узнать в них честолюбивых молодых людей, энергичных и самоуверенных, жонглирующих цифрами и кнопками пультов управления, мечтающих отправиться с чрезвычайной миссией на Ближний Восток или в Вашингтон и гордо прохаживающихся вокруг приемной Анри Сен-Раме, заложив палец за жилет. Мы молча двигались вперед, медленно, друг за другом, сплошной цепочкой, порой спотыкаясь о невидимую неровность почвы и упираясь свободной рукой в липкую стенку. Наши пальцы вскоре были измазаны какой-то отвратительной слизью, вроде зловонного и клейкого теста. Внезапно мы услышали, как Аберо произнес: «Тише!» — и остановились. Номер 5 осветил фонарем левую стенку галереи. Мы не могли столпиться, чтобы увидеть, на что он смотрит, и он передал по цепочке: на левой стороне прохода нарисованы странные фигуры и много цифр. Аберо сообщил, что эти иероглифы ему ничего не говорят, и продолжал свой путь, чтобы каждый из нас, проходя, мог в свою очередь поглядеть на надписи и рисунки. За исключением Аберо — номера 5, который возглавлял шествие,— мы шли за ним в порядке номеров. За Аберо шел Фурнье — номер 1, затем Порталь — номер 2, Самюэрю — номер 3 и т. д. У меня был номер 7. Поравнявшись с иероглифами, я тоже задержался на одну-две минуты. Я разглядел два лица и под ними цифры. Над тем, что должно было изображать грубо нацарапанные волосы, я разглядел два красных черепа. Я пошел дальше, уступив место следовавшему за мной номеру 8, Бриньону, и не интересуясь больше тем, что было позади. Вдруг до нас долетело сдержанное восклицание. Аберо остановился, а за ним и остальные. Я услышал шепот впереди, затем Вассон, шедший передо мной, обернулся ко мне и шепнул: «Кто кричал и почему? Передайте дальше». Я передал назад Шавеньяку. Ответ пришел ко мне тем же путем, и я передал его вперед Аберо.

Сообщение шло от Селиса: «Я опознал портреты и семь или восемь чисел. Это ужасно». Аберо передал назад: «Через несколько минут мы дойдем до широкого поворота перед первым крутым спуском и там сможем собраться вместе; идем дальше, там номер десять нам все объяснит». Мы повиновались. И правда, через три-четыре минуты мы стояли, тесно сгрудившись, на чем-то вроде небольшой площадки, какие встречаются на крутых поворотах дорог над ущельями. Селис подошел к номеру 5, а мы встали вокруг, сгорая от любопытства. «Потушите фонари, нам хватит тех, что горят у меня и у номера десять»,— приказал Аберо. И мы сразу погрузились в темноту, ибо Аберо и Селис освещали лишь себя и тех, кто стоял вплотную к ним. Вот что сказал Селис:

— Два портрета изображают лица основателей нашей фирмы — Билла Дольфуса Россериза и Ричарда Кеннета Митчелла, тут невозможно ошибиться — каждый из нас часто видел их портреты в кабинете Сен-Раме; я абсолютно уверен, что это они, и над головой каждого из них изображен красный череп. Внизу написана дата их рождения, но нет даты смерти, вместо нее стоит вопросительный знак; среди остальных чисел я тоже многие узнал: там цифра cash-flow прошлого года, цифра официально объявленной прибыли, а рядом цифра, известная очень немногим,— необъявленная прибыль; и еще одна — цифра стоимости экспорта за последние шесть месяцев: кроме Сен-Раме, Рустэва, финансового директора и меня, я уверен, она не известна никому, включая и вас.

Селис, видимо, потрясенный своим открытием, сказал все это очень быстро, срывающимся голосом. Нас это потрясло не меньше, чем его. После минутного молчания Аберо сказал: «Мы непременно должны по очереди вернуться назад и проверить заключения номера десять. Я иду первым». Итак, номер 5 ушел и через десять минут вернулся с задумчивым видом, перепачканный с головы до ног.

— Что с вами случилось? — спросил Лё Рантек.

— Я растянулся во весь рост в проходе, но это неважно; я разобрал только одну цифру — год рождения Билла Дольфуса Россериза, но сразу узнал портреты, разглядел вопросительные знаки и, разумеется, красные черепа. Селис прав: это доказывает, что зло исходит отсюда, из этих подземелий и катакомб, и что провокатор еще безумнее и опаснее, чем мы думали. Если хотите, идите тоже и убедитесь сами.

Я почувствовал, что компания, к которой были обращены эти слова, уже охладела. Обстановка была неблагоприятная. Углубляться одному в этот узкий проход — четыре минуты туда, две минуты на изучение иероглифов, четыре минуты обратно — значит провести примерно десять минут одному в черной липкой трубе, под двойными знаками смерти и убийственной черной магии. Совершенно ясно, что ведущие сотрудники штаба «Россериз и Митчелл-Франс» чувствовали бы себя более непринужденно на завтраке-дискуссии, организованном средствами массовой информации в честь министра сельского хозяйства, чтобы обсудить новые закупочные цены на цыплят, индеек и копченое сало. И зачем только понесло их в эту грязь, на два десятка метров под землю, под самый фундамент здания из стекла и стали! Никто не смел в этом признаться, однако я был уверен, что в глубине души большинство думало только о том, как бы сбежать, вернуться на поверхность, к привычному и успокоительному теплу зала электронно-вычислительных машин или в уютную обстановку своих директорских кабинетов. Аберо это почувствовал и, подобно офицеру, который должен бросить в атаку свою часть, произнес коротенькую ободряющую речь.

— Господа,— сказал он, немного повысив голос,— я знаю, о чем думают некоторые из вас: они спрашивают себя, что они делают в этих скользких подземных коридорах, в то время как их ждут неотложные дела, тем более сейчас, в столь трудное время. Как знать, может, в эту минуту шейхи и южноамериканские правительства собираются еще повысить цены на нефть, на медь или бокситы? Как знать, может, в эту минуту голландцы вдруг решат объявить о «плавающем» курсе флорина? Как знать, наконец, не решил ли президент Соединенных Штатов и его гениальный советник в эту самую минуту, когда я говорю с вами, отправить войска в Ливию, в Венесуэлу или, еще того хуже, вызвать падение франка? Я понимаю вас, я чувствую все это, дорогие коллеги, но поверьте, настанет день, когда нам будут благодарны за то, что мы взяли на себя часть общего бремени, приняли участие в защите истинных жизненных ценностей нашего общества, и, хотя мы делаем это сейчас без внешнего блеска, настанет день, когда наши заслуги будут высоко оценены преемниками Билла Дольфуса Россериза и Ричарда Кеннета Митчелла. Что мы делаем здесь сегодня ночью? Мы охотимся за тем, кто яростно желает смерти нашему предприятию и всему, что оно представляет. Итак, вы знаете, что прежде всего, даже раньше, чем защищать доллар, мы должны защищать «Россериз и Митчелл-Интернейшнл». К чему был бы устойчивый доллар, единое западное сообщество под протекцией Соединенных Штатов Северной Америки, если бы в мире не существовало компании «Россериз и Митчелл»? Когда через несколько дней мы решим взятую на себя задачу и представим это решение президенту Макгэнтеру в Де-Мойне, куда мы вскоре поедем, чтобы пройти великолепную стажировку за счет нашего предприятия, нас будут приветствовать, прославлять и облекут властью. Дорогие коллеги, мы должны считать, что этой ночью выполняем важную миссию; мы — ударный отряд, и это для нас тем почетней, что никто и ничто в наших семьях и школах не готовил нас к выполнению подобной задачи. Не будем же удивляться, что мы оказались здесь, окруженные символами смерти и магическими знаками, в полном мраке, облаченные в плащи, в сапогах, при свете этих жалких фонарей! К тому же если кто-то постарался начертать на стенке подземного хода портреты наших основателей и написать цифры cash-flow последнего года, значит, усилия наши не напрасны, так как автор этих гнусных надписей нас ненавидит, презирает, преследует и угрожает нам. И мы найдем его, где бы он ни был, даже если он среди нас.

Заключительные слова этого призыва усилили общее замешательство, но в целом речь Аберо разожгла ярость собравшихся, их общее раздражение и вечно терзавшую их злобную зависть. Они, вероятно, на минуту упустили из виду, что этим человеком мог быть кто-то из них. Аберо напомнил об этом ловко и злобно, выбрав подходящий момент. Тогда Фурнье, номер 1, принес себя в жертву и сказал: «Я иду. Я понял вашу мысль, номер пять, я проверю заключение номера десять по поводу этих проклятых иероглифов».

И он углубился в подземный ход. Вернулся он чрезвычайно взволнованный. Он подтвердил наблюдения Селиса и Аберо. Однако все же спросил:

— А что означают вопросительные знаки, поставленные вместо даты смерти наших основателей?

— Быть может,— начал робко Терен,— это означает, что они родились, но еще не умерли и что их призраки...

— Нет, нет! — оборвал его Аберо с некоторой нервозностью.— Это просто безумие. Враг хочет сбить нас с толку, нагнать страху, он пытается затронуть в нас самые первобытные чувства — суеверие,

склонность к разным бредням. Но недаром наука шагнула вперед, такие люди, как мы, не верят в чудодейственную силу ветки омелы, сорванной друидами, или внутренностей хищников, брюхо которых вспарывали жрецы на глазах Александра, чтобы узнать его судьбу и судьбу его армий. Мы принадлежим к людям, которые предпочитают горючее для ракет и электронно-вычислительную технику дароносицам и фетишам. Теперь у нас только математические символы; мы знаем, что такое крик совы, мы знаем все о сове больше, чем она знает сама, и пусть она сколько хочет кричит по ночам. Я думаю, что во время нашего похода мы встретим немало знаков, расставленных в виде ловушек. Я считаю,— сказал Абєро,— что мы должны продолжать нашу разведку и нашу погоню. Я пришел к двойному заключению: в этих знаках, рисунках и цифрах нет ничего таинственного, мы знаем, что они значат; их назначение — поразить наше воображение и заставить отказаться от нашего похода. Я совершенно уверен, что каждый из вас смело отправится к тому месту, и потому никому не надо доказывать свою храбрость. Я знаю, что все вы полны решимости. Однако я предлагаю не тратить час на ожидание, пока все рассмотрят эти иероглифы, на что у каждого уйдет около десяти минут. У нас есть более важные дела, а ночь коротка. Не будем же задерживаться.

Эти слова были встречены с явным облегчением. Каждый поспешил поддержать предложение заместителя директора по прогнозированию. Итак, мы двинулись вперед цепочкой друг за другом в несколько разрядившейся атмосфере. Только подозрительность осталась при нас. И я невольно желал, чтобы наша экспедиция продолжалась в темноте,— так меня страшила перспектива встретиться взглядом с моими коллегами. Если не я — обличитель, враг, то кто же мог им быть среди нас? Мы всё углублялись в такой же узкий и липкий туннель, как и первый, но только этот круто спускался в глубину.

Хотя с тех пор, как произошли эти события, получившие такую трагическую окраску, прошел огромный промежуток времени, я не могу вспоминать без улыбки этот крутой спуск в сочащемся водой туннеле — за всю ночь это была единственная минута спада напряжения. Трудность заключалась в том, что спуск становился все более и более скользким. После пяти минут осторожного продвижения нам практически пришлось спускаться на задницах. Каждый опирался на плечи идущего впереди. Только Аберо было не на кого опереться. И вскоре он уже не мог удерживаться на спуске. Мы покатились кубарем вниз, разбрызгивая грязь, и, наконец, очутились на плоской, но еще более вязкой площадке. С большим трудом удалось нам встать на ноги — так мы все переплелись, свалившись в кучу друг на друга. Многие потеряли свои фонари. Аберо не без основания решил, что их следует подобрать. Эта миссия была возложена на Лё Рантека. И мы стали свидетелями увлекательного зрелища, как один из администраторов штаба, чья голова была набита показателями пультов управления, планами финансирования и принципами функционального управления, карабкался на четвереньках по крутому туннелю, метрах в тридцати под залом с электронно-вычислительными машинами своего предприятия. Когда он поднялся на добрую треть туннеля, Аберо предложил ему размотать веревку и закрепить где-нибудь наверху, чтобы облегчить себе спуск. Лё Рантек прекрасно справился с этой задачей: он спустился благополучно, держась за веревку, и принес потерянные фонари. Тогда мы рассмотрели место, куда попали. Это оказался большой круглый зал с гладкими и блестя-

щими стенами. Туннель, по которому мы спустились, продолжался по прямой линии по другую сторону зала. Наши двенадцать фонарей хорошо освещали это подобие склепа, и теперь мы могли разглядеть друг друга. Наши платья, наши лица — все было залеплено грязью. В перемазанных, а порой и разорванных плащах, в сапогах, отяжелевших от налипшей грязи, с необычайно бледными лицами — их бледность еще подчеркивал свет фонарей — с всклокоченными волосами и вытаращенными глазами мы представляли собой довольно нелепую и жалкую группу. Наверно, мы выглядели довольно комично, но никто из нас и не думал смеяться. Аберо посмотрел на часы и сообщил:

— Сейчас час десять минут. Мы сможем действовать еще час; а потом нам придется вернуться, если мы хотим быть там, откуда вышли, к пяти часам утра.

Я почувствовал, что собравшиеся не испытывают большого энтузиазма. Тут Порталь робко спросил:

— Чего мы, собственно, здесь ищем? Какова цель нашего похода — только обследовать подземелья предприятия?

Он высказал вслух то, что большинство его коллег думало про себя. Аберо не растерялся, и, как мы увидим через несколько минут, обстоятельства очень удачно сыграли ему на руку. Он ответил:

— Мы ищем человека, который делает нас посмешищем перед всем предприятием, того, кто пытается умалить наше значение в глазах персонала, кто утверждает, что мы ни на что не годны, что мы сами захватили власть, кто восстанавливает против нас наших служащих, низших и высших административных сотрудников, заведующих отделами; я убежден, что он устроил свою главную квартиру в подземелье и что именно здесь мы его захватим; еще раз напоминаю: надо набраться терпения — ведь мы еще только знакомимся с этими местами, а он-то их знает.

Своей речью Аберо показал, как он хитер. На этот раз он не говорил о крестовом походе в защиту «Россериз и Митчелл», олицетворяющую собой тот тип компании, который следует отстаивать, но об особых и личных интересах руководящих сотрудников. Мы собирались двинуться дальше, то есть погрузиться в туннель, который служил продолжением того, из которого мы вышли, когда именно оттуда послышались звуки шагов. Наступило молчание, и интерес к экспедиции, только что весьма сомнительный, вновь оживился. Аберо прошептал: «Потушите фонари», и мы тотчас повиновались. Мы долго стояли, прислушиваясь,— не раздавалось ни звука. Потом снова послышался шум приближающихся шагов. Мы стояли тихо, с бьющимся сердцем и ждали того, кто, сам об этом не зная, приближался к нам. Теперь, когда шаги раздавались совсем близко, мне показалось, что идет не один человек. Аберо шепнул:

— Это может быть тот самый человек, которого мы ищем. Будьте готовы его захватить; стойте на своих местах; когда вы увидите его фонарь, пропустите его на середину зала и тогда окружите; главное, не дайте ему сбежать ни по нашему туннелю, ни по тому, из которого он выйдет; внимание... тихо...

Из подземного хода вышел человек с фонарем в руке и двинулся к нам. Аберо закричал:

— Вперед! Перекройте оба входа! Окружайте его!

Мы бросились вперед. Тогда человек принялся вопить:

— Ко мне! Ко мне! Помогите!

Выскочило еще несколько человек, и началась потасовка.

— Я держу его! Я держу его! — закричал Бриньон.

— Пусти, идиот! Ты меня задушишь, я — Вассон!

— Нет, ты не Вассон! Посветите мне кто-нибудь!

Я направил фонарь в сторону Бриньона и действительно узнал Вассона, которого тот схватил за горло.

— Это Вассон! — закричал я.— Отпустите его!

Бриньон, чрезвычайно взволнованный и не менее смущенный, извинился и подобрал свой фонарь. Тем временем во всех концах зала продолжались схватки. Вдруг мы услышали голос Мастерфайса:

— Господа, это недоразумение! Остановитесь, прошу вас, здесь нет обличителя!

И шум мгновенно стих. Фонари снова зажглись, и мы вскоре смогли оценить ситуацию. В зале собрались: Мастерфайс, Ронсон, Сен-Раме, Рустэв, Кинг Востер, французский детектив и двенадцать администраторов фирмы «Россериз и Митчелл-Франс». Тут начались объяснения. Я не удивился, услышав от Сен-Раме, что, будучи в курсе намеченного его сотрудниками похода, он тоже решил спуститься в подземелье. Те же соображения привели сюда американцев и Кинга Востера. Рустэв и французский детектив решили пойти туда же вдвоем. Итак, причины присутствия всех этих людей в подземелье предприятия были ясны. Однако гораздо менее понятна была несогласованность действий. Если я правильно понял, Сен-Раме спустился сюда один. Затем американцы и Кинг Востер тоже пришли по собственному почину; и, наконец, Рустэв и французский детектив задумали собственную экспедицию. Теперь каждому пришлось объяснять, как он попал в этот зал. Вот к чему свелись эти объяснения: Рустэв и французский детектив сдвинули каменную плиту, но не ту, что мы, затем спустились по узенькому проходу, который вывел их в галерею ниже круглого зала. Американцы проделали отверстие под залом отдыха, что привело их прямо в круто спускающийся туннель, по которому мы скользили вниз. Потом они пересекли зал и пошли по продолжению этого туннеля, но, услышав голоса (наши голоса), повернули назад. Сен-Раме сказал:

— А я вошел через кладбище.

— Через кладбище? — повторил Аберо.

— Да, мне пришло в голову, что в подземелья предприятия можно проникнуть через новый монументальный склеп из черного и зеленого мрамора.

— Как вам пришла в голову эта идея, мосье? — спросил Лё Рантек удивленным и почтительным голосом.

«Иерархия снова вступает в свои права,— подумал я,— это естественно, и хорошо, что это происходит при посредничестве такого прекрасного технократа и псевдоэкономиста, как Лё Рантек».

— Видите ли,— ответил Сен-Раме так просто, словно он находился у себя в кабинете на еженедельном совещании,— должен сказать, что в этих свитках, которые трижды раздавались нашему персоналу, мне запомнилась одна деталь: черно-зеленая лента. Когда на днях я прогуливался по аллее кладбища Пер-Лашез, я вдруг остановился перед монументальным склепом, и тут в мозгу у меня как будто что-то щелкнуло, и я сопоставил цвет мрамора с цветом ленты; обратив на это внимание, я отметил, как близко эта могила находится по прямой от нашего предприятия; тут мне пришла в голову гипотеза, что какой-нибудь зложелатель фирмы «Россериз и Митчелл-Франс» мог воспользоваться этим склепом, чтобы проникнуть в ее подземелья, хотя я не знал, лежат ли в склепе покойники или нет, и никогда не изучал топографии подземелий. Это была пока просто догадка. Но я произвел кое-какую проверку: во-первых, выяснил в Парижском муниципалитете, что ни один усопший не сошел еще в эту могилу; во-вторых, через одного знакомого из министерства внутренних дел я достал карту подземелий, над которыми высится наше здание из стекла

и стали; по карте я заключил, что проникнуть через склеп в подземелье под нами проще простого, надо только пробить дыру в его цементном полу. Я предполагал — и не скрою, получил на этот счет разными путями кое-какую информацию,— что все, кто жаждет защитить наше предприятие и разоблачить его коварного врага, попытаются этой ночью изучить подземные ходы и скрытые помещения. Это побудило меня попытаться проникнуть туда же через склеп, и я был уверен, что встречу здесь большинство из вас. Так как же, нашли вы что-нибудь интересное?

— Значит, нам пришла в голову та же идея, что и вам! — воскликнул Иритьери.— Нас тоже или, вернее, Тьери поразило совпадение цветов склепа и лент.

— Меня не удивляет проницательность Аберо,— произнес многозначительно Сен-Раме.

— Мы еще не нашли ничего особо важного,— сказал Аберо в ответ на вопрос генерального директора,— но я надеюсь, что за этим дело не станет.

Пока все обменивались мнениями, я подумал о том, что Сен-Раме и на этот раз употребляет странные выражения вроде: «я выяснил, что ни один усопший не сошел еще в эту могилу», или: «над которыми высится наше здание из стекла и стали»; это напомнило мне о странной напыщенности его языка, что я замечал и раньше. Думал я также и о многозначительном тоне Аберо. Мне понемногу становилось холодно, и, хотя я был тепло одет, я чувствовал, что меня пронизывает сырость. Поэтому я с понятным облегчением услышал, как Аберо предложил по-американски:

— Господин президент, если вы ничего не имеете против, я думаю, что теперь нам пора подниматься наверх; мы протянули веревку, что облегчит подъем по скользкой поверхности. Если позволите, я стану позади вас на случай, если вам понадобится помощь.

— А я впереди вас, если вы разрешите! — воскликнул Лё Рантек.— Я хорошо знаю дорогу — ведь это я тянул веревку.

Экспедиция закончилась. Руководящие кадры вновь обрели свои рефлексы, законы предприятия действовали вновь.

— Очень хорошо, господа, я принимаю ваши предложения,— сказал Мастерфайс.— Несмотря на мой возраст и довольно бурно проведенную жизнь — правда, Берни? ха-ха-ха! — я надеюсь, что все же справлюсь с этой задачей. Скажи-ка им, Берни, нужно ли было меня подталкивать или вытаскивать лет пять тому назад в индейском квартале Асунсьона! Ха-ха-ха! Помнишь, Берни?

Ронсон не откликался. Обычно, хотя он был весьма немногословен, он тотчас отзывался на обращения Мастерфайса.

— Эй, Берни? Где ты? Черт возьми, куда ты пропал?

И тут мы услышали глухой, замогильный, слегка охрипший голос, он раздавался из глубины круглого зала с гладкими и блестящими стенами:

— Да, Адамс, я здесь и помню Асунсьон, но представь себе, я нашел очень странную вещь.

Все фонари сразу потянулись по направлению к представителю Де-Мойна в Париже. Он стоял широко расставив ноги, крепко упершись в вязкую почву, в позе сержанта морской пехоты: фантастический силуэт, выступающий из темноты в тусклом свете фонарей, которые руководящие кадры, их начальники и сыщики с легкой дрожью протягивали к нему.

— Что ты нашел, Берни? — спросил Мастерфайс, слегка заикаясь.

— Вот что,— ответил Ронсон сухо и развернул длинный, слегка испачканный грязью лист перед смахивающей на призраки, окаменевшей аудиторией. Эта сцена и все, что за ней последовало, произвели на меня одно из самых ярких впечатлений. Мы не успели сделать и шагу, ни даже шевельнуться, как один из сотрудников воскликнул охрипшим голосом:

— Восковка!

Это был Аберо. Да, Аберо, которому даже на таком расстоянии и при слабом освещении удалось опознать найденный лист. Я лично думаю, он скорее догадался, чем разглядел его,— так твердо он был убежден, что разгадка скрывается здесь, на глубине тридцати метров под зданием из стекла и стали. Аберо знал, что он ищет, и потому, вполне естественно, ожидал это найти. Перед нами действительно была восковка, то есть бумага, позволяющая бессчетное число раз воспроизводить написанный на ней текст. Мастерфайс подошел к Ронсону, и мы столпились вокруг них.

— Это написано по-французски,— сказал вице-президент,— кто нам переведет?

Я стоял тут же позади него. Взяв восковку у него из рук, я осветил ее фонариком и прочитал то, что стало бы четвертым обличением, если бы мы случайно не нашли оригинала. Вот что я увидел и что прочел вслух по-американски той ночью, в большом круглом зале с гладкими и блестящими стенами.

ЧТО ЗНАЮТ ТЕ, КТО УПРАВЛЯЕТ ФИРМОЙ «РОССЕРИЗ И МИТЧЕЛЛ»?

Они знают, что единственно стоящая деятельность — это зарабатывать деньги. Они знают, что это главное, а все остальное, как они говорят,— литература. Они знают, что власть мирская важнее власти духовной. Они любят писателей, художников и музыкантов, которые уже умерли, а не тех, кто живет и работает в одно время с ними. Они боятся бога лишь в младенчестве или перед самой смертью. Они знают, что отношения между отдельными людьми и между народами основываются только на силе и богатстве. Они знают, что в этом низменном мире хороший банкир полезнее, чем хороший духовник или любящая женщина. Они знают, что человек и земля были созданы, чтобы властвовать над миром, и что под солнцем нет ничего ценнее богатой залежи медной руды, крупного месторождения нефти или громадного стада рогатого длинношерстного скота. Они знают, что люди не рождаются равными, что все это лишь досужие вымыслы, а если народы записывают их в конституции, то просто-напросто потому, что это немного успокаивает умы и облегчает социальные отношения. Они знают, что то же самое можно сказать и о тех, кто говорит, что верит в бога. Они знают, что все продается и все покупается. Итак, они покупают значительное количество политических деятелей и церковнослужителей, которых они затем перепродают с солидной прибылью. Они знают, что у каждого — лишь одна жизнь и только это имеет значение, а все преступления человека в конце концов либо забываются, теряясь во тьме времен, либо прощаются Историей. Кто может в наши дни осуждать богатого плантатора с Миссури за то, что он всю жизнь насиловал негритянок и закапывал в землю живьем их мужей-рабов? Где этот плантатор — в аду? А где же ад? Факт остается фактом: он прожил до глубокой старости, богатый, грозный, имел много детей и внуков и ни на кого из них не обрушилась божья кара, они преумножили земли своего предка и в свою очередь народили потомков. Кто в наши дни поносит судью

Сьюэлла, который жестоко и бессмысленно осудил «салемских колдуний»[1]*? Те, кто управляет фирмой «Россериз и Митчелл», всё это знают, они хорошо усвоили урок. Они знают также, что они — граждане самого мощного государства, какое видел мир. Они знают, что их военачальники командуют многими армиями, способными образумить любую страну мира, в том числе и восточную. Они знают, что так называемый «патриотизм» или «достоинство» народа ровно ничего не значат. Они знают, что все народы безвольны, думают только о своей выгоде, восхищаются богатством и щедростью Североамериканских Соединенных Штатов, мудростью, честностью и прозорливостью их руководителей и особенно их гениями, теми, кто, не имея ничего за душой, создали себе империи, целые империи; теми, кто начал с продажи резиновых сандалий, а кончил тем, что стал во главе многочисленных мощных фабрик, обрабатывающих козьи шкуры, тюленьи кожи и выпускающих шоколадные бисквиты. Вот они, великие примеры для всего человечества, это для них бог создал каучуковые деревья. Те, кто управляет фирмой «Россериз и Митчелл», знают, как превратить банку корнишонов во множество банок корнишонов, затем — во множество коробок бисквитов, потом — в гору бутылок скипидара, а потом — в недвижимое имущество, в чугунные трубы и холодильники. А дальше они знают, как строить суда, которые вмещают в своих трюмах тысячи всевозможных коробок и тонны горючего, как выгружать все эти коробки и это горючее на набережных далеких стран, откуда суда возвращаются, нагруженные коврами, кокосовыми орехами, корицей и кофе; и затем они покупают, продают и снова покупают, занимают и дают взаймы. Действуя таким образом, они указывают нам истинный смысл жизни и потому достойны управлять миром. Они знают, что поэмы пишут безумцы для безумцев, сонаты и концерты существуют для людей легкомысленных, а молитвы читают люди слабые для слабых людей. Они знают, что идеологии не имеют никакого веса в отношениях между государствами или человеческими сообществами и что в конечном итоге любой примиряется с любым при виде мешка, набитого золотом. Они знают, что один доллар или рубль должен всегда приносить два доллара или два рубля и что добиться этого результата можно лишь с помощью хитрости, цинизма и корыстного воображения. Сегодня они знают, как лучше использовать научные открытия, чтобы увеличить производство денег еще до увеличения производства товаров. Они могут так же удачно купить предприятие по прокату автомобилей в США, как рыбоконсервный завод в Голландии или фабрику томатного сока во Франции. Они знают, что самое важное — все покупать, все иметь, всем управлять, а не тратить финансовую, индустриальную и коммерческую мощь на нужды народов. Они знают, что изготовлять стулья или автомобили не так уж необходимо и это не имеет первостепенной важности, что самое основное — сумма прибылей, которую в конце года принесет производство. В наши дни правители «Россериз и Митчелл» знают даже, как сбросить правительство, провалить международную конференцию, подорвать курс валюты, развязать войну и прекратить ее в выгодный для своих интересов момент. Итак, как видите, они очень много чего знают. И легко себе представить, что им нужно обладать громадными интеллектуальными и моральными качествами, чтобы выполнять такие трудные задачи. К счастью, они ими обладают. Поэтому помолимся богу, чтобы наша компания выиграла экономическую войну*

[1] Имеется в виду преследование колдунов и кудесников в конце XVII века в г. Салеме, штат Массачусетс. Судья Сьюэлл был председателем суда, разбиравшего сотни дел против людей, подозреваемых в колдовстве.

во имя великого счастья всего человечества, и попросим его сохранить в добром здравии руководителей, которые неустанно следят за нашим ростом и расширением. Слегка приоткрыв то, что они знают и какое несут бремя, я стремился лишь вызвать к ним еще большее уважение.

Едва я успел дочитать вслух по-американски этот текст, как оба детектива отделились от нашей группы и молча стали один у входа в туннель №1, а другой у входа в туннель № 2. Таким образом, оба выхода из зала были под охраной, и никто из нас не мог сбежать. Ибо теперь не оставалось сомнений, что восковка выпала из кармана одного из присутствующих в зале с гладкими и блестящими стенами. Преступник, обличитель был здесь, среди нас. Никто не произносил ни слова. Хотя мы сотни раз повторяли, что провокатор, несомненно, человек, занимающий высокий пост в нашей фирме и имеющий доступ к важнейшим делам предприятия, однако в глубине души никто по-настоящему не верил, что это один из нас. Но теперь нам пришлось столкнуться с очевидностью и признать неприглядную правду: кто-то из присутствующих рассчитывал вызвать сначала смятение, потом страх, ужас и даже бедствия на фирме «Россериз и Митчелл-Франс». Кто? И почему? Все сотрудники, собравшиеся той ночью в подземных ходах, получали очень крупные оклады и наслаждались высоким уровнем жизни. Жилища их были комфортабельны, жены и дети выхолены и находились под наблюдением лучших врачей, каких в ту эпоху выпускали медицинские факультеты на Западе и в Японии. Зимой и летом они пользовались чаще, чем большинство служащих, прелестями горного спорта, катаньем на моторных или парусных лодках, а их дети вволю ели мороженое и пирожные. Кроме того, никто из них, насколько я знал, не был революционно настроен, кроме, может быть, Лё Рантека, который состоял в партии революционных социалистов. Однако в ходе этого рассказа я уже имел случай говорить о таких богатых технократах, слывущих левыми, но на деле ставших радостью и гордостью маршалов и банкиров, которые были счастливы держать при себе и на свой счет (лишь бы не у смертного одра) этих левых представителей функционального управления. Поэтому мне казалось неправдоподобным, чтобы у сотрудника штаба Лё Рантека, более или менее причастного к партии революционных социалистов, хватило смелости и тонкости ума так обманывать своих коллег и готовить такой крупный политический ход против главного штаба транснациональной компании и ее французских руководителей. Кроме того, если начальники мощных компаний того времени и теоретики управления, преподававшие в университетах, овладели некоторыми методами управления предприятиями, то они потерпели чудовищный провал в области психологии командования и внутренней политики. Жалкое зрелище, которое представляли собой эти господа в маскарадных костюмах, грязные, дрожащие, собравшиеся в подобии склепа, подозрительные, обозленные и неспособные действовать, свидетельствовало о крахе человеческих отношений, которые они якобы установили между собой. Не следует забывать, что они были весьма типичными представителями менеджеров и высших руководящих сотрудников того времени. На этом этапе нашего рассказа, приблизительно в тот момент, когда он превращается в настоящую трагедию, было бы уместно спросить себя, почему эти люди зашли в тупик, то есть дошли до такого жалкого физического и умственного состояния и оказались в совершенно смехотворном положении. По правде говоря, разве события, случившиеся на предприятии, были

объективно так уж серьезны? Тогда почему же они вызвали такую панику и нервозность, что люди рассудительные и, каковы бы ни были их недостатки, ответственные за свои поступки спустились на 30 метров под землю и попали в невообразимый тупик? Разумеется, в перечне всех бедствий не следует упускать и появление трещины в одной из опорных стен здания с восточной стороны. Но, помимо совпадения во времени, ничто не доказывало, что эта трещина связана с обличениями и с нелепыми похоронами Арангрюда. Зато эти события доказывали, что нервы директоров и руководящих кадров мировых предприятий были в ту пору менее устойчивы, чем их cash-flow. Вот в чем заключалось объяснение. Несомненно, после этих событий, как бы мало они ни были известны широкой публике, руководство компаний подобного типа должно претерпеть значительные изменения и им будет недостаточно нанять одного жалкого психосоциолога, как говорили в то время, чтобы избавиться от целого ряда проблем и считать их решенными. И, стараясь унять дрожь, пробегавшую у меня по спине, я обдумывал нечто вроде эпитафии, способной поведать будущим поколениям историю, которую я теперь переживал: «Здесь возвышалось здание из стекла и стали компании «Россериз и Митчелл-Франс». В его стенах дальновидные и компетентные люди успешно организовали функциональное управление. Здесь умело применяли теорию «staff and line» и интегрированного управления. Здесь был получен как-то один из лучших в мире cash-flow. Итак, здесь жили в полном довольстве настойчивые, могущественные, всем удовлетворенные и, главное, гуманные руководители. Однажды они исчезли в глубинах земли, и никто их больше никогда не видел. Мир их рассудку».

Пусть читатель не волнуется: этой ночью нам удалось выбраться на поверхность.

Но прежде нам следует вернуться к этим несчастным сотрудникам, на то место, где мы их оставили, то есть в подземную пещеру, где все они, кроме Аберо, стояли убитые перед очевидностью: один из них потерял восковку четвертого обличения, которое он собирался напечатать, а затем распространить. Этот текст был, по-видимому, последним. В нем не затрагивались конкретные вопросы, но развивалась лишь одна тема: деньги. Нажива. По существу грабеж и безбожие. Обличитель уже не изощрялся в остроумии. Он напоминал затравленного человека, который спешит высказать напоследок все свои обвинения. Небольшое расследование было проведено тут же на месте. Когда я закончил чтение, никто не решался заговорить. Мастерфайсу пришлось взять это на себя. Я мысленно признал, что Макгэнтер был прав: вице-президент не принадлежал к числу людей, умеющих выходить из трудных положений. Он боялся посмотреть в лицо печальной действительности: в штабе работал предатель. Он сказал без всякого выражения:

— Мы не можем этого так оставить. Если кто-то из вас принес этот листок в кармане, то лучше всего ему признаться, чтобы снять ужасное подозрение, гнетущее всех нас. Сможем ли мы сегодня утром сидеть в своих креслах и принимать разумные решения, чтобы увеличить нашу способность самофинансироваться, если мы не освободимся от этого гнета? Пусть тот, кто написал, свернул, перевязал, распространил и подражал, поднимет свой фонарь и потом опустит его под подбородок, чтобы осветить свое лицо. Если он признается, ему будет многое прощено. В частности, мы с Берни постараемся убедить нашего дорогого гениального президента Макгэнтера не ог-

лашать имя виновного, чтобы оно осталось тайной штаба и его никогда не узнали административные сотрудники и рядовые служащие. Я уверен, что Ральф нас послушается. Разве мы не лучшие и самые давние его компаньоны, правда, Берни?

— Да,— подтвердил Берни,— мы лучшие и самые давние компаньоны нашего дорогого Ральфа.

Слушая слова Мастерфайса, я вспомнил речь, которую сам обдумывал в день большого информационного собрания в подвальном конференц-зале. Я придумал тогда речь в том же стиле: пусть тот, кто написал, свернул, перевязал, распространял и подражал, встанет, да, пусть он встанет, и мы похвалим его и даже вознаградим! Ни один фонарь не поднялся в ответ на призыв международного вице-президента, и ни одно лицо не было освещено. Тогда Ронсон в порыве раздражения заявил:

— Вице-президент прав в одном отношении. Прежде чем мы поднимемся наверх, мы должны воспользоваться тем, что нашли вещественное доказательство, и обыскать карманы каждого. Поднимите ваши фонари и держите их двумя руками!

Мы повиновались. Сцена получилась фантастическая. Восемнадцать фонарей сразу поднялись вверх, так как Ронсон тоже поднял свой.

— А теперь, Востер,— продолжал он,— приступайте к обыску и забирайте каждую бумажку и каждый предмет, который покажется вам подозрительным; можете взять себе в помощь вашего французского коллегу; начинайте с вице-президента, затем обыщите меня, Анри, Рустэва, а дальше — кого хотите.

Значит, иерархия была соблюдена. Оба детектива тщательно обследовали наши карманы, мешки, прощупали нашу одежду и ничего не нашли. Поневоле приходилось возвращаться, ни на йоту не разрядив атмосферы и не ослабив подозрительности. Аберо и Лё Рантек, не жалея усилий, втащили Мастерфайса вверх по крутому, скользкому спуску. Вся группа прошла, не произнося ни слова, мимо портретов и цифр, начертанных на стене. Около 5 часов утра, грязные, мокрые, растерянные, мы собрались возле зала с аудиовизуальной аппаратурой. Каждый думал только об одном: скорее вернуться домой, принять ванну, поспать хоть несколько часов. Но Ронсон рассудил иначе. Резко прозвучал его голос:

— Извините, что задерживаю вас, но я считаю необходимым всем немедленно собраться и по горячим следам обсудить события этой ночи. Идемте в зал с аудиовизуальной аппаратурой, в нем очень тепло — это уже большое преимущество.

— Хорошая мысль, именно это я и хотел предложить,— сказал Мастерфайс, становившийся все более бесцветным и незначительным.

Мы вошли в этот зал. Мастерфайс занял место председателя, справа от него сел Сен-Раме, слева — Ронсон. Собрание еще не началось, как вдруг кто-то постучал в дверь. Все вздрогнули, в том числе и Ронсон, что ясно говорило о том, как взвинчены наши нервы. И правда, вот уже несколько часов мы как бы оторвались от реальной жизни и были очень растеряны.

— Войдите,— сказал Ронсон.

Дверь отворилась, за ней стоял ночной сторож.

— Простите,— пробормотал он ошеломленный, увидев нас всех и в таком странном облачении,— я услышал здесь шум и пришел посмотреть... Но как вы сюда попали? — вдруг быстро спросил он.

— Не задавайте пока вопросов, дорогой мой,— любезно ответил Ронсон,— вы хорошо сделали, что пришли, это доказывает, что вы хорошо выполняете вашу работу; вам это зачтется... Но смотрите,—

добавил он строго,— ни в коем случае не говорите никому о том, что видели накануне вечером; о каждом, кто будет вас спрашивать, немедленно сообщайте мне или одному из директоров предприятия. Можете идти к себе. Спасибо и до свиданья.

— А вы... вы не хотите выпить немного кофе? — спросил нерешительно добрый малый, который, как видно, еще не пришел в себя.

— Хм... кофе...— Ронсон ответил не сразу. Чашечка кофе была бы всем очень полезна. Но Ронсон решил воспользоваться нашей усталостью и дождаться, чтобы кто-то из нас допустил какой-нибудь промах. Во всяком случае, я так истолковал его ответ.— Спасибо, друг мой, кофе мы будем пить позже.

Никто не возразил, и сторож ушел, в последний раз обежав испуганным взглядом всю компанию, как если бы сам дьявол собрал один из своих отрядов в зале с аудиовизуальной аппаратурой фирмы «Россериз и Митчелл-Франс». И фантастическое собрание началось. В жарком помещении наша мокрая и грязная одежда начала вскоре дымиться. Беловатый пар поднимался понемногу к потолку. Я старался слушать внимательно, так как чувствовал, что переживаю такие минуты, какие могут выпасть на долю очень небольшого числа администраторов и еще меньшего числа директоров по «человеческим отношениям». Сквозь белые облачка пара, которые тянулись вверх то тут, то там, я видел, что только три человека сохраняли спокойствие и ясность ума: Ронсон, Сен-Раме и Тьери Аберо. Взгляды их были оживлены и часто скрещивались, словно клинки рапир. Ронсон порой настойчиво и пристально смотрел на меня. Я объяснял его интерес ко мне тем, что он единственный в этом зале знал о моей вчерашней встрече с международным президентом, великим хозяином фирмы. Сказал ли ему Макгэнтер, что считает меня обличителем, а я довольно вяло отрицал свою вину и что со мной надо обращаться осторожно? Нет, я этого не думал. В таком случае ледяной тон и злобность представителя Де-Мойна были бы неоправданны. Берни Ронсон заявил:

— С согласия вице-президента Мастерфайса и Анри я должен сказать вам следующее: во-первых, меня против моей воли втянули в эту дурацкую авантюру. За тридцать лет моей работы в компании «Россериз и Митчелл-Интернейшнл» мне пришлось жить чуть ли не во всех странах мира, выполнять всевозможные миссии, действовать при сложных и неожиданных, а порой и опасных обстоятельствах, но ни разу мне не приходилось вести такого собрания, как это,— господа, посмотрите на себя, посмотрите на всех нас! Неужели это французские ответственные сотрудники и руководители самой мощной компании в мире? Кто узнает в этих жалких, покрытых грязью призраках, окутанных зловонными парами, высокопоставленных деятелей, выращенных нашим обществом и университетами, на которых наша компания истратила солидные суммы, сотни тысяч долларов, чтобы обучить их нашим законам, нашим правилам, условиям, необходимым для хорошего cash-flow, технике ускоренной амортизации, перемещению капиталов, современным международным правилам казначейства и налоговзыскания. В чем причина того, что приходится назвать упадком, поразительной деградацией этих людей? Землетрясение? Бомбардировка? Война? Революция? Ничуть не бывало! Для этого нет причин. Я вижу лишь один рефлекс или серию рефлексов, подавленных из-за неспособности к действию, чудовищную ошибку суждения, вызвавшего панику. В конце концов, ну что нам за дело, если какой-то идиот — простак или фантазер — напечатал и распространил листовки, в которых издевается над руководителями нашей компании и водит за нос административных сотрудников и

служащих, подражая голосу генерального директора? Рано или поздно мы бы его поймали. Зачем надо было принимать все это всерьез и поднимать такую шумиху вокруг самого заурядного дела? Кто тот или те злые гении, которые так пагубно повлияли на элиту нашего французского филиала? А может, вы случайно упустили из виду, что сейчас, когда я говорю с вами, арабские шейхи собираются безрассудно повысить цены на нефть; что, действуя таким образом, они даже превзойдут те, о которых мы договорились, и что их примеру скоро последуют страны — производители другого сырья? Может, вы не знаете, что курс доллара поднимается и что в скором времени он вновь обретет свою силу, благодаря умению нашего Государственного департамента маневрировать? Знаете ли вы хотя бы, какую выдающуюся роль такая компания, как наша, сыграла в этой операции? Неужели вы безразличны, заскорузлые сотрудники штаба, к сенсационному восстановлению экономики Северной Америки, перед которой открывается новая эра господства и охраны народов всей земли от врагов свободы человека, то есть от них же самих? Неужто вы не сознаете, что вследствие этих событий слава гигантских американских транснациональных компаний засияет с новой силой и те, кто по недомыслию и дерзости посмеют восставать, нападать или презирать эти компании, должны будут принести публичное покаяние? Да, господа, судя по вашему поведению, вы недостойны быть элитой какого бы то ни было предприятия, вы представляете собой нечто совсем иное; вам платят высокие оклады не только за то, что вы делаете, но и за то, чтобы вы служили честно и преданно духу фирмы «Россериз и Митчелл», всем надеждам «Россериз и Митчелл», словом — высокой, благородной, альтруистической вселенской политике «Россериз и Митчелл-Интернейшнл»! По этому поводу я хочу вам сказать следующее: вы, конечно, заметили внизу, в узком, сочащемся водой проходе начертанные провокатором портреты основателей нашей фирмы Билла Дольфуса Россериза и Ричарда Кеннета Митчелла и, наверно, задавали себе вопрос, почему вместо даты их смерти там стоят вопросительные знаки. Так вот, этот обличитель, как вы его называете, был прав: они не умерли, они живы и будут жить вечно! — И, выкрикнув эти слова, Ронсон с размаху ударил кулаком по столу.— Да, они будут жить и после вас, и дело их будет продолжаться! Этот обличитель подал мне идею, которую я сегодня же вечером выскажу президенту Макгэнтеру по случаю его приезда во Францию: повесить в залах всех наших фирм во всем мире портреты наших основателей, под ними даты их рождения, а на месте даты смерти поставить вопросительные знаки! Теперь же, господа, последнее указание: это второстепенное дело перестает быть незначительным, если оно грозит скомпрометировать достоинство и сплоченность руководящей верхушки французской фирмы. Теперь наша главнейшая задача не только разоблачить предателя — необходимо также подвергнуть его суровому наказанию. После того как он будет схвачен, он предстанет перед дисциплинарным советом, перед Верховным судом предприятия, состоящим из всех присутствующих, к которым мы присоединим финансового директора. Виновный, следует напомнить, находится здесь, среди нас, он меня слушает, он хочет вывернуться, но верьте мне, господа, он уже дрожит от страха! Ибо суд предприятия будет грозным, безжалостным, поучительным! А если мои слова коробят кого-нибудь из вас, пусть он скажет об этом тут же — и немедленно! — закричал Ронсон, внезапно выйдя из себя и бешено колотя кулаком по столу перед ошарашенной и на этот раз вполне проснувшейся аудиторией. Никогда мы не видели, чтобы этот сдержанный, проницательный, хорошо владевший собою человек до

такой степени вышел из себя. Даже Мастерфайс, Сен-Раме и Рустэв, казалось, не верили своим ушам и глядели на него ошеломленные. Я бросил быстрый взгляд на некоторых из моих коллег и убедился, что в эту минуту они разделяли ужасные опасения, леденившие мне кровь. Ронсон нас пугал. Мы уже не были на предприятии, достигшем вершины западной и всемирной экономики, несмотря на все его недостатки — эгоизм и вероломство его политики, цинизм теорий и правил. Теперь мы были в другом месте. Да, в другом месте. Человек, который стоял перед нами, брызгая слюной от бешенства, с налитыми кровью глазами и неистово стучал кулаком, как бы отрубая почти каждую фразу, вызывал у меня зловещие воспоминания. Итак, он хотел судить виновного. Судить! Картины этой ночи до сих пор сжимают мне сердце.

— Да! — кричал он.— Я первый раз говорю с вами о Суде предприятия, вас, конечно, учили глупостям, будто существуют только два законных верховных суда: суд божий и суд человеческий — государственный, с его гражданским и военным трибуналами! Однако скоро,— хихикнул Ронсон,— вы дождетесь третьего суда, Суда всемирного предприятия! И запомните: в тот день, когда земля превратится в единое громадное предприятие, миром будет править лишь один-единственный суд — наш Суд! Суд наших сестер — транснациональных компаний, объединившихся с нами! Суд «Россериз и Митчелл»! К чему был бы приговорен наш подсудимый обыкновенным судом? Ни к чему. Он рисковал бы лишь тем, что его могут уволить, да нам еще пришлось бы заплатить ему выходное пособие! И вы называете это правосудием? Нет, вы сами вынесете ему приговор, а мы будем председательствовать в вашем уважаемом трибунале. Я не стану предлагать виновному назвать себя. Напротив, я очень советую ему спрятаться получше, не дать себя захватить, ибо заранее жалею его! Мы будем судить его на месте преступления под землей, в том подобии склепа, где бог повелел ему потерять восковку с его грязным обличением.

Ронсон вытянул палец в сторону своих слушателей и сказал с угрозой:

— Прячься, подонок, прячься получше, все равно мы тебя найдем — и гораздо скорее, чем ты думаешь! Лучше всего было бы сегодня, в честь приезда великого Ральфа! Ах, если бы я мог преподнести ему этот прекрасный подарок! Но я не теряю надежды достичь своей цели! Господа, это все, что я хотел вам сказать. Я не открываю никакой дискуссии. Приближается час, когда двери предприятия распахнутся, и мы все заинтересованы в том, чтобы служащие, низшие и высшие кадры, не увидели нас в таком виде, особенно вас в этих дурацких плащах, с бантами, как у каких-то кумушек, и номерами, как у странствующих акробатов. Ступайте, господа, до свидания.

Мы не заставили себя просить. Потрясенные его ужасной речью, мы расстались, не обменявшись ни словом, на улице Оберкампф, под недоуменными взглядами первых пассажиров метро. Выходя за дверь, я услышал, как Ронсон сказал Мастерфайсу:

— Ты просто дурак.

Я окликнул такси и дал шоферу свой адрес.

— Вы больны, мосье? — спросил он.

— Нет, просто немного устал.

— Вы попали в автомобильную катастрофу?

— Нет,— ответил я,— просто в катастрофу.

Я закрыл глаза; меня, должно быть, немного лихорадило.

XXII

Сиделка, которой меня поручили, та, что постоянно сидит у моей постели, наклоняется и смотрит на меня с озабоченным видом.

— Разве я болен?

— Нет,— тихо отвечает она,— вы не больны, просто немного устали, но периоды, когда вы приходите в норму, становятся все чаще и длительней.

— Я попал в автомобильную катастрофу?

— Нет,— говорит она нерешительно,— просто в катастрофу.

Я закрываю глаза; меня, должно быть, немного лихорадит.

В то утро, несмотря на предыдущие бессонные ночи, я почувствовал, что должен отправиться на работу более или менее вовремя, а не восстанавливать силы и спать до полудня. И хорошо сделал, ибо, заворачивая на бульвар Вольтера, я наткнулся на полицейскую заставу, которая отводила в сторону уличное движение. Часть улицы Оберкампф между бульваром Вольтера и нашим зданием из стекла и стали была черна от народа. Я очень быстро разглядел, что люди, толпившиеся на улице, все были служащими нашего предприятия.

— Что здесь происходит? — спросил я у полицейского.

— Точно не знаю,— ответил он,— кажется, боятся, что здание из стекла и стали, которое высится там, на углу авеню Республики и улицы Оберкампф, может обрушиться.

При других обстоятельствах я, несомненно, обратил бы внимание на его язык и стиль, неслыханный для полицейского, однако новость, которую он мне сообщил, была столь значительна, что поглотила меня целиком.

— Я директор по «человеческим отношениям» на этом предприятии,— сказал я, показывая ему свое служебное удостоверение,— и несу ответственность за его безопасность. Я должен пройти.

— Ладно,— сказал полицейский,— проходите и желаю удачи!

Через несколько минут я уже смешался с сотрудниками и сотрудницами, которые на этот раз не были довольны и веселы, а, напротив, казались весьма озабоченными. Когда я подошел ближе к зданию, я увидел вторую цепь полицейских, сдерживавших толпу в десятке метров от главного входа. В открытую дверь беспрерывно входили и выходили пожарные. Штаб «Россериз и Митчелл-Франс» был в полном составе. На лицах проступали следы бессонницы и усталости после безумной экспедиции. Я подошел к Сен-Раме и спросил:

— Что же тут произошло с тех пор, как мы на рассвете покинули предприятие?

Генеральный директор сделал гримасу — я прежде не замечал у него такого выражения лица при столкновении с серьезными затруднениями, а сейчас на лице его как бы смешались ирония и фатализм.

— А произошло то, что в девять часов пятнадцать минут Рустэв потерял голову, обнаружив, что не только первая трещина значительно разошлась, но появилось и много других, почти на всех опорах фундамента.

— Однако я не понимаю, почему эксперты, с которыми консультируется Рустэв, не могут определить причин этого явления?

— Видите ли,— пояснил Сен-Раме,— не всегда легко понять, отчего происходят трещины в зданиях; некоторые вполне обычны и потому никого не тревожат; архитекторы привыкли наблюдать появление трещин, и часто проходит много времени, прежде чем удастся определить их причины. Но положение усложнилось потому,— добавил Сен-Раме,— что сторож, видевший нас этой ночью, не дер жал

язык за зубами, и большинство сотрудников теперь в курсе нашей ночной экспедиции... Право, не знаю, как это все теперь обернется,— закончил генеральный директор задумчиво.

— А что делают все эти пожарные?

— Они проверяют с помощью экспертов Парижского муниципалитета и наших архитекторов, жизнеспособно ли здание, несмотря на все эти трещины.

Персонал волновался. Кругом только и было разговоров что об экспедиции ответственных работников и руководителей, спустившихся ночью в подземелье. Вот когда я понял гениальность хода, сделанного обличителем. Действительно, его поступки привели предприятие на край гибели. Мысленно возвращаясь назад, я разобрал коварный механизм его действий. Этот человек избегал проторенных путей. Он отбросил из своих планов обычные методы: митинги, брошюры, саботаж, доносы и т. д. Он оставил стачки профессиональным союзам. Затем он уточнил свой замысел, вначале довольно неясный, но который теперь прояснился у меня на глазах: действовать на психику предприятия. Если у предприятия есть свое тело — машины, администрация, аппарат управления, работники, у него есть и своя душа, и свой разум. Как и отдельный человек, предприятие может поддаваться страху, предрассудкам, влиянию гипноза. Появление электронно-вычислительных машин, колоссальный рост транснациональных компаний не произвели таких же изменений в людях, которые в них работали или управляли ими. Люди остались людьми, подверженными прежним страхам. И вот вам результат: во время благоприятной и сравнительно спокойной экономической и социальной конъюнктуры одна из опор компании «Россериз и Митчелл-Интернейшнл» грозит треснуть. И эта опора, наша французская фирма, потеряла голову. Из-за мелких и в сущности пустяковых причин люди, которых обычно трудно заподозрить в склонности верить таинственным явлениям, вдруг повели себя крайне смехотворно и предстали перед персоналом и прессой в самом ошеломляющем и непонятном виде. На этом месте размышления мои были прерваны громким голосом, раздавшимся над толпой. Я вздрогнул и поднял глаза на здание из стекла и стали. Из окна моего кабинета Сен-Раме обратился к толпе через рупор Рюмена. Он был там один. Собирался ли он повторить свои прежние выступления? Во всяком случае, он всех удивил. Об этом свидетельствовали недоумевающие лица Мастерфайса, Ронсона и Рустэва, стоявших неподалеку от меня. Что готовил еще генеральный директор вдобавок ко всем неожиданностям? Как он выйдет из положения? Что собирается объяснить персоналу?

— Дамы и господа, слушайте меня внимательно, я должен сообщить вам новость, а затем объяснить некоторые факты, которые вас близко касаются и, наверно, у каждого и каждой из вас сейчас на уме. Но сначала новость: эксперты только что сообщили мне, что наше здание из стекла и стали в прекрасном состоянии и нет никаких причин беспокоиться. Трещины — результат легкой осадки почвы в небольшом секторе подземелья, что при этом грунте вполне нормально! Может даже случиться, что произойдет еще одна небольшая осадка, о чем тоже не следует слишком беспокоиться; а после не будет никаких смещений почвы, по меньшей мере сто лет! Такова новость. Но вы, конечно, понимаете, что пока у нас не было этого диагноза, мы должны были принять исключительные меры для обеспечения безопасности, и это объясняет, почему сегодня утром мы решили, что лучше на время удалить служащих из здания. А теперь я хочу сообщить вам об одном деле, которое, как я только что слышал, очень вас занимает, и, если бы оно дошло до вас в искаженном

виде, вы могли бы подумать, что ваши руководители сошли с ума! Действительно, этой ночью вице-президент Мастерфайс и я сам в сопровождении наших главных сотрудников спустились в подземелье предприятия именно потому, что кое-кого из нас тревожило расширение трещины в одной из опорных стен фундамента с восточной стороны. И вот для очистки совести мы решили отправиться вниз и посмотреть. Всю ночь мы осматривали опоры, поддерживающие здание из стекла и стали! Подземные ходы — грязные и скользкие от сочащейся там воды. И мы не раз падали в лужи! Когда на рассвете мы поднялись наверх, удовлетворенные нашим осмотром, мы решили немедленно собраться, чтобы сразу обсудить результаты наших наблюдений. Тогда-то бдительный сторож, услышав шум, открыл дверь зала, где мы собрались! Сознаюсь, что на его месте я был бы не меньше удивлен, а может, и не меньше испуган. Потому что, по правде говоря, у нас был очень неважный вид и мы были все в грязи. Добавлю еще, что в зале было очень жарко, от нашей одежды шел пар, и очень скоро нас окутал беловатый туман, так что нашему славному сторожу могло померещиться, будто он попал на собрание призраков.

При этих словах весь персонал разразился дружным смехом. Сен-Раме явно одержал победу. И он закончил:

— Дамы и господа, знайте же, что этот сторож получит специальную прибавку с начала этого года по распоряжению, имеющему обратную силу.— Раздались аплодисменты.— А теперь я предлагаю вам приступить к работе. Вам известно, что сырье сильно повышается в цене и на нашей планете вспыхнула война за нефть! А в этой войне, вы — персонал «Россериз и Митчелл-Интернейшнл» — являетесь нашей пехотой, нашей старой гвардией! И могу вас уверить, что в это беспокойное время ваши руководители будут достойны вас и предприятие будет на высоте! Дамы и господа, благодарю, что вы так внимательно выслушали меня, и предлагаю в полном порядке вернуться на предприятие.

Толпа ответила бурей аплодисментов и сомкнутыми рядами двинулась ко входу в здание. Тут я бросил взгляд на группу Мастерфайса, Ронсона и Рустэва и увидел, что во время речи генерального директора к ним присоединился четвертый человек. На нем уже не было свитера, но я узнал очки в черной оправе, нервную фигуру и змеиную голову. Ральф Макгэнтер был здесь почти инкогнито, ибо только руководители знали его в лицо.

Его французская фирма приготовила ему по меньшей мере оригинальную встречу.

XXIII

В то утро на одиннадцатом этаже здания из стекла и стали произошло экстраординарное, первое в своем роде собрание. Председательствовал на нем Ральф Макгэнтер, один из десяти наиболее могущественных людей на земном шаре, окруженный свитой: вице-президентом Мастерфайсом, верным рабом Берни Ронсоном, французскими директорами и главными кадрами штаба; он велел дать ему исчерпывающий отчет о создавшемся беспрецедентном положении. Присутствие главных руководящих сотрудников усиливало исключительный характер этого собрания. У гигантских американских и транснациональных компаний той эпохи не было в обычае приглашать кадры штаба для обсуждения значительных вопросов с президентом всемирной компании. Как правило, президент сначала проводил тайное совещание с директорами; затем они решали, надо ли

вызывать по какому-нибудь определенному вопросу того или иного из руководящих сотрудников. Обычно, хотя и не всегда, в конце дня главные администраторы предприятия и директора отделов собирались на своего рода ленч вместе с президентом. В таком случае первые имели возможность вблизи лицезреть последнего. Сен-Раме представлял президенту каждого из них в перерыве между двумя тощими сандвичами, и Макгэнтер оглядывал свои кадры оценивающим взглядом хозяина. Лё Рантек, левый, технократ революционного направления, и в меньшей мере Бриньон кружили вокруг этого человека (о котором шла молва, что он держит в руках десятка полтора правительств и назначает цены на множество промышленных изделий), как плотва вокруг электрического фонаря. Итак, можно сказать, что состоялось настоящее деловое собрание, во время которого каждый сотрудник мог ожидать счастья или подвергнуться риску, что к нему обратится с вопросом сам император, а значит, там было чему навек запечатлеться в памяти сотрудников штаба. Я чувствовал, да так оно и было, что попал в очень необычное положение. Впрочем, Макгэнтер вел себя со мною именно так, как мы условились еще в кафе. Кроме Ронсона, никто не подозревал, что мы уже встречались. К тому же он был единственным, кто был уверен, что я — обличитель, и, как видно, доволен этим обстоятельством. Убеждение, что он один знает разгадку тайны и так быстро раскрыл ее, по-видимому, привело его в отличное настроение. Вот почему он не стал выяснять причины всеобщего возбуждения, которое застал, когда приехал. Он с наслаждением выслушал доклад Сен-Раме, из которого следовало, что какой-то взбалмошный и безответственный тип вызвал легкое замешательство на предприятии. Генеральный директор, сообщая ему о трещинах, о безумной ночной экспедиции, о скоплении служащих на улице, изложил ту же версию, что и персоналу. Короче говоря, Макгэнтер потирал руки со злорадным удовлетворением, какое испытывает президент, когда сознает, что решил проблему, непосильную для его штаба. Собрание приняло несколько смехотворный оборот, но я один понимал причину.

— Ну, а как же обличитель? — спросил президент.— Где он? Где он прячется, в конце концов? Вы уверены, что это один из ваших сотрудников? Что вы намерены делать сегодня и завтра, чтобы пресечь его преступления и разоблачить провокатора?

— Мы гонимся за ним по пятам, Ральф, и вот-вот настигнем его! — вскричал Мастерфайс.— На этот раз у нас есть доказательство, что он среди нас: он выронил восковку четвертого обличения, которое я вам только что дал прочитать.

— Однако,— заметил Макгэнтер,— если он среди нас, он знает, что его вот-вот должны поймать; он в курсе того, что вы готовите, и примет свои меры: он сбежит от вас... К тому же,— прибавил он, и мне показалось, что он весело мне подмигнул,— этот обличитель, как вы его называете, отнюдь не производит впечатления глупца; и даже, я сказал бы, он кажется довольно сообразительным; я, конечно, не говорю, что он умнее вас, но по меньшей мере... гм... я бы сказал... по меньшей мере так же хитер.

Наступило глубокое молчание. Все отлично понимали, что скрывается за речью президента, она обозначала: господа, все вы отпетые дураки и этот обличитель гораздо умнее вас, а потому он гораздо интересней для меня и, следовательно, гораздо интересней для предприятия. Однако, обратившись к Сен-Раме, Макгэнтер заявил:

— А затем я должен вас поздравить, дорогой Анри, вы только что проявили редкую находчивость и мигом вышли с честью из очень щекотливого положения.

Тут произошло нечто поразительное. Сотрудник штаба позволил себе взять слово, а это значило, как я говорил раньше, что он решил попытать счастья и в то же время подвергнуться большому риску. Чем значительнее предмет обсуждения и чем больше он интересует президента, тем менее разумно и полезно высказывать о нем свое мнение. Смелый сотрудник был не кто иной, как заместитель директора по прогнозированию. Как и у нас, черты его заострились, на лице проступали следы оставшейся с ночи усталости. Должно быть, он сообразил, что если будет молчать перед Макгэнтером, его авторитет руководителя ослабеет, и тогда ему будет трудно держать своих коллег в повиновении. Он слегка охрип, но американский язык его был превосходен:

— Господин президент, я позволю себе высказать перед вами свое мнение без обиняков и в первую очередь информирую вас о некоторых фактах, которые, вероятно, вам еще неизвестны; так, внутри предприятия началось одновременно несколько расследований, лишь только произошли эти события или, как я говорю, начались враждебные действия. Ибо дело это, несмотря на некоторые фантастические подробности, задуманные с тонким расчетом, чтобы запутать истинное положение, очень серьезно: кто-то старается погубить наше предприятие, а через него и другие сходные с ним компании. Двенадцать сотрудников штаба, с возмущением осознав происходящее и не добившись от генеральной дирекции полноправного участия в расследовании, решили сами создать группу для ведения розысков — некий боевой отряд. Таким образом, мы по собственной инициативе спустились этой ночью в подземные коридоры. Почему? Потому что мы сами, своими собственными средствами, раскрыли, что ключ к тайне спрятан в тридцати метрах под залом с электронно-вычислительными машинами и что между Восточным кладбищем и нашим зданием из стекла и стали плетутся непонятные интриги. Не из любви к театральным эффектам надели мы плащи, зеленые галстуки и прикололи черно-зеленые значки: это цвета склепа, стоящего вблизи нашего предприятия, а также тех лент, которыми обвязаны свитки. Наконец, вы сказали, господин президент, что этот обличитель, быть может, хитрее и умнее, чем ваши сотрудники. Я должен признать, что вы совершенно правы, за исключением маленькой подробности, которую я позволю себе отметить на благо нашей фирмы, ставшей благодаря вашему гениальному руководству, о чем здесь необходимо сказать, владычицей почти всего мира. Вот эта подробность: во-первых, не сожалейте, что обличитель так умен, господин президент, ведь он безусловно один из ваших сотрудников и сидит вместе с вами за этим столом. Затем, если он несомненно один из самых умных среди нас, то, чтобы его разоблачить, следует сузить круг наших поисков и выбирать только из наиболее хитрых и умных. В заключение скажу, что установить личность обличителя стало задачей, которую, по-моему, решить не трудно, но зато очень трудно доказать его виновность; есть только один способ: надо поймать его с поличным. На этот счет у меня есть кое-какие соображения: сегодня вечером, как бы мы ни устали, нам следует снова спуститься под землю. Если существуют какие-либо улики, они находятся там. Завтра их уже не будет. Виновный не может спуститься туда днем. Он дождется ночи, чтобы замести следы. Итак, ясно, что если мы продолжим наши поиски:

а) обличитель спустится с нами, так как это один из нас; б) он выберет подходящий момент, чтобы, воспользовавшись темнотой, отделиться от нас и уничтожить улики; или же он подойдет к компрометирующим его документам одновременно с нами, но незаметно

уничтожит их. Не надо забывать, что он знает подземелье гораздо лучше нас, а электрические фонарики дают очень слабый свет. Тому, кто хорошо знает эти места, ничего не стоит незаметно отойти на пять минут в сторону, когда наша группа проходит мимо его тайника, и снова присоединиться к нам. Даже если его поймают на этом, он может все отрицать, утверждая, что заблудился и зашел по ошибке в другой проход. Господин президент, это все, что я хотел сказать, прошу вас меня извинить, что я занял так много времени.

Аберо прекрасно справился с задачей и вдобавок, сам того не зная, ничем не рисковал. Он справился с задачей, потому что ему удалось вставить в свою речь — и даже очень ловко,— что Макгэнтер — гениальный руководитель. В те времена такая похвала особенно льстила маршалам от промышленности. Все хозяева банков, промышленных или коммерческих предприятий действительно были уверены в своей гениальности и очень ценили, когда им говорили об этом, если это делалось не грубо, иначе такие речи вызывали насмешки и тогда приводили их в ярость. Аберо ничем не рисковал, потому что обращался к человеку, весьма довольному всей этой путаницей и считавшему, что он разгадал во мне обличителя. Я задавал себе вопрос: чем все это кончится, что будет со мной, с другими и с предприятием? И я предчувствовал конец, я чувствовал, как он приближается, неизбежный, недобрый.

— Как ваше имя, мосье? — спросил Макгэнтер.

— Тьери Аберо,— ответил тот вставая.

— Вы в «штабе» или «в строю», дорогой мосье Аберо?

— Я в «штабе», господин президент.

— А раньше вы были «в строю»?

— Да, господин президент.

— Очень хорошо, дорогой мосье Аберо, я ценю ваше мнение... Мы, американцы, любим слушать откровенные и ясные речи, когда их говорят сотрудники штаба... Послушайте, господа, я думаю, нам и правда лучше всего дождаться вечера, имейте в виду, я тоже собираюсь спуститься с вами, я не хочу упускать такой случай... Адамс, вы займетесь моим снаряжением,— сказал Макгэнтер Мастерфайсу.

— Дорогой Ральф,— пробормотал Мастерфайс,— многие из этих подземных переходов залиты водой, а в иных скользко, как на катке.

— Так, так, Адамс! А сами-то вы спускались туда?

— Да, спускался, Ральф.

— Что же, вы хотите сказать, что мне не спуститься туда, куда вы уже спускались?

— Что вы, Ральф, конечно, нет! Я займусь вашим снаряжением.

На этом собрание закончилось. Когда мы двинулись к выходу, Сен-Раме нас остановил:

— Ральф попросил меня представить каждого из вас, вы можете на минутку задержаться?

Он представил нас в порядке давности поступления в фирму, называя фамилию и занимаемую должность каждого. Но давность работы послужила также основой порядка номеров, данных нам Аберо, и мы были поражены, услышав, как Сен-Раме спокойно отсчитывал:

— Номер один — Фурнье, номер два — Порталь, номер три — Самюерю, номер четыре — Вассон, номер пять — Аберо — и т. д.

Мы опомнились в холле 11-го этажа, с трудом переводя дыхание. Это напоминало чтение имен перед памятником в честь погибших героев. Голос обличителя мог бы зловеще добавлять к каждому име-

ни: погиб на поле брани за честь предприятия... погиб на поле брани за честь предприятия... погиб на поле брани за честь предприятия...

XXIV

Это был день подготовки к сражению. Наши руководители не показывались вместе. Ральф Макгэнтер, вопреки обычаю, не прошел по отделам и не пожал руки нескольким заслуженным работникам. Сотрудники штаба старались не встречаться друг с другом. Лишь около 11 часов 30 минут я получил второе зашифрованное послание от Аберо: «Номеру 7 от номера 5: собрание в «Гулиме» в 12 часов 30 минут — форма одежды обычная, никаких значков, рассчитываем на Вас».

Значит, Аберо решил сделать выводы из ночных и утренних событий. Атмосфера на предприятии была подавленная. Казалось, персонал, подобно животному, инстинктивно чуял приближение несчастья или драмы. Рюмен захотел поговорить со мной, и я тотчас принял его. Он не выказывал подозрительности или злорадства, а был явно встревожен. Он спросил меня устало:

— Что нам думать обо всем этом, господин директор по «человеческим отношениям»?

— О чем именно вы говорите, Рюмен, о трещине?

— И о трещинах и об остальном, я уже ничего не понимаю.

— Я и сам-то не очень много понимаю,— ответил я.— Каково моральное состояние персонала?

— Странно... Людям не по себе... Им больше не в чем упрекнуть дирекцию и даже... право, странно... кажется, будто они боятся за нее.

— Боятся за кого? — спросил я, очень удивленный.

— Сен-Раме и Рустэв все это время сами на себя не похожи, да и директора тоже; притом многие никогда не были так любезны и в то же время так чужды своим сотрудникам — можно подумать, что они тоже боятся.

— Боятся чего, Рюмен? Что здание обрушится? Но ведь приняты все меры предосторожности.

— Нет, они боятся чего-то другого... Я был уверен, что эта история со свитками плохо кончится. Сначала это было забавно, но потом...

— Полноте, Рюмен,— сказал я довольно неуверенно,— все обойдется...

Рюмен встал и пожал мне руку с почти сердечной горячностью. Когда он вышел, я почувствовал себя не в своей тарелке. На меня произвело сильное впечатление то, что люди простые и честные боялись за своих начальников, которые не были ни простыми, ни честными. Я откинулся в кресле, попросил свою секретаршу разбудить меня в полдень и заснул глубоким сном.

Позже, в «Гулиме», я узнал, что Аберо не был инициатором этого собрания. Его созыва потребовали Шавеньяк, аполитичный католик, Самюэрю, еврей и анархист, и Порталь, потомок богатой гасконской семьи; они же и составили повестку дня: обсуждение речи, произнесенной накануне ночью американцем Ронсоном. Аберо оставалось только подчиниться этому требованию. Реакция этих трех сотрудников и характер повестки дня меня очень обрадовали и сняли тяжелый камень с моей совести. Меня тоже глубоко задели идеи

Ронсона, но я не посмел никому признаться в этом, так тяжко было подозрение. В начале собрания Шавеньяк изложил причины своего решения собрать коллег.

— Этой ночью,— сказал он,— я услышал речь, которая все еще тревожно звучит у меня в ушах, и я хочу сейчас же задать вам вопрос: что кроется под названием «суд предприятия»? Признаюсь, я был потрясен, услышав эти слова. Позвольте мне сказать вам, что, если предприятия присвоят себе право судить людей, мы пойдем прямой дорогой к язычеству и фашизму. Меня очень беспокоит судьба, ожидающая этого обличителя, если, конечно, нам удастся его обнаружить. Кто будет его судить? Мы? По какому праву и согласно какому закону? Будучи сторонником процветания, основанного на росте и экспансии, самофинансировании и ускоренной амортизации, мы все же остаемся свободными гражданами, живущими в свободном обществе, где только законное правосудие имеет право вынести подсудимому оправдательный или обвинительный приговор. Да и сами американцы разве не объявляют себя защитниками свободного мира? Мне кажется, что Ронсон потерял голову от гнева, причину которого я, впрочем, вполне понимаю. Но с прошлой ночи меня терзает тревога, и вот мои коллеги Порталь, Самюэрю и я решили поделиться ею с вами. Я не хочу скрывать от вас, что мы хотели бы, чтобы все вы разделили с нами эту тревогу и чтобы мы договорились занять следующую позицию: в случае, если мы захватим обличителя, мы потребуем, чтобы его уволили согласно существующим правилам, но чтобы он не подвергался никакому насилию и тем более не был предан суду предприятия. Подобный суд был бы не только незаконен, но просто непристоен. Вопреки тому, что сказал Ронсон, существует только два рода правосудия: суд божий и суд, законно и свободно установленный людьми. Известно, к чему приводят суды, которые люди создают самовольно, для того чтобы защищать далеко не всегда благородные дела. Эти суды пристрастны, они уничтожают свободу, насаждают нетерпимость и коррупцию. Мы не должны соглашаться на такую беззаконную и смехотворную пародию на суд.

Шавеньяк умолк. И тут наконец пробил час правды для ведущих сотрудников «Россериз и Митчелл-Франс». Они вникли в самую суть вопроса. На этот раз речь шла не о прибылях, рынках, cash-flow, валюте, нефти, цинке или экспорте. Речь шла о человеке, о людях, какими они были под надменной личиной энергичных и знающих технократов, везущих колесницу постиндустриального мира. Им надо было следующий парадокс: как в эру электронно-вычислительных машин, телеуправления, интегрированного управления, функционального управления могло случиться, что высокоответственный американец предложил создать специальный трибунал на предприятии, чтобы судить в подземелье своего сотрудника и наказать его? Неужели транснациональные компании, эти удивительные механизмы, которые стирают границы между государствами и подавляют своим весом несчастные, нищие и угнетенные народы, вдобавок внутри себя еще порождают фашизм? Значит, воздвигать препятствия на пути революции и демократии в бедных странах и насаждать фашизм в богатых с помощью могущественных фирм во всем мире — вот те две цели, которые они себе ставят? Первая, конечно, давно всем известна — но вторая? Вторая менее очевидна, более коварна. Удушение Чили видел весь мир. Однажды утром он был ошеломлен, узнав об этом злодеянии. Но яд, постепенно и терпеливо вводимый в души молодых голландских, немецких, французских, испанских, итальянских, японских и других сотрудников, работавших в их филиалах, подчиненных особым законам, вызывал специфические реф-

лексы, этот яд столь же опасен и производит обширные опустошения в западных демократиях. В ту пору молодой административный работник, покинув семью и свою страну, чтобы поступить в филиал «Россериз и Митчелл-Интернейшнл» и преуспеть там, действительно порывал и с семьей, и со своей страной. Он входил в мир, который жил вне семьи и нации, со своими писаными и неписаными законами и правилами. Этот молодой администратор впредь должен был уважать две конституции: одну — своей страны и вторую — гигантской американской и транснациональной компании, которая его наняла и будет затем воспитывать, обучать, формировать и высоко оплачивать. И так до того дня, пока молодой человек не станет образцовым экземпляром, не знающим колебаний и угрызений совести, и не потребует — во имя свободы и экономического процветания,— чтобы его коллега был наказан трибуналом директоров и административных работников, заседающим при закрытых дверях во мраке подземелья фирмы и присуждающим к смерти во имя мирового финансового и экономического господства, во имя высших интересов Предприятия. В течение многих веков ради интересов Государства было истрачено много чернил; государственные интересы вызывали множество споров, спасли не одну нацию, но также и помогли скрыть немало преступлений. А теперь — медленно, но верно — все шло к господству интересов предприятия. Вот почему реакция Шавеньяка согрела мне сердце и подняла мой дух. Прежде чем явно недовольный Аберо высказал свое мнение, я объявил, что одобряю позицию Шавеньяка. Я громко заявил, что разделяю его опасения, и решительно предложил моим коллегам, когда настанет время, выступить против создания такого трибунала. После меня слово взял Лё Рантек, технократ высшей марки, псевдоэкономист и член партии революционных социалистов, и произнес ошеломляющую речь, которая ясно говорила о трагическом положении идеологий в наши дни:

— Реакция нашего превосходного коллеги Шавеньяка и его друзей порадовала меня, как гражданина и демократа, поборника справедливости. Но мне думается, что в данном случае они преувеличивают значение, которое Ронсон придавал своим словам. Когда наш американский друг говорил о трибунале предприятия, я думаю, он имел в виду дисциплинарный суд или, если, к несчастью, обличитель занимает у нас довольно высокую должность, суд чести. Поэтому, дорогие коллеги, я советую вам умерить вашу тревогу. Если у Берни Ронсона создастся впечатление, что некоторые из нас неправильно понимают его или настроены против него, это усложнит наше положение. А оно и так достаточно сложно. Добавлю еще, что если придерживаться выражений, употребленных нашим другом Шавеньяком, то его выступление можно расценивать как серьезный выпад против методов, принятых у нас на предприятии, и целей, которые оно себе ставит. Мы все хорошо знаем нашего коллегу и понимаем, что его слова — преувеличение и он сам это сознает. Он сам — горячий поборник нашего общества, верный защитник его ценностей. Итак, я предлагаю признать, что, кроме суда божьего и суда, законно и свободно установленного людьми, нет никакого другого суда. Но что касается меня, то я готов участвовать в суде чести или дисциплинарном совете, который в рамках предприятия привлечет к ответу того, кто так серьезно нарушил его работу. В этом не может быть ничего плохого, никакого нарушения закона, никакого оскорбления нашей чести сотрудников штаба. Заканчивая, я хочу напомнить вам, что дисциплинарный суд ставит себе целью не только осуждать, но также и оправдывать или находить смягчающие обстоятельства. И меня радует, что некоторые наши коллеги, как Шавеньяк, Самюэрю, Пор-

таль и наш дорогой директор по «человеческим отношениям», заседая в подобном суде, будут настаивать на умеренности его приговора. Таким образом, вынесенное судом решение будет насколько возможно справедливым.

Шавеньяк и его друзья согласились с мнением Лё Рантека. Я был с ним совершенно не согласен, но предвидел, что в скором времени мне понадобятся все силы, чтобы защищать себя самого, и не хотел прежде времени бросаться в бой. Остается сказать, что дебаты, происходившие в тот день в «Гулиме», прекрасно отражали психологию сотрудников главного штаба того времени. В лучшем случае они сознавали, какие опасности угрожают свободам в мире, основанном на производстве, сбыте и деньгах. Но они никогда не находили в себе необходимой решимости, чтобы довести до конца свой анализ. Они до последней минуты надеялись, что будет сохранен какой-то минимум нравственности. Именно эта психология, убивающая силу воли, привела к тому, что мыслящие, но погрязшие в эгоизме политические деятели открыли дорогу к власти фашистским захватчикам. А фашисты, завладев рычагами управления, стали угнетать их. Сколько христианских демократов и прочих деятелей пожалели тогда, что заключали сделки с этими затянутыми в мундиры предателями! Но уже было поздно хныкать. Шавеньяк и его друзья должны были бы встать, потребовать встречи с американским представителем и заставить его объясниться, а в случае его отказа тут же подать в отставку. Но нет. Они успокоили свою совесть, отметив, что идея создания трибунала на предприятии просто абсурдна. А затем достаточно было выступить администратору штаба, считающемуся членом левой партии, чтобы их похвальная инициатива дала осечку. Покончив с этим вопросом, мы перешли к подготовке второго ночного похода. Слово взял Аберо:

— Господа, я считаю, что мы должны вести себя сегодня вечером следующим образом: во-первых, если только президент Макгэнтер не решит иначе, я сторонник того, чтобы ничего не менять в нашем облачении: мы сохраним те же плащи, те же галстуки и приколем значки. Единственное отличие от прошлой ночи будет состоять в том, что на этот раз нам не надо прятаться. Эта экспедиция в своем роде официальная. Теперь уже не придется соблюдать тайну и хранить молчание. Я убежден, что этой ночью мы захватим документы и материалы, разоблачающие провокатора, который не мог успеть вчера их уничтожить или унести. А сегодня он уже не может проникнуть в подземелья предприятия, так как все входы охраняются. Ронсон поставил человека даже перед черно-зеленым мраморным склепом. Инструкция такова: каждый следит за своим соседом — без всяких исключений. Я согласен, это неприятная задача и ни наше воспитание, ни университетское и профессиональное образование не готовили нас к подобной деятельности, но этого требуют сложившиеся обстоятельства. Завтра эта история станет лишь дурным воспоминанием. У нее останется только одна хорошая сторона: мы лучше узнаем друг друга и покажем себя такими, какие мы на самом деле,— мужчинами, настоящими мужчинами, смелыми бойцами. После этого никто не будет насмехаться над администраторами штаба, над менеджерами-технократами, которые, хоть и допустили несколько неизбежных оплошностей, оказывают всему миру и его молодежи много благодеяний и служат им образцом, хотя бы тем, что благодаря своим знаниям приводят в действие колеса такой сложной машины, как «Россериз и Митчелл-Интернейшнл». Что бы ни говорили, трактор — это только трактор, у него нет политической окраски, а лишь определенное количество частей; у него есть шины, есть

бензобак, есть также цена, которая воплощает труд тех, кто его произвел, стоимость сырья, часть амортизации, дающей возможность предприятию вздохнуть, и определенный процент надлежащей прибыли, из которого следует вычесть налоги. А затем этот трактор бодро идет распахивать целинные земли, до тех пор не поддававшиеся никакому плугу. Надо неустанно повторять эти простые истины. И если я прошу вас сделать сегодня вечером последнее усилие, если прошу сохранить вашу форму, то лишь для того, чтобы показать, особенно президенту Макгэнтеру, какую важную и самостоятельную роль вы сыграли в этом деле. Чтобы подчеркнуть, какой особый вклад вы, администраторы из штаба, внесли в охрану безопасности предприятия. Господа, если никто не просит слова, я думаю, что нам пора разойтись. Пусть наши послеобеденные часы будут посвящены размышлениям и накоплению сил. Сегодня вечером мы вновь станем боевым отрядом.

Было ясно, что Аберо не собирался глупо терять преимущества, которых добился своими догадками и действиями. Теперь, когда приближалась развязка, он старался показать, что без него события развернулись бы иначе. Разоблачение обличителя не должно было считаться заслугой генеральной дирекции или кого-либо другого, но только Аберо, который один направлял поиски, взял быка за рога и раньше всех мобилизовал, вдохновил и организовал главные кадры штаба. Лё Рантек злорадствовал, Бриньон, Иритьери, Вассон и Селис потирали руки, предвкушая заманчивую перспективу этой охоты за человеком. Террен хищно улыбался, скаля свои длинные белые зубы. Все разошлись в разные стороны, а я вдруг почувствовал такую усталость после тяжелой, бессонной ночи, что решил вернуться домой и немного поспать.

Я поставил будильник на 18 часов, лег и заснул.

Меня разбудил звонок. Но не будильника. Кто-то звонил в мою дверь. Я уселся на кровати и взглянул на часы: 15 часов 30 минут. Кто бы это мог быть? Я встал, накинул халат и пошел открывать. На пороге стоял Сен-Раме и, улыбаясь, смотрел на меня.

— Извините меня, мосье...— пробормотал я.— Я ненадолго уснул...

— Не извиняйтесь, вы были правы, что легли отдохнуть, нам предстоит трудная ночь; я долго не решался вас побеспокоить, но мне нужно было вас видеть. Мне нужно поговорить с вами о ходе событий. Знаете, я очень ценю разговоры, которые мы ведем с вами наедине, особенно в последнее время.

Я показал ему на кресло в стиле рококо, стоявшее около моей кровати.

— Если вы не возражаете, мне хотелось бы тоже немного прилечь,— сказал генеральный директор и, к моему удивлению, развязал галстук, снял башмаки и растянулся на моей кровати. А я уселся в кресло рококо. Я все не мог прийти в себя, видя на своей кровати человека, которого американцы называли самым способным менеджером в Европе и которому предсказывали самое блестящее будущее. Сен-Раме все больше возбуждал мое любопытство. Его манера держаться со мной скорее напоминала поведение друга, чем генерального директора филиала, господствующего на мировых рынках. Узнал ли он, что жена изменяет ему с Аберо? Мне это все еще казалось совершенно непонятным. А если не узнал — должен ли я ему об этом сообщить? Он долго молчал, и я не прерывал его молчания. Полузакрыв глаза и заложив руки за голову, он, казалось, погрузился в мечты.

— Господин директор по «человеческим отношениям»,— сказал он наконец тихим голосом,— каковы теперь планы моих руководящих сотрудников?

Я не задумываясь рассказал ему со всеми подробностями о дневном собрании в «Гулиме».

— А, все же кое-кто из них обратил внимание на речь нашего дорогого Берни, значит, они еще не окончательно опьянели от своих высоких окладов и сумм на непредвиденные расходы... Они все-таки вспомнили, что самофинансирование и пульты управления сами по себе ничего не дают и, главное, не имеют никакого смысла, если не поставлены на службу человеку; человеком труднее управлять, чем целым отрядом электронно-вычислительных машин, разве не правда? Как вы думаете?

— Я согласен с вами, мосье.

— А женщину,— сказал он вдруг, совсем закрывая глаза,— заставить женщину полюбить тебя, пожалуй, еще труднее, чем управлять мужчиной, верно? Как вы считаете, господин директор по «человеческим отношениям», когда-нибудь можно будет выбирать себе жену с помощью электронно-вычислительной машины? Мне кажется, это уже практикуется в некоторых брачных агентствах.

Этот насмешливый выпад меня насторожил. Я уже привык к остроумию Сен-Раме, к его пристрастию к тонким намекам и понимал, что эту мысль он высказал не случайно. Может, он в курсе всего? В таком случае зачем он заговорил об этом со мной? Что он хочет от меня услышать?

— Почему вы говорите мне о женщине? — задал я дурацкий вопрос.

— Потому что сегодня ночью речь пойдет о женщине,— ответил он многозначительно,— но я больше ничего не могу вам сказать.

Вдруг он поднялся и сел на краю кровати.

— Господин директор по «человеческим отношениям», я хочу вам кое-что открыть, для этого я и пришел сюда. Слушайте внимательно: сегодня ночью меня попытаются убить... Я хотел, чтобы вы это знали. По существу, среди моих сотрудников вы — единственный интересный и заслуживающий доверия человек; мне хотелось больше помочь вам во время всего этого дела, но я не могу. Один или несколько человек постараются меня убить. Не знаю, выйду ли я, или еще кто-нибудь, или все вместе — выйдем ли мы живыми из этой истории; но на случай если вы уцелеете, я сообщаю вам, что не сомневаюсь в таком исходе. Позже, если вам представится возможность восстановить правду или просто подтвердить ее, не забудьте того, что я вам сказал.

— Но все же,— заметил я, мучительно стараясь поверить в реальность происходящего,— что такое ужасное случится сегодня ночью? Откуда эти мысли о смерти? Уж не собирается ли Рустэв, воспользовавшись темнотой, заколоть вас кинжалом, чтобы занять ваше место? Кто может хотеть вашей смерти?

— Только не вы, во всяком случае, это единственное, в чем я уверен... Что же до остального — еще посмотрим. Теперь мне надо уходить. Не портите себе кровь из-за моей жены, я знаю, что она спит с заместителем директора по прогнозированию, и знаю почему. На деле, как видите, хотя это и не заметно, я наиболее осведомленный человек на предприятии. Разве это не естественно? И не соответствует моей репутации? Разве я не генеральный директор?

С этими словами Анри Сен-Раме встал и, попрощавшись, удалился. Я тотчас пошел и принял душ; но на сей раз эта процедура не прояснила моих мыслей. Итак, с затуманенной головой я снова отпра-

вился на предприятие. Моя секретарша в сильном волнении вошла ко мне в кабинет и сообщила:

— Мосье, я не знала, куда вы ушли, идите скорей, президент Макгэнтер хотел вас видеть еще час тому назад.

«Каждый ведет свою игру»,— подумал я. И в эту минуту я задал себе вопрос: уж не вовлек ли меня Сен-Раме в свою игру и не собирается ли Макгэнтер впутать меня в свою, себе на пользу? Я на минуту упустил из виду, что ни президент, ни генеральный директор не были невинными младенцами, и тот и другой добились успеха, раздавив на своем пути множество людей, и среди них было немало почти таких же умных и хитрых, то есть развращенных, как они сами; в те времена такова была цена за восхождение на высшие должности в гигантских американских и транснациональных компаниях. И тут мне пришло в голову, что, вместо того чтобы наивно удивляться своей встрече в кафе с президентом компании в белом свитере или печалиться о судьбе генерального директора, мне следовало бы лучше позаботиться о собственной безопасности и спокойствии. Какая крупная операция развертывалась на моем предприятии? Не было ли все это куда серьезнее и примитивнее, чем я воображал? Зачем стали бы президент и генеральный директор терять время на возню со скромным директором по «человеческим отношениям»? А может быть, и кадры штаба вместе со мной были лишь игрушками в руках этих господ? Пешками в игре, смысл и правила которой ускользали от нас?

Ральф Макгэнтер принял меня в кабинете Ронсона. Он был один. Я уже овладел собой и теперь стал недоверчивым и агрессивным. Макгэнтер встал и сказал мне:

— Итак, господин обличитель, как вы себя чувствуете?

Я решил больше не вступать на этот опасный и двусмысленный путь и решительно возразил:

— Господин президент, мне крайне неприятно вас разочаровывать, но я вынужден повторить: я не обличитель и к тому же не имею понятия, кто он.

Макгэнтер почувствовал твердость моего ответа и на минуту нахмурился, но лицо его тут же приняло игривое выражение, и он сказал в том же тоне:

— Я не прошу у вас вторичного признания, вы уже все сказали мне в кафе, не забывайте!

И на секунду лицо его стало жестоким. Я горько пожалел о своем поведении в кафе. Мне расставили грубую ловушку, и я бросился в нее с закрытыми глазами. Руководители искали жертву и нашли ее в лице несчастного, наивного директора по «человеческим отношениям». Такая жертва всех устраивала, ибо, объявив меня виновным, они спасали репутацию руководящих сотрудников штаба, технократов и псевдоэкономистов. Если бы виновным был признан один из них, из-за него тяжело пострадал бы авторитет и положение всех менеджеров, из которых состоят дирекции западных, американских и японских предприятий. И то, что это несчастье случилось у «Россериз и Митчелл», приобретало символический смысл и увеличивало размер причиненного вреда. Это потрясло бы целый мир понятий, целую систему представлений. В то время как директор по «человеческим отношениям» — сотрудник второстепенный, далекий от управления, далекий от привилегированных секторов торговли, ценообразования, пультов управления, операций cash-flow. Значит, я был удобным кандидатом, как бы предназначенным стать козлом отпущения, некоей искупительной жертвой для персонала предприятия, профессиональных союзов и общественного мнения. Теперь я разглядел ловушку во всей ее гнусности и с ужасом видел, как развернется сценарий: се-

годня ночью мы спустимся в недра предприятия. И там в полном мраке меня схватят, потребуют, чтобы я признался, и осудят. Легкая и невинная добыча.

Они не жалели средств, чтобы сделать из меня виновного. Даже сам президент заплатил своим присутствием. Он приехал лично, он встретился со мной и прекрасно сыграл свою роль, чтобы заставить меня сказать, что я — обличитель. Быть может, в галстуке у него был микрофон, и Ронсон, сидя поблизости, в заранее снятом номере гостиницы, записывал все мои слова на пленку. Правда, французский суд не признает такого рода документы вещественным доказательством, но эти господа плевали на французский суд! Записанной пленки было бы вполне достаточно для трибунала, задуманного Ронсоном. До чего же я был наивен! А ведь я знал, что в Соединенных Штатах и в Европе целые кланы жестоко сражаются за власть на различных предприятиях «Россериз и Митчелл-Интернейшнл». Возможно, какой-то франко-американский клан, враждебный Сен-Раме, предпринял против него этот маневр, чтобы вызвать замешательство в его фирме. Вот откуда взялись обличения и все остальное. Сен-Раме пришлось предпринять контратаку. И если бы борьба окончилась вничью, американцы постарались бы усмирить враждующих и найти виновного, чтоб успокоить умы. Виновным был я. Моя виновность не могла сильно повредить системе. Как же мне выбраться из ловушки? Разумеется, я мог подать в отставку, уйти, бежать с этого отвратительного предприятия и, таким образом, не участвовать в ночном походе. Но это было не так просто. Помимо того, что я незаслуженно лишился бы своего положения, сбежав, я вдобавок признал бы себя виновным. К тому же я знал, что в таком случае мне будет очень трудно устроиться, найти себе новое место. Кто пустит обличителя на свое предприятие? Наконец, у меня было чувство собственного достоинства, еще усиленное возмущением, которое вскоре могло превратиться в бешенство. Тем временем Макгэнтер продолжал:

— Сегодня вечером мы с вами сильно повеселимся, и пока все они будут следить друг за другом, мы будем просто присутствовать на этом спектакле. Мы дадим им повозиться несколько часов, а потом соберем их, и я сам поставлю блестящую заключительную точку на всей этой истории, представив им вас: «Господа, после того как вы прилежно поискали, настало время сообщить вам правду: вот наш обличитель». При свете фонарей,— закончил председатель,— признайтесь, это будет блестяще!

— Послушайте,— сказал я,— повторяю еще раз: хотя при довольно несерьезных обстоятельствах вам удалось заставить меня сказать иное, но я не тот, кто вам нужен, и предупреждаю вас, господин президент, если вы представите меня в таком свете, я буду решительно все отрицать.

— Ну что ж, друг мой, это будет еще лучше, еще правдоподобней! Ступайте и не падайте духом; встретимся вечером.

Итак, мы расстались: я — озабоченный и обозленный, а он, как мне показалось, недовольный. «Игра еще не закончилась,— подумал я,— и впрямь не буду падать духом; к тому же всегда бывают непредвиденные обстоятельства».

И в самом деле, во время второго ночного похода их оказалось предостаточно.

Каким образом руководители и высшие администраторы такой компании, как «Россериз и Митчелл», могли дойти до таких крайностей, о которых я собираюсь рассказать? Мы никогда не перестанем задавать себе этот вопрос. И никогда не перестанем искать на него ответа. Мой ответ ясен, но таково мое личное мнение: они упустили

из виду, что то были просто люди. И ради карьеры они, вопреки своему внешнему лоску, проявляли не лучшие стороны своей натуры, а худшие. Как я уже отмечал в начале этого рассказа, нельзя безнаказанно учить миллионы детей, а затем студентов, что миру предназначено стать однажды единым громадным предприятием и что высшая цель для молодого человека, мужа, начальника — выискивать рынки, расшифровывать язык машин, объединять энергию мужчин и женщин в якобы мирных и альтруистических целях: производить, упаковывать, продавать, импортировать, экспортировать и создавать деньги. До сих пор все знали, что человек жив не хлебом единым. Тем более он не может жить только машинами, капиталовложениями за счет самофинансирования, ставками процентов, холдинг-компаниями. Если привычка любить утрачена, она не так легко возвращается. А человек, которому потребовались миллионы лет, чтобы возвыситься над животным, порой, к своему несчастью, снова становится им за одну-две секунды. Хотя эти рассуждения звучат упрощенно и мелодраматично, однако они обрели особое значение в свете развернувшихся вскоре событий. Действующими лицами в них были могущественные менеджеры и их «штабисты». Те, кто насмехался над священниками и поэтами. Они говорили небу: «Помоги себе, и мы тебе поможем». В своей гордыне они готовы были заложить душу богу на выгодных условиях — из 14,5%.

Дорогу! Менеджеров мучает жажда! Дорогу! Маршалы и их слуги спустятся в недра земли, чтобы утолить жажду во мраке! Не мешайте им пить!

XXV

В то время, как раз в тот день, когда все газеты, все радио- и телевизионные станции передавали тревожные сообщения о повышении цен на говядину, об ограничениях на нефть, о головокружительном взлете цен на шерсть, медь, бокситы и фосфаты, во Франции, на углу авеню Республики и улицы Оберкампф, недалеко от Восточного кладбища, двенадцать администраторов, два генеральных директора, два президента международной компании, один сотрудник ЦРУ и два частных сыщика спустились в подземелье под залом с электронно-вычислительными машинами компании «Россериз и Митчелл-Франс». Они прошли по многим узким, сочащимся водой проходам, не раз теряя равновесие и падая в грязь, и вышли в похожий на склеп круглый зал с гладкими и блестящими стенами. Там они собрались на первый ночной совет. Послышался голос заместителя директора по прогнозированию, гулко отдаваясь под сводами:

— Пусть тот, кто нанес серьезное оскорбление и ущерб нашему прекрасному предприятию, сознается в своей вине, это позволит нам не двигаться дальше, сбережет наши силы и время, а главное — силы и время присутствующего здесь господина Макгэнтера, самого могущественного, самого грозного президента в мире!

— Да,— подхватило несколько голосов,— пусть он сознается, и ему это зачтется! Он уже стоил много денег нашему предприятию, он нанес ущерб нашему cash-flow!

— Мы не желаем, чтобы ущемляли наш cash-flow! — закричали хором руководящие сотрудники.

— Спасибо за ваши решительные и достойные слова,— заявил Макгэнтер,— я согласен с вами: cash-flow — дело святое, вы это очень правильно поняли. Но я торжественно обещаю тому, кто напал на наш cash-flow, что, если он теперь сознается, мы вернемся назад и не причиним ему никакого вреда. Он может сам подать в отставку, и мы да-

же выдадим ему большую компенсацию. Если он сознается, то я обещаю: мы не будем его судить. Я жду шестьдесят секунд; если через минуту он не объявится — значит он намеренно отягощает свое положение.

Макгэнтер начал считать. Свет фонарей причудливо очерчивал напряженные лица. Каждый подстерегал малейшее движение, даже дыхание соседа. Прошла минута — никто не сознавался. Тогда мы снова двинулись в путь и стали спускаться все глубже в недра земли. Перед нами тянулся лишь узкий туннель. Мы шли, согнувшись, друг за другом, петляя на глубине тридцати метров под зданием из стекла и стали. Вдруг американский детектив, возглавлявший колонну, воскликнул:

— А ну-ка посмотрите сюда!

Колонна остановилась.

— Что вы там нашли? — спросил Макгэнтер.

— Я нашел пустой баллон для кислорода и кусок трубки.

— А что это значит?

— Пока еще не знаю,— сказал Кинг Востер.

— Я, кажется, понимаю! — воскликнул Аберо.— Я так и подозревал: этот баллон доказывает, что где-то здесь пользовались газовой горелкой, специальной кислородной горелкой для резки бетона... У меня в кармане план, и, когда мы дойдем до галерей, я уверен, что мы откроем причины трещин... Человек, должно быть, подрезал несколько опор, и, если этой ночью здание не рухнет нам на голову, значит, нам здорово повезло.

— Кто это говорит? — спросил Макгэнтер.

— Аберо, заместитель директора по прогнозированию.

— А, это вы создали группу сотрудников штаба, включившуюся в поиски? Это вы говорили на собрании сегодня утром?

— Да, господин президент.

— Похоже, вы хорошо подготовились к этому делу, старина, даю слово Макгэнтера! Поздравляю вас, подойдите ко мне... Все остальные пропустите его. Обещаю, что, если, как вы предсказываете, мы обнаружим подпиленные опоры, я назначу вас директором, а не заместителем.

— Спасибо, господин президент, я иду.

Мы, как могли, прижались к стенке, и Аберо удалось протиснуться к Макгэнтеру.

— Вперед! — скомандовал Макгэнтер. И мы снова двинулись. План, добытый Лё Рантеком и переданный Аберо, оказался точным. Мы вышли в широкую и длинную галерею, образованную тремя обширными квадратными залами, следовавшими друг за другом. Там хоть можно было дышать. Как и во время первой экспедиции, лица, руки и одежда у нас были залеплены грязью и намокли от сырости. Мы стали обследовать галерею. Здесь многие опоры, поддерживавшие здание, были оголены. Три из них были подрезаны. В углу зала № 3 мы нашли еще два баллона с кислородом и манометр, но никакого следа горелки. Макгэнтер, который, как видно, этого не ожидал, молча разглядывал вещественные доказательства. Теперь не оставалось никаких сомнений: кто-то пытался спровоцировать обвал здания, вызывая осадку опор. А осадки на несколько сантиметров уже достаточно, чтобы вызвать трещины. Человек тщательно подготовил свой удар. Однако оставался еще один вопрос: собирается ли он продолжать свое преступное дело? Ставил ли он себе целью лишь посеять панику, вызвав трещины, или подпилить все опоры и вызвать крушение здания? В таком случае подумал ли он о губительных последствиях своих действий, о том дне, когда 1100 человек могут погибнуть под

развалинами, не считая прохожих и соседей? Признаюсь, зрелище столь гнусного злодеяния было удручающим; что бы злоумышленник ни имел против «Россериз и Митчелл-Франс», подобные средства вызывали резкое осуждение. Зачем рисковать сотнями жизней ни в чем не повинных людей? Это меня немного охладило и вызвало гнев против обличителя, который в некоторых случаях казался мне даже симпатичным и находчивым. Теперь все усугублялось. Я не сомневался, что руководители и мои коллеги испытывают то же, что и я, и чувствовал, что, если мы разоблачим несчастного, угрозы Ронсона станут вполне реальными. Воцарившееся на несколько минут молчание было красноречивей слов. Мне стало страшно. Что будет со мной, если Макгэнтер вздумает выполнить свой проект? Если то, что Ронсон называл «судом» предприятия, не что иное, как жестокая расправа, удастся ли мне выйти живым из этих катакомб? Поддержат ли меня Шавеньяк и его друзья? Я обдумывал возможность сбежать, потихоньку передвинуться в хвост колонны и броситься назад со всех ног. Но я не был уверен, что мне это удастся, а мой побег свидетельствовал бы против меня. Ну что ж, тем хуже: раз уж я здесь, я должен остаться и смело встретить опасность, если меня к этому принудят. Мы снова двинулись вперед. Вскоре перед нами открылся громадный зал вроде замкнутой со всех сторон подземной площади, с круглой дырой посредине, ведущей в узкий спускающийся вниз проход, подобный тому, который мы встретили в начале пути, и довольно крутой. Мы остановились в раздумье вокруг этого узкого и черного отверстия. Один из нас с помощью длинной веревки должен был спуститься туда первым. Макгэнтер вызвал желающего. «Я»,— сказал французский детектив. Он обвязался веревкой, а Кинг Востер, Террен и Вассон взяли в руки ее конец, чтобы облегчить ему спуск. Размотали метров двадцать веревки. Тут послышался голос детектива, далекий, приглушенный.

— Что он говорит? — спросил Макгэнтер.

— Он говорит, что можно спускаться,— ответил Ронсон.

Один за другим мы спустились на дно этого колодца и снова оказались в таком же узком и скользком проходе, как и предыдущие, только на этот раз он шел почти горизонтально. Мы опять двинулись друг за другом. Проход все сужался. Вскоре мы убедились, что можем продвигаться вперед только ползком. У всех спирало дыхание, все чувствовали приступы клаустрофобии. Мы ползли один за другим на животе, в полном мраке, по жидкой грязи, и фонари нам почти не помогали.

— Аберо,— сказал Макгэнтер,— поглядите на свой план и скажите, куда выходит этот чертов ход; если он никуда не ведет, мы тут все задохнемся, и, право, не стоит искушать судьбу.

— Я знаю план наизусть, господин президент; еще небольшое усилие, и мы выйдем к подножию холма, или маленькой подземной горы; у нее, как у вулкана, есть на вершине отверстие, через которое мы вновь круто спустимся вниз, после чего уже не встретим никаких серьезных препятствий до самого черно-зеленого мраморного склепа на кладбище Пер-Лашез. Я полагаю, что у подножия этой горки мы найдем орудия, которых не хватало в галерее, а быть может, и документы. Мы должны усилить наблюдение друг за другом, ведь провокатор, быть может, больше боится, что найдут документы, чем орудия.

— Хорошо,— сказал Макгэнтер,— но не давайте ему возможности сбежать... Ронсон, ползите последним; Востер, ползите первым. Вперед!

Расставив по местам двух американцев, единственных людей, которым он, казалось, полностью доверял, Макгэнтер прокудахтал:

— Ну и приключение! У меня их было немало за мою собачью жизнь, да, Берни? Но ни одного такого невероятного! Если бы президент Соединенных Штатов видел, как я ползу в грязи по подземному ходу под моей французской фирмой! Вот так приключение!

Решительно Ронсон, видимо, все знал; Макгэнтер призывал его в свидетели, как и Мастерфайс. Я отметил еще, что Сен-Раме, Рустэв и Мастерфайс все время молчали как рыбы. Мы ползли, уткнувшись носом в липкую грязь. Внезапно цепочка остановилась.

— В чем дело? — спросил Рустэв.

— Мне кажется,— ответил Кинг Востер,— что здесь ход еще больше сужается и может обвалиться... Я сомневаюсь, следует ли продолжать... Что делать, президент?

Последовало молчание. Мне стало жутко. Неужели руководители и главные администраторы фирмы «Россериз и Митчелл» так глупо помрут, задохнувшись в обвалившемся проходе? Наконец, Макгэнтер сказал:

— Кинг, судите сами, вы один можете вынести правильное решение... Аберо, нам еще далеко до горки?

— Нет, мосье, быть может, метров тридцать.

В эту минуту послышалась громкая жалоба — голос, прерываемый рыданиями, прокричал:

— Я не хочу идти дальше, не хочу умирать, я задыхаюсь; остановитесь, умоляю вас! Остановитесь!

Это был Фурнье, начальник отдела новых машин, муж роскошной и развратной самки, которая бесстыдно вешалась на шею фатоватому Вассону, начальнику отдела экспорта в страны Востока.

— Кто там ревет? — рассвирепел Ронсон.— Так или иначе, нам придется ползти вперед, пятиться назад будет еще трудней.

— Нет, нет, убейте меня на месте, я дальше не двинусь! — закричал Фурнье.

Он полз в нескольких шагах позади меня, и я почувствовал, что нервы у него окончательно сдали. Из-за Фурнье мы вскоре оказались в отчаянном положении. Подземный ход был так узок, что даже ползком ни один из нас не мог перелезть через другого. Как вытащить Фурнье и нас вместе с ним? Я эгоистично радовался, что оказался впереди него, так как в крайнем случае, если скажут: «Спасайся, кто может», я смогу двигаться вперед; ведь он загородил дорогу только тем, кто полз позади него. Кинг Востер заявил:

— Я продвинулся сантиметров на двадцать, президент, и почти уверен, что нам следует дать задний ход.

— Да, но как? — взорвался Макгэнтер.— Как двигаться назад с этим ослом, который хнычет позади нас? Если вы не можете продвигаться вперед, Востер, мы застрянем здесь, как в мышеловке. Какой там идиот сходит с ума?

А Фурнье в самом деле был теперь в истерике, и его вопли тяжело отражались на нашем моральном состоянии. Его припадок дошел до высшей точки, и он принялся проклинать нашу фирму и уверять, что он и есть обличитель.

— Да! — кричал он.— Я всегда думал, что подохну в вашей грязной лавочке поганых американцев, но и вы подохнете вместе со мной! Вы слышите? Мы все подохнем в этом дерьмовом проходе! И ты тоже, Макгэнтер, старый боров, убийца, фашист, ты подохнешь, заживо погребенный, и поделом тебе, подлюге, приказавшему уничтожить столько негров, столько несчастных бедняков во всем мире! И вы, жалкие дураки, ползающие на брюхе в грязи под землей,— по-

смотрите, на кого вы похожи! Теперь все ваши сволочные оклады, и высшие школы, и Гарварды, и школы бизнеса пойдут псу под хвост! Так вам всем и надо, подонки! А ты, Вассон, никогда больше не поцелуешь мою жену, потому что скоро околеешь, и тем лучше для нее, иначе ты наградил бы ее сифилисом! И ты, сволочуга Аберо, ты не поцелуешь больше мамашу Сен-Раме, эту шлюху, которая умудряется получать семейное пособие! А-а, помогите! Помогите! Мы тут все передохнем!

— Кто мне подсунул такого сотрудника? — взревел Макгэнтер.— Рустэв, Сен-Раме, кто этот жалкий трус?

— Это Фурнье, господин президент, он выпускник Центральной школы администраторов, получил диплом Высшей коммерческой школы в Цинциннати и прошел стажировку в гарвардской летней школе.

— Тогда почему у него такие слабые нервы? А связь между Аберо и вашей женой — это правда, Анри? Вот дьявол, этот Аберо; если мы выберемся отсюда живыми, я повышу его в должности на Большом Совете в полном составе.

— Кем вы назначите меня, господин президент? — спросил Аберо, не любивший неясности.

— Вы будете назначены, черт побери,— разве вам этого мало! Кем — мы увидим после! А сейчас надо выбираться отсюда... Да заставьте вы его замолчать, будь он проклят! Кто ползет перед этим Фурнье?

— Это я, господин президент, Лё Рантек.

— Лё Рантек, какая у вас должность на предприятии?

— Я доверенное лицо при генеральной дирекции, господин президент, сотрудник штаба, ведающий связями между Соединенными Штатами и Европой.

— Ага, в таком случае я уверен, вы никогда не работали «в строю».

— Никогда, господин президент.

— Ну что ж, на этот раз поработайте рядовым, старина, и для начала ударьте покрепче ногой по голове этого идиота и разом прикончите его. Я не переношу помешанных.

Фурнье звал свою мать, вопил, что мечтает обрабатывать землю, разводить овец, жить мирно на лоне природы. В своем безумии он повторял все стереотипные рассуждения, модные у многих руководящих работников того времени. Все они заявляли по меньшей мере раз на каждом званом обеде, что не хотят больше жить как глупцы, получая высокое жалованье и мучаясь в сутолоке городского транспорта, и что настанет день, когда они займутся кто разведением голубей, кто — фазанов, кто — форели и, разумеется, пресловутых овец. Когда я услышал, что Лё Рантеку было приказано ударом сапога размозжить голову Фурнье, я содрогнулся. Растянувшись на животе в грязи прохода, я инстинктивно прикрыл голову руками на случай, если лежащий передо мной Иритьери потеряет рассудок и попытается меня убить.

— Ну, Лё Рантек, ударьте ногой! Заставьте его замолчать, наконец! Пошевеливайтесь, если вы хотите, чтобы вас тоже повысили. В самом деле, Лё Рантек, вы хотите, чтобы вас повысили?

— Да, господин президент, конечно!

— Но хотите ли вы этого по-настоящему? Все сотрудники в Японии и на Западе хотят, чтобы их повысили, это я знаю, но некоторые хотят этого по-настоящему, горячо, настойчиво! Вы тоже из таких, Лё Рантек?

— О да, господин президент, уверяю вас, с тех пор как я закончил обучение, я по-настоящему думаю только об этом.

— А о каком назначении вы мечтаете, Лё Рантек?

— Мне так хотелось бы управлять холдинг-компанией, для начала маленькой, разумеется.

— Ну что ж, друг мой, если вы мне быстренько и чистенько уложите на месте этого идиота, который деморализует всю нашу группу, я дам вам концерн, имеющий в портфеле фирму по прокату автомобилей, один из отелей, который мы собираемся построить, и фабрику бисквитов с шоколадно-карамельной начинкой, которая недавно сильно расширилась. Это вам подходит?

— О, конечно, это как раз то, что мне надо, милая маленькая холдинг-компания, а через год я вам обещаю хороший маленький cash-flow.

— Ну что ж, убейте его, старина.

Мы услышали звук удара и за ним громкий крик боли. Лё Рантек ударил Фурнье сапогом по голове.

— Сжальтесь, Лё Рантек, я весь в крови.

— Заткните ему рот, черт возьми,— завопил Макгэнтер.

— Я бью, мосье, я бью,— извинился Лё Рантек,— но это нелегко, я ничего не вижу, а этот скот закрывает себе голову руками.

— Так бейте двумя ногами разом,— подсказал Ронсон.

Мы услышали, как Лё Рантек нанес несколько ударов. Крики Фурнье усилились.

— Мой глаз, ой, мой глаз! Сжальтесь, умоляю вас, мне уже лучше... я больше не боюсь... Я могу ползти... Простите мне все, что я наговорил, я этого не думаю... Ой... ой, глаз! Лё Рантек, перестань.... Перестань...

— Не надо убивать Фурнье! — закричал Бриньон, ответственный за французский рынок, энергичный муж претенциозной и ограниченной женщины.

— Кто это сказал? — спросил Макгэнтер.

— Бриньон,— ответил Рустэв,— это он обеспечил успех нашей машины с вертикальным буром.

— А,— заметил Макгэнтер более мягким тоном,— то была прекрасная операция, молодой человек, я вас поздравляю. Но почему нам не следует убивать больного?

— Потому что, если мы его убьем, господин президент, он закупорит проход, и нам будет стоить неимоверных трудов вытащить его оттуда; а если он сохранит способность двигать руками и ногами, он выберется сам.

— Эта точка зрения не лишена здравого смысла,— откликнулся Макгэнтер.— Как вы думаете, Берни?

— Если поразмыслить, Ральф, я думаю, Бриньон прав.

— Ладно, перестаньте колотить ногами, Лё Рантек! — приказал Макгэнтер.

— Хорошо... Но боюсь, что уже поздно... Кажется, Фурнье больше не шевелится.

— Черт... А кто позади Фурнье?

— Я, господин президент... Селис, специалист по ценам.

— Как вам кажется, Селис, этот Фурнье убит?

— Его ноги больше не двигаются, мосье.

— Вот досада... Как ваши дела, Востер?

— Налаживаются, президент, я уже вылезаю из этого опасного прохода; кажется, я немного преувеличил опасность, и вы, наверно, все пройдете без помех.

— А вы подумали, Востер, что нам делать с этим убитым Фурнье, который закупорил проход?

— Да, президент, тот, кто перед ним, должен обвязать его веревкой, и мы вытащим его, когда выйдем наружу, тогда задние смогут двигаться вперед. А тот, кто ползет позади Фурнье, поможет нам, если тело зацепится за стенку.

— Лё Рантек, можете вы обвязать веревкой Фурнье?

— Это невозможно, президент, я, как и вы, лежу на животе и не могу повернуться.

— В таком случае,— сказал Кинг Востер,— это легче сделать тому, кто находится позади... Он должен проползти между ногами Фурнье, обвязать ему веревку вокруг пояса, а если сможет, захватить и плечи, затем передать конец веревки Лё Рантеку, а тот притащит ее к нам; думаю, что веревка достаточно длинная, я вижу, что метрах в десяти передо мной проход расширяется.

Селис и Лё Рантек не без труда выполнили эту операцию. Лё Рантек пополз, таща за собой веревку, конец которой Селис обвязал вокруг пояса Фурнье. Первая часть группы достигла наконец расширившейся части прохода, где уже можно было стать во весь рост, и принялась вытаскивать тело Фурнье. А позади него Селис работал вовсю: то освобождал застрявшую в грязи ногу, то подвернувшуюся руку. Никто больше не разговаривал. Продвижение тела шло с трудом и заняло добрых полчаса. Когда Фурнье наконец появился, Востер взял его под мышки, подтянул и перевернул, так как несчастного тянули вниз лицом. Его было невозможно узнать. Вторая часть группы присоединилась к первой. Кинг Востер наклонился над неподвижным телом руководителя секции новых машин «Россериз и Митчелл-Франс». Он обтер ему лицо, прочистил глаза и забитый грязью рот носовым платком. Потом выпрямился и сказал:

— Он умер.

— Вы уверены, Востер? — спросил Ронсон.— Ведь вы не врач.

— Осмотрите его сами,— возразил американский детектив.

Но Сен-Раме, который тоже наклонился над телом, подтвердил диагноз.

— Не надо быть врачом, чтобы в этом убедиться,— сказал он.— Фурнье умер.

Инстинктивно человек десять из нас повернулись к Лё Рантеку. Он почувствовал устремленные на него из мрака взгляды. Мертвая тишина еще сгустила атмосферу. Тогда американский детектив, вновь нагнувшись над телом, сказал:

— Не думаю, чтобы он умер от удара сапогом, его нос и рот полны грязи; вы его, должно быть, оглушили, а потом он умер от удушья.

— Лё Рантек не единственный виновник этой смерти,— сказал храбрый, но слабый Шавеньяк,— мы все виноваты.

— Да, мы все,— подтвердил Макгэнтер,— но речь идет о несчастном случае. Этот Фурнье был женат? У него были дети?

— Фурнье,— пояснил Сен-Раме замогильным голосом,— был женат, имел двоих детей, родившихся с большим интервалом, мальчика четырнадцати лет и девочку шести лет; он — старейший из главных сотрудников штаба и был всегда честным и добросовестным работником; среднее образование он получил в лицее Монпелье, затем год обучался политическим и экономическим наукам в Тулузе, потом переехал в Париж. Получив диплом, он стал сразу работать в Соединенных Штатах, что можно считать исключительным случаем для француза. Он поступил в фирму «Либниз, Рэстон и К°» в качестве доверенного лица по европейским делам при дирекции. В то же время

он записался на курс профессора Брискона в Массачусетском институте. Он не был специалистом по изысканию рынков, но, несмотря на это, руководил у нас отделом новых машин, так как не имел себе равных в составлении бюджета для рекламы и сбыта. Бриньон и Фурнье прекрасно дополняли друг друга. В заключение, господин президент, могу сказать вам, что у человека, лежащего здесь у ваших ног в грязи подземного хода, немало заслуг перед нашей компанией. Без сомнения, ни один из моих сотрудников не содействовал больше, чем он, крепкому здоровью французского cash-flow.

— Это верно, cash-flow нашей французской фирмы всегда вызывал зависть в Европе, Японии и даже у нас, в Соединенных Штатах... Востер, вы можете перенести этого бедного Фурнье на плечах?.. Где мы сейчас находимся, куда девался Аберо?

— Я здесь, мосье, как раз позади вас.

— Ага, мы далеко от склепа на Пер-Лашез?

— Нет, господин президент, не очень далеко, но придется еще выйти к горке и спуститься в колодец; после чего наш проход становится широкой подземной галереей и почти прямо ведет к склепу.

— А где же эта горка?

— По плану она должна быть примерно в сотне метров впереди.

— Тогда — вперед! — скомандовал Макгэнтер.

И вся группа снова двинулась вперед, все так же цепочкой, по одному. Возглавлял ее Востер, с трупом Фурнье за спиной, а в конце шел Ронсон, присматривая за идущими. Я находился примерно в середине колонны. Мне было трудно собраться с мыслями. Я удивлялся, видя, что люди в конце концов привыкают к любой ситуации и расплачиваются за это лишь позже, когда у них сдают нервы и их грызут воспоминания. Но в эти минуты я шел шаг за шагом и меня даже не занимало, какое мы представляем собою зрелище. Будь я менее подавлен, я бы глядел с дрожью или с волнением, как эти господа шлепают по грязи, двигаясь гуськом в погоне за каким-то чуть ли не мифическим провокатором, чьи поступки, во всяком случае, не должны были вызывать таких серьезных событий. Вдали я различал массивный силуэт Кинга Востера и тело моего коллеги, которое он нес на спине. Свет фонарей еще усиливал нереальность этой сцены. В самом деле, быть может, все это сон, просто кошмар? И вдобавок, я очень устал. Физически и морально. Я бессознательно откладывал на потом анализ этой немыслимой ситуации, выводы, которые следовало из нее сделать, а также мысль о неприятностях, которые она нам доставит. Потому что теперь у нас был мертвец. Было ли это убийство или, как не без задней мысли заявил Макгэнтер, несчастный случай? Об этом скажет свое слово суд, созданный людьми, а не предприятием. Что же до суда божьего, я уже не смел о нем и думать. У меня было ощущение, что он некоторым образом уже совершается. По мере того как мы продвигались вперед, смысл этой экспедиции все больше стирался и все яснее становилось ее безумие. В нас не оставалось ничего от завоевателей, мстителей, преследователей, какими нас представляли Макгэнтер, Ронсон и Аберо,— напротив, мы превращались в жалких и упрямых маньяков, неспособных понять смехотворность, мерзость и тщетность нашей затеи. Мы шли молча, полусмущенные, полуобозленные, с пустой головой, и, однако, от страха у нас сосало под ложечкой. Итак, мы вышли к подножию знаменитой горки. На самом деле это оказался небольшой холмик, в середине которого действительно угадывалось какое-то отверстие. Мы все были сыты по горло этими переходами и подземельями и потому вздохнули с облегчением, увидев место, куда, наконец, пришли. Кинг Востер положил на землю тело Фурнье, и мы смогли наконец собраться вокруг него и

воздать ему что-то вроде странной почести, направляя по очереди свет фонарей на его жалкое, измазанное грязью лицо. Кто мог предсказать Фурнье, когда он с блеском занимался в лицее Монпелье, а затем в Тулузе, что он кончит жизнь на глубине 50 метров под залом с электронно-вычислительными машинами французской фирмы самой мотущественной в мире транснациональной компании? Кто сочинил этот безумный сценарий? Порталь Иритьери, Шавеньяк Террен, Бриньон и я — мы все опустились на колени возле его тела. Остальные казались смущенными. А может, гордость не позволила им пробормотать молитву, неважно какую? Однако они все же постарались соблюсти приличия. Выстроившись позади нас, они стояли с сосредоточенным видом. Только французский детектив присоединился к нам. Порталь, верующий католик, прочитал «Отче наш». Едва он кончил, как Ронсон закричал:

— Смотрите туда, видите, он карабкается на холм, это он, скорей, бегите!

Мы увидели тень, довольно быстро взбиравшуюся вверх, и направили туда свет фонариков; Аберо, Ронсон и оба детектива бросились вперед, мы последовали за ними.

Беглец удалялся, и мы на минуту потеряли его из виду.

— Не поднимайтесь, не поднимайтесь,— крикнул нам Кинг Востер,— оставайтесь внизу и обходите подножие холма. Мы его окружим.

— Надо помешать ему спуститься в колодец,— предупредил Аберо.— Это единственный выход, ведущий в склеп.

Мы прекратили подъем и двинулись вокруг холма.

— Вот он! — закричал Востер.— Он не успел обвязаться веревкой, чтобы спуститься в колодец, и вынужден вернуться назад, внимание, он идет к вам!

— Я держу его! — закричал Террен.— Я его держу!

— Да нет, идиот, это я! — крикнул Мастерфайс.

— Значит, это вы и бежали?

— Как — я? Ну да, бежал, но за тем человеком!

— Террен, ты спятил! — закричал Бриньон.— Вот он, беги скорей сюда!

Мы налетали друг на друга, пытаясь поймать беглеца, который хоть и был недалеко от нас, но ловко использовал несколько выступов почвы, чтобы скрыться. Фонарики светили тускло. Задыхаясь, мы прислушивались к малейшему шуму. Я подумал, что если у этого человека хватит хитрости и смелости смешаться с нашей группой, его ни за что не опознают,— так сильна была наша подозрительность и так трудно было что-либо разглядеть.

Стоя на вершине холма, Ронсон спросил:

— Вы обнаружили его?

— Да,— ответил Макгэнтер,— он скрылся в темноте в нескольких метрах от нас.

— Нам не надо ловить его, чтобы опознать,— сказал Ронсон,— оставайтесь все на местах; Ральф, устройте перекличку. Я стою здесь с Востером, Аберо и французским сыщиком, пусть те, кто стоит вокруг вас, откликнутся и таким образом снимут с себя подозрение, а кого не окажется на месте, тот и есть нужный нам человек.

— Прекрасная идея, Берни, я начинаю. Террен!

— Здесь!

— Иритьери!

— Здесь!

— Селис!

— Здесь!

— Бриньон!
— Здесь!
— Порталь!
— Здесь!
— Шавеньяк!
— Здесь!
— Вассон!
— Здесь!
— Самюэрю!
— Здесь!
— Фурнье!
— Он умер! — крикнул Ронсон с вершины холма.
— Господин директор по «человеческим отношениям»!
— Здесь,— сказал я.
— А, значит, вы здесь,— пробормотал Макгэнтер,— ловко вы меня провели, мы еще поговорим об этом, когда выберемся из этой поганой трясины.
— Рустэв!
— Здесь!
— Сен-Раме!
Последовало молчание.
— Сен-Раме,— повторил Макгэнтер.— Анри, где вы?
— Тут,— ответил голос, который я узнал с трудом,— я тут, Макгэнтер.
И генеральный директор вышел из-за выступа, за которым скрывался.
— Помилуйте, Анри! — вскричал Макгэнтер, остолбенев от удивления.— Что вы делали там, позади нас?
— Дорогой президент, представьте себе, я размышлял,— ответил Сен-Раме насмешливо,— я думал: что я должен делать? Стрелять в них или положить конец этой гнусной комедии? Я выбрал второе.
И Сен-Раме бросил на землю пистолет. Тогда Ронсон, Аберо и два детектива спустились с холма и присоединились к нам. Мы замерли, совершенно ошеломленные, выстроившись как дети, чуть ли не в линейку, перед Анри Сен-Раме, генеральным директором «Россериз и Митчелл-Франс», родом из Пулиньи в департаменте Эндр, окончившим Парижский институт политических наук, бывшим студентом Школы администраторов в Гарварде, магистром науки и техники Массачусетского института, кавалером ордена «За заслуги».
Первым опомнился Макгэнтер.
— Анри,— сказал он,— это зловещая шутка; наш ночной поход, долгое и мучительное ползанье, неожиданная смерть одного из ваших сотрудников повредили вам рассудок. Вы не тот, кого мы ищем. В противном случае, Анри, я жду, чтобы вы убедили меня в обратном и, главное, чтобы вы мне все объяснили. Мы не выйдем отсюда, пока вы не объясните мне ваше поведение целиком и полностью и пока я его не пойму.
— Дорогой Макгэнтер,— возразил Сен-Раме, и мне показалось, будто он ярко осветил этот зловонный мрак,—в таком случае я боюсь, что мы надолго задержимся здесь, а это скоро будет опасно, так как здание «Россериз и Митчелл-Франс» не замедлит провалиться. Оно не обрушится целиком, но произойдет много мелких обвалов, и мы рискуем закончить свои мрачные дни в этих подземельях, как крысы, попавшие в ловушку. Я не отказываюсь объяснить вам что бы то ни было, только ни вы, ни кто другой никогда меня не поймете — за исключением, быть может, одного человека, и я глубоко огорчен, что вижу его здесь; я сделал все, что мог, чтобы он не спускался сюда этой

ночью; в частности, это я, Макгэнтер, намекал на него в своих отчетах, говоря о виновном; я думал, что, зная о лежащем на нем подозрении, он не пойдет сегодня с нами, но он решил иначе; увы, я не мог больше отговаривать его, не навлекая на себя его подозрений. Ронсон и Аберо уже приближались к цели, я спешил закончить; позже, если вы пожелаете, я вам скажу, что именно. Единственный человек, который, быть может, поймет мои доводы и объяснения, это директор по «человеческим отношениям» — человек мужественный, честный и мягкосердечный; он сбился с пути, оказавшись среди нас.

— Ну знаете, Сен-Раме! Над кем вы издеваетесь? — взревел Макгэнтер.— Востер, схватите его!

Сен-Раме дал себя схватить без сопротивления.

— С некоторых пор я подозревал вас, Сен-Раме,— сказал Ронсон дрожащим от злобы голосом,— и один из присутствующих здесь это понял; но не директор по «человеческим отношениям», самый ценный и самый умный из ваших кадров, а заместитель директора по прогнозированию — Аберо.

— Я тоже,— тявкнул Лё Рантек, который, очевидно, испугался, что его маленькая холдинг-компания находится под угрозой,— я тоже его подозревал; он один мог так ловко подражать собственному голосу.

— Вы, видно, навсегда останетесь идиотом, подхалимом и трусом, мой бедный Лё Рантек,— сказал Сен-Раме.— Я желаю вашей партии революционных социалистов, чтобы вы были единственным в своем роде.

— Вам не давали слова! — рявкнул Макгэнтер, выйдя из себя.— Ронсон, вы правы; мы будем его судить! Составим трибунал! Где мы можем расположиться?

— Я думаю, площадка на склоне холма, где мы стояли с Востером, нас вполне устроит; она возвышается над подземными ходами, по которым мы прошли. Создадим трибунал: вы, Ральф, естественно, будете председателем, а дальше выбор за вами.

— Ну что же, это дело недолгое,— заявил Макгэнтер.— Вы, Ронсон, и вы, Адамс, будете заместителями председателя, Аберо — первым заседателем, Бриньон с его машиной из Канзаса — вторым заседателем. Востер и его коллега будут поддерживать порядок; директор по «человеческим отношениям» возьмет на себя обязанности защитника Сен-Раме. Мы, американцы, любим справедливость, у нас обвиняемый тоже имеет права: нельзя судить человека вопреки здравому смыслу. Сдержим нашу законную ярость, чтобы совершить правосудие, дадим адвоката этому предателю, ибо мы еще не знаем, действительно ли он виновен! Мы не опозорим Америку! Все остальные сотрудники будут членами суда. И поспешим: уже скоро три часа утра!

Итак, мы перебрались на площадку, образовавшуюся на склоне холма. Мы полагали, что она возвышается над подземными ходами, но это было невозможно проверить в почти полном мраке. Под ногами у нас простиралась громадная черная бездна, а фонарики освещали только эту площадку. Мы передвинули большой камень, на нем занял место Макгэнтер, Мастерфайс и Ронсон сели прямо на землю — один справа, другой слева от председателя. Остальные уселись по-турецки полукругом возле председательского камня. Кинг Востер и его коллега подвели Сен-Раме и заставили его стать на колени. Тут я заметил, что они связали ему кисти рук и лодыжки. Я стал справа от обвиняемого генерального директора. Ронсон велел каждому из нас направить свет фонарей на Сен-Раме, а ему самому держать фонарь обеими руками и освещать себе лицо.

— Мы должны видеть лицо этого негодяя в течение всего процесса,— сказал Ронсон.

Это лицо, с подбородком, освещенным снизу фонарем, производило странное впечатление. Порой казалось, будто в темноте покачивается желтое истощенное лицо привидения. И «процесс» Анри Сен-Раме начался. Во время приготовлений сотрудники предприятия не произнесли ни слова, если не считать Лё Рантека, который, как оказалось, был поглощен своими экономическими и политическими перспективами еще больше, чем я мог вообразить. Все произошедшие события могли заставить его хоть на минуту забыть о холдинг-компании, обещанной ему Макгэнтером. Но нельзя не признать, что остальных поведение Сен-Раме привело в полное замешательство; я и сегодня убежден, что большинство из них в начале этой чудовищной пародии было уверено, что они чего-то не понимают, а их генеральный директор, в угоду парижской и даже европейской технократии, выполняет один из тех маневров, секретом которых он так хорошо владел; или, в худшем случае, усталость от двух ночных экспедиций, смерть Фурнье, да еще два дня изнурительной работы расстроили легендарно крепкие нервы любимого ученика великих американских менеджеров. Только Ронсон и Аберо быстро пришли в себя после первых минут изумления и кипели от злобы, ненависти и жажды мщения, которых даже не скрывали. Макгэнтер, обычно соображавший довольно быстро и абсолютно доверявший Ронсону, вскоре уже почти сравнялся с ними в нетерпеливом желании наказать виновного. Но прежде и те и другие хотели непременно все узнать, все понять, а затем отвергнуть и сокрушить, возможно обоснованную, позицию, занятую Сен-Раме. Этой ночью я увидел воочию позорную механику, прославленную инквизицией и политическими процессами. Вначале важнее было любыми средствами доказать, что обвиняемый виновен, а не физически уничтожить его.

«Отрекитесь! — орали они в уши своим жертвам.— Отрекитесь — и вы спасете свою жизнь! Признайте свои ошибки, расскажите о своих преступлениях, и тогда вы можете попасть на каторгу, а не на виселицу».

А Сен-Раме они твердили:

— Признайтесь, что чрезмерно напряженная работа повредила вам рассудок; или скажите, что под давлением Рустэва, угрожавшего выжить вас, вы решили восстановить ваше положение, сея смуту на фирме, но не затрагивая при этом ни заводов, ни торговых предприятий. Подтвердите то или другое из этих объяснений, и тогда вы вернетесь вместе с нами наверх, разумеется, при условии, что вы подадите в отставку Большому Совету, ссылаясь на здоровье. Ну, Сен-Раме, говорите, какого черта! Вы боялись Рустэва или нет? А может, вы с недавнего времени стали все чаще замечать провалы в памяти, головокружения, какие-то непонятные ощущения? Когда вы говорили с персоналом в рупор Рюмена, разве вы не употребляли странных выражений и оборотов? Правда, Аберо? Расскажите-ка нам, Аберо! Клянитесь, господин заместитель директора по прогнозированию, говорить правду, всю правду и только правду, поднимите фонарь и скажите: «клянусь». Итак, правда, что речь Сен-Раме в тот день была совершенно бессмысленна? А на кладбище, что там произошло над могилой покойного Арангрюда? Лё Рантек, вы помните? Подойдите, господин секретарь генеральной дирекции, дайте присягу; вы тоже поднимите фонарь и расскажите нам о его ссылках на Толстого — это на могиле директора по «маркетингу»! Какой бред! Неужели человек, который практически создал во Франции «маркетинг» для колбасных изделий в целлофановой упаковке, каждый год в отпуску перечитывал толс-

тый классический роман? Бред! И он интересовался молодыми неизвестными поэтами? Бред! Что общего между вздохами Анны Карениной и окороками Корвебона? Просто бред! Ведь правда, Лё Рантек? К тому же все это вранье, и любой из вас может это подтвердить, правда, Вассон? Дайте присягу, Вассон, клянитесь говорить всю правду во имя Соединенных Штатов Северной Америки, оплота поруганных свобод; поднимите фонарь и скажите: «Клянусь!» Ну же, Вассон! Вы хорошо знаете семью Арангрюда? Сколько раз вы переспали с его женой? Шесть раз? Спасибо, Вассон!

— Это ложь! — возмутился я.

— Защита сможет говорить свободно и сколько захочет, когда получит слово! — прорычал Макгэнтер, выписывая в воздухе арабески своим фонарем.— А сейчас слово дано свидетелям обвинения. Итак, Вассон. Читал ли Арангрюд Толстого? Спасибо, Вассон. И правда, зачем бы он стал читать Толстого? А вы, Рустэв? Вы, дорогой Андре, отныне генеральный директор «Россериз и Митчелл-Франс», дайте тоже клятву, клянитесь, Рустэв, поднимите фонарь и скажите нам, что Сен-Раме собирался сделать с нашим cash-flow? Насколько он ошибался в своих расчетах? Как он скрывал свои ошибки или собирался скрывать? Ну же, Адамс, поднимите фонарь, разъясните нам механику фальсификации счетов! Как этот господин Сен-Раме целых два года дурачил нас? Слушайте, сотрудники «Россериз и Митчелл-Франс», слушайте хорошенько! Вы все слышали? А теперь Аберо может снова предстать перед судом. И пусть он нам скажет, да, пусть скажет, раз уж он гладил нежные, белые ляжки мамаши Сен-Раме, что она шептала ему на подушке!

— Ха! ха! На подушке! — подхватили хором семь или восемь ответственных сотрудников.

Аберо стал перед поверженным генеральным директором и сказал:

— Вот уж почти год, как от бессилия он прибегает к самым гнусным выдумкам.

— Это относится к частной жизни Анри Сен-Раме,— запротестовал я,— и не представляет никакого интереса.

— Как это не представляет интереса! — воскликнул Макгэнтер.— Когда человек сходит с ума, это проявляется как в постели, так и в конторе! Продолжайте, господин заместитель директора по прогнозированию.

Аберо с удовольствием изложил все подробности супружеских отношений Сен-Раме, которые, по его мнению, доказывали, что тот сошел с ума. Все это было поистине омерзительно.

— Я слышал, что этот скот так же обращался и со многими секретаршами, верно, мосье Бриньон?

— Совершенно верно, мосье.

— Клянитесь, Бриньон, поднимите фонарь!

Бриньон поднял фонарь.

Да, генеральный директор почти изнасиловал свою секретаршу, но он, Бриньон, никогда не смел об этом говорить.

Когда Макгэнтер решил, что многочисленных свидетельских показаний достаточно, слово было предоставлено Сен-Раме.

— А теперь давайте объяснения и посмотрим, будете ли вы вести себя как человек здравомыслящий! — крикнул Макгэнтер.

Вот что генеральный директор «Россериз и Митчелл-Франс» сказал в ту ночь:

— Вам хотелось бы, чтобы я был сумасшедшим, но нет, я не сошел с ума. Вы же, напротив, окончательно потеряли рассудок. Я расскажу вам историю того, что произошло в нашей компании за послед-

ние несколько дней; вы увидите, что история весьма проста и, во всяком случае, не стоит того, чтобы раздувать ее до таких размеров и тем более приводить нас сюда, на эту площадку, в подземелья нашего предприятия, меня — связывать и бросать на колени, а вас — выставлять в смешном и, сказать по правде, чудовищном виде. Но если история развивалась таким образом, то это не случайно. Теперь я знаю, что вы оказались еще более слабыми, более бездарными, чем я себе представлял. Слушайте, и вам станет стыдно. Но я предвижу, что, отрезав себе путь к отступлению своим поведением и безумными выходками, вы не найдете в себе силы выбраться из этой клоаки и либо не поверите мне, либо станете еще подлее, еще безумнее. Я не писал первого обличения. Как и предполагал кое-кто поначалу, это было творение некоего склонного к анархизму студента, который, чтобы подработать, нанялся в бригаду уборщиков, наводивших ночью порядок в нашем предприятии. Я знаю этого молодого человека, он сам со смехом признался мне в своей проделке. Но это обличение, действие, которое оно оказало, привлекло мое внимание. Такого действия наш студент никак не мог ожидать. В последние годы я пришел к убеждению, что основная роль главной дирекции на таком предприятии, как наше, состоит в том, чтобы заставить людей работать вместе, следить за условиями этой работы, почти целиком посвящать себя вопросам подготовки кадров, повышения их квалификации, их психологии, изменению внутренних взаимоотношений, новому стилю общения. Я даже поделился своими мыслями с моим директором по «человеческим отношениям», я сказал ему: «Вы увидите, отношения между людьми будут приобретать все большее значение, нервы крупных предприятий слишком перенапряжены». Предприятие во многом напоминает человеческое существо. И это еще больше применимо к фирмам мирового значения. У них есть свой мозг, свое сердце, свои внутренние органы и мускулы. Но если наши предприятия за последние двадцать лет приобрели упругие и крепкие мускулы, если производственные мощности их колоссально возросли, то мозг не успел еще развиться. Прошу прощения, но научные теории о методах управления наших американских друзей и их европейских и японских учеников стоят на более низком уровне, чем теории производства, завоевания рынков, диверсификации продукции и чисто финансовых проблем. Сначала — после войны — надо было производить; затем надо было продавать: теперь наступило время говорить, высказываться, жить — рискнем употребить этот не вполне удачный термин в применении к месту работы. Теперь психология предприятия, искусство информации, уменье уважать личность каждого из сотен и тысяч стали не менее важны для производства, то есть если перечисленные мною задачи не осуществляются руководством, продуктивность снижается. До сих пор эти факторы входили исключительно в круг обязанностей штатных психосоциологов, впоследствии директора по кадрам, а теперь директора по «человеческим отношениям»; но очень скоро они станут основными вопросами, входящими в обязанности генеральной дирекции. Это попросту означает, что внутри крупных предприятий власть перейдет в другие руки и что такая перемена вызовет беспощадную борьбу между финансами и управлением, с одной стороны, и психологией и политикой — с другой; эти битвы могут даже подорвать процветание некоторых фирм. Эра технократии подходит к концу. Слово возродится с новой силой и поставит на второстепенное место теоретиков менеджмента. И хорошо, если мы, верящие в свободу и инициативу в области политической экономии, будем первыми, кто проведет необходимые реформы, иначе другие возьмутся сделать это одним махом и разрушат наши компании. Как вы могли, хотя бы

на минуту, подумать, что перед вами был провокатор, безответственный мальчишка! Давайте говорить серьезно: зло еще поправимо. Мы сами применили к себе электрошоки. Надо уметь на них реагировать. Я все тот же Анри Сен-Раме, которого вы знали, и все мои действия имеют лишь одну цель: вскрыть наши болезни, прежде чем революционные потрясения пришлют своих врачей на наше место. И вот однажды случай в виде листовки этого студента дал мне возможность провести эксперимент на своем предприятии, чтобы проверить идеи, которые я только что изложил. Я решил воспользоваться ситуацией, чтобы испытать то, что я назвал нервами предприятия. Таким образом я превратил розыгрыш в эксперимент. Я решил подхватить эстафету и написал еще три текста. Я воспользовался смертью оплакиваемого нами Арангрюда, чтобы омрачить настроение, психологическую атмосферу предприятия. Одновременно я наблюдал за реакцией сотрудников — и особенно руководителей. С практической стороны мое положение облегчало это дело. Никто не мог меня серьезно заподозрить, и я сам распространял ложные известия и нелепые инструкции. Я собирался вскоре собрать моих ближайших сотрудников и объяснить им все то, что объясняю вам сейчас, чтобы проанализировать перед ними и вместе с ними наши ошибки, чтобы приобщить их к моим изысканиям. Подумайте: фирма «Россериз и Митчелл-Франс» могла бы еще раз показать всему миру новый метод управления, сильно опередив свое время, и я, Сен-Раме, мог бы стать образцом нового, прогрессивного руководителя! Почему же все так плохо обернулось? Почему я не сумел сдержать того, что сам развязал? По двум причинам: а) инициатива Аберо обострила ситуацию. С той минуты, как из-под моего контроля ускользнула группа таких крупных сотрудников, я уже не мог контролировать события, как мне хотелось. Действия Аберо превратили мой эксперимент в драму; б) вам не понравятся мои слова, но вы должны об этом подумать: Аберо и его коллеги ничего бы не усложнили, если бы я ошибся в своих предположениях. Но этого не случилось. Результаты даже превзошли мои ожидания. Я предвидел, что хотя мои сотрудники и получают хорошее жалованье, хотя они занимают хорошие должности в процветающем предприятии, нервы их скоро сдадут. Я знал: это люди нестойкие. Но я не предполагал, что высшие правители фирмы попадутся в ловушку. Я считал, что Макгэнтер, Мастерфайс и Ронсон не дрогнут перед подобным испытанием. Увы! Сегодня ночью — потому что похороны показались вам странными, так же как и моя речь, и потому что служащие четыре раза получили свернутый в трубку намеренно полемический текст — вы дрогнули, и вот до чего вы дошли! Вы уже не люди — вы факелы! Сегодня ночью я вас больше не вижу! Студенты, расскажи я им эту абсурдную историю, где президенты и высшие администраторы спускаются ночью в подземные галереи, увидели бы в этом очевидное и — увы! — кровавое доказательство того, что в головах и сердцах тех, кто управляет гигантскими предприятиями и экономикой Запада, положительно не хватает каких-то винтиков! Если такой вот Лё Рантек, чтобы стать управляющим холдинг-компании, вынужден пробить череп своему коллеге, я скажу, что наша система больна, тяжело больна, господа! А теперь лучше всего, если б вы меня развязали, мы поднялись бы с вами наверх и, прежде чем разойтись, хоть немного занялись бы беднягой Фурнье.

— Не спешите,— прошипел Макгэнтер,— у меня еще есть к вам вопросы и прежде всего следующий: откуда взялись трещины? В ваш эксперимент входило разрушение здания?

— К этим трещинам я не имею отношения,— живо возразил Сен-Раме,— это результат злого умысла. Я только что сказал вам, что эта

драма способствовала усилению борьбы кланов внутри предприятия: кто-то подрезал бетонные опоры газовой горелкой. Когда знаешь, что вы были способны творить этой ночью, господа, можно не сомневаться, что кто-то из вас, человек честолюбивый и беспринципный, способен ради своих целей вызвать обвал здания и свалить затем вину на обличителя. Меня первого удивило расширение трещины, и я думаю, что Рустэв, который, как всем известно, обладает солидными знаниями в области строительства, может дать нам объяснения.

— На что вы намекаете? — закричал Рустэв.

— Да ни на что, успокойтесь, Рустэв, ведь вам официально поручили заняться вопросом о трещинах?

— Ну и что? Нам всем известно, чем они объясняются. Вы мне мерзки, Сен-Раме.

— Бедный Рустэв, я вам мерзок, а мне вас жаль.

— На черта мне нужна ваша жалость! — заорал Рустэв в бешенстве и, вскочив с места, бросился к Сен-Раме.

Я стал между ними.

— Что вы хотите делать со связанным человеком, стоящим на коленях? — сказал я, готовый вступить в драку. Мы освещали друг друга фонариками, и злобный оскал заместителя генерального директора испугал меня.

— Идите сюда, Рустэв, нам надо сохранять хладнокровие! — закричал Макгэнтер.— У меня к вам еще вопрос, Сен-Раме: кто в вашей системе — если генеральная дирекция должна посвятить себя счастью отдельных лиц, условиям их труда, их информации и т. д. и т. д.,— кто же будет заниматься cash-flow?

— Хороший второразрядный администратор вместе с компетентным и преданным финансовым директором вполне справятся с делом.

— Ловко придумано, нечего сказать! — воскликнул Макгэнтер.— Ну, ладно, оставим... Вернемся к вашим объяснениям в целом, они кажутся мне совсем неубедительными, а ваше заключение просто наивным. Значит, так: мы вас развяжем и вернемся наверх. Затем мы разойдемся. А назавтра вы дадите интервью, в котором объявите, что благодаря вашей гениальности здесь этой ночью был сделан решительный шаг вперед и создан новый метод управления гигантскими американскими и транснациональными предприятиями! Положительно, Сен-Раме, вы невменяемы! Что вы об этом думаете, господа?

— Он невменяем,— подхватили все.

— Сен-Раме, я предлагаю вам сознаться, что с некоторых пор вы страдаете жестокими мигренями, что вам изменяет память и подчас вы теряете контроль над собой. Если вы сознаетесь, мы вернемся наверх и заставим вас подписать заявление в этом роде. Запрещаю вам выставлять себя напоказ перед Западным миром, вы были генеральным директором «Россериз и Митчелл-Франс», и ваша репутация менеджера имеет всемирную известность. Если вы публично отречетесь от того, перед чем преклонялись, вы нанесете сокрушительный удар нашей компании, вы посеете сомнение в умах сотен миллионов учащихся и детей, уже смущенных революционерами и задающих себе вопросы о значении нашего общества. Если вы, Сен-Раме, такой видный представитель нашей иерархии, сами поддаетесь сомнениям, тогда и вправду воплощаемые нами ценности будут глубоко подорваны. А эти ценности хороши, Сен-Раме, мы должны их защищать. И для вас лучший способ осуществить это — сделать нужные выводы из дела, которое вы не сумели удержать под своим контролем. Удалитесь, Сен-Раме, подайте в отставку по причине расстроенного здоровья; компания оставит вам квартиру, которую вы занимаете, или даст

равноценную и выплатит небывало высокое вознаграждение. Какого черта, решайтесь же, Сен-Раме, дьявол вас побери!

— Вы не заставите меня сказать то, чего я не думаю,— твердым голосом ответил бывший генеральный директор.

Тут послышался голос Берни Ронсона — он прозвучал зловеще:

— Существуют тысячи способов заставить людей говорить, Сен-Раме, и я знаю кое-какие из них.

На этот раз никто не поддержал его. Я оледенел от этих слов и на минуту подумал, что такая дикарская жестокость может изменить обстановку в пользу Сен-Раме. Но молчание длилось недолго. Макгэнтер проговорил:

— Я был бы крайне огорчен, если бы пришлось прибегнуть к таким крайностям, но тут затронуты высшие интересы моей компании. Я решительно не желаю, чтобы ее поднимали на смех и перестали ей доверять из-за генерального директора ее французской фирмы. Сен-Раме, заклинаю вас согласиться на эту сделку!

— Мне думалось, что я хорошо знаю вас, тех, кто сидит в Де-Мойне,— сказал Сен-Раме сдавленным голосом,— в газетах даже писали, что я — европейский менеджер, лучше всех усвоивший ваши методы и технику, но это неверно. Вы окружили себя убийцами; деньги, прибыль, финансовое могущество помутили вам разум. Вы исказили и извратили интеллектуальное и моральное наследие молодой Америки, вы недостойны ее.

— Вы говорите как коммунист, Сен-Раме, замолчите!

— Я говорю как человек, который вдруг понял, что он в гораздо более опасном положении, чем думал. Вы бесноватый, Макгэнтер, книги, написанные о вас крайне левыми авторами, как видно, объективны: вы бесноватый, а Ронсон — ваш подручный. Что касается тех, кто сидит вокруг вас во мраке, то взгляните на них, несмотря на темноту, они опускают свои фонари, так они боятся, что я посмотрю им в глаза! Все они трусы! Это представители бесплодного поколения, им было двадцать лет в ту пору, когда их лежащая в развалинах страна была возрождена руками людей старшего поколения, уцелевших в лагерях и на войне; они живут в рабской покорности, без идеалов и слишком быстро жиреют, чего их дети им не простят! Они безвольны и раздражительны, эгоистичны и сладострастны! Для них событием в жизни, творческим порывом является изменение меню в их излюбленном ресторане! Успокойтесь, господа! Несмотря на свет фонарей, я различаю только ваши силуэты, но я читаю в глубине ваших душонок: вы боитесь! Боитесь Макгэнтера, боитесь Ронсона, боитесь и меня! Я тревожу вас, хотя я связан и стою на коленях, вам хотелось бы, чтобы я объявил себя сумасшедшим и вы вздохнули бы с облегчением!

— Аберо,— сказал Ронсон,— у вас есть пилка для ногтей?

— Да, мосье.

— Вонзите ее ему под ногти на руке.

Аберо встал. Я увидел, что его фонарь приближается ко мне.

— Не приближайтесь, Аберо,— воскликнул я, возмущенный,— не приближайтесь! У меня есть нож, и я распорю вам живот! — Это была неправда, но я сказал первое, что пришло в голову, чтобы его остановить.

— Кинг, возьмите-ка этого директора по «человеческим отношениям» и обезвредьте.

Громадина американец подошел и быстро справился со мной. Затем вонзил большие пальцы мне в спину под лопатки и заставил меня идти вперед до самого края колодца на вершине холма.

— Только двинься,— сказал он,— и я сброшу тебя на дно!

С меня было довольно. Я обещал не двигаться. И он вернулся к Сен-Раме. Вид отверстия, на краю которого я сидел, напомнил мне, что подземный ход на дне колодца ведет почти по прямой к склепу из черно-зеленого мрамора на кладбище Пер-Лашез. Я размотал принесенную мной веревку и прочно прикрепил конец к каменной глыбе поблизости. Было темно, и никто не заметил моего маневра. К чему такие предосторожности? Потому что я боялся. Дело обернулось совсем плохо. После Сен-Раме могла настать и моя очередь, ибо, расточая мне похвалы, бывший генеральный директор навлекал на меня их месть. Он сделал из меня своего сообщника, свидетеля, который позже может не постесняться и рассказать все, что он видел, и все, что слышал. Что ж я видел в эту минуту? Востер держал Сен-Раме, Аберо вонзал пилку под ногти бывшему генеральному директору, который вопил от боли. Лё Рантек снова выскочил вперед.

— Мосье,— сказал он, завидуя и тревожась, что Аберо его снова обскакал,— могу ли я заняться второй рукой?

— Браво, Лё Рантек, давайте принимайтесь, но полегоньку, полегоньку...

— Прекратите! Прекратите! — закричал Шавеньяк, не в силах больше выносить эту сцену.

— Эй, не устраивайте истерик, с нас хватит и одной! Вы сами знаете, чем она кончилась,— пригрозил ему Ронсон.— Если не нравится, заткните уши!

С этой минуты ни один из «штабистов» «Россериз и Митчелл-Франс» не издал ни звука. Лё Рантек и Аберо, на которых страдания Сен-Раме, по-видимому, действовали возбуждающе, сопровождали пытки гнусными оскорблениями.

— Подонок! Импотент! Сколько раз ты поносил и унижал меня у себя в кабинете. Небось заткнешься теперь! — кричал Лё Рантек.

— Грязный обыватель, гнусный педик, если ты не признаешься, тебя посадят на кол! — вопил Аберо.

Неужели это возможно! Меня чуть не стошнило. Крики Сен-Раме понемногу сменились стонами. Я твердо решил бежать. Хотя я был в стороне от всех и в темноте, я принимал тысячу предосторожностей. Особенно я боялся, что, когда буду соскальзывать вниз, за мной посыпятся камешки. Я проверял, хорошо ли закреплена веревка, как вдруг ужасное явление до смерти перепугало и палачей, и трусов, и меня самого.

В глубокой тишине, прерываемой только жалобными стонами Сен-Раме, перед нами появилось привидение. Пугающий силуэт медленно брел, пошатываясь, и приближался к трибуналу «Россериз и Митчелл-Франс». Террен узнал его первым.

— Фурнье! — крикнул он.

Все бросились врассыпную. Я увидел, как фонари замелькали со всех сторон, и услышал, как кто-то звал на помощь. Какое жуткое воспоминание! И тут у нас над головой послышался глухой удар. И шум, превратившийся в раскат грома или обвал.

— Там что-то рушится наверху! — закричал чей-то голос.

Я поспешно соскользнул вниз и без препятствий, хотя и со слегка содранными ладонями, приземлился на сухую почву. Теперь с разных сторон послышались громкие раскаты, скоро превратившиеся в ужасающий грохот. Вокруг меня падали камни и комья земли. Я лег на живот, обхватил голову руками и закрыл глаза. Долго лежал я не двигаясь. Наконец снова наступила тишина. Я ощупал себя, проверяя, целы ли у меня кости. Где мой фонарь? К счастью, я нашел его около себя. Он был в порядке. Я лежал на дне колодца, а передо мной открывался подземный ход. Я был жив. И подумал о Фурнье. Значит, он не

умер. Мы решили, что он убит Лё Рантеком или задохнулся в грязи, а может, и то и другое вместе. По-видимому, он постепенно очнулся.

Я долго шел под землей. Не раз приходилось мне ползти. Порой я должен был расчищать руками проход, заваленный во время сотрясения или осадки здания. Откуда-то сбоку до меня доносились их жалобные крики, ругательства и богохульства. Они тоже были живы. Площадка, на которой заседал их позорный и безумный трибунал, должно быть, провалилась, и, возможно, их отбросило к подножию холма. А оттуда они, наверно, пытались проложить себе дорогу через обвалы и осыпи. Вот почему в моем проходе были слышны их рыдания и проклятия. На какое-то время мне даже удалось связаться с ними.

— Где вы? — спросил меня Макгэнтер.

— В подземелье, которое выходит к склепу из черно-зеленого мрамора.

— Значит, у вас есть шансы выбраться... Как только вы окажетесь на свободе, поднимите тревогу, чтобы нас вытащили наверх.

— Разумеется, я сделаю это немедленно.

— Подлец! — крикнул чей-то голос.

— Не оскорбляйте его! — приказал Макгэнтер.— Он наша единственная надежда выйти отсюда живыми.

— Как себя чувствует Сен-Раме? — спросил я.

После короткого молчания Макгэнтер ответил:

— Хорошо, мы заботимся о нем.

Тут послышался долгий жалобный крик, и я узнал голос Шавеньяка:

— Неправда, неправда, они его задушили, Ронсон задушил его своими руками, он убьет нас всех... Господи, прости нас...

Затем голос оборвался. Я думал лишь об одном — их надо спасти. Добраться как можно скорей до склепа. Нельзя задерживаться. Прежде чем отойти от места, где их было слышно, я крикнул заживо погребенным:

— Слушайте меня, вы меня слышите? Отвечайте!

— Да, мы вас слышим приглушенно, но четко,— ответил Макгэнтер.

— Я пойду за помощью, теперь вы больше не сможете переговариваться со мной, я ухожу вперед... Берегите силы... Мужайтесь!

— Спасибо,— ответило несколько голосов.

Я снова двинулся вперед. Подземный ход расширился, и я наконец дошел до выхода. Подняв фонарь, я оглядел место, где оказался. Это и был знаменитый склеп. В его бетонном полу с помощью газовой горелки была прорезана дыра. Через этот ход Сен-Раме мог проникнуть в подземелье и оттуда на предприятие. Этот склеп был завален множеством предметов: пачки нераспространенных обличений, карта подземелий, пишущая машинка, пара сапог, несколько связок веревки... Мое внимание привлек большой конверт. Я открыл его. В нем были собраны доказательства того, что Рустэв усилил волнения на фирме, подрезав опоры. Сен-Раме обнаружил отпечатки его пальцев на баллонах с кислородом и на газовой горелке. Я очень внимательно слушал в подземелье все объяснения Сен-Раме, и он меня убедил. Он был умный и гордый человек. Играть в кошки-мышки, мистифицировать своих сотрудников — все это было в его духе и соответствовало его характеру. И он у многих вызывал ненависть и злобную зависть. Превратив свое предприятие в арену для представлений и разыгрывая людей, он переоценил свои силы. И все же по существу его идеи казались мне правильными. Впредь следовало серьезно заняться нервами гигантских американских и транснациональных предприятий и осо-

бенно состоянием умов тех, кто возглавлял экономическое процветание на Западе.

Однако как выйти из этого склепа? Я тщетно искал какой-нибудь механический запор. Теперь мне оставалось только звать на помощь! Уже давно наступило утро, когда мне наконец ответил отдаленный голос:

— Кто там разговаривает в склепе?

— Это я, откройте и поскорей!

— Кто вы такой?

— Я директор по «человеческим отношениям» общества «Россериз и Митчелл-Франс», чье здание из стекла и стали возвышается на углу авеню Республики и улицы Оберкампф, недалеко от Восточного кладбища.

— Вы хотите сказать: когда-то возвышалось,— хихикнул человек, без всякого уважения к моему несчастью.

— Ах,— сказал я,— оно обрушилось?

— Да как! — воскликнул человек.— К счастью, сторожей куда-то услали. Однако это всех поражает, быть может, вы могли бы нам кое-что объяснить?

— Я все объясню,— сказал я устало,— но это длинная история.

И, обессиленный, я улегся в склепе, надеясь, что его наконец соберутся открыть.

— Подождите, я пойду позову кого-нибудь. Если они хотят узнать вашу длинную историю, не надо давать вам умереть.

Теперь я помню только одно: Макгэнтера и его свиту так и не нашли. О, мои начальники! О, мои коллеги по штабу! Где вы? Спите ли вы спокойным сном или все еще бродите, богохульствуя, в подземном лабиринте?

XXVI

Сегодня лечившая меня медицинская бригада собралась в полном составе вокруг моей постели. Одни улыбаются, другие откровенно смеются. Они счастливы, видя результаты своих усилий. Я вышел из коматозного состояния, кажется, я был в этом состоянии больше недели.

— Но что со мной случилось?

— С вами произошел самый нелепый случай,— объяснил мне главный врач.— По какой-то причине, которую вы, может быть, вспомните, вы спустились в подземелье под вашим предприятием, там вы поскользнулись, упали навзничь и ударились затылком... Удар был так силен, что вы вполне могли убиться.

— А мое предприятие,— сказал я, еще не вполне освободившись от сна, который, по мере того как я приходил в себя, казалось, все быстрее рассеивается,— это в самом деле «Россериз и Митчелл»?

— Браво! Браво! — закричали присутствующие, бурно радуясь возвращению моей памяти.— А какая у вас должность? — спросил меня главный врач.

— Должность? А что... разве я не заместитель директора по «человеческим отношениям»?

— Ура! — закричали они и стали поздравлять друг друга.

— Теперь уже можно сказать, что вы вернулись издалека! — сказал, ликуя, главный врач.— Я извещу дирекцию и ваших коллег, что вы не только пришли в сознание, но к вам очень быстро возвращается память.

Он вышел из моей комнаты и, вернувшись через пять минут, сообщил:

— Как там все обрадовались, на улице Оберкампф! Я разрешил им навестить вас, но только на десять минут, не больше... А теперь отдыхайте.

В 12 часов 30 минут они вошли в мою комнату, взволнованные, довольные, что я поправился.

— Ну, знаешь, Пий, ты нас здорово напугал! — шутит Лё Рантек.

— Мы уже начали скучать без вас, мосье, — говорил молодой Бриньон.

— А теперь,— спрашивает ласково Сен-Раме,— как вы себя чувствуете, дорогой наш Пий? Все с нетерпением ждут вас, и я могу вам сообщить приятную новость: вы уже не заместитель, вас назначили директором по «человеческим отношениям» фирмы «Россериз и Митчелл-Франс».

— Браво! Поздравляем! — восклицают Вассон, Террен, Самюэрю, Иритьери, Фернье, Селис, Шавеньяк, Порталь и все остальные.

— Повязка Вельпо вам очень идет,— добродушно шутит Роже Арангрюд,— вы похожи на пашу!

Они смеются от души. Они все так же энергичны, хорошо воспитаны, счастливы оттого, что живут, работают, производят, продают и завоевывают новые рынки. А я успокаиваюсь, видя, что они такие, какими я их знал, предприимчивые и здоровые.

— Месяц отдыха, и вы окончательно станете на ноги,— говорит Рустэв.

— Сегодня вечером,— говорит Анри Сен-Раме,— наши американские друзья приезжают в Париж: быть может, здесь будет и сам Макгэнтер. Они едут из Лондона; наступила пора совещаний по поводу бюджетов. Я уверен, что Мастерфайс будет рад вас видеть; они зайдут поздороваться с вами завтра, в это же время.

— Благодарю вас за ваше дружеское внимание,— говорю я.— А как поживает мосье Ронсон?

— Мосье Ронсон? Прекрасно,— слышится голос. И представитель Де-Мойна в Париже, стоявший до тех пор в стороне, как всегда сдержанный и учтивый, подходит к моей кровати, устремив на меня свой испытующий взгляд, и говорит: — Желаю вам скорейшего выздоровления, господин директор по «человеческим отношениям».

— Спасибо, мосье Ронсон.

— Довольно, довольно, свидание окончено,— объявляет главный врач.

Я с удивлением разглядываю все эти доброжелательные лица, склонившиеся надо мной. Неделю я был в коматозном состоянии. Неужели за это время ничего не произошло? Я безнадежно копался в моей возрождавшейся памяти, но ничего не находил.

Сегодня утром я вновь выхожу на работу после безделья, длившегося больше месяца. Я чувствую — я в хорошей форме. Насвистывая, выхожу я из метро на станции Фий-дю-Кальвер. Как приятно вновь взяться за работу! Мой кабинет, мои дела, моя секретарша, мои начальники, мои коллеги, все мои сослуживцы ждут меня. Моя компания процветает, это могущественная, гигантская, американская и транснациональная фирма. И это меня успокаивает, согревает мне сердце. В фирме поменьше моя должность могла бы быть упразднена, особенно при таком высоком окладе. Я медленно иду по тротуару улицы Оберкампф. Там впереди величественно вздымается наше здание из стекла и стали. И тут я встречаю Шавеньяка, заместителя заведующего отделом Испания — Латинская Америка.

— Привет, старина Пий, как самочувствие?

— Лучше всех,— говорю я, хлопая его по плечу.

— Послушайте, вы, наверно, не знаете последней новости,— говорит Шавеньяк.— Мне неприятно сообщать ее вам как раз в день вашего возвращения после несчастного случая, но сегодня ночью мне позвонил Порталь...

— И что же?

— Кажется, Арангрюд разбился вчера вечером на окружном бульваре, когда возвращался к себе домой. Вы уже знаете?

История странная, нелепая, жуткая. Но, если вдуматься,— не более чем мир, где она разыгрывается. Мир, в котором производство превращается в самоцель, отрываясь от естественных человеческих потребностей. Мир, в котором человеческий разум извращен и направлен на бесчеловечные цели. В котором созданная людьми Организация обретает как бы самостоятельную, неконтролируемую силу и, подминая одних под себя, превращает других в бездумных и безжалостных исполнителей ее воли.

Свой роман-памфлет Р.-В. Пий замыслил, очевидно, как обличение — отсюда и заголовок — таких организаций, как «Россериз и Митчелл». Название вымышленное, но не вымышлен тот факт, что ее прототипы — реально существующие международные монополии, чаще всего с центром в США, как их обычно называют, транснациональные корпорации (сокращенно ТНК),— набрали за последние полтора-два десятилетия небывалую силу. К началу 70-х годов они контролировали треть валового общественного продукта, половину промышленного производства и торговли, 90 процентов инвестиций капиталистических стран, а к 1990 году 300 крупнейших ТНК будут, как предполагается, давать три четверти промышленной продукции всего капиталистического мира. Десятки, а то и сотни тысяч людей во многих странах работают в отделениях и филиалах каждой из таких корпораций. В их деятельности сгущены до предела все качества современного капитализма.

Поэтому пусть читатель не относит всемирные масштабы и космические планы руководителей «Россериз и Митчелл» на счет больного воображения рассказчика. Ведь в самом деле каждая из десяти крупнейших ТНК по объему оборота превосходит едва ли не любую страну «третьего мира». Это уже не «государства в государстве», а сверхгосударства, попирающие интересы не только малых, но и крупных стран, грозящие подчинить себе весь несоциалистический мир.

Но есть мир, неподвластный этим организациям, мир социализма. Вот почему представляется неуместным однозначный подход Пийя к капиталистическим и социалистическим странам.

Ведь именно благодаря капитализму ТНК действительно не ограничивают себя экономической деятельностью, а беззастенчиво вмешиваются в политику, поддерживая деспотические режимы, которые создают для них подлинные заповедники (полуфашистский режим семьи Сомоса держится в течение нескольких десятилетий в Никарагуа благодаря помощи банново-ананасной ТНК «Юнайтед фрут компани»), и устраняя непокорные им правительства (широко известно, что «Интернейшнл телефон энд телеграф» — ТНК американского происхождения — приняла активное участие, и не только финансовое, в свержении Сальвадора Альенде). Прямо-таки гитлеровские рассуждения Макгэнтера, президента вымышленной автором фирмы, достаточно точно передают умонастроения многих высших менеджеров реально существующих ТНК. Во всяком случае буржуазная печать с похвальной откровенностью признала верность наблюдений Пийя. «Аутопсия многонациональных компаний-спрутов»,— характеризует книгу французская «Кензен литтерэр». «Фигаро» хвалит Пийя за изображение «эгоизма и трусости их политики, цинизма их теорий, стратегии и тактики». «Привлекательность бурлеска Пийя в том, что он оказывается кошмарным символом нашего мира, управляемого экономикой, символом мира, думающего только о прибыли, росте сбыта, обращении капиталов и предметов потребления». Это — из рецензии в «Нойе цюрхер цайтунг», крупнейшей буржуазной газеты Швейцарии, страны, давно уже ставшей надежным прибежищем ТНК. Не рецензии, а прямо-таки акты самокритики.

Да и судилище, которое учиняют руководители «Россериз и Митчелл» над обличителем, зверская расправа с непокорными служащими, обстановка всеобщей слежки и взаимного подсиживания недалеки от действительности. Известно, что крупнейшие капиталистические предприятия имеют собственную внутреннюю полицию, которая демонстрирует свои фашистские замашки в столкновениях с забастовщиками и прочими инакомыслящими. Что касается нравов, царящих на Олимпе западного и особенно американского бизнеса, то читатель «Иностранной литературы» знаком с ними по ранее напечатанным в журнале вещам, таким, как «Крупная игра» Дж. Дайса, «Победители без лавров» Дж. Квирка, как, впрочем, и по ежедневной печати.

Навязчивая идея руководителей «Россериз и Митчелл» — превратить мир в единое гигантское предприятие — противоречит человеческому естеству, многообразному, неисчерпаемому и, к счастью, невыпрямляемому до конца. Любое проявление тоталитаризма, даже если он, как видим, камуфлируется демократической фразеологией, глубоко враждебно человеку. Враждебно и опасно — прежде всего потому, что при всей своей бесчеловечности он способен подчинить себе массы людей. В романе Пийя он заражает верхушку фирмы, ее ответственных работников, а из истории известно, что эпидемии тоталитаризма поддавались целые народы. Оказалось, что цивилизация, культура — оболочка, легко разрушаемая. Выражаясь словами Пийя, «человек, которому потребовалось миллионы лет, чтобы возвыситься над животным, порой, к своему несчастью, снова становится им за одну-две секунды». Становится, чтобы спасти себя, но спасает лишь свою шкуру, да и то не всегда, а при этом начисто утрачивает человеческую сущность.

В романе наглядно показана эскалация тоталитаризма — как протестуют вначале сотрудники фирмы, прежде чем подвергнуться унизительной проверке, как соглашаются на взаимную слежку лишь «в порядке исключения» и как постепенно втягиваются в недостойные действия, становятся безропотными, даже ревностными участниками «охоты за ведьмами». А потом уже расталкивают друг друга локтями, не останавливаясь и перед убийством, лишь бы выслужиться перед начальством. И по мере того как добиваются успеха на этом скользком пути, они начинают упиваться причастностью к власти, их распирает самодовольство — чувство, полярное подлинному чувству собственного достоинства.

В группе высших служащих ТНК автор усматривает наиболее благодатную среду для современного тоталитаризма. Иначе говоря, книга Пийя обличает и весь слой «технократии» — специалистов-интеллигентов, поставивших себя и свои знания на службу государственно-монополистическому капитализму. Служение Организации деформирует их, превращает в нравственных уродов. Да и интеллект их ограничен: в конечном счете им присущи не подлинные, а частичные, ублюдочные знания. Подавлены их реальные способности, опасные для Организации. Как пишет Пий, «в те времена не было ничего хуже, чем обладать талантом или проницательностью». Если совесть вытеснена у них социальной приспособляемостью, то ум заменила им пробивная сила. Потому-то такие дутые интеллектуалы-организаторы оказываются беспомощными в кризисной, непредвиденной ситуации, неспособными спасти собственную систему.

И как убога, в сущности, их жизнь, обреченная карьере! Ее пустоту и бессмысленность не в состоянии скрыть элегантный, модный облик их самих, их вещей, их жилищ. Напротив, этот облик лишь подчеркивает их схожесть, обезличенность, а потому и взаимозаменяемость. Вот почему среди технократов царит дух всеобщей зависти и недоверия. А уж когда в их среде обнаруживается необычная, совестливая личность, наделенная к тому же способностями, они дружно накидываются на нее. Печальная судьба белой вороны в стае черных.

В расправе с Сен-Раме принимают участие технократы разной политической окраски — и правые, и «левые». Лё Рантек, член некой партии революционных социалистов, ведет себя как отъявленный фашист. Нельзя не связать эту парадоксальную, казалось бы, ситуацию с событиями нынешнего года, когда, например, убийство Альдо Моро было осуществлено ультралевыми террористами явно по заданию правобуржуазных кругов. Подобные ситуации повсеместны в западном мире.

Технократы из штаба высокого мнения о себе и с пренебрежением поглядывают на нижестоящих. Но в конечном счете они бóльшие рабы системы, чем рядовые сотрудники: ведь они лишены всякой независимости, даже в частной жизни.

Придать им показную значимость призван напыщенный, нелепый ритуал «группы по поискам злоумышленников» — масонская ложа, оборачивающаяся инквизицией. Зловещие речи Аберо, главы этой группы, как бы подтверждают излюбленные размышления американских «новых левых» об античеловечном шаманстве технократии.

В полном соответствии с этим качеством находится издевательски блестящая речевая характеристика персонажей романа. Их рассуждения, а потому и само повествование, не более монотонны, чем их жизнь. Выспренние, тягучие и трескучие монологи, округлость периодов призваны замаскировать злобность и ничтожество действующих лиц. Старомодная высокопарность сочетается у них с бюрократическими оборотами, с современным жаргоном менеджеров, в котором специальные термины прикрывают банальность мысли и скудость воображения. Это так называемый franglais — французский язык, засоренный англицизмами, точнее, американизмами, ибо Соединенные Штаты — Мекка западноевропейской технократии, а американские бизнесмены — ее пророки.

На них обрушил Пий весь свой сарказм. Это, можно сказать, третья линия обличения в романе. Макгэнтер и его присные, наглые, самодовольные и невежественные, с немногими, но целенаправленными мозговыми извилинами, предстают в романе острыми карикатурами на американскую властвующую элиту.

Острыми, но верными ли? Конечно, узкоэкономический, технократический подход, не учитывающий социальных, человеческих факторов, в перспективе обречен на провал, но это не исключает возможной его эффективности на каждом данном этапе. Избранному автором жанру вполне соответствуют насмешки над банальностями, выдаваемыми за экономические знания; однако реальные знания в этой области все-

таки полезнее для управления, чем отсутствие их, а специалист, который, как сказал Козьма Прутков, подобен флюсу, лучше невежды. Верно, что в искусственном стимулировании потребления — каждый год-два менять автомашину и т. д.— есть свой кретинизм, но высокий уровень потребления в условиях развитого капитализма немало значит. Один из персонажей романа восклицает, обращаясь к рассказчику: «Вы все твердите мне об обществе потребления, но вы же сами прежде всего пользуетесь его благами». Это — сложное противоречие, цементирующее систему. Ведь мир в целом страдает не от избытка, а от недостатка потребления.

По ходу повествования кажется — система находится накануне гибели, здание ее вот-вот рухнет. Да и обличитель восклицает: «Эра технократов приходит к своему концу». Но здесь он, с его типичным для западной левой интеллигенции мыслительным максимализмом, заблуждается: конец не столь близок и, уж во всяком случае, не наступит автоматически. Впрочем, сам Пий не теряет здесь чувства меры, поскольку крушение фирмы, как выясняется, лишь чудится — ему или рассказчику.

Если говорить серьезно, не все технократы так уж глупы. Клод Мориак в «Фигаро» предсказывал, что элита западного менеджмента будет раздражена романом. Непохоже! В шедшем у нас фильме «Доктор Франсуаза Гайян» муж героини, крупный менеджер, предстает в первых кадрах совсем не раздраженным за чтением романа Пийя. Да и единодушно одобрительные рецензии на роман не только в левой, но и в буржуазной прессе подтверждают: современный капитализм достаточно умен, чтобы учитывать «критику со стороны», как он это уже сделал в отношении «молодежной революции» 60-х годов, и достаточно ловок, чтобы превращать в расхожий товар «потребительского общества» изначально враждебные ему явления — продукты той же молодежной «контркультуры». Как, впрочем, и романы Пийя. Вряд ли одним только традиционным свободомыслием французских писателей и критиков можно объяснить тот факт, что первый роман Пийя получил премию «Медичи», а «Обличитель» — еще более почетную премию «Фемина».

И все же Пий точно описал новейший симптом кризиса системы. Речь идет об образе Сен-Раме. Преуспевающий директор французского филиала, блестящий технократ, обладающий дипломами лучших вузов США и Франции, оказался обличителем, бросившим вызов всевластию ТНК. В этом парадоксальном, казалось бы, образе спрессована суть «студенческой революции» 60-х годов, первого крупного взрыва внутри современной монополистической системы. В самом деле, ведь это движение началось с привилегированных вузов Запада, и силу ему придало небывало активное вовлечение интеллигенции, работающей в жизненных центрах государственно-монополистической системы. Это был бунт не в кубрике буржуазного корабля, как прежде, а в его кают-компании. Правящая буржуазия привыкла искать врагов в другом лагере, а они просочились внутрь системы. Трещина в фундаменте «Россериз и Митчелл» оказывается верным символом.

Почему столь преуспевающие люди, как Сен-Раме, которых система лелеет и балует, становятся ее разрушителями? Причина, думается, в их подлинном, аналитическом уме, не позволяющем закрывать глаза на неразрешимые противоречия системы. Причина — в их верности этой непреходящей культурной традиции. Это и разводит их с сильными мира сего, отбрасывает по разные стороны баррикады. «Вы исказили и извратили интеллектуальное наследие молодой Америки!..» — обвиняет Сен-Раме Макгэнтера. «Вы говорите, как коммунист»,— взрывается тот в ответ. И хотя такие столкновения нередко оканчиваются личной трагедией, как это происходит в романе с Сен-Раме, именно они вселяют надежду. Они демонстрируют извращенность системы, ее иррационализм, ее безумие. Не случайно читатель так и не узнает из романа, произошли ли все события в действительности или в больном воображении рассказчика. Но не к первому ли объяснению клонит автор, указывая точную топографию событий? Во всяком случае. Андре Стиль в «Юманите» охарактеризовал роман как «выразительную сказку о слишком реальном мире — о прогнившем обществе». А уже упоминавшуюся «Нейе цюрхер цайтунг» роман навел на мысль о корабле дураков, «в который угрожает превратиться наш мир и на котором мы все давно находимся!».

Безумная и потому исторически обреченная система, как бы сильна она ни была, какой бы непреоборимой ни казалась. «Самое могущественное в мире предприятие стало вдруг местом всеобщего помешательства, сценой абсурдного и зловещего спектакля». Это — фраза из романа, а подтверждениям тому в реальности — несть числа.

Причудливое переплетение реальности с вымыслом, точнее, с бредовыми, абсурдными сценами побуждает задуматься над жанровым ключом романа. Детективная канва, выливающаяся в пародию на детектив. Панегирики в адрес Организации и ее лидеров, оборачивающиеся насмешкой. Сложная интрига и подчеркнуто тягучий, даже занудный ход событий. Буффонные и в то же время зловещие фигуры, скорее — скелеты. Но разве в такой жизни может быть иначе?

Автор, судя по всему, считает, что эта жизнь не заслуживает ничего другого, кроме издевательства. Символична сама должность главного героя — рассказчика: директор по «человеческим отношениям». Эти слова в повседневной практике употребляются всерьез и без кавычек; так именуется впервые разработанная амери-

канцем Э. Мэйо главная доктрина современного капитализма в отношении рабочей силы, сводящаяся к использованию коллективистских отношений между трудящимися в целях их беспрепятственной, бесконфликтной эксплуатации. В романе, как и в жизни, эти высокие слова оказываются профанацией.

Но авторская ирония направлена не только против транснациональных монополий, технократов, американских бизнесменов Заметим, что главным героем, отвечающим за «человеческие отношения» у «Россериз и Митчелл», оказывается не кто иной, как Р.-В. Пий. Он же — рассказчик. Он же, наконец, и автор романа. Заметим далее, что все эти три Пийя далеко не тождественны, хотя и совпадают — частично. **Главный герой** воспринимается как ограниченный, но изначально честный служака, хотя, как и все персонажи, идет на компромиссы, подыгрывает фирме, заискивает перед ее руководителями. (К сведению читателей: автор романа действительно служил в фирме, хотя и не столь крупной, как «Россериз и Митчелл».) Нельзя не ощутить, что от главного героя **рассказчик** отличается большей вдумчивостью, широким кругозором, причем гуманистическая ориентация роднит его скорее с обличителем Сен-Раме. Не потому ли именно рассказчика подозревает Макгэнтер? Наконец, позиция **автора,** язвительного критика этого общества, недвусмысленна и ясна читателю.

Как истолковать эти три ипостаси Р.-В. Пийя? Думается, как воплощение духовной и социальной «расщепленности» современной западной интеллигенции. С одной стороны, она добросовестно служит, вынуждена служить властвующей буржуазии. С другой, она осознает опасности и ловушки этого пути. С третьей — ибо есть и третий ракурс ее самоощущения,— присущая ей функция создателя культуры побуждает ее остро критически оценивать и властвующую буржуазию, и собственное социальное прислужничество. В «тройственности» Р.-В. Пийя, таким образом, отражаются противоречия «несчастного сознания» интеллигенции.

Эта многослойность не могла не усложнить структуру романа и, вероятно, затрудняет его понимание. Впрочем, французские писатели высоко оценили в романе изощренность замысла и уровень выполнения. «Определенный гений, хотя и слегка безумный»,— сказал Клод Мориак о Пийе, а Андре Стиль употребил формулу: «реализм в квадрате». Рецензенты сравнивают Пийя с Джойсом, Астуриасом, Жарри; наверное, было бы точнее говорить о сплаве «Процесса» Кафки с «Парижскими тайнами» Эжена Сю. Впрочем, так ли уж нужны параллели? Мы познакомились со своеобразным писателем-сатириком, пишущим на неизвестные у нас темы. А уже одно это привлекает.

Е. АМБАРЦУМОВ

ИВ БРАЙЕР. Франция. Рисунок.

Критика

ГЕОРГИЙ
АНДЖАПАРИДЗЕ

ГДЕ КОНЧАЕТСЯ РИВЕР-РОУД?

Заметки о творчестве Меджи Мванги

Наверное, не одному профессиональному критику знакомо естественное чувство некоторой неловкости, когда приходится общаться и подолгу беседовать с писателем, произведения которого он не читал. Подобное смущение я испытал осенью 1976 года в Ташкенте, где во время встречи молодых писателей стран Азии и Африки подружился с литератором из Кении Меджей Мванги. С этим могучего сложения человеком, вовсе не «писательского», а, скорее, спортивного типа, лицо которого вдруг озаряла удивительно застенчивая и добродушная улыбка, мы сошлись легко и просто. Говорили подолгу и о многом: о путях литературы в современном мире, о творчестве прекрасного кенийского прозаика Нгуги Ва Тхионго, которого Мванги с полным основанием считает своим учителем, об узбекской земле, на которой и Меджа, и я были впервые... Во время ташкентских бесед родилась потребность узнать Мванги-писателя.

Справедливо говорят, что биография писателя в его книгах. Приведу сухие, но необходимые факты его жизни. Меджа Мванги родился в 1948 году в провинциальном городе Наньюки, где окончил начальную школу. Среднее образование получил в Найроби, в Киниата-колледже. Работал звукооператором во французской радиовещательной корпорации, потом короткое время — сотрудником отделения Британского совета в Найроби. Теперь целиком посвятил себя литературному труду.

В этой небогатой событиями биографии есть одна принципиальная особенность — талант и мировоззрение Мванги формировались на родине, в стране, завоевавшей независимость. У подавляющего большинства писателей Африки старшего и среднего поколений судьба складывалась по-иному. Такие видные представители литературы африканского континента, как Чинуа Ачебе, Воле Шойинка, Нгуги Ва Тхионго, Квеи Арма, Киприан Эквенси, Монго Бети, либо получили высшее образование на Западе, либо учились хотя и на родине, но в руководимых белыми миссионерами школах и колледжах. Их отношение к европейской культуре точнее всего можно определить как сложный комплекс притяжения и отталкивания. Достаточно хорошо узнав образ жизни европейцев, их нравственные и эстетические ценности, многие представители африканской интеллигенции не могли не абсорбировать некоторые из них, заимствовать показавшиеся им привлекательными черты европейской цивилизации, определенные литературные традиции. В то же время они не забывали о том, что обучавшие их европейцы были в большинстве своем носителями чуждой идеологии, основной постулат которой, несколько упрощая, мог быть сведен к известному и неизменному — превосходство белого над небелым.

В каком-то смысле реакцией на этот старый имперский тезис стала теория «негритюда», сторонники которой проповедовали и абсолютизировали биологические различия между расами, выводя из них различия психологические и даже общественно-поли-

тические. Не желая примиряться с навязываемым африканцам подчиненным положением, сторонники «негритюда» вовсе не стремились к равенству людей с разным цветом кожи, они считали необходимым обособить африканское общество и его культуру, оградить его от любых внешних воздействий. Но это, разумеется, оказалось невозможно.

Художественная литература Африки отражает болезненный процесс ломки патриархального уклада, возникновения новых типов общественных отношений, которые в свою очередь оказываются далеко не идеальными. Характеризуя современный этап развития африканского романа, советский исследователь африканской литературы И. Никифорова пишет, что его содержание составляет конфликт личности, воплощающей прогрессивное сознание (иногда — относительно прогрессивное, как в случае героя, выражающего идеи буржуазного прогресса), с различными обнаруживающими свою несостоятельность формами социальной организации: с колониальной системой, с традиционными нормами африканской среды, с явлениями буржуазной цивилизации, духом стяжательства и индивидуализма [1].

Это определение в целом справедливо и для творчества Мванги, хотя в последних романах молодого писателя начинают появляться новые герои и интонации, не присущие произведениям его старших собратьев по перу.

Мванги написал четыре книги. Причем опубликованная первой повесть «Убейте меня скорее» (1973) — в русском переводе «Неприкаянные» [2] — была по счету третьей. Ей предшествовали романы «Жертва для гончих собак» и «Вкус смерти». Правда, увидели свет они позже — в 1974 и в 1975 годах соответственно.

Первые две вещи посвящены движению мау-мау — национально-освободительной борьбе народов Кении против британского господства. Этот период жизни родной страны для молодого писателя был уже историей, хотя и недавней. Мванги обращается, пожалуй, к одному из наиболее напряженных и важных моментов, когда простые люди Кении впервые почувствовали, что, объединившись, они становятся реальной, мощной силой, способной сбросить вековой гнет.

Герои Мванги каждый день побеждают в себе, вытравляют из глубин своих душ десятилетиями копившийся страх перед белыми. Необходимость, внутренняя потребность кенийцев встать на путь борьбы с колонизаторами — тема романа «Жертва для гончих собак», сюжетная структура которого организуется переплетением судеб трех героев: партизанского генерала Хараки, бывшего районного комиссара, а ныне капитана колониальных войск англичанина Кингсли, товарища детских игр Хараки, вождя деревни Симбы, ставшего верным прислужником англичан.

В изображении этих трех противостоящих друг другу героев уже в полной мере проявляется одна из главных черт художественного почерка Мванги — трезвая объективность в подходе к людям и событиям. Можно сказать, что во всех своих книгах писатель предельно объективен к тем, о ком он пишет. Но объективность вовсе не тождественна беспристрастности. Нет никаких сомнений в том, на чьей писатель стороне: он всегда на стороне народа, на стороне угнетенных и обездоленных. Его объективность трезва, беспощадна, страстна.

Мванги не ограничивается разоблачением британских колонизаторов. Это сделано его старшими собратьями по перу, и замечу кстати, английскими писателями, создавшими ряд широко известных произведений антиколониальной темы: Дж. Олдриджем, Д. Стюартом, Н. Льюисом, Б. Дэвидсоном. Существует богатая и значительная литература, вынесшая строителям и защитникам Британской империи суровый и справедливый приговор. Мванги же более всего занимает неизбежный кризис имперской идеологии, не выдерживающей столкновения с живой жизнью. Англичане у Мванги не безжалостные и кровожадные звери, хотя, как известно, с повстанцами и им сочувствующими они расправлялись очень жестоко, избивали их и пытали; на территории Кении, как и во многих других африканских странах, было множество концлагерей для «террористов» из местного населения. Субъективно англичане — люди как будто бы даже неплохие, но объективно они служат неправому делу угнетения одного народа другим.

Быть может, полнее всего отношение Мванги к англичанам выражено в образе капитана Джорджа Кингсли, руководителя операции «Харака». Кингсли — человек храбрый и неглупый, он стремится до конца выполнить свой долг, как он его понимает, и поймать мятежного Хараку. Он непоколебимо уверен в богом данном праве, если даже не долге, британцев «руководить» Африкой. И потому ни на минуту не сомневается в том, что «террористы» будут подавлены и уничтожены.

Образ противника Кингсли — неуловимого партизанского генерала Хараки — дан писателем в сложном единстве противоречивых черт: большое личное мужество, умение легко и спокойно переносить любые лишения, недюжинные организаторские способности и талант полководца сочетаются в нем с нерешительностью, склонностью к рефлексии, неуверенностью в себе.

Харака умно руководит своей маленькой армией, но это — природный талант, ему не хватает образования, самых элементарных знаний.

---

[1] И. Д. Никифорова. Африканский роман. М., «Наука», 1977. стр. 175.

[2] Опубликована в «ИЛ» № 2—4, 1977.

ГЕОРГИЙ АНДЖАПАРИДЗЕ
ГДЕ КОНЧАЕТСЯ РИВЕР-РОУД?

Путь Хараки к партизанам, думается, типичен: его протест в своих истоках во многом стихиен — он рождается из чувства попранного достоинства. До какого-то момента Харака был «спокойным вождем» деревни, вполне довольным своим привилегированным положением. Но когда всемогущий районный комиссар Кингсли подымает на него руку, Харака, быть может, чуть-чуть даже неожиданно для себя самого отвечает ударом на удар. Ему остается одно — бежать в лес, присоединиться к партизанам.

Харака жаждет свободы для своего народа и готов отдать за нее жизнь. Впрочем, в глубине души он сомневается в том, что можно победить англичан,— ведь у них регулярная армия и полиция, вертолеты, самолеты, автомашины. Противостоят же этому прекрасно отлаженному механизму разрозненные группки необученных, плохо вооруженных людей. Казалось бы, опасения Хараки оправдываются — его отряд разгромлен превосходящими силами противника. Но мрачный финал не лишает книгу оптимизма. Победа будет за патриотами — ведь на их стороне сама природа: загадочный тропический лес, набухший от непрекращающегося неделями ливня, словно затаил враждебность к чужакам, но служит надежным убежищем для Хараки и его товарищей; раскисшие от дождя дороги, где все время вязнут мощные машины англичан... В подобном одухотворении силы природы легко заметить фольклорную традицию, характерную для многих произведений африканской прозы.

Традиционен и образ африканского «коллаборациониста»—вождя Симбы, ограниченного и грусливого честолюбца, готового принять власть из любых рук, добиться ее ценой предательства интересов народа. Образ Симбы важен для верного понимания дальнейшей идейной эволюции Мванги. В вожде-предателе он справедливо видит предтечу тех африканцев, которые после завоевания независимости сразу же стали преследовать исключительно эгоистические цели собственного обогащения, поступаясь интересами народа. С самого начала своего творческого пути молодой писатель был совершенно свободен от теоретических установок «негритюда» в плену которых в разное время оказывался ряд галантливых литераторов Африки. Мванги никогда не провозглашал идею «единства» черной расы, хотя в первых его вещах еще нет отчетливого понимания классового характера общественных отношений. Это объяснимо и закономерно. Линия политического размежевания в колониальном обществе периода борьбы за национальную независимость не всегда определяется классовой принадлежностью. Подлинные патриоты рождаются и среди представителей имущих.

Далеко не оптимистические интонации звучат и в известной советскому читателю повести «Неприкаянные». Двое деревенских парней Меджа и Майна, закончив школу, приезжают в город, чтобы найти работу. Но работы для них нет. Вернуться домой они не смеют — слишком большие надежды питали их родители, из последних сил стараясь выучить сыновей. Они ждут от них денег, необходимых для младших братьев и сестер. Капиталистический город с готовностью демонстрирует молодым людям свою изнанку — трущобы, сточные канавы, мусорные свалки, где мучимые голодом ребята ищут себе пропитание. Все их попытки заработать на жизнь честным путем оканчиваются неудачно. Причем нередко открытую враждебность проявляют по отношению к ним и африканцы — на принадлежащей белому хозяину большой ферме их злейшими врагами становятся отъевшийся и жестокий приказчик и коварный старик Бой, в результате происков которого их выгоняют даже с этой незавидной работы. Многое, очень многое осталось в Кении по-старому — большинство ферм, контор, предприятий как принадлежало белым, так и осталось в их руках.

На наших глазах происходит жестокая социальная трагедия. Чтобы не умереть с голоду в буквальном смысле, герои повести — неплохие и нетлупые ребята — вынуждены стать преступниками. Повесть «Неприкаянные» несет гневное обвинение обществу, равнодушно губящему своих сыновей.

Жизненный материал, ставший основой произведения, очевидно, известен родившемуся в бедной семье молодому писателю не понаслышке. Недаром имя одного из героев — Меджа Мванги.

Вряд ли имеет смысл устанавливать, так сказать, степень автобиографичности этого образа. Его безусловную типичность подчеркивает и сходство судеб, и близость характеров обоих героев. Писатель даже не стремится резко индивидуализировать их. Они отличаются только темпераментом. Меджа более ровный, спокойный человек. Майна же эмоциональней, он склонен к озорству, причем не упускает случая свалить свои проделки на товарища. Такими разными и в то же время очень похожими они «вступают» в повесть, такими же они остаются и в трагическом финале: Майна в состоянии аффекта убивает ни в чем не повинных людей. Меджа становится тюремным завсегдатаем.

У персонажей трех первых произведений Мванги отсутствует внутренняя динамика характера. Они действуют либо под влиянием душевных импульсов, либо под давлением внешних жизненных обстоятельств, которые, изменяя их образ жизни и повадки, не слишком затрагивают их души. Так, и Меджа, и Майна даже превратившись в профессиональных преступников, по сути дела где-то остались все теми же несмышлеными и неудачливыми мальчишками, ибо они — преступники поневоле.

Динамику, внутреннее развитие характера обретают центральные персонажи самого значительного произведения Мванги «Улица Ривер-роуд» (1976), действие которого происходит в современной Кении.

Этот роман в идейном и в художественном плане представляет собой продолжение и углубление тематики, затронутой в «Неприкаянных».

Обе книги пытаются дать ответ на вопрос о том, как же получилось, что новое общество, в долгой и кровопролитной борьбе за которое сложили головы лучшие сыны народа, относится к подавляющему большинству своих граждан словно к нелюбимым пасынкам?

Независимость, добытая титаническим напряжением всех сил народа, отнюдь не принесла в каждый дом работу, достаток, равноправие. В свое время антиколониальное движение объединило под своим знаменем людей разных народностей и племен, разных имущественных положений, но омытые кровью плоды свободы достались не всем.

Сформировавшаяся еще в период колониализма национальная буржуазия многих африканских стран завладела руководящими постами в экономике и стала рваться к политической власти. Разрыв между новой элитой и народными массами стал расти с угрожающей быстротой. Ведь буржуазия и после предоставления независимости осталась буржуазией со свойственными ей как классу повадками, не ведающими расовых барьеров и национальных границ. Африканцы-буржуа немедленно занялись личным обогащением, первичным накоплением капитала... А за чей счет? За счет своих же соотечественников, которые как были, так и остались нищими.

«Я смотрю вокруг и вижу скорбные лица, несбывшиеся надежды, невыполненные обещания. Мы, ходившие в школы и колледжи, получающие регулярное жалованье, сумели быстро заполучить себе местечко в «среднем классе». Став владельцами автомашин, земель и особняков, мы поспешили забыть о том, что, как и наши европейские и азиатские «братья по среднему классу», живы за счет труда миллионов. Мы начали погоню за личной выгодой, заглушая внутренний голос протеста и уверяя наших соотечественников, что делим национальный пирог в интересах всей нации. Правящая элита легко рассталась даже с намеком на национальные идеалы. Когда вокруг нас раздаются голоса голодных и страждущих, мы только твердим в ответ: «Тише! Вы подрываете шансы нашего племени урвать кусок пирога побольше» [1].

Вот в эти «скорбные лица» суждено вглядеться читателю «Улицы Ривер-роуд», услышать «голоса голодных и страждущих», громко вопиющие с ее страниц. Главным героем романа стал неимущий трудовой люд. Но это, так сказать, коллективный герой. На первом же плане два центральных персонажа — Бен Вачира и его приятель Очолла Оньянго, которых свела и подружила совместная работа на стройке двадцатипятиэтажного Дома Развития. Бен, что называется, знавал лучшие времена, служил в армии, командовал минометным взводом, работал на «чистой» работе в страховой компании «Панафрикэн». Очолла же пришел в город на заработки из погибающей от засухи деревни, и его можно считать старшим братом Меджи или Майны.

В «Улице Ривер-роуд», равно как и в «Неприкаянных», нет и следа фольклорных мотивов, почти нет никаких описаний природы. Это — типичная современная городская проза, суховатая и жестокая.

Собственно, «Улица Ривер-роуд» обладает всеми внешними приметами производственного романа. В ней подробно описывается трудовой процесс на стройке, где почти нет современной техники и основная нагрузка падает на плечи многочисленных неквалифицированных рабочих. Книга открывается утром трудового дня, когда к центру города с его окраин медленно сползаются плохо одетые, изможденные люди — «они уныло и обреченно тащились вперед, точно рабы, прикованные к вороту персидского водонаборного колеса». Обычно рабочий день начинается с перебранки с табельщиком, раздающим наряды, потом с бестолковым десятником Юсуфом, получившим свое место только потому, что его дядья — подрядчики, и неспособным внести хоть какой-нибудь порядок в царящую на стройке фантастическую неразбериху. Даже пообедать строители могут едва ли не с риском для жизни. Киоски, где торгуют продуктами, расположены на противоположной стороне широкой магистрали, по которой с бешеной скоростью несутся машины, никогда не тормозя на переходах. И почти каждый день кто-то из пешеходов гибнет под колесами. Скудной пищи часто не хватает, в целях борьбы с эпидемиями киоски время от времени закрывают. Зато вечером рабочие свободны получить единственное из доступных им удовольствий — посетить одно из дешевых злачных мест, которых так много на Ривер-роуд.

В повествование о рабочем дне вплетаются эпизоды из прошлого Бена, воспоминания о первой встрече с возлюбленной Уини, о скандальном увольнении из армии. Оказавшись в самом низу кенийского общества, Бен все время помнит о том, что когда-то был другим, и относится к своим сегодняшним товарищам с элементом легкого презрения: «И вообще, Бен этим крысам не ровня. Было время, когда он преуспевал в рамках той системы, которую работяги так ненавидят». Бен в самом точном смысле слова — продукт системы, при которой «за все надо платить». Принцип «каждый за себя» он усвоил прекрасно и соглашается за солидную сумму продать шайке гангстеров подотчетный ему как командиру взвода миномет. Но, не сумев разобраться в инструкции, гангстеры взорвались вместе с минометом, а незадачливый «делец Бен», так и не получивший причитавшихся ему денег, был уволен из армии. И сегодня его не мучают угрызения совести. Осталось только чувство досады, что

---

[1] Нгуги Ва Тхионго. Избранное. М., «Прогресс», 1977, стр. 323.

ГЕОРГИЙ АНДЖАПАРИДЗЕ
ГДЕ КОНЧАЕТСЯ РИВЕР-РОУД?

ему не повезло. Для него подобная сделка с гангстерами совершенно оправдана, ибо «такие были времена, что мне все казалось нипочем. Каждый торопился разбогатеть, и любые средства были хороши. Вся эта паршивая страна шла с молотка — лишь бы покупатель нашелся. Парни, что разъезжают теперь в лимузинах, именно так и набили себе карманы, а я оказался никудышным торговцем».

Конечно, легче всего обвинить Бена в безнравственности. Но это было бы немалым упрощением. Когда мы впервые встречаемся с Беном, он, безусловно, прежде всего эгоист: не смущаясь, позволяет Уини содержать себя, третирует ее ребенка Детку, надеется с помощью возлюбленной, секретарши белого босса, устроиться на «тепленькое» местечко. Испытания, выпадающие на долю Бена,— тяжелый труд, бегство Уини, угроза его жизни со стороны бывшего подчиненного сержанта Онезмуса, который уверен, что Бен получил и присвоил деньги за проданный миномет,— открывают ему истинную ценность человеческих отношений, пробуждают в его душе первые ростки человечности. Происходит этот процесс не только под воздействием внешних обстоятельств, но и под влиянием взаимоотношений между людьми, открывающих в самом Бене чувства, о которых он ранее и не подозревал. Верная привязанность брошенного матерью Детки к Бену вдруг пробуждает в последнем мощное отцовское чувство — впервые он начинает испытывать ответственность за другого человека, за его будущее. Эта забота о слабом и беззащитном говорит об известном духовном росте героя.

Как на первый взгляд ни парадоксально, много дает Бену и дружба с забулдыгой и оборванцем Очоллой. Вечно с «последней» сигаретой, пропивающий получку, вместо того чтобы послать деньги в деревню близким, Очолла мягок и добр. Он преподносит Бену несколько уроков истинной человечности: спасает его от преследований звероподобного Онезмуса, дает кров. И когда Бен вдруг понимает, что он может потерять своего единственного друга, он бежит вслед за ним по пустынной в этот ночной час Ривер-роуд...

А каковы остальные рабочие, занятые строительством Дома Развития?

Первое, что бросается в глаза,— работают они с ленцой, без напряжения. Тому есть весомая причина: «Им торопиться некуда: возведут они все двадцать пять этажей Дома Развития и снова очутятся на улице без всякой надежды найти работу».

Отношение к ним подрядчиков и десятников соответствующее: «Руки! Вот кто они такие! Только и всего. Если бы подрядчики могли раздобыть механические руки, они бы всех рабочих прогнали. Для Юсуфа и его дядьев Бен, Очолла и другие — это не рабочие и, уж конечно, не люди, а только руки!»

Каждый день в конце обеденного перерыва собирается «рабочая ассамблея». На этих собраниях «правды не ищут, ни во что не верят». Мванги совершенно точно определяет причины такой подчеркнутой политической апатии строителей. Даже самые простые экономические законы для них — тайна за семью печатями, и объяснить им эти вещи некому, ибо главный «трибун ассамблеи» Мачоре не рабочий лидер, а просто говорун, не имеющий никаких данных ни к пропагандистской, ни к организаторской деятельности.

Рабочие, изображенные Мванги, еще очень далеки от того настоящего промышленного пролетариата, за спиной которого десятилетия упорной борьбы за свои права. Это в основном бывшие крестьяне, как Очолла, или деклассированные элементы, как Бен и его грозный враг Онезмус. Им еще предстоит разобраться в истинной сущности тех, кто в романе нарицательно называется «они».

«Они» — это те, у кого роскошные лимузины, загородные дома и счета в банках, те, кто заседает в парламенте и комитетах, те, кто решает вдруг поднять квартплату и выбросить на улицу всех, кому не под силу платить; это те, чьи предвыборные плакаты висят по всему городу, но фотографии на них похожи друг на друга точно так же, как и их никогда не выполняющиеся посулы; это и те, кто, нацепив полицейскую форму, норовит обобрать кого попало и тащит в участок невиновного...

Первые семена классового сознания прорастают и во взаимоотношениях между африканцами и индийцами. Бен понимает, что Канджи Бхаи, «каменщик номер один во всей Восточной Африке», значительно ближе к ним, африканским работягам, а не к наркоману Юсуфу и его индийским дядьям-подрядчикам, потому что он — человек труда. Бхаи и его подручный африканец Гиена бранятся между собой скорее по инерции и просто от скуки, на самом деле им нечего делить, и они уже много лет прекрасно работают вместе. Хотя, конечно, в народе и сохраняются давние национальные предрассудки — наследие старой имперской политики «разделяй и властвуй». В сущности же конфликт между африканцами и индийцами (сам автор это прекрасно понимает) носит в целом классовый, а не расовый характер. Индийцы в Африке по большей части традиционно являются частью среднего класса — подрядчиками, торговцами, банкирами, которые точно так же, как и белые богачи, десятилетиями эксплуатируют африканских тружеников.

Порой в романе «Улица Ривер-роуд» верность правде жизни достигается такой высокой степенью обнажения социальных язв, что начинает казаться, будто писатель сознательно сгустил краски. Что ж, может быть, и так. Тогда это удачный художественный прием, позволяющий очертить тот заколдованный круг — зловонная грязь трущоб, изнуряющий труд полуголодных строителей, дурман питейных заведений на Ривер-роуд,— из которого тщетно ищут выход герои книги. И все же она не оставляет тягостного впечатления. Этому способствует последовательная гуманистиче-

ская позиция автора, отчетливо выраженная в романе. Он всегда ненавязчиво, но определенно дает почувствовать свое отношение к тому или иному событию, поступкам и мыслям персонажей. Мванги с успехом пользуется иронией. «Чертова карара как самолет. Выпьешь чуть-чуть, а потом летаешь по улицам. Если перебрать, то надолго «приземлишься»,— в этих переданных несобственной прямой речью словах Бена заключена немалая доля иронии автора и в адрес своего героя, с помощью алкоголя пытающегося забыть о насущных проблемах жизни.

Мванги глубоко знает жизнь своей страны, своего народа. Голос писателя, понимающего много больше героев его книги, явственно слышен еще в одном эпизоде. Бен и Очолла, приняв добрую порцию карары, клянутся в верности друг другу: будут всегда держаться вместе, накопят деньжат и займутся каким-нибудь бизнесом: «В наше время в одиночку не пробиться, сила — в единстве. Они своего добьются, заработают уйму денег. И что потом? Женщины, вышивка, на что еще нужны деньги?»

В этом эпизоде для Мванги важно, что и его героям совершенно неприемлема сама идея накопительства. Бену и Очолле, щедрым и безалаберным, чужд основной принцип капиталистического мира — «деньги должны приносить деньги», и этот простодушный и наивный гедонизм внушает надежду на то, что они и многие другие, им подобные, найдут верную дорогу в жизни и сумеют изменить общество к лучшему.

Капиталистический путь развития не принес и не мог принести благополучия и процветания получившим независимость странам Азии и Африки. И тысячу раз прав Нгуги: «Капитализм, даже в пору своего расцвета, не смог создать равенства и гармонии человеческих отношений в Европе и Америке. Почему же некоторые думают, что он может оправдать себя в Африке?» [1]

Призывом к социалистическому переустройству Африки кончается последний роман Нгуги «Кровавые лепестки» (1977), разоблачающий политическую и экономическую коррупцию новой элиты, жестокий полицейский произвол, подавление и угнетение большинства меньшинством.

Современный африканский роман с каждым годом обретает все большую социальную и политическую остроту. Роман «Человек из народа» (1966) [1], в котором Чинуа Ачебе впервые изобразил политического авантюриста и выскочку, преследовавшего только свои эгоистические интересы, оказался в каком-то смысле провидческим. Сегодня эту тему развивают писатели разных стран Африки. В странах, получивших независимость и выбравших капиталистический путь развития, нарастает ожесточенный классовый конфликт. С той или иной степенью социальной точности этот конфликт отражен и в последних книгах Квеи Армы, Монго Бети и некоторых других африканских писателей. Едкая сатира на стремящегося к богатству любой ценой деревенского парня содержится в романе нигерийского писателя Нкема Нванкво «Мой «мерседес» больше».

В ряду подобных произведений достойное место занимает книга Мванги «Улица Ривер-роуд».

Творчество молодого прозаика получило недавно и международное признание: в дни юбилейной Ташкентской встречи были объявлены имена лауреатов премии «Лотос» за 1977 — 1978 годы. Среди них — Меджа Мванги.

Улица Ривер-роуд в Найроби, этот трущобный Бродвей, на котором расположены питейные и иные злачные заведения для бедного люда, довольно длинна. В романе она обретает значение символа — беспросветного, безрадостного, бездуховного существования, медленного самоубийства... Она проходит через многие и многие города разных африканских государств, о чем в последние годы каждый по-своему написали африканские литераторы. Но всякая улица, какой бы длинной она ни была, имеет свой конец...

[1] Нгуги Ва Тхионго. Избранное. М., «Прогресс», 1977, стр. 319.

[1] Опубликован в «ИЛ» № 3, 4, 1967.

◆

Н. МАЛИНОВСКАЯ

ДЖУЛЬЕТТА И МАСКИ

О незаконченной пьесе Федерико Гарсиа Лорки

В Советском Союзе Федерико Гарсиа Лорка, пожалуй, один из самых любимых зарубежных поэтов[1]. Весьма популярна и его драматургия, пьесы Гарсиа Лорки издавались дважды, выходили отдельными книгами, некоторые из них — «Кровавая свадьба», «Дом Бернарды Альбы» — с успехом шли на сцене советских театров. В год, когда во всем мире отмечается 80-летие со дня рождения Федерико Гарсиа Лорки, интерес к его жизни и творчеству особенно велик. И несомненно, внимание нашего читателя привлечет работа молодого литературоведа-испаниста Н. Малиновской, посвященная, быть может, самому загадочному месту в наследии испанского писателя: его пьесе «Публика». На основании печатавшихся фрагментов, черновиков, отрывочных сведений, содержащихся в дневниках друзей и письмах Лорки, Н. Малиновская реконструирует «Публику» как цельное драматургическое произведение, предлагая свое — и убедительное — решение задачи. Вводя нас в творческую лабораторию писателя, автор статьи объясняет, почему Лорка на протяжении шести лет неоднократно возвращался к этой вещи, видит в ней зерно, квинтэссенцию творческих замыслов писателя в последний период его жизни.

Правильно истолковать эту пьесу-предостережение, пьесу-предчувствие, где искусству и любви — силам гуманизма — противостоят силы, враждебные человеку, можно, лишь связав «Публику» с конкретной исторической обстановкой тех лет (1930—1936) — поры прихода Гитлера к власти, напряженной социальной борьбы в Испании, идейного и организационного оформления испанского фалангизма, по примеру фашизма сочетавшего воинствующий национализм с социальной демагогией. Поэт не мог не слышать грозного гула времени. И не случайно в «Публике», впервые в творчестве Лорки, появляются и политический образ — диктатор, и предвидение гражданской войны, которая станет реальностью в Испании через несколько лет, и образ толпы — эгоистичной, мещанской, жадной, тупой, вооруженной «доктриной, которая сорвалась с цепи», толпы, уничтожающей Режиссера и Поэта. Сам Лорка в августе 1936 года пал жертвой массовых репрессий, которые чинила толпа палачей, слепых исполнителей фашистской «доктрины». Одним из их лозунгов был известный клич: «Смерть интеллигенции!».

Разумеется, в сюжете и образах неоконченной пьесы Гарсиа Лорки читатель найдет и нечто смутное, не поддающееся расшифровке. Но подобный же «остаток непонятного» обнаруживается и в драмах Блока, и в театре Чапека, и в видениях «магического театра» из «Степного Волка» Германа Гессе. У Лорки это «смутное» рождено тревожной атмосферой ожидания катастрофы, приближения которой он — преданный сын Испании и передовой поэт — не мог не ощущать. Ею пронизана «Публика», звучащая как сигнал бедствия. История показала, что сигнал этот был подан вовремя.

В. СТОЛБОВ

[1] Стихи Ф. Гарсиа Лорки печатались в «ИЛ» № 8, 1956 и № 9, 1966.

Под вескими обложками академических и факсимильных изданий наследие Гарсиа Лорки уже обрело непреложность классики, и забывается, что долгие годы после гибели поэта оно оставалось наполовину рукописным. Больше чем наполовину — и не за счет юношеских опытов. Лорка не успел опубликовать девять из одиннадцати написанных им пьес, две книги стихов и многое другое. До того, как наследие Лорки предстало перед читателем, были годы запрета, пестрящие ошибками списки, передаваемые из рук в руки, разночтения первых — вне родины — публикаций. Не сразу и не скоро рукописи стали архивом, и под кожаными переплетами стихла, листок за листком, разметанная стая — «бумажные птицы... создания рук, еще влажных от тайны, всплески пены над руслом живой еще боли». Не все они долетали, и не все вместилось в академические тома. Часть наследия и поныне остается рукописной.

В собрании сочинений Лорки есть несколько страниц, сравнительно редко привлекающих внимание,— два фрагмента пьесы «Публика». Эту пьесу Лорка задумал во время поездки в Америку и вчерне завершил на обратном пути, на Кубе. Последняя страница черновика помечена 29 августа 1930 года. Через полгода Лорка впервые прочел пьесу друзьям, единодушно признавшим ее странной, «непоэтичной» и абсолютно непригодной к постановке. Их можно понять. Еще свежо было в памяти «Цыганское Романсеро»; казалось, его отзвуки носятся в воздухе. Из Америки вернулся другой поэт и иная поэзия. Метаморфозе предшествовал трудный кризисный период исканий, сомнений и переоценок. Шумный успех «Цыганского Романсеро» — поэтического шедевра Лорки, самого цельного и завершенного из созданного им,— был воспринят автором как провал: в «сплаве цыганской мифологии и сегодняшней обыденности», по его убеждению, увидели только экзотику, а внутренняя суть фольклорной традиции, «первоматерия искусства», осталась незамеченной. Такое несовпадение замысла и восприятия оказалось для поэта мучительным, и он все начинает заново.

Фольклорная, народная струя в его поэзии на время затихает, уходит в пьесы для кукольного театра, уступая место вроде бы несовместимым поискам и экспериментам — от задуманной книги од («серия академических упражнений») до сюрреалистических стихов в прозе. И наконец, в противовес своим прежним, традиционным формам в Америке Лорка обращается к свободному стиху. Но это частность, и не верлибр сделал его поэзию иной — в ней появились понятия не просто новые, но изначально чуждые Лорке.

На пустынных дорогах «Романсеро» встречались, тосковали и гибли люди — так обозначены те, кто не назван по имени; затерянные в ночи, один на один со смертью, все они, даже враги, связаны кровными узами, потому что все они — народ. В американских стихах Лорки люди неразличимы, их смывает толпа — из испанских синонимов «толпы» Лорка берет самый жесткий и бесчувственный: «множество» (multitud), механическое соединение отчужденных. Народ живет и, пока жив, творит — толпа возникает и рассыпается, но всегда разрушает. И как апофеоз разрушения появляется в американских стихах призрак войны. Предчувствием войны, огромной и всеобщей, пронизаны многие стихи сборника «Поэт в Нью-Йорке» [1]. Это неотступное, почти необъяснимое предчувствие оказалось пророческим — едва ступив за пределы Испании, Лорка инстинктом поэта уловил первые подземные толчки мировой войны.

То новое, что привез Лорка, несводимо к американским впечатлениям; Америка лишь оформила его, рождалось же оно в муках на родине, в годы, переломные не только для поэта, но и для Испании. Редакцию «Публики» 1931 года друзья сочли неудачной, быть может, из бессознательного нежелания прислушаться. Это первый год Испанской республики, для испанской интеллигенции — пора надежд, и мучительно-тревожный строй пьесы мог казаться раздражающе непонятным. Но иным он быть

[1] Написан в 1930 году, опубликован посмертно. На русском языке отдельные произведения из сборника публиковались в «Иностранной литературе» № 8, 1956 и в «Избранном» Ф. Гарсиа Лорки, М., «Художественная литература», 1975, т. 2. *(Здесь и далее — прим. автора статьи.)*

Иллюстрирующие статью рисунки Ф. Гарсиа Лорки публикуются в нашей стране впервые.

Н. МАЛИНОВСКАЯ

ДЖУЛЬЕТТА И МАСКИ

и не мог — пьеса Лорки не отклик на события, а предвосхищение. Он словно предчувствовал не только катастрофу, братоубийственную резню, но и то бессловесное оцепенение, которое сковало страну после войны,— последняя пьеса Лорки кончается диктаторским приказом молчать. За тревожностью «Публики» — живая любовь и боль, а еще — зоркость художника, его обостренная чувствительность, и прежде всего к насилию.

В «Публике» толпа громит театр и поджигает собор. Не приписывая пьесе злободневности, естественно задуматься, почему для Лорки, влюбленного в театр и равнодушного к церкви, оба акта воплощают опасность. Герой пьесы — Режиссер. Автор ее тоже режиссер — нового театра, рожденного республикой. Но важнее то, чем были вообще для Лорки театр, «один из самых звучных и нужных инструментов построения родины»; понятия «театр», «культура», «народ» — для него диалектическое единство. Разгром культуры — омертвление народа; эту нерасчленимую угрозу Лорка ощутил задолго до того, как она стала явью и прозвучал фалангистский лозунг: «Смерть интеллигенции!» Однако соборы испанская реакция не жгла и жечь не собиралась. Едва ли Лорка был очевидцем анархистских самосудов, но экстремистские поджоги церквей в мае 1931 года оставили в пьесе свой отсвет. И действительно, у «майских поджогов» были далеко идущие последствия: раскол первого республиканского правительства и сплочение клерикалов в партию, которую возглавлял Хиль Роблес, в то время профессор Саламанкского университета, через четыре года — ставший у власти каратель. Чувство опасности не обмануло Лорку.

Он снова и снова возвращается к «Публике». Еще одну редакцию делает он в 1933 году — знаменательно и вряд ли случайно: в год прихода к власти Гитлера, год создания фаланги. Испанский фашизм становится политической реальностью, страна — на грани гражданской войны. И наконец, в июле 1936 года Лорка читает друзьям переработанный вариант «Публики» — за несколько дней до отъезда в Гранаду, за месяц до гибели. Он выехал в ночь на 17 июля; этой ночью в казармах Сеуты и Тетуана шли последние приготовления к мятежу. Лорка ехал навстречу смерти, не зная, что совершается. Но совершалось в эту роковую ночь — последнюю перед войной — то, что он давно предчувствовал, почти знал.

Мятежники овладели Гранадой внезапно и быстро, и вскоре лозунг «Смерть интеллигенции!» стал служебной инструкцией. Расстреливали врачей, филологов, преподавателей университета, ученых-арабистов; был расстрелян главный архитектор города — за то, что «заминировал Дарро» [1], редактор газеты — «за идеологическое вредительство», профессор педиатрии — вообще без предъявления обвинений. «Когда доктрина срывается с цепи, она сметает с лица земли даже самые безобидные истины»,— так один из героев «Публики» определяет сущность террора.

Уезжая в Гранаду, Лорка взял рукопись с собой. Она, видимо, утрачена. Из ранних вариантов уцелел один — уже упомянутый «кубинский черновик». Волею случая его владельцем оказался друг Лорки Рафаэль Мартинес Надаль, известный испанский литературовед. О том, при каких обстоятельствах Лорка передал ему рукопись, Надаль вспоминает в монографии, посвященной театру Лорки. Это рассказ о дне, который Лорка и Надаль почти весь провели вместе, тогда же и записанный Надалем в дневник. Надаль вспоминает, что в начале лета 1936 года Лорка был очень подавлен. Он никак не мог решить, ехать ему в Гранаду или остаться в Мадриде. Его угнетала необходимость решения, он не находил себе места — вдруг выходил на улицу, заговаривал с первым встречным и спрашивал: «Как ты думаешь, мне ехать или остаться?» В тот день он решился: «Эту землю усеют трупы. Решено. Еду в Гранаду, и будь что будет». Эти слова вечером того же дня Надаль записал в дневник и с ужасом перечел, когда пришло известие о гибели Лорки.

Под вечер Надаль помог ему собрать вещи. Лорка сильно нервничал, в спешке совал рукописи в чемодан, все валилось у него из рук, рукописи не помещались, и, не зная, что с ними делать, он отдал Надалю большой пакет, где были частные бумаги, письма и черновик «Публики»: «Возьми и сохрани. Если со мной что-нибудь случится, сожги». «Публику» Надаль не сжег.

В своем исследовании он цитирует черновик «Публики». Кроме того, отдельные фразы и сюжетные повороты пьесы вспоминают друзья Лорки, те, кто слышал ее в авторском чтении или кому Лорка говорил о ней. Пересказ Надаля, цитаты, приведенные им, и опубликованные фрагменты, отрывочные свидетельства из мемуарных источников, из писем Лорки и переписки его друзей стали материалом для гипотетической реконструкции пьесы.

Попытка реконструкции оправдана необходимостью. «Публика» — важное звено эволюции Лорки, тем более важное, что оно связывает (и разделяет) две вершины его творчества — «Цыганское Романсеро» (1928) и андалузские трагедии (1932—1933). Путь Лорки не прост и не прям; «светоч поэта — в противоречии»,— писал он. Логической последовательности в его творческом развитии нет, оно подчинено другому — музыкальному — закону: punctum contra punctum [1]. По убеждению Лорки, поэтический факт рождается из столкновения противоположностей, сплетения контрастных линий. Таким видится ему все развитие искусства («ангельские переливы Моцарта сменяет, чтобы установить равновесие, песнь Бетховена, слишком человеческая»).

[1] Река в Гранаде.

[1] Контрапункт *(лат.)*.

Так развивается и его собственное творчество — разнонаправленные поиски удерживают равновесие. И не случайно в Америке, работая над остросовременной «Публикой», Лорка выступает с лекциями о древнейших корнях испанского искусства — о канте хондо (андалузском «глубоком пении»), о колыбельных песнях. Это необходимо ему как противовес Нью-Йорку, символу урбанизма. Созидательный импульс противоречия вообще необходим Лорке. Поэтому в его стихах и драмах всегда сплетаются фольклор и современность, миф и обыденность, и поэтому Лорка никогда не продолжает (у «Романсеро» так и не было обещанного продолжения), но все начинает заново и, обогащенный поисками, неудачами и открытиями, возвращается к главному своему источнику — народному. После американского цикла («Поэт в Нью-Йорке», «Публика», «Когда пройдет пять лет» [1]) Лорка создает трагедии — «Кровавую свадьбу» и «Иерму», которые по праву можно назвать великими. И американский опыт для них не менее значим, чем опыт «Цыганского Романсеро».

Среди написанного Лоркой в Америке, да и всего им написанного, «Публика» стоит особо. В наши дни в Испании и далеко за ее пределами отчетливо растет интерес к судьбе пьесы и тому, что от нее сохранилось. Американский цикл Лорки — единое художественное целое. Без «Публики» оно оказывается неполным и потому кажется хаотичным и порой загадочным. И может быть, в «Публике» — с ее графической четкостью и заостренностью проблем — ключ к разгадкам. Но это не единственная и не главная причина растущего внимания к пьесе и надежд на ее воскрешение. Очевидно, вопросы, поднятые сложным и многотемным произведением, снова звучат с той же тревожной резкостью.

Сам Лорка не считал пьесу неудачной. Ее художественная система таила, по его мнению, большие и еще нераскрытые возможности; «Публика» была для него первым шагом в будущее. Недаром пьесы американского цикла, странные для современников Лорки, рядом с фильмами Феллини и Бергмана уже не кажутся странными. В своих последних интервью Лорка настойчиво вспоминает эти пьесы: «В них — мои истинные намерения». Эти намерения в «Публике» выражены особенно отчетливо — и если это черновик, то не одной пьесы, а всего не написанного Лоркой. В эти листы год за годом уходило все, что постоянно тревожило его неразрешимостью. Персонажи «Публики» говорят сбивчиво, путаются в словах, замолкают на полуслове — и не только потому, что это черновик. В «Публике» все говорят о том, чего не могут и не хотят сказать, о том, что пытаются скрыть, но уже не в силах, и говорят устало, себя не слыша, не замечая других, не ожидая ответа. Слишком много в их словах боли, и они боятся, что их поймут. Шесть лет эта пьеса не отпускала Лорку и мучила как предчувствие, которое начинает сбываться. В августе 1936 года оно сбылось.

■

В пьесе три действия — шесть картин. Две из них известны по собранию сочинений, три восстанавливаются почти полностью, одна — очень фрагментарно. Конечно, в тексте, который складывается таким образом, недостает отдельных реплик и даже сцен, а последовательность некоторых эпизодов предположительна, но все же можно говорить о пьесе, о драматургическом единстве, а не о разрозненных набросках.

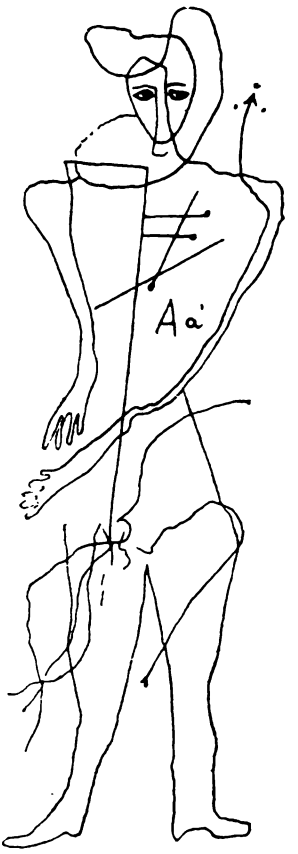
Декорация первой картины — кабинет Режиссера: голубоватые стены, на одной — огромный отпечаток руки. Вместо окон — рентгеновские снимки. На сцене Режиссер и Слуга. «Сеньор! — Да.— Здесь публика.— Пусть войдут». Появляются маски — Четыре Коня и Три Человека, и в первую же секунду Режиссер узнает их — это его воскресшее прошлое. Но он боится, что вторжение прошлого помешает осуществить мечту — поставить спектакль «открытого театра»,— и гонит их. Затем меняет светлый парик на темный, и снова входят Три Человека — как и прежде, почти не отличимые друг от друга: бородатые, во фраках. Поздравив Режиссера с успехом его постановки «Ромео и Джульетты», они убеждают его, что «открытый театр» — это видимость, воплощенная ложь. Но Режиссер знает, что публика не простит правды: «А мораль? А желудки зрителей? Маски вернутся и сожрут меня. Я видел, как маски пожирают людей».

Против воли Режиссера под звуки труб кони вносят ширму. За ней пройдут и преобразятся все персонажи. Режиссера насильно втаскивают за ширму, и через минуту из-за нее выходит Юноша в белом атласе с маленькой черной гитарой. Первый Человек, увидев его, закрывает лицо руками и кричит: «Энрике!» Второй Человек, пройдя за ширмой, становится Женщиной в черной пижаме, на ней венок из маков, а в руках лорнет с приклеенными к нему бутафорскими рыжими усами. Спасаясь от этих наваждений прошлого, Режиссер зовет Елену. Она приходит — в тунике, у нее голубые брови и белые волосы. Преображенный Третий Человек, уже без бороды, бледный, с хлыстом в руке, бьет Режиссера, хочет ударить Елену: «Посмотрим, кто сильнее! — Я. И всегда я»,— отвечает она. И Режиссер отрекается от прежних замыслов. Отныне вступает в права «театр, погребенный песками» (песок у Лорки — постоянный символ забвения и смерти). Этот

[1] Публиковалась в сборниках: Ф. Гарсиа Лорка. Театр. М., «Искусство», 1957; Ф. Гарсиа Лорка. Избранное. М., «Художественная литература», т. 2.

Н. МАЛИНОВСКАЯ

ДЖУЛЬЕТТА И МАСКИ



«глубинный театр» [1], противопоставленный «открытому», призван выявить истину, «погребенную», но не отпускающую ко лжи: все то, что человек погубил в себе, чему не позволил быть. В первой картине слетают самые поверхностные маски, одинаковые у всех,— бороды и фраки. И ширма открывает двойничество: Режиссер — это Энрике, Первый Человек — Гонсало, Второй Человек — Женщина в венке. Звучат трубы. Конн начинают покаянную молитву, и медленно опускается занавес.

Следующая картина — «Римские руины» — открывается диалогом Фигуры в Бубенцах и Фигуры в Виноградных Лозах. Эти персонажи сначала кажутся сюрреалистическими ожившими абстракциями, но в них есть и фольклорный смысл. Фигура в Виноградных Лозах внешне схожа с обрядовым образом майского короля, а Фигура в Бубенцах — с древним карнавальным персонажем, который восходит еще к сатурналиями. Ее черно-зеленый костюм увешан бубенцами, на спине — соломенный горб, лицо закрыто гипсовой маской с нарисованными усами, в руке — пучок прутьев. Фольклорный подтекст есть и в загадочном диалоге о превращениях, который ведут Фигуры. Пугая друг друга превращениями, в мучительном одиноборстве они спорят в сущности о том, кто должен подчиниться, но едва речь заходит о власти, любовь неминуемо обращается в ненависть. В превращениях неизменно одно — безжалостность. И когда Фигура в Бубенцах превратится в луну-рыбу, Фигура в Виноградных Лозах станет не волной и не водорослью, а ножом.

Появляясь в глубине сцены, Император велит Центуриону схватить одну из фигур, а сам тем временем за колонной убивает Ребенка. Затем выходит на авансцену, медленно стаскивая прилипшие к рукам перчатки: сначала красные, потом черные. Центурион, как эхо, повторяет за ним: «Один — это один. Двух не бывает. Тем сорока, что были несогласны, я отрубил голову. Один есть один». Числа в репликах Императора — символы: один — разобщенность и одиночество, два — попытка союза, все, в чем есть или мерещится хотя бы капля любви, пусть обреченной и жалкой. Ряженых двое, и каждый пытается спасти другого, выдавая себя за него. Но жертвенность не спасает, и тогда Фигура в Виноградных Лозах застывает, сбрасывает листья и оказывается мертвой гипсовой статуей, а Фигура в Бубенцах кричит: «Предательство!» С рук Императора падает последняя пара перчаток — белая, и колонна раскалывается, а на ее месте возникает ширма — та же, что и в первой картине. Так кончается второе представление «глубинного театра».

Третья картина — традиционные оперные декорации веронского подземелья. Из гробницы в белом платье встает Джульетта:

Море сна.
Волны белого поля.
В небе — арки, а в них пустота.
И морская трава на подоле,
и плывет, тяжелея от соли,
унесенная морем фата.
Море времени.
Берег пустынный,
короеда следы-письмена.
Стеклянеют в деревьях дельфины.
Мел агоний. Руины, руины!
Одиночество моря и сна...[1]

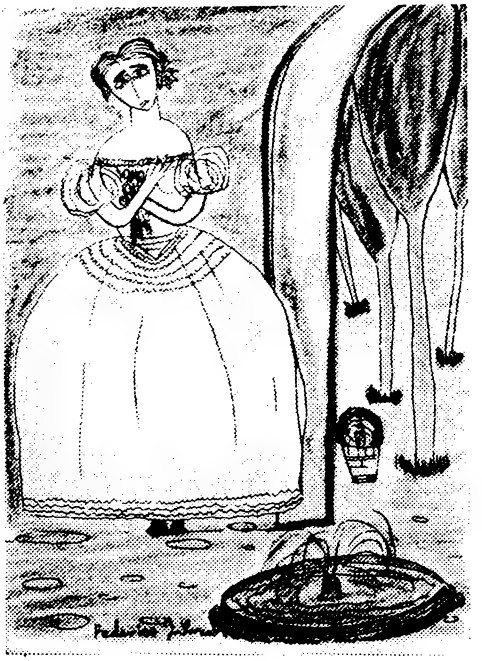
С первой минуты мир для Джульетты гибелен и страшен; ее песню прерывают крики, звон мечей — четыре подростка вот уже которую ночь ломятся в гробницу, чтобы надругаться над Джульеттой: «Они хотят пририсовать мне чернильные усы».

Наверное, Лорке вспомнилась «Джоконда» Марселя Дюшана [2], когда он писал

[1] Можно проследить связь этого определения с понятием о «глубоком пении», которое Лорка раскрывает в одной из лекций: «Оно поистине глубокое — глубже всех морей и колодцев, глубже сердца и голоса, которые его творят,— потому что оно почти бездонно. Через погосты столетий и шелесты поникших ветров оно шло к нам от древних народов. От первого плача и первого поцелуя».

[1] Перевод стихов Ф. Гарсиа Лорки выполнен А. Гелескулом специально для данной статьи.

[2] Дюшан Марсель (1887—1968) — французский художник, один из основоположников сюрреализма.



эту фразу: в порыве отчаяния, злобы и презрения к миру и самому себе Дюшан своей рукой пририсовал усы Джоконде. В «Публике» кощунствуют другие, ибо растление не коснулось ни Джульетты, ни Поэта, вновь воспевшего ее; и не коснется, как бы ни бесновался мир. Но именно мир, а не четыре маньяка: «Их четверо? Нет. Весь мир. И земля асфоделей, и земля семян. Мертвые все спорят, а живые точат ножи».

Крики приближаются, и наконец толпа врывается в гробницу. Обезумев, бесчинствуют люди. Кони преследуют Джульетту, топчут ее платье, и ржание мешается с неистовым воплем: «Хотим спать с тобой!» Жертвы и палачи (а вместе они — публика) снуют и толпятся в гробнице, в тысячный раз разыгрывая и наблюдая спектакль с заранее известным концом. Джульетта беззащитна перед табуном и толпой — напрасно она пытается отпугнуть их маской власти, призраком Парки: «Берегите гривы от моих ножниц!» Маска, если не приросла к лицу, не защищает, и мир грозит Джульетте казнью. Луна, вестница смерти, оплетает травами ее плечи.

В «Публике» впервые в драматургии Лорки появляются классические персонажи: шекспировская Джульетта и Елена — образ, идущий от Гомера к Гёте. За ними — долгая традиция, свидетельство их вечности: вневременности и современности. А для зрителя, читателя, обывателя, то есть для публики, о которой пьеса и для которой спектакль, равно для всех, читавших или не читавших Гёте и Шекспира, эти образы представляют канон, олицетворяющий любовь. И Лорка выражает через канон свое понимание любви и ее трагедии. Однажды он сказал, что хотел бы быть автором только одной пьесы — «Ромео и Джульетта».

Елена и Джульетта — два лика любви. Из-за Елены рушатся города и творятся убийства, продают душу дьяволу, но все напрасно — навечно она останется химерой, недосягаемой и мучительной мечтой. Ее любят сильно и обреченно. Ей поклоняются (а поклоняются всегда идолу), приносят жертвы, Джульетта любит сама. И эта любовь, не знающая жалости к себе, казалось, могла бы предотвратить убийства, но первая оказывается жертвой. И как бы ни менялись времена и сколько бы ни игрался спектакль, Елена — всегда победительница, Джульетта — всегда побежденная. Но она, мертвая, встающая из гробницы,— самая живая в пьесе и на земле. Римскими руинами правит Император, не подвластные ему подчинены Елене; и он и Елена — химеры власти, равно жестокие и пустые сердцем властители толпы. И толпа топчет Джульетту не просто мимоходом, не только потому, что гробница попалась ей на пути, но потому, что инстинктом ненависти безошибочно угадывает в Джульетте чуждое и враждебное — ее неспособность к жестокости.

Внезапно что-то отвлекает толпу, а в опустевшей гробнице появляется Режиссер в костюме Арлекина. Его преследует Гонсало (Первый Человек), и чтобы не слышать его жалоб, Режиссер срывает с себя костюм Арлекина и бросает за колонну. Через минуту из-за колонны выходит оживший Костюм Арлекина. «Мне холодно. Электрический свет. Хлеб. Жженая резина», — едва слышно повторяет Арлекин; с каждым словом его голос становится глуше, и он не замечает Гонсало, который плача протягивает к нему руки:

«Гонсало. Скажи, скажи, что ты вернулся ко мне, Энрике!

Костюм Арлекина *(как эхо)*. Энрике! Энрике!»

Энрике не только прошлое Режиссера. Это маска, сотворенная Гонсало, им выдуманная, но отделившаяся от него и уже недосягаемая. И, поняв это, Гонсало бросит на пол Костюм Арлекина — умирать.

Режиссер, освободившись от маски Энрике, оказывается в балетной пачке — становится балериной Гиллерминой. К ней с криком бросаются кони, и Режиссер срывает с себя балетный костюм. Из-за колонны выходит Гиллермина. Жалобно, не то удивленно, не то вопросительно, гаснущим голосом она повторяет свое имя, путая слоги. Тем временем Третий Человек в ярости срывает со Второго Человека женский костюм и венок из маков. Из-за колонны появляется Женщина в венке из маков с бледным, похожим на яйцо страуса лицом. Ее лицо лишено черт, на нем нет ни глаз, ни губ. Это не настоящее лицо и не

Н. МАЛИНОВСКАЯ
ДЖУЛЬЕТТА И МАСКИ

обычная маска (всегда характерная), но символ лица, перволицо, на котором еще не появились или уже стерлись черты. И единственное, что на нем проступает и застывает навеки, то, что и делает его человеческим лицом,— боль. Как воплощение тайного горя, которое прячут от чужих глаз, входит в гробницу Женщина в венке из маков. Никем не узнанная, она бессильно опускается на ступени. Ее топчут кони, об нее спотыкаются люди, но, не замечая происходящего, она тихо и бессильно — до самого конца акта — бьет себя руками по лицу.

Сыграны уже почти все превращения, и настает рассветный час — смертный. Падают первые капли дождя, и все — люди и маски — застывают в ожидании последнего знака. Гудит сирена парохода, и люди начинают медленно расходиться. На сцене умирают костюмы — Арлекин на полу и Гиллермина у колонны. Джульетта спит в гробнице, укрытая красным плащом. И надо всем, что в этот час бесповоротно стало прошлым, «над всем, чему нельзя помочь» [1],— запевает соловей. Дождь становится сильнее. Темнеет, и в темноте уже не видно ни Джульетты, ни мертвых костюмов. И только Женщина в венке из маков все так же тихо бьет себя руками по лицу.

По сути дела этот акт мог бы стать отдельной пьесой — о маске. За масками «Публики» — традиция, идущая из глубины веков; маска — это игра, но игра, полная сакрального смысла, часто игра со смертью. В «Капричос» Гойи маски уже ничего не скрывают: здесь маска правдивее лица. Лицо своей заурядностью обманывает, но маска не дает ошибиться, на ней — вся внутренняя фальшь, ущербность, жестокость, и маска выдает мертвеца, притворившегося живым. В древности маской называли душу мертвого. Средневековые скелеты в плащах и масках пляшут на полотнах Гутьерреса Соланы, мертвые пляшут с Ряженым на загробном карнавале нью-йоркских «Улиц и снов» Лорки.

Но не всегда за маской смерть: все глубинное прячется за маску. Маска может быть попыткой уберечься от чужого взгляда или уберечь от себя других: пусть принимают кровь за клюквенный сок, плач за смех, трагедию за фарс, но не мучаются чужой болью и не издеваются над ней. За этим и нужны были маски Режиссеру в спектаклях «открытого театра». Но неискоренимо в человеке стремление освободиться от наваждения, если не узнать, то хотя бы угадать тайну, скрытую маской. Этого требуют от Режиссера Три Человека — его двойники. Но он меняет решение не только потому, что покоряется их воле,— в какой-то мере это его собственный импульс.

В ворохах масок герои «Публики» ищут свои истинные лица, ускользающие и изменчивые. Они перебирают, примеряют, меняют маски, не узнают в них себя или, узнавая, срывают. И маска оказывается не только внешней оболочкой, надетой для других и чуждой человеку, она оказывается его прошлым, пусть тягостным и постыдным, но выстраданным и родным. Беспомощные, покинутые, презираемые человеком, выходят эти лики прошлого на сцену в конце акта, чтобы в последний раз позвать, не услышать ответа и умереть. И смерть, сняв последнюю из масок, откроет, что ничего не было, кроме них: все маски были живыми, и каждая была болью.

■

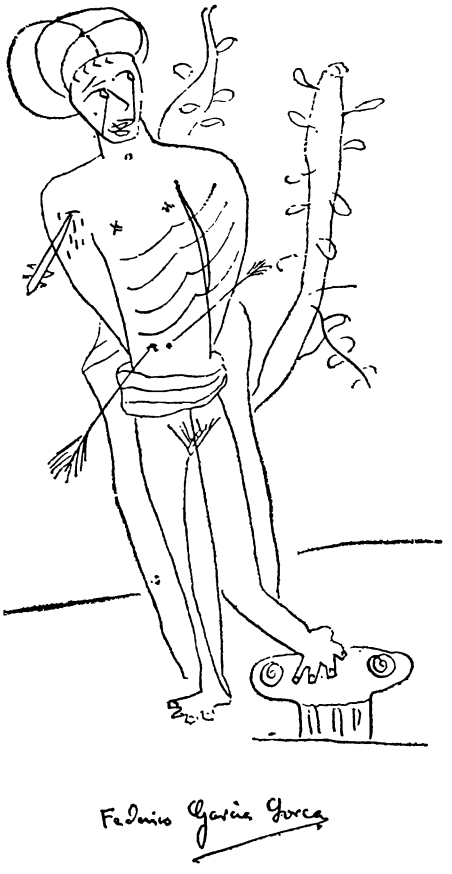
События единственной картины второго акта восстанавливаются предположительно. Действие происходит в театре (сцена на сцене) — идет представление «Ромео и Джульетты», но внезапно спектакль прерывается. Вспыхивает гражданская война. Над городом гудят самолеты. С галерки раздаются крики и выстрелы, в партер и за кулисы врывается толпа. Падают декорации, обнажая кирпичную кладку. Актеры прячутся в бутафорских развалинах, пытаются бежать, но безуспешно. Зрители, еще не понимая, в чем дело, но увлеченные общим порывом разрушения, сливаются с толпой, громящей театр. Ищут Поэта и Режиссера, попутно изощряясь в предложениях, какую именно казнь свершить над ними. Актеров выволакивают из-за кулис и заставляют повторить перед казнью сцену у балкона. Слова их объяснения заглушает гул самолетов и вой сирен. Внезапно, как бы случайно падает занавес.

Декорация предпоследней картины «Публики» (начала третьего действия) довольно сложна. В центре, несколько в глубине сцены — деревянная кровать, поставленная вертикально. На ней — Распятый в венце из синих терний. Его красный силуэт резко выделяется на фоне светлого дерева — как на средневековых каталонских фресках. Именно в этой стилистике, объяснял Лорка, и должны быть выполнены декорации — как резкий контраст к нарочито банальной декорации гробницы. После плюща и роз — голые доски кровати-креста. Слева, в глубине сцены — арки, театральные галереи и лестницы. Справа — вход в Университет.

Крестная мука в «Публике» лишена какого-либо ореола. Это всего-навсего несложная операция, каких ежедневно делаются сотни, неинтересная даже зевакам, занятым теперь мятежом. В казни Спасителя нет величия не только из-за того, что она буднична и представлена в современном медицинском антураже, но прежде всего потому, что никто не замечает ее. Но в итоге именно распятие переносит действие в иной, высший план, становится его символическим преображением.

На сцене санитары готовят инструменты и спрашивают врача, не пора ли начинать. Их слова заглушают взрывы аплодисментов, доносящиеся из театра. А мимо, не обращая внимания на Распятого, снуют люди — Студенты и Дамы, взволнованные

[1] А. Блок. «Не спят, не помнят, не торгуют». Избранное. М., «Художественная литература», 1972, т. 2, стр. 55.



тем, что происходит рядом (в театре и в Университете). У подножия креста Дамы сокрушаются о парчовых туфельках, испачканных мазутом, и хор их заглушает слова Распятого, контрастируя с ними безмятежностью суждений и мелочностью забот. Студенты продолжают спор о нравственности, политике и литературе. Других зрителей нет. Только деловито снуют вокруг креста рабочие сцены. Лобное место — городская окраина. Вместо пик и гвоздей — лезвие, неслышно скользящее в опытной руке:

«Санитар. В восемь я приду и сделаю тебе поглубже рану в правом боку.

Распятый: Ту, где больше всего витаминов?

Санитар: Да».

И здесь же рядом идет спектакль «Ромео и Джульетта». Зрители привыкли, что в театре ряженые разыгрывают сюжетные стереотипы, более или менее поучительные. Иногда, правда, дозволяется ставить совершенно невероятные истории, но с одним непременным условием: чтобы было точно и заранее известно, что это вымысел. А если бы в жизни осмелилось произойти что-либо подобное, например, «Ромео и Джульетте», о событии следовало бы умолчать, дабы не тревожить воображение прецедентом. И потому Дамам нет дела до того, что мучит актеров и врывается в роль. Важно одно — чтобы слепок с канона был со всех точек зрения благопристоен. И как это ни парадоксально, того же потребует после погрома толпа, как только покончит с прошлым и займется устройством зрелищ. Не будет открыта никакая истина, и менее всего — истина, которой чревато искусство. Судьба ее та же, если не хуже:

«Распятый. А людей пустили в театр, погребенный песками?

Санитар. Какое там. Все выходы стерегут механики и солдаты».

Для толпы, которая смотрит спектакль, «Ромео и Джульетта» — канонический вымысел, история, которой никогда не было и не могло быть, но которую уже четыреста лет ставят, не задаваясь вопросом о степени жизненной правды. Но властью поэзии и театра на какой-то миг исчезает толпа, явившаяся поглазеть на зрелище,— в зале остаются люди. И, не сдерживая слез, они оплакивают то, что с ними уже никогда не случится, заранее утешенные тем, что этого не случалось никогда и ни с кем. Ради этих слез и этой печали — того, что осталось в них человеческого,— они и заставят актеров повторить сцену у балкона. Но негодование снова превратит их в толпу, как только они поймут, что происходящее на сцене не игра, что невозможное — любовь — было на земле и сейчас творится у них перед глазами, пусть в самых странных и непривычных образах. Как личное оскорбление воспринята каждым эта любовь, как напоминание о собственной ущербности. И потому расправа неизбежна.

Любовь в этом спектакле жестока и часто жалка. Ее стыдятся, скрывают, проклинают, казнят, считают преступной, но не могут от нее освободиться. Но как бы ни была она тягостна, любовь остается любовью и тем непременнее оборачивается трагедией. И во всем творчестве Лорки любовь — это и проклятие и озарение, открытие истины и обретение себя, словно только затем, чтобы после было больней потерять. У нее нет иного конца, кроме смерти: ни полюбить, ни разлюбить нельзя по своей воле. И кто бы ни мучился любовью, пусть самый ничтожный человек — смешной, старый, сумасшедший, пусть даже не человек вовсе, а всеми презираемое существо, которому единодушно отказывают вообще в способности чувствовать,— беззаветность и обреченность уравнивает их всех с шекспировской Джульеттой. Еще в своей первой, юношеской, пьесе о любви таракана к бабочке Лорка утверждал: «На всех уровнях жизни с равной напряженностью рождается любовь». И на премьере одним это показалось умилительным, другим — до крайности смешным. В «Публике» он выбирает иные примеры, разом исключая и умиле-

---

Н. МАЛИНОВСКАЯ
ДЖУЛЬЕТТА И МАСКИ

ние и смех. Эта резкость от горечи. А за ней — и в «Публике», и во всем, что пишет Лорка,— его выбор.

И выбор его неизменен: он всегда с обреченными. Есть поэты, которые, не оглянувшись, пройдут мимо человека безмятежного, но в них всякая обида и тоска отзовется. Их притягивает неприкаянность и беззащитность, любая боль, несправедливость, нездоровье (неприкаянность — нездоровье социальное). В них болезненно живо чувство внутреннего единения, душевного родства со всеми отверженными — нищими, убогими, изгоями, изгнанниками. И безумной старухе, всеми покинутой, и самоубийце, наперед зная, что он самоубийца, они вслед глядят до боли в глазах и, что главнее всего — зная свою вину перед ними. Вину нашедшего свой путь — перед заблудшим, сумевшего сказать — перед бессловесным (вечная вина поэта перед людьми), здорового — перед больным, живого — перед умирающим. Ни один «здравомыслящий» человек не признает этой вины и не простит признания ее поэту. Но тем определеннее выбор: «Гранада научила меня быть с теми, кого преследуют: с цыганами, неграми, маврами, евреями, ведь в каждом из нас есть что-то от них».

Герои Лорки — из братства отверженных. Любовью или жертвой, надеждой, верностью или просто цельностью души они отделены от толпы и потому обречены, как обречен Поэт, воскресивший старинную историю любви, Режиссер, открывший театр глубинной правды, и всякий, *не причастный* толпе.

К концу акта все понимают, что спастись не удастся никому: у дверей — стража (стреляют без предупреждения), на улицах — резня, и вот-вот снова начнется бомбежка, хотя от города, где разворачивается действие, и после первой бомбежки остались одни руины. Никто не помнит, с чего все началось, но резня уже не может остановиться. Это не только разгул инстинктов. Главная причина резни — нетерпимость, а за ней таится если не осознание, то ощущение своего ничтожества, которому ведом один способ самовыражения и самоутверждения — насилие. Выволочена из-под кресел Джульетта. Ее убивают по инерции, просто так, «чтобы посмотреть, что у нее внутри». А потом, протискиваясь поближе, долго вглядываются в искаженные смертью черты. И начинают расходиться, не поднимая глаз, словно трезвея, потрясенные не убийством, а тем, что оно им открыло: какими бы разными ни казались люди друг другу, сколько бы масок ни носил или ни встречал человек, за ними одно: «гроздья ран и полная растерянность».

И после того как за сценой пропоет соловей и вестники расскажут о смерти Джульетты, рухнут театральные лестницы и начнется агония Распятого. И все три действия, наконец, пересекутся. Дамы испугаются, услышав голос Распятого,— они принимали его за театральную скульптуру. И на их глазах произойдет последнее превращение — повернется деревянная кровать, и красный силуэт на кресте сменится черным: Распятый окажется Первым Человеком. И перед тем как опустится занавес, луч прожектора высветит из темноты мертвое лицо Гонсало.

Все происходящее на сцене и за сценой комментируют два хора — Студенты и Дамы. Дамы самым банальным образом выражают подходящие к случаю эмоции и временами изрекают прописные истины, не годные к употреблению: «Мятежники не имеют права осквернять могилы!» Все, что они говорят,— перепев, повтор, и поэтому их хор на удивление слажен.

Хор Студентов другой. Каждая его реплика — это вывернутая наизнанку предыдущая. Разноголосица этого хора никак не разрешается. Студенты не приходят к единому мнению, потому что за каждым словом каждого участника хора стоит не только свое понимание событий, но и неуверенность в своей правоте.

Кажется странным, что перед смертью — при первых криках толпы оба хора понимают, что расправа неизбежна,— они говорят, вместо того чтобы спасаться. Говорят так, как будто смерти не будет. Но споря и не понимая друг друга, они неожиданно для себя оказываются согласны в одном: нужно, чтобы жило все живое — вне всяких условий, вне всяких категорий пользы (всегда корыстных). Равны права на жизнь у зерна и спорыньи, у дерева и у нароста на коре. «И ядовитые гусеницы, и рыбы, больные проказой, должны жить, пока им живется»,— говорит голос из хора. Оба хора смолкают задолго до конца действия — не за ними последнее слово. Они смолкают, так и не поняв, что пришли к решению, что сбивчиво и резко, с почти абсурдной аргументацией говорили о спасении. Через несколько лет хор в «Кровавой свадьбе» повторит сказанное ими — уже спокойно, горестно и просто: «Мир велик. Все могут жить в нем».

«Публику» кончает разговор Режиссера с Фокусником. На первый взгляд их диалог ничего не добавляет к пьесе — и так ясно, что все попытки Режиссера создать театр глубинной правды кончились ничем, а сам он едва не погиб. Внешнее движение пьесы уже исчерпано, и эта картина завершает линию внутреннего развития. Она возвращает героя (как это часто происходит в драмах Лорки) к первоначальной ситуации, подчеркивая контраст между духовной слепотой героя в начале и его прозрением в конце. Спасение Режиссера в предыдущей картине — только отсрочка. Ему было не суждено погибнуть от рук толпы как будто только затем, чтобы теперь встать лицом к лицу со смертью. Это недолгое время дается ему для последнего слова.

Смерть-Фокусник во фраке и длинном плаще белого шелка, с цилиндром в руках входит в кабинет Режиссера. Он торжествен, приступая к ритуалу, иронически снисходителен и жесток — каждым словом он напоминает Режиссеру о тщете его поисков и крахе судьбы. Случайному свидетелю могло бы показаться, что это холодная свет-

ская беседа о постановке, которая так «блестяще не удалась», но на самом деле они говорят не бесстрастно и о главном — о жизни, смерти и о любви. Фокусник убеждает Режиссера, что «блестяще не удалась» не только постановка, не только его судьба, но и жизнь вообще: «любовь могла, но не сумела спасти». Их разговор прерывает появление нового персонажа — это Мать Гонсало, Женщина в черном: «Рыбаки принесли мне утром огромную луну-рыбу — мертвую, израненную — и кричали: вот твой сын! Кровь текла у него изо рта тонкой струйкой, а дети смеялись и красили кровью ботинки». Фокусник изящным жестом накидывает на нее плащ, и Мать Распятого исчезает. Снова Режиссер остается на сцене один на один с Фокусником. И тот посветски изысканно издевается над ним, упиваясь иллюзией всевластия,— ведь мановением руки он может превратить человека в иголку, в каплю чернил. И только одно превращение — в дрожащую жертву — не всегда удается:

«Фокусник. Подымитесь еще на одну ступеньку — и вы увидите, что человек — былинка.

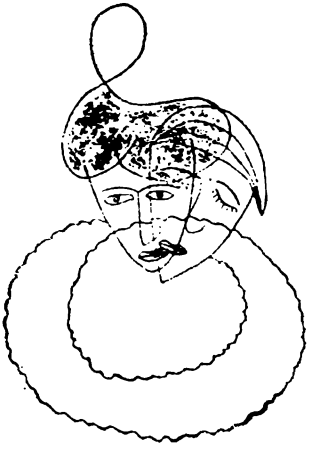
Режиссер. Нет, не былинка. Пловец».

И может быть, впервые в жизни он — измученный, почти сломленный, не сумевший сделать ничего, кроме ошибок, никому не принесший ничего, кроме горя,— может быть, он впервые становится человеком, когда своей волей, не обманываясь иллюзиями, выбирает небытие.

Фокусник прерывает Режиссера, и по его знаку вместе с Режиссером и Слугой исчезает вся левая половина декораций, открывая высокое, ослепительно голубое небо с медленными облаками. Идет дождь из перчаток — белых и твердых, как руки,— и, постепенно стихая, переходит в снег. Фокусник обмахивается веером, а за сценой голоса едва слышно повторяют начальный диалог. Свет не гаснет, и занавес медленно опускается.

Действие «Публики» завершается там же, где началось, а время, разделяющее эти сцены, неопределенно — может быть, это только миг воспоминания. Но дело не в реальном времени, а в том, что между этими сценами умещаются, как и положено в мистерии, все поиски — любви, истины, себя,— вся жизнь и ее итог. Пьеса постепенно уходила вглубь: спускалась с подмостков «открытого театра» в римские руины, оттуда — в веронское подземелье и еще глубже — к «погребенному песками», в поисках последней правды. В начале пьесы Режиссер выбрал свой путь к истине и не отступился ни под тяжестью краха, ни перед лицом смерти. И пусть ценою жизни, но в «глубинном театре» поднялся занавес, чтобы предостеречь против доктрины, готовой сорваться с цепи, и напомнить истину, которую придется выстрадать еще не раз: «Каменная стена догмы рассыпается от единой капли живой крови».

«Стихи сбываются. Поэтому не все пишу»,— заметила в одном из писем Марина Цветаева. Может быть, сходное чувство было и у Лорки, который годами оттягивал издание своих книг. И поэтому, сколько бы ни возвращался он к «Публике», мучимый горьким знанием будущего, пьеса не могла быть кончена, и черновик, отданный другу, велено было сжечь.



НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО

КРАСКИ БОСФОРА

Будто вместе с вращением земли после участия в международной встрече писателей в Софии в июне 1977 года судьба привела меня в соседнюю Турцию.

И вот Стамбул — огромный торгово-промышленный и культурный центр страны, крупнейший порт, раскинувшийся среди холмов и захвативший оба берега Босфора, у самого Мраморного моря. Когда-то тут была речная долина, затопленная морем в антропогене. Естественная гавань Золотой Рог с высокими крутыми берегами искони служила надежным пристанищем морским судам из далеких стран. Удивительно благоприятное географическое положение этого Царьграда — пользуюсь древнерусским названием — не могло не способствовать развитию гигантского поселения.

Давно уже отзвучала на этих вечных берегах «божественная эллинская речь»; и в архитектурной летописи города, в которой причудливо отразился синтез разных культур, прослеживается своеобразная хроника судеб народных и общечеловеческих, складывавшихся в условиях борьбы за господство и существование. Отсюда, еще из византийской столицы на Босфоре, из Константинополя, который некогда слыл средоточием вселенской культуры, брали свое начало эстетические течения, утонченный вкус, художественное законодательство, каноны книжной словесности.

...А эта каменная громада, что возвышается сейчас перед моим взором над землей? Этот несравненный монумент, сотворенный человеческими руками — Айя-София — Святая София, византийское святилище, являющее собой воплощение христианского великовладычества? Освященная в шестом веке, благодаря удивительной зрелости вкуса и художественному пафосу ее творцов, Айя-София служила впоследствии одним из предметов вдохновения турецких архитекторов и скульпторов Стамбула. Небеспричинно грандиозный этот храм нередко сравнивается с изумительным Парфеноном, который считается классическим созданием.

Сколько минуло веков с той поры, какие грозные и неумолимые смерчи пронеслись над берегами Босфора, сметая все на своем пути... Но византийский собор продолжает незыблемо стоять, словно неприступная твердыня. Что же сохраняло Айю-Софию, что удерживало разрушительные силы от посягательства на нее? Почему отнималась рука человека и он не смел решиться на акт варварства и вандализма? Не останавливало ли их нечто прекрасное, величественное... божественное?! Но когда приходят в столкновение социальные силы, когда сражаются люди, разве не воюют и сами боги, религии, фанатизм?

Константинополь едва ли не в одинаковой мере привлекал к себе пристальнейшее внимание Востока и Запада культурой словесности, речевым искусством, являвшимися высоким примером на протяжении столетий. Достаточно упомянуть в этой связи Акафист Богородице, получивший признание как вершинное творение византийской духовной поэзии.

Но у реки времени свои законы. Неумолимое ее течение многое размывает и уносит в небытие. Не пощадило оно и Византию. И культура эта, достигнув академической своей стабильности, утратила творческий характер, оказалась неподвижной, неспособной воспринимать новизну.

Архитектурный облик Стамбула постепенно менялся, турецкие зодчие возвели многочисленные строения, особенно прекрасны знаменитые мечети — Баязида, Сулеймание, Ахмедие, Ени-Джами, с их высокими и утонченными минаретами... А рядом — изогнутые, узкие улочки и переулки, сохранившиеся от средневековья, с тесно прижатыми друг к другу домами и нависающими над улицей верхними этажами.

Стамбул — это и своеобразное морское сплетение, где соединяется морской путь из Черного моря в Средиземное с путями, связывающими Юго-Восточную Европу с Азией. А Босфор — кратчайший путь между Западом и Востоком. Сама природа об этом позаботилась, словно бы указывая на то, как следует создавать каналы связей, пути международного движения, духовного общения народов. Здесь, в старинном Стамбуле, предстояло подписать соглашение о сотрудничестве между Союзом писателей СССР и Синдикатом турецких писателей...

Из Стамбула — путь в Анталью, куда мы прилетели вечером. Первое, что услышали от друзей,— сообщение о «беспорядках в городе», разгуле реакционных, профашистских сил. В результате вооруженной схватки минувшим днем был убит один из местных фашиствующих главарей. Убит своими же единомышленниками. В городе царила атмосфера террора. Жители опасались выходить на улицу.

Во время ознакомления с Антальей турецкие писатели показали нам, как нынешние вандалы расправляются с памятниками культуры и народного искусства. Мы видели изуродованные статуи, изображающие простых сельчан и городских тружеников, поврежденные картины и мозаику на сюжеты из народной жизни и труда.

Путешествие — это всегда встреча с людьми, их судьбами, надеждами, ожиданиями. В городе Анталья я познакомился с молодым турецким поэтом Метином Демирташем [1].

Рассказ его о себе был предельно краток. Родился в деревне вблизи города Анталья, работал слесарем на различных городских фабриках. Получил техническое образование. Продолжает трудиться вместе с братьями в мастерской по производству металлических изделий. Писать стихи начал очень рано. Сперва печатался в студенческих журналах. Теперь — автор сборников стихов, в которых нашла отражение жизнь Турции после реакционного переворота 1971 года. Стихи эти как бы обращены к минувшему, хотя и совсем недавнему. С тех пор в мире произошли многие события. Они не могли не отразиться и на положении в Турции. Но людям свойственно не только оглядываться на прошлое. Всегда хочется надеяться на лучшее. Тем более, что дело касается нашего близкого соседа.

[1] В этом номере в подборке стихов молодых поэтов Турции публикуются и произведения Метина Демирташа (см. стр. 3).

...Беседа началась с обсуждения Софийской встречи, которая заметно интересовала Метина Демирташа, но достоверной информацией он не располагал. Такое впечатление, сказал поэт, словно западная печать, так же как и турецкая, всему происшедшему в Софии объявила бойкот. Похоже, нечто весьма существенное, очень важное имело место в столице Болгарии. Запад явно чем-то недоволен...

Помнится, во время проведения Софийской встречи западные журналисты жаловались, что их не каждый день допускали в зал заседаний и потому они, дескать, не могут ничего писать для своих газет и журналов. Между тем и на открытии встречи и на заключительном заседании присутствовали представители всех видов массовой информации.

Однако на Западе по «таинственным» причинам средства массовой информации с демонстративным «снобизмом» обошли всеобщим молчанием этот широкий писательский форум, в котором участвовали крупнейшие литераторы современного мира, представители многих и многих стран.

Нечто подобное мы наблюдали и весной 1978 года в Нью-Йорке в связи с «круглым столом» советских и американских литераторов, среди которых, можно сказать, находилась едва ли не вся «королевская рать» американской литературы,— печать, радио, телевидение США оставались глухи и немы. Даже пресс-конференция, устроенная по инициативе американской стороны, которая подчеркивала существующую в США традицию — нерасторжимое право и обязанность «открытого общества» выступать перед «всей нацией» и информировать о происходящих конференциях, переговорах и т. д.,— осталась без всякого внимания. Между тем советские и американские писатели выступили на пресс-конференции, состоявшейся в одном из отелей в центре Нью-Йорка, и более часа подробно рассказывали о писательских связях и литературных проблемах, отвечали на вопросы корреспондентов... Разве не удивительна эта «последовательность» западных средств массовой информации, разве можно им отказать в «объективности» освещения событий, в «принципиальности» их «свободной» прессы?

Метин Демирташ буквально забросал меня вопросами о Софийской встрече, которая поистине не без причины получила название «литературного Хельсинки». Проходившая под девизом «Мир — надежда человечества» встреча явилась символическим Босфором литератур Востока и Запада... И, разумеется, одним из первых был вопрос о наиболее известных именах участников встречи.

— Их немало... Начать хотя бы с инициаторов и хозяев,— они были представлены такими именами, как Пантелей Зарев, Емилиан Станев, Любомир Левчев, Камен

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО
КРАСКИ БОСФОРА

Калчев, Николай Хайтов, Йордан Радичков, Георгий Джагаров, Богомил Райнов. В Софию прибыли крупнейшие писатели Советского Союза и других социалистических стран: Георгий Марков, Константин Симонов, Чингиз Айтматов, Мирзо Турсун-заде, Сергей Михалков, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Ян Козак, Имре Добози, Йозеф Рыбак, Герман Кант и многие другие — всех не перечесть. В Софию съехались писатели всей земли, живущие болью своего народа и своего времени.

— Скажите, а были там Шолохов, Ивашкевич, Анна Зегерс? — поинтересовался турецкий поэт.

— К сожалению, на самой конференции они не присутствовали по состоянию здоровья. Но имена их значатся в числе литераторов, подписавших воззвание инициативной группы по созыву Софийской встречи.

— А писатели США?

— В «американское созвездие» входили известные писатели: Джон Чивер, Уильям Сароян, Элтон Фэкс, Гор Видал, большой исторический роман которого, кстати говоря, мы собираемся публиковать на страницах журнала «Иностранная литература»[1]...

Имя Гора Видала не значилось в списке выступавших с трибуны Софийской встречи, хотя он и готовился произнести свое слово. Не все участники успели выступить: их было свыше ста пятидесяти. Но мы смогли оценить дружеское общение Гора Видала, который постоянно был окружен коллегами в кулуарах конференции, вел беседы за чашкой кофе. Были споры, дискуссии, во время которых — хотя, естественно, и не были сняты все проблемы и устранены различия в подходе к современному миру — мы сумели тем не менее лучше узнать друг друга и углубить дух сотрудничества, личные писательские контакты.

И сейчас вспоминается мне выступление Гора Видала в мае 1978 года по американской телевизионной программе «Мёрв Гриффин шоу», которую мне довелось смотреть в Сан-Франциско. Не скрою, рассказ Гора Видала о его новом романе «Калки» вновь вернул меня к дням и беседам во время Софийской встречи. Я воспринял его как продолжение наших размышлений. Но на этот раз Гор Видал выступал уже перед многомиллионной аудиторией телезрителей.

Речь его была острой, сатиричной, обличительной. Запечатлелись слова Видала о том, что по своим взглядам он причисляет себя теперь не к демократам, а к социалистам. Америка, говорил он, никогда не была и не является демократией. Это — страна олигархии, страна, управляемая крупным капиталом, элитой, составляющей всего лишь один процент населения... Все президенты Америки — от самого первого, Джорджа Вашингтона, и до нынешнего — люди денежные, очень денежные, миллионеры. Отсюда и священный закон о неприкосновенности частной собственности.

Конечно же, у столь известного и столь знающего американскую историю и современность писателя были свои резоны для того, чтобы утверждать это. Все не просто, все не без причины. Без изменения самой социально-экономической структуры США невозможно решить кардинальные проблемы — безработицу, энергетический кризис, гонку вооружений и т. д. Баснословные расходы Пентагона должны быть сокращены по меньшей мере на одну треть. Словом, вне движения истории нет спасения...

Не все, разумеется, осталось в моей памяти: шла живая беседа с ведущим программу Мёрвом Гриффином — скорее не на английском языке, а на его разновидности — «американском диалекте». Что-то, видимо, ускользало, скрываясь между слов... Но, думается, мне удалось уловить главное так, как это было произнесено, в том числе, например, замечание Гора Видала, что сейчас ни у демократов, ни у республиканцев нет авторитетного политического лидера, который мог бы стать достойным президентом США. На реплику Гриффина: а такой деятель, как Рональд Рейган, бывший губернатор Калифорнии? — Гор Видал иронически ответил: какой может быть разговор о политикане с «подкрашенными волосами и бровями»! При нынешнем положении дел в США, в государственном руководстве, добавил писатель, Америка может потерять все, потерять и проиграть, в том числе и войну, если она возникнет.

Тревожное, неустойчивое это существование.

Между тем Гор Видал не счел уместным говорить о тех же президентах как о людях хотя бы сколько-нибудь интересующихся книгой, понимающих значение художественного творчества, литературы, будто это противопоказано деятельности высших государственных руководителей. А ведь его появление на телеэкране было связано именно с рассказом о книге, новом его романе «Калки», написанном в свете событий — отгремевших, нынешних и грядущих...

Но вернемся к нашей беседе о Софийской встрече.

— А кто был из английских писателей? — задал очередной вопрос Метин Демирташ.

— Английская литература прежде всего была представлена современным ее классиком — Чарльзом Сноу. Его участие трудно переоценить: высокий его авторитет в писательском мире, огромный творческий и жизненный опыт были поистине неоценимы.

— Приглашались ли другие английские писатели?

— Да, было приглашено еще несколько литераторов. Огорчительно, однако, что давние наши друзья, Джеймс Олдридж и

[1] Теперь, когда пишутся эти строки, роман «Бэрр» Гора Видала уже увидел свет на русском языке и занял свое место в кругу широкого чтения в Советском Союзе. (См. «ИЛ» № 7—10, 1977).

Памела Джонсон, не смогли прибыть в Софию по болезни.

И снова на память приходят встречи с Чарльзом Сноу, Памелой Джонсон и Джеймсом Олдриджем в Лондоне, который я посетил вскоре после конференции в Болгарии.

Свет из Софии... Подобно огню Олимпа, его излучение простерлось далеко за пределы болгарской земли. Возвращаясь на родину, в страны Востока и Запада, писатели понесли с собой факелы, зажженные во время Софийской встречи. И сами участники ее стали живыми носителями духа писательского сотрудничества и творческих контактов. Потому, видно, столь сердечно было наше общение с Чарльзом Сноу в Лондоне, где мы не только вспоминали минувшее, но и стремились посмотреть за горизонт дня нынешнего.

И в Лондоне, как и в других городах на Западе, был спущен непроницаемый занавес, который не пропускал никакой информации о Софийской встрече. И там обнаружилась зловещая фигура умолчания. Об этом мне напомнил Джеймс Олдридж, который тщетно пытался прочесть что-либо на страницах английской «свободной прессы» или что-либо услышать по «беспристрастной» широковещательной сети радиоинформации Би-би-си. Напрасные старания: глухая стена отгораживала англичан от всего, что было связано с международной встречей писателей в столице Болгарии. Нужны ли здесь комментарии? На западном фронте все еще без перемен. Будто Хельсинки вовсе и не было... Как устойчивы, однако, традиции «свободной» печати и радио, сколько ханжества и демагогии они извергают... К примеру, эта программа британского радио «Глядя из Лондона...». Глядя, но не видя и не слыша. Только глядя. Мир, в котором давно уже вместо солнца светят фонари, едва заметные в густом тумане развлекательности и вседозволенности. Мир, объятый лицемерием, апатией, бесчувствием к духовной реальности, которая оттеснена ненасытным стяжательством и потребительской страстью.

— А кто был из итальянских писателей? Альберто Моравиа? — продолжал расспрашивать меня Метин Демирташ.

— Нет, Альберто Моравиа, очевидно, не счел для себя подходящим принять участие в нашем писательском собрании. Причины не известны. Во всяком случае, не физическое недомогание... Зато итальянская литература была представлена такими именами, как Джанни Родари, Альдо де Яко, Игнацио и Пьетро Буттита. Участие их было весьма продуктивным. Помимо всего, по их собственному признанию, они приобрели немалый опыт проведения международных встреч деятелей культуры, опыт, который чувствовался при подготовке конференции европейских писателей в мае 1978 года во Флоренции. Нужно ли пространно говорить о том, что новые международные писательские встречи, имеющие целью развитие творческого духа «литературного Хельсинки», не могут не учитывать, очевидно, то положительное, что было накоплено во время Софийской встречи. Да, Софийская встреча служит нам точкой отсчета, когда речь идет об укреплении международной писательской солидарности, дальнейшем расширении литературных контактов, взаимосвязей. И здесь всякий отход от достигнутого неизбежно обернется движением вспять.

Метин Демирташ продолжал интересоваться и другими участниками Софийской встречи, их выступлениями, контактами, носившими неофициальный, дружеский характер. Его интерес, казалось, все возрастал по мере нашей беседы. Один из последних его вопросов был о кубинских и латиноамериканских писателях. Он знал творчество Габриэля Гарсиа Маркеса, Николаса Гильена и спросил у меня, были ли они в Софии.

— Габриэль Гарсиа Маркес на Софийской встрече не был, хотя собирался участвовать. Трудно бывает иногда объяснить поведение творческой личности. Трудно вообще говорить за других. Не хотелось бы мне превращаться в оракула и в данном случае. Остается лишь надеяться, что и Маркес и многие другие писатели стран Латинской Америки смогут участвовать в дальнейших международных начинаниях литераторов. Что касается Николаса Гильена, то он возглавлял кубинскую делегацию и выступил с яркой речью, в которой с особой силой выразил господствовавшее стремление — всеми средствами продолжать борьбу за международную безопасность, за углубление процесса разрядки.

Наш разговор о латиноамериканских писателях, очевидно, по какой-то ассоциации вызвал несколько неожиданный вопрос у моего турецкого коллеги:

— А не приходилось ли вам видеть Че Гевару?

— Да, с Че Геварой у меня были встречи в разные годы...

— В самом деле? Мне как-то даже не верится... Неужели вот сейчас я разговариваю с человеком, который лично знал Гевару,— с жаром произнес молодой поэт.

Наш разговор с Метином Демирташем происходил в машине, которую он вел. Я сидел рядом. Мне хотелось лучше видеть особенности живой природы, простиравшиеся впереди горы, куда лежал наш путь.

— Гевару знали многие, о нем написано немало книг,— продолжал я.

— Вообще, конечно, это верно, но мне впервые приходится говорить с человеком, который сам непосредственно соприкасался с Геварой. И меня особенно интересует ваше личное впечатление.

— Едва ли смогу сообщить что-либо необычайное, тем более с тех пор минули годы. Записей я не вел, а память человека, увы, совершенством не отличается, по крайней мере, моя память.

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО

КРАСКИ БОСФОРА

— Но все же что-то запомнилось?! — продолжал настаивать Метин Демирташ.

— Пожалуй, не более чем отдельные моменты разговора.

— Поделитесь, пожалуйста, хотя бы самым малым, что сберегла вам память. Тут всякая крупица — словно жемчуг...

— Из нашей первой встречи в начале шестидесятых годов в Токио запомнились слова Гевары, сказанные о себе самом...

— Позвольте, в Токио?

— Гевара прилетел тогда в Токио во главе кубинской экономической миссии для переговоров с японскими властями и пожелал встретиться с советским послом. Это было еще до установления дипломатических отношений между Кубой и СССР.

— Он, вероятно, и пришел к вам с целью установления...

— Нет, не совсем. Скорее он посетил наше посольство, чтобы лично познакомиться с советскими людьми, с которыми, если не ошибаюсь, ему не приходилось ранее встречаться.

— Вы знаете испанский или он говорил по-английски?

— Нет, я не владею испанским, а он — английским, который доступен мне. Мы объяснялись через переводчика. Гевара был не один. Его сопровождал кубинский военнослужащий в звании капитана, имени которого я, к сожалению, не помню.

— И вы нашли общий язык?

— Верно, нашли — язык взаимного понимания и симпатии.

Метин Демирташ сбавил скорость, вывел машину на обочину и заглушил мотор.

— Извините за остановку... Я хотел бы сосредоточиться на рассказе — внимание как-то раздваивается, а дорога здесь довольно извилистая.

Я не торопился, остановка не была мне неприятна. Но Метин Демирташ продолжал приносить извинения, повторяя, что упущенное время мы с лихвой наверстаем. Меня же все более удивляла редкостная его учтивость, какой-то внутренний такт, предупредительность. Невольно обращал я внимание на то, как он всех пропускал вперед, первым не прикасался к угощениям, ограничивался самым малым, к тому же в последнюю очередь. И все это получалось у него естественно, непринужденно, поистине «аристократически просто».

Мы вышли из машины. Воздух был напоен степным запахом. Чувствовалось дыхание ветра.

— Простите, что прервал вас,— тихо заговорил Метин Демирташ, в глазах которого мне почудилось едва ли не раскаяние.

— Разговор с Геварой был долгим и увлекательным. Он интересовался всем, и в частности биографией своего советского собеседника, образованием, специальностью. Прошлым и настоящим. Узнав о моих занятиях восточной филологией, Гевара тотчас задал мне несколько вопросов профессионального характера, которые указывали на живую причастность к предмету.

— Китай? — нетерпеливо спросил Метин Демирташ.

— Да, был, разумеется, разговор и о Китае, его культуре, искусстве, философии. Но не это было главным.

— Революция, борьба, мужество?! — спешил поэт.

— Верно, вы угадали... Гевара рассказал и о себе — учился в Аргентине на медицинском факультете. Увлекался учением Павлова о высшей нервной системе, рефлексах...

— Он кончил медицинский? — снова обнаружилась нетерпеливость Метина Демирташа.

— Похоже, что да. Когда же я спросил Гевару, к чему привел его интерес к теориям великого советского ученого, он мгновенно ответил: «К безусловному революционному рефлексу!»

— Непостижимо... Какой неожиданный излом мысли, какая фанатичная приверженность. Нет, не любому божеству поклоняемся мы. Не покорные мы овечки и не склонны следовать за любым пастырем...

Как не вспомнить тут слова Че Гевары: «Это были люди, с которыми делалась революция. Поначалу — мятежники, восставшие просто против всякой несправедливости, одинокие мятежники...» Правда и то, что поначалу была мечта, затем — осмысление идеи, теория и, наконец, реальность. Неукротимость воли, непримиримость к врагам. Человек проявляет себя в наибольшей мере, когда он активен, действует, когда дух борьбы и созидания определяет его жизнь.

Да, мир удивителен, удивителен людьми, их судьбами, поступками, способностью испытать душевное волнение. Людьми, которые всегда в эпицентре ситуаций, событий, человеческих тревог и которым театральный грим противопоказан.

Истина сторонится поспешности, скороговорки. Какое-то мгновение мы оба молчали. С возвышенности хорошо было видно, как впереди растекается трепещущее море, зримый поток жизни. Золотое кружево из солнечного света на утренней глади безбрежной воды. А вдали от берега неподвижно висела дымка над узкими улицами с глинобитными хижинами, крытыми землей и чешуйчатой черепицей.

— Рискую наскучить, но вопросы вырываются сами собою. При каких, интересно, обстоятельствах вам еще приходилось встречаться с Че Геварой? — заговорил Метин Демирташ, возвращая меня к далеким воспоминаниям, на путь свиданий.

— Была еще одна встреча. Спустя годы. Последняя. В Нью-Йорке, 12 декабря 1964 года. Гевара прибыл тогда во главе кубинской делегации на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Мы увиделись в фойе, перед залом заседаний, среди множества собравшихся людей. Бросились друг другу навстречу. Мужские горячие объятия, минуты, когда не замечают изумленных лиц журналистов и «кинооператоров», которые толпами преследовали Гевару.

— Наверно, говорили и о токийской вашей встрече?

— Да, был разговор о минувших днях, о дружеском нашем общении в Токио. Новые ощущения нередко оборачиваются новым раскрытием познанного, когда-то испытанного.

— С глубоким уважением в сердце,— едва слышно добавил Метин Демирташ.

— Запомнилась мне речь Гевары с трибуны Генеральной Ассамблеи. До отказа наполненный зал. Теснили друг друга друзья и откровенные враги кубинской революции. Еще до появления оратора то и дело в адрес свободной Кубы раздавались злобные выкрики, оскорбительные слова...

Выход Гевары на трибуну, однако, был встречен громом рукоплесканий, а речь его, которую он произносил со свойственным ему темпераментом, покоряла аргументацией и революционной убежденностью, захватывала, обжигала сердца.

— Неужели можно так эмоционально читать текст? — внезапно вырвалось у поэта.

— Нет, читать, пожалуй, так невозможно. Это была живая речь. Безбумажная...

— Разве на дипломатических конференциях говорят без написанного?

— Очень редко. Скорее как исключение. Обычно читают заранее подготовленный текст.

— Кто готовит? Сам докладчик или еще кто-нибудь?

— Чужой текст произносить всегда опасно, особенно без предварительного его прочтения. У каждого автора своя фразеология, своя манера письма, а у некоторых еще и обязательная пунктуация, знаки препинания, нарушение которых при невнимательном отношении к тексту может нанести смутить слушателей.

— Гевара,— заметил Метин Демирташ,— видно, хорошо владел ораторской грамматикой, знал пунктуацию и умел расставить политические акценты... Убежден, что не могла не восхищать его приверженность революционной идее, его свободолюбие, раскованность.

— Враги революционной Кубы чудовищно отреагировали на выступление Гевары. Они даже установили на противоположном берегу Ист-Ривер «базуку» и выпустили снаряд в высотное здание ООН в расчете на то, что под его развалинами погибнет Че Гевара, а вместе с ним и сотни участников сессии. Но снаряд не достиг цели: взорвавшись в воздухе, он лишь сотряс здание ООН.

Какое-то время мы стояли молча. Вспомнив прошлое в это солнечное утро, среди сияющей природы, я не мог не испытать вновь гнева к презренной кучке отъявленных террористов, которые готовы были пойти на любую подлость и злодеяние для достижения преступных целей.

— Может показаться удивительным,— неуверенно заговорил Метин Демирташ,— но и моя судьба в какой-то мере связана с именем Гевары...

А мне подумалось что старания вознаграждаются сами собою. Каждый выбирает себе сподвижников по своему разумению, по собственному наитию.

— В 1967 году,— продолжал поэт,— меня арестовали за стихотворение «Че», опубликованное в журнале «Тюрк солу». Тюрьма, допросы, следствие.

Метин Демирташ на мгновение задумался, будто стремился что-то вспомнить. Мысль вскоре пришла, и он прочел строки из своего стихотворения «Песня на тюремной прогулке»:

Мчится время и ты в свое время
Дорогую свободу возьмешь как невесту
за локоть
И выйдешь на свет
Тут начнут за тобою охотиться
Мытарства и безработица
Эта самая лютая каторга[1].

Напрасны, однако, были старания недругов поэта — отбить у него охоту к жизни и творчеству они уже не могли, хотя репрессии не уступали своего места свободе и гуманизму. Его пугали, но он, очень похоже, не боялся. Не сломили поэта и безработица, нужда, лишения. Нелегким это было время, когда не обладал он никакими сокровищами, кроме «лунного серебра» и «яркого золота» утреннего солнца.

Общие испытания и общие надежды способны порой сблизить людей с особенной силой. И потому так искренне было волнение турецкого поэта, его скорбь по тому, чья жизнь оборвалась столь трагично. Горе потери неизбывно. Но в горе и сила: «У боли есть и лицевая сторона — мужество, подвиг в жизни».

Вскоре мы выехали к морю. Дорога вела вдоль побережья. Насаждения сменялись пустырями, приморские виллы — убогими крестьянскими жилищами.

— Извините,— обратился ко мне Метин Демирташ, начав с привычного ему слова вежливости,— не приходилось ли вам встречаться с Пабло Нерудой?

Я ответил, что был знаком с латиноамериканским поэтом, мы подолгу беседовали, спорили — мы дружили, хотя нередко между нами пролегали целые континенты и океаны.

— Расскажите, пожалуйста, каков он, когда рядом с вами,— продолжал мой спутник.

— Исчерпывающе обрисовать Пабло Неруду мне не под силу. И не только, наверное, мне одному. В моем случае допустимо говорить лишь о каких-то впечатлениях, о том, что отложилось в памяти непроизвольно, самостийно. И пожалуй, останется навсегда.

— Детали, особенно какие-то неповторимые черты увиденной своими глазами поэтической личности могут сказать нам не меньше, чем литературные портреты, которые часто создаются людьми с помощью

[1] Полностью это стихотворение в переводе Юнны Мориц см. на стр. 4.

общих рассуждений,— не без иронии заметил мой собеседник.

— С великим чилийцем впервые мы встретились в Пекине. Шел 1951 год. В Китай Пабло Неруда приехал вместе с Ильей Эренбургом, с которым был в давней дружбе. Мы не расставались почти все дни, что Неруда провел в Пекине. Его интересовали китайские писатели и художники, а у меня со многими из них были добрые отношения. Не скрою, мне доставляло немалое удовлетворение переводить беседы Неруды с китайскими литераторами.

— Извините, а Пабло Неруда знал русский язык? — спросил Метин Демирташ.

— Нет, не знал, не говорил; по крайней мере, я не слышал от него ни одного русского слова. Переводить приходилось мне с китайского на русский, а Эренбургу — с русского на французский, которым владел Неруда. К тому времени поэзия Пабло Неруды начинала приобретать известность в Китае: был издан сборник его стихотворений, включавший поэму «Лесоруб».

— Нелегко поверить в то, что испаноязычная поэзия может сохранить свое звучание в китайской иероглифике... Хотелось бы знать, как к этому отнесся сам Пабло Неруда? — спросил Метин Демирташ.

— По моим впечатлениям, Пабло Неруда был рад выходу сборника. Но китайский текст немало озадачил автора. Его очень интересовало и китайское звучание стихов и, конечно, точность, мастерство перевода. У меня в библиотеке до сих пор хранится экземпляр этого сборника с автографом Пабло Неруды, всегда напоминающий мне о наших раздумьях по поводу толкования поэтического текста при переводе на иностранный язык...

Метин Демирташ внимательно слушал меня, заметил, что он всегда с восхищением относился к Пабло Неруде как поэту и человеку, потом вдруг, явно волнуясь, заговорил громче обычного:

— И у нас есть «лесорубы»! Взгляните на эти роскошные виллы. Здесь, на прибрежной земле, росли вековые сосны неповторимой красоты. Их истребили одну за другой. Сперва корни этих могучих растений при ясном божьем свете обливали керосином, а затем под покровом ночи разводили огонь. Языки пламени обжигали корни, и деревья умирали. Обгоревшие сосны старательно рубили и выкорчевывали, словно они погибли сами собой. Так, на «законном» основании «лесорубы» уничтожили дар природы, предназначенный не для толстосумов и казнокрадов, а для всех людей; вырубили изумительную сосновую рощу из-за горстки магнатов, и они теперь умильно глядят на «простой народ» из окон своих роскошных башен.

...Вдоль морского побережья возвеслись над землей полусказочные чертоги, которые подчеркивали свое превосходство над убогими хижинами простолюдинов. Да, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать... Жалкие хибары сарайного типа, сколоченные бедняками из строительных отбросов, разного рода коробок, обрезков железа, теснились у самой воды. Картонные стены и перегородки. Никаких признаков элементарных удобств. Антисанитария. Обитатели этих «шатров» просуществуют лишь до осени, когда начнутся приливы и морские волны не оставят от печального этого табора никакого следа.

И всюду признаки противоборства, острой контрастности: бренность и распад рядом с неистребимой жизнью, улыбкой вечной природы. Все тут ждет, ждет движения, перемен.

И мне подумалось, как много здесь людей, что любыми путями, в ущерб самой животворящей природе со всей своей одержимостью стремятся возвыситься друг над другом, подняться по крутой и коварной лестнице на высшие этажи общества, в котором бедные становятся беднее, богатые — богаче, а могущественные — еще более могущественными. Демократия? Свобода? Права? Остаются вопросы, одни вопросы. Да, свобода, свобода денег, которые означают тут и демократию, и права человека, и полновластье. И чем больше капитал, тем больше свободы и власти. А у кого их мало, а то и вовсе нет? Какова власть и права у миллионов безработных и неимущих? Что вынуждены они презреть, а что признать? Презреть пустые понятия, обманные декларации, манипуляцию словесами. Признать лишь землю, что под ногами, видеть бренных ее поселенцев, «не дьяволов и не святых» — оскорбленных и бесправных, которые прежде всего нуждаются в хлебе, самом простом, без примесей, грубого помола. «Нейлоновый» из-за океана — не нужен, слышал я не однажды от турецких литераторов. Он красив, но ненатурален, у него аптечно-синтетический вкус.

— А встречались вы с Пабло Нерудой в Москве? — осторожно вернул меня к интересующему его вопросу Метин Демирташ, когда по изгибам каменистой дороги мы забрались почти на самую горную вершину.

— Верно, встречались — в Москве, спустя десятилетия после пекинского нашего знакомства. Произошло это в гостинице «Националь». Пабло Неруда, выполнявший в то время обязанности посла Чили во Франции, прибыл в Москву на несколько дней.

— Неруда как будто был тогда не совсем здоров?

— Да, но об этом он даже не обмолвился, хотя беседа наша продолжалась не один час. Скрыть это, однако, было невозможно. Каждые пятнадцать минут к нам приходила жена его с лекарством и стаканом воды, и Пабло Неруда безропотно принимал очередную порцию таблеток и микстуры.

— Теперь вы оба были в ранге чрезвычайных и полномочных послов...

— Да, по этому поводу Пабло Неруда, между прочим, заметил с улыбкой, что наше положение в дипломатии выровнялось: народная власть удостоила нас высокой чести: одного — раньше, другого — совсем недавно. Но обоих — революция.

— Был Пабло Неруда моложе самой весны,— вырвалось у турецкого поэта.

— Из пекинских впечатлений, связанных с Пабло Нерудой, запомнился такой момент. Однажды во время вечерней трапезы в нашем посольстве мы угостили Пабло Неруду бутылкой чилийского белого вина, которую мне каким-то чудом удалось обнаружить в старом подвале. Бутылка была покрыта слоем пыли. Видно, пролежала многие годы. Даже надпись на этикетке выцвела от времени, и трудно было разобрать название. Пабло Неруда, однако, мгновенно установил истинно чилийское происхождение вина. Он любовно припик ладонью к стеклу, словно ощущая за ним какую-то частицу родной земли, и она будто приблизилась из-за океанской своей дали. Глаза его заметно увлажнились... А мне было так понятно его волнение.

— Нет, не минутная сентиментальность, не просто вспышка чувствительности... Дорогого это стоит,— неудержимо вырвалось у моего собеседника.

— В самом деле... Хотя, наверное, сперва было чувство, потом — мысль,— пытался я что-то объяснить то ли собеседнику моему, то ли себе самому. Трудно бывает понять, как происходит все это, но полное счастливого волнения лицо Неруды внезапно воскресило передо мной, пробудило в памяти что-то очень дорогое собственному моему существу, что-то сокровенное, неповторимое... Потянулась непрерывная нить воспоминаний, возвращая меня на годы вспять, которые навсегда унесла неостановимая река времени. И хотя многое безвозвратно тонет в бесконечном этом потоке, бывают живые мгновения, которые человек забыть не в силах, если бы даже жить ему суждено было вечно. Нет, память, в которую переливаются годы нашей жизни, отнюдь не всегда для нас беспощадная самоказнь.

— Такие минуты незабываемы,— произнес Метин Демирташ после продолжительного молчания.

— Да, это верно. Немало событий минувших лет почти не оставили в моем сознании следа. А здесь еще живы во мне сама атмосфера непосредственности, волнение сердца...

— Отчего же так редки в нашей жизни минуты глубоких чувств, неодолимых движений сердца?

Вместе с тем каждый раз задумываешься, что все это, быть может, одна лишь сентиментальность? Слезы — не признак ли это слабости, излишней чувствительности? Разве человек не должен владеть собой, быть твердым, волевым?

— Но не слишком ли мы рационалистичны? Не приводит ли порой наша чрезмерная рассудочность к зачерствению, бессердечности, бездушию?

— Вы хотите сказать, что язык чувств как высокий дар природы и как средство человеческого общения заметно утрачивается? Поэзию и ощущение прекрасного невозможно сводить до уровня информации, кибернетического программирования, хотя в наш век электронно-вычислительной техники едва ли не все переводится на машинный язык.. Ничто, однако, не может заменить то, что мы именуем душой человека.

— Творчество Пабло Неруды, по всей вероятности, хорошо известно вашим читателям? — осторожно поинтересовался Метин Демирташ.

— Его поэзия весьма популярна в нашей стране. Но Пабло Неруда во время московской встречи говорил не о себе, а о творчестве писателей-соотечественников, о взлете латиноамериканского романа, силе заключенного в нем социального начала, самобытности его содержания, выразительных средств. Прошлое и настоящее народов Латинской Америки, столкновение уходящего и наступающего, новое, критическое осмысление истории и реальности — все это, подчеркивал Неруда, интересует сегодня художников слова.

— Называл ли он, извините за назойливость, какие-либо имена, произведения?

— Да, несомненно. Об этом именно шла речь. Нескрываемую заинтересованность Пабло Неруда проявил в отношении творчества колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, о котором он говорил не только как о литераторе, но и как о человеке, о личном своем друге, давнем и очень близком. Неруда был чрезвычайно щедр в оценке дарования Маркеса. Ни о ком другом из писателей Латинской Америки не отозвался он столь горячо, как о нем.

— Прославился Маркес, на мой взгляд, своим романом «Сто лет одиночества»,— заметил Метин Демирташ.

— Вероятно, благодаря этому роману, но, конечно, не только...

— Он издан на русском языке?

— Да, сперва перевод романа был опубликован на страницах «Иностранной литературы», затем вышел отдельной книгой...

— Имел, конечно, успех?

— Огромный. И среди читателей, и среди литераторов. Константин Симонов, смею упомянуть, как-то во время нашей беседы назвал «Сто лет одиночества» романом гениальным. Подобного мнения об этом произведении, насколько знаю, и другие советские художники слова — Георгий Марков, Борис Полевой, Михаил Луконин, Сергей Смирнов, Евгений Евтушенко, а также многие другие, с кем мне приходилось не однажды беседовать на эту тему.

Мы выехали на небольшую равнину, открывшуюся перед нами в горном ущелье. Вокруг теснились гигантские скалы. Метин Демирташ выбрал удобное место для стоянки машины, заглушил мотор, но оставался неподвижен, словно не желая расставаться со своими раздумьями, которые для него сейчас, кажется, существеннее всего остального.

— Скажите, рискую быть слишком навязчивым, был ли когда-либо Маркес в Со-

---

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО
КРАСКИ БОСФОРА

ветском Союзе? — спросил турецкий поэт, ожидавший, видимо, каких-то не последней важности деталей, недостающих ему для всей полноты картины.

Простым самым ответом, думалось мне, конечно, было бы короткое: «Нет, Маркес не бывал в Советском Союзе». Не нужно, однако, обладать даром прорицателя, чтобы предвидеть вопросы, недоумение и прочее. Все же одолело торопливое желание просто сказать:

— Нет, Маркес никогда не бывал в нашей стране.

— Невероятно... извините, мне трудно назвать хотя бы одного видного художника слова огромного нашего мира — на Востоке или Западе,— который не стремился бы побывать в Советском Союзе или не побывал бы у вас в стране хотя бы однажды...

— Достойно сожаления, но это так. Именно так, Маркес еще не бывал у нас, и, быть может, причина тут не только в нем самом.

— Неужели он не пожелал?..— воскликнул Метин Демирташ и замолк на полуслове.

— Не берусь судить об этом. Люди не всегда последовательны... Небезгрешны, кажется, и мы, хотя и стремились к тому, чтобы увидеть его в Москве, приглашали, даже не однажды.

— Не могу этого понять,— сказал мой собеседник, сосредоточенно посмотрев на меня, как если бы до сих пор он прекрасно меня понимал, а сейчас...

— Пабло Неруда в день нашей московской встречи дружески, очень дружески сказал мне, что Маркес огорчен, считает себя незаслуженно обиженным.

— Это, извините, за что же?

— Дело в том, что его роман «Сто лет одиночества» был издан на русском языке с небольшими купюрами без предварительного согласования с автором...

— Как же это случилось?

— Об этом спросил меня тогда и Пабло Неруда. Отнюдь не желая оправдывать издательство «Художественная литература», я стремился объяснить ему, что необходимость этих купюр можно понять. Роман, на мой взгляд, лишь выиграл в глазах советского читателя, выиграл оттого, что был освобожден от некоторых слишком грубо натуралистических сцен, которые для нашего читателя, воспитанного на иной традиции, вряд ли приемлемы. И то, что предназначено для западного читателя, увы, не всегда может быть безоговорочно принято нами, с нашим мироощущением, с нравственными нашими представлениями и эстетическими понятиями.

— И что же Пабло Неруда?

— Мне запомнились его восторженные слова: Маркес — талантливейший художник, талантливейший... И этот человек, подчеркнул поэт, не может не быть великим другом нового мира и творчества — Советской страны...

— Скажу вам, позвольте, слава Пабло Неруде, слава талантливейшему другу его — Маркесу, который, я уверен, посетит, непременно посетит обетованную землю советской литературы...

Вокруг нас высились горы. Плотно громоздились одна на другой чудовищных размеров серые скалы. И рядом с каменными глыбами — благородных линий колонны и резные порталы, чудом сохранившиеся среди руин, оставшихся со времен римского господства в этих краях. То был другой, далекий мир... Словно остановившееся время...

Вы ступаете здесь по истории, продвигаясь по древним каменным плитам. Дышите историей, стоя у колоннады с тяжелыми порталами. И кажется неправдоподобным то, что тысячелетия назад человек, владевший лишь техникой простого рычага, умел возводить поразительные эти дворцы из многотонных каменных глыб. Иное тут было течение времени, иные измерения, иные ощущения. От всего тут веет волшебством. Словно приютилась среди этих скал частица самой вечности. Отчего же эта высокая культура погибла, оставив потомкам лишь развалины, которые навевают грустное очарование? Грозные, бурно сменяющиеся события?.. И каковы законы преемственности культурных ценностей, эстетических идеалов и норм? И захотелось знать, какую информацию тревожного нашего века в цепи времени донесет человечество грядущим поколениям, обществу будущего?..

Нежданный разговор в самом начале пути после Софийской встречи писателей с одним из молодых турецких поэтов приблизил меня к миру интересов творческой молодежи страны, расширил взгляд на нынешнюю ее духовную жизнь. Это был для меня живой час, который трудно забыть.

Молодые поэты Турции живут в насыщенной тревогой атмосфере. Им невозможно отделить свою судьбу от происходящих вокруг событий. Стихи их — сама жизнь, ее невзгоды, лишения, надежды. Поэты берут эту реальность бытия и превращают в обжигающие строки, чтобы преодолевать выпавшие на долю людей испытания. В этом, кажется, обнаруживаются те самые точки в человеческой душе, где таятся нервные сплетения тревог беспокойной нашей планеты.

И есть у них вера, вера в то, что людям дано справиться со всеми бедами на земле, найти верное решение мучительных проблем.

◆

Заметки на полях

ПРИЗРАЧНОЕ ЭХО, ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИСТОРИИ

Французская пресса широко отметила 10-ю годовщину «мая 1968 года». Тогда в стране бастовало одновременно десять миллионов человек. Рабочие, служащие, студенты продемонстрировали миру, как велики революционные потенции масс, когда они действуют согласованно и одновременно, как страшно могут повернуться события, пущенные на самотек. Экономические забастовки и студенческие выступления 1968 года во многом определили ход общественной борьбы и развитие последующих социальных конфликтов во Франции. Теперь, десять лет спустя, газеты и журналы попытались определить резонанс этого события в истекшем времени и определить его сегодняшнее звучание.

Книги, статьи, брошюры, посвященные «маю 68-го» — как кротко называют этот памятный для французов исторический момент,— не перестают появляться в печати. Да это и понятно. После 1968 года капиталистическое общество не претерпело радикальных изменений, но симптомы его неблагополучия, его конфликты и противоречия — все, что выявилось 10 лет назад во время народного взрыва, проникло в сознание многих французов, принадлежащих к разным социальным слоям. Осмысление того, что произошло в 1968 году, продолжает порождать романы, многостраничные социологические и социополитические исследования. Сегодня они стали трезвее, спокойнее, логичнее, чем написанные по горячим следам книги начала 70-х годов, однако, как и раньше, некоторые труды и выступления полны противоречий, а буржуазная пресса нарочито сглаживает в них наиболее важное, не отделяя зерна от плевел.

В рецензии сразу на четыре публикации социологического характера — книги Жан-Марка Сальмона, Жан-Клода Гийебо и досье журналов «Магазин литтерер» и «Отреман» («Жить по-другому») — литературный обозреватель журнала «Экспресс» писатель Макс Галло пишет:

> «Мы пережили богатое мыслями, решающее, можно сказать, десятилетие. Хотя мы живем в век скоростного потребления, ускоренного движения, быстрого износа идей и концепций, некоторые духовные приобретения очевидны и необратимы. Маркс — лишь один из великих философов XIX века. Социализм перестал быть научной религией. Наука и техника — больше не ключи от счастья. Свобода, индивидуум, сознание, демократия — отнюдь не буржуазные идеи, но ценности, необходимые для цивилизованной жизни...»

Стоит ли спорить с каждым из перечисленных утверждений в отдельности? Галло считает Маркса «лишь одним из великих философов XIX века». Но Маркс — основоположник научного коммунизма — единственной теории, которая проверена практикой. Именно поэтому «социализм перестал быть научной религией». Тот факт, что наука и техника сами по себе не являются залогом счастья, еще в XIX веке доказала

французам зашедшая в тупик философия позитивизма. Свобода, сознание, индивидуум, демократия в самом деле не только буржуазные ценности. Идеи эти получали весьма различное наполнение на разных стадиях развития общества — от рабовладельческого до социалистического.

Но, собранные вместе, утверждения Галло отчетливо рисуют абстрактную философему буржуазной интеллигенции, закрывающей глаза на реальное существование достижений социалистической системы или просто игнорирующей ее. Для Макса Галло и таких изощренных теоретиков антикоммунизма, как Раймон Арон, пример социалистического лагеря не является убедительным. Игнорирование реальных достижений и социальных преимуществ этого общества (со ссылкой на неизменную тоталитарную природу государства) — константа любых выступлений на страницах «Экспресса». Трезвый анализ сугубо французских конкретно-исторических проблем в этом журнале подменяется буржуазно-реформистскими рассуждениями. И даже если в книгах и журналах, прочитанных обозревателями, звучат исторически верные мысли, отнюдь не они выдвигаются на первый план.

На страницах газеты «Монд» исследования Ж.-М. Сальмона и Ж.-К. Гийебо, досье «Магазин литтерер» и «Отреман» предстают в той же «тональности» грустных обобщений, но несколько в другом аспекте. Так, Жильбер Конт говорит, что собрание статей в журнале «Отреман» развенчало иллюзии гошистов о перерастании анархического бунта в революцию и нарисовало картины жизни пролетариата, живущего в некрасивых и скучных «городках-дортуарах». Оставив все силы на производстве, рабочие возвращаются в «дом-для-сна», чтобы «забыть об угрозе безработицы перед вечным телевизором. Они живут в нищете, хотя, конечно, нищета 1968 года не похожа на нищету 1936 года». Факты зафиксированы точно, но выводов журналист не делает никаких.

Еще острее проблемы рабочего класса прозвучали в книгах Алэна Делаля «Франция 1968 года» и Ле Дантека «Опасности солнца». Авторы проследили отдельные этапы выступлений рабочих в мае 1968 года, деятельности профсоюзов, причины поражения и неудач некоторых забастовок. Ле Дантек сделал даже вывод о том, что «революцию можно совершить, только совершая ее», и назвал это «открытие Америки» «золотым правилом революции». По этому поводу Клод Курше в «Монд» пишет:

> «Мы постарели. Прошло десять лет... Революция по-прежнему на повестке дня... Ле Дантек пишет о тех, кто от имени угнетенных провозглашает: «У них было право на бунт»... А пока — аллилуйя! Наша рациональная страна сумела избежать гражданской войны... Теперь у нас тихо, не правда ли? Слова льются как из рога изобилия, интеллектуалы ими угощаются. Все в порядке».

Горькая ирония характеризует это выступление, которое, правда, лишь повторяет вслед за автором книги, что многие серьезные проблемы остаются нерешенными. Показательно, что респектабельная «Монд» не выбрала для своего обзора книг о движении интеллигенции и студенческой молодежи. Не по той ли причине, что и сегодня требования студенчества не удовлетворены.

Иллюстрированный журнал «Пари-матч» поместил большое количество документальных иллюстраций, напомнивших о повышенной театральности выступлений бунтующей молодежи (игра в революцию): баррикады на манер тех, что описаны в книгах французских классиков XIX века (Бальзак, Флобер, Гюго), вывороченные камни, зажигательные и одновременно пустые, лишенные конструктивного смысла афиши и лозунги.

Собрания карикатур и поэм-афиш выходили в печати много раз за последнее время. Новые издания были подготовлены и в 1978 году. Например, опубликованы популярные карикатуры художника Волински, хорошо известные читателям «Юманите». Собраны в отдельные книги фотографии и майские лозунги. «Монд», «Пари-матч» воспроизводят некоторые из них: «Запрещено запрещать», «Я — дрянь», «Написал бы я, да не знаю что». Будем объективными: читателю предлагается яркая фотоинформация, но она тенденциозно гротескна. А короткие подписи порой только усиливают гротескность восприятия, как, например, некоторые замечания писателя-гошиста Жан-Эдерна Алье, сводящиеся к тому, что он раскаивается в своем экстремизме десятилетней давности.

Суммируя в целом отклики буржуазной прессы на события недалекого исторического прошлого, можно сказать, что они весьма разнообразны, но поверхностны. Под прицел комментаторов попадает несущественное и второстепенное. Заметно бросаются в глаза общий пессимизм и скептицизм, увлечение внешней стороной событий, так называемой «мифологией революции», попытки разобраться в этих событиях с абстрактно-этической, неклассовой точки зрения, цепляясь за незначительные детали.

Классовый подход вообще не по душе многим авторам. Их рассуждения, претендующие на научность («просвещенный капитализм»), наполняются евангелической лексикой, внешне звучащей гуманно, но по сути уводящей читателя от реальной действительности. Буржуазная пресса обходит молчанием крупные забастовки 1968 года, причины их возникновения. Ни словом не вспоминает она о программе социальных пре-

образований, совместно выработанной тремя политическими партиями (коммунисты, социалисты, левые радикалы) по следам 1968 года, не замечает отчетливой поляризации политических сил во Франции и, в частности, реального создания левого блока, способного выдвинуть единый революционный лозунг. Очень вскользь говорится об общей атмосфере гражданской активности, охватившей немонополистические слои французского общества. Листая журнальные рецензии, порою можно выхватить удачную мысль, четко сформулированный абзац, но более обращают на себя внимание разорванность и эклектизм критических суждений, парадоксальное сочетание надежды на социальные преобразования с защитой капиталистического порядка, оторванная от действительности «р-р-революционность».

Некоторые газеты и журналы обсудили также вопрос о влиянии «майской революции» на художественную литературу. Можно ли говорить о таковом, существует ли оно или это досужая выдумка? Вопрос поставлен правильно и остро, но, на наш взгляд, он тоже не получил удовлетворительного ответа. Буржуазное литературоведение, в принципе избегающее разговора о влиянии революций на ход общественной мысли (даже в позитивистском ключе), сводит на нет и духовные завоевания молодежного, рабочего и коммунистического движения 1968 года. Литературные критики, профессиональные писатели и литературоведы (Бертран Пуаро-Дельпеш, Макс Галло, Анжело Ривальди) соглашаются лишь с тем, что майские события стали фоном в некоторых романах, но не более того.

> «Все это очень поверхностно — 68 год послужил декорацией или темой в нескольких традиционных романах, таких, как «Увядший цветок» Кристин де Ривуар, «Весна в парнике» Кристиан Рошфор, «За стеклом» Робера Мерля, «Урон и грохот» Мориса Клавеля. Но ни один из них не запомнился. Натали Саррот извлекла из этого события тропизм «Вы их слышите?», а Кюртис пародию «Китай меня беспокоит». Ветераны (Бизо, Блескин, Ле Брис, Ле Дантек, Линар) романтично рассказали о своих разочарованиях. Вот и все».

Так пишет в «Монд» Бертран Пуаро-Дельпеш. Смешав книги начала 70-х годов с последними книгами, написанными участниками движения, он сразу подчеркнул, что его отношение к литературе асоциально.

> «Ничто в манере письма, о чем можно было бы сказать, что это было до или после мая, до или после событий в лицее Гей-Люссака, не изменилось. В том смысле, в котором мы говорим: до или после Кафки, до или после Селина, до или после дада...»

С поразительной легкостью этот литератор расставляет вехи обновления литературного стиля, которые даже в «новейшей критике» редко встречаются. Вместо Кафки при разговорах о новой манере письма обычно называют Джойса или Пруста, вместо дадаизма упоминают сюрреализм, вместо Селина — Андре Жида или Андре Мальро, а уж волнения в лицее Гей-Люссака — в этом мы вполне можем согласиться с критиком — здесь действительно ни при чем. Лицей Гей-Люссака прославился своими анархическими выступлениями, порчей стен и школьного имущества. Уловить связь между вандализмом школьников и изменением литературного стиля традиционных романистов, разумеется, довольно трудно.

Но замечания критика позволяют нам поставить актуальный для Франции вопрос о связи литературы с жизнью, об ее общественной значимости и воспитательной роли. Этот аспект проблемы всегда нарочито обходился западной критикой, боящейся якобы «дидактизма» и «нравоучений». Не потому ли в начале 70-х годов так популярен стал жанр памфлета, пользуясь которым писатели старшего поколения Жан Ко, Жан Дютур, Морис Клавель и другие гневно осуждали своих детей?! В форме окрика, плохо скрытого ворчания, ожесточенного недоумения эти авторы вопрошали самих себя и своих современников, что же произошло, почему дети стали непослушными. Написал такое эссе-трактат и сам Пуаро-Дельпеш, называется оно «Финита ла коммедиа». Мастерским, отточенным работой газетчика пером он разоблачает праздную, нграющую в бунт молодежь, вступившую в «революцию 68 года» с единственным желанием делать, как другие,— разрушать.

> «Стандартизованная богема, общим качеством которой является ничего не желать знать, ничего не желать пробовать, ничем не желать жить, кроме того, что предлагают газеты, журналы, теле- и радиопередачи, близкие друзья. О чем думать? Что надеть? Все известно заранее»,—

так характеризует Пуаро-Дельпеш своих молодых современников. Целые века знаний, умения жить — все это было сметено, по мысли критика, ураганом лозунгов и инвектив. Из этого эссе, из романов Б. Пуаро-Дельпеша следует, что он писатель, сочувствующий социализму. Тем более не понятно, почему как критик он характеризует романы своих талантливых коллег — традиционных, что само по себе неплохо, писателей,— как «незапомнившиеся».

Один из них — «За стеклом» Робера Мерля, книга, приподнявшая для советского читателя занавес над тем, что в действительности происходило во Франции в среде

студенчества. Тут и молодежная проблематика, и интересно прорисованный фон (гуманитарные факультеты в Нантере), и тема рабочего класса (положение иммигрантов во Франции). Написан роман как будто наспех (в 1970 году), по свежим следам отшумевших событий, но работавший в течение многих лет преподавателем литературы Робер Мерль хорошо знает студентов и молодежь. В книге нет назиданий и ложного дидактизма, но она как раз могла бы стать читаемой и повлиять на молодежь, отнесись к ней критика доброжелательно. А ведь как будто именно воспитанными, образованными, просвещенными хочет видеть Б. Пуаро-Дельпеш своих молодых современников. Обидно, что свойственная этому критику логика здесь изменяет ему и он отделяет причины от следствия.

Другие книги, упомянутые им и принадлежащие перу Кристин де Ривуар, Кристиан Рошфор, Мориса Клавеля, Натали Саррот, комментировались в советской критике неоднократно. Комментировались и всесторонне изучались нашими литературоведами. Все эти романы с разных сторон доносят свидетельства того, что произошло во Франции в конце 60-х — начале 70-х годов. Так имеет ли право критик отвергать зафиксированные мгновения правды только потому, что не видит стилистической новизны? Нет, никак нельзя согласиться с Б. Пуаро-Дельпешем, отрицающим всякое влияние майских событий на современную французскую литературу. На соседней полосе того же номера «Монд» другой критик, Клод Курше, излагает совсем другую точку зрения:

> «После мая родился новый стиль, новый способ видения мира, новые неожиданные акценты... Это стиль — раскаленное железо. Это стиль резонирующий, играющий длиной волны. Это стиль, который не хочет нравиться и не хочет нас успокоить. Он не транквилизатор. Одним словом, это стиль каратэ».

«Монд» дает несколько литературных примеров этого, так образно определенного, стиля «каратэ»: отрывки из произведений Рене Эни, Франсуазы Ксенакис, Ива Наварры, Жан-Пьера Маншетта. Рубленые фразы, назывные предложения, отсутствие глаголов, фигуры умолчания. Но, на наш взгляд, все это уже было, только прежде называлось «телеграфным стилем», свойственным писателям-журналистам. То новое, что подмечено Клодом Курше, относится скорее к внутренней пружине действия этих романов. Внешняя резкость и хладнокровие призваны скрывать глухое раздражение, поиски себя. Но о содержании этих романов критики «Монд» опять же не говорят своему читателю ни слова.

Советское литературоведение не склонно переоценивать «май 68-го» и проводить прямые параллели зависимости литературы от общественных событий, но и недооценивать очевидного нельзя. В эволюции современного французского романа 1968 год стал заметной вехой. В опубликованной у нас в 1976 году книге «Современный революционный процесс и прогрессивная литература» Т. Балашова пишет: «Французский роман показывает нам, как расслоилась в 1968 году преподавательская среда; сколько «вариаций бунтарства» выявило студенчество; какое тугое сплетение революционных традиций и конформистских предрассудков обнаруживает подрастающее поколение пролетариата; сколько разных иллюзий подсовывает жизнь рабочему, объятому мечтой «вырваться» из своего класса; как разнообразны пути к горизонтам социализма».

Резонанс этого события был значительно шире, чем кажется критикам из «Монд», сводящим влияние общественного подъема к изменению стиля. От антипотребительского протеста французская литература шагнула в сторону протеста против общества в целом. Это выразилось как в новизне тем, проблематики, так и в некоторой новизне стиля, претерпевшего разнообразные изменения как у традиционных романистов (Мерль пишет хронику одного дня), так и у новых романистов (герметичный «новый роман» Натали Саррот насыщается современностью). Но критики «Монд» проходят мимо этого, любой вопрос, подводящий к серьезному разговору о революционных устремлениях эпохи, у них идеологически размыт. Зато нет недостатка в перечислении внешних атрибутов события и частом употреблении «революционных» слов.

Об уроках «мая 68-го», конечно, сказано еще не все. Вот здесь вполне можно согласиться с Жаком Байнаком из «Экспресса», который пишет, что эти события еще ждут своего художника:

> «Революционные дни 1848 года ждали двадцать лет, чтобы воплотиться в литературную форму в «Воспитании чувств» Флобера. Битва при Ватерлоо ждала 24 года, чтобы стать материалом «Пармской обители». Нужно время жизни одного поколения, чтобы проверить на практике наши сегодняшние идеи».

О. ТИМАШЕВА

◆

ЙОЗЕФ ГОТМАР

ПОД СЕНЬЮ НЕОНОВ

Главы из книги

Перевод с чешского С. ПАРХОМОВСКОЙ

Йозеф Готмар, чешский журналист-международник, в 1970 году был направлен во Францию в качестве постоянного корреспондента Чехословацкого радио и за пять последующих лет, проведенных за рубежом, побывал в сорока странах двух континентов: Европы и Африки.

Накопленные за эти годы впечатления, память о встречах со множеством людей нашли отражение не только в текущих репортажах, но и в нескольких книгах очерков. Фрагменты из его книги «Под сенью неонов» (1977) мы предлагаем вниманию читателей.

В непритязательных, тепло и живо написанных очерках нашего чешского коллеги рассказывается о трех заинтересовавших его человеческих судьбах: инженера из Люксембурга, «экс-мафиозо» с острова Сардиния, алжирца, работающего на стройках Франции и Швейцарии. Каждая из этих правдивых, насыщенных конкретным материалом историй по-своему освещает важные аспекты жизни современного Запада. И в первую очередь — проблемы трудящейся молодежи, которая активно ищет выход из социальных и экономических трудностей.

Чего не передает радио Люксембурга

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЖАН-ПЬЕРОМ

Жан-Пьер — инженер. Он работает на металлургическом заводе, и на его примере можно убедиться, что в Люксембурге для людей трудолюбивых и талантливых, независимо от их происхождения, открыты все дороги. Ведь его отец, дед, прадед и, возможно, более далекие предки были рабочими: металлургами, прокатчиками, людьми, имевшими дело с железом и сталью.

Жан-Пьер — человек скорее молодой, чем зрелый, ему нет и тридцати. Ведет он себя как юноша, весел, непоседлив, размашист в движениях. Его синие глаза излучают не только доброту, но и удовлетворение жизнью и работой, хотя железо и оставило свои следы на его лице и руках. Жан-Пьер не белоручка, он не отказывается от своих предков, для которых самым большим наслаждением в жизни были плавка и вид льющегося из летка раскаленного металла.

© Josef Hotmar, 1977.

Одним словом, Жан-Пьер — самый настоящий преуспевающий молодой человек нашего времени, живое свидетельство того, что при некоторой дозе терпения в этом мире можно обрести и рог изобилия. Он — пример равенства самых низших с самыми высшими, воплощение з а п а д н ы х возможностей, неповторимых, неподражаемых, одним словом — з а п а д н ы х, в обществе «с исключительно высоким жизненным уровнем, без социальных конфликтов и без различий в мировоззрении». Можно ли желать большего?

Достаточно взглянуть на Люксембург!

КАЖДЫЙ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ

В Люксембурге все начинается сталью и сталью кончается. Эту с виду неприметную на карте крохотную страну можно проехать с востока на запад и с севера на юг за какой-нибудь час, по величине она принадлежит к пяти известным минигосударствам Европы. И, несмотря на это, Люксембург отважился заниматься главнейшими из главных ремесел. Благодаря удобному географическому положению между рурским топливом и лотарингской железной рудой здесь создана промышленность, которая в год перерабатывает до семи миллионов тонн железной руды.

Едва лишь завязалось наше длительное знакомство, как Жан-Пьер засыпал меня головокружительными цифрами. Они сообщали, что семь миллионов тонн руды, как по мановению волшебной палочки, превращаются здесь в шесть миллионов тонн металлургической продукции высочайшего качества. Это в десять раз больше на душу населения, чем в любом другом государстве мира, но главное...

Самый высокий жизненный уровень среди девяти стран Европейского экономического сообщества. Полная занятость для населения страны и множества иностранцев. Самая низшая спираль инфляции. Самое большое число автомобилей на дорогах и в гаражах. Нигде не виданное социальное законодательство для матерей и детей. Четырехнедельный отпуск. Почти бесплатная медицинская помощь. Одним словом — рай на земле. Жан-Пьер просто захлебывался: самый маленький на карте Люксембург во всем оказывался самым большим, самым лучшим, самым надежным, одним словом — Л ю к с е м б у р г о м, а этим все сказано. Кто не верит, пусть проверит.

У меня не было оснований сомневаться в истинности его слов: сам Жан-Пьер и его семья являли собой лучшее доказательство «стандартного благосостояния», которое означает «жизнь на уровне». Жили они в доме с садом, в современной четырехкомнатной квартире, за которую взималась посильная плата; детишки их словно соскочили со страниц модного журнала; у них была машина, уик-энды они проводили на лоне природы...

Когда же я познакомился с хозяйкой дома, пользующейся косметикой лучших фирм — от Элизабет Арден до Диора, то последние сомнения меня покинули. Я узнал, что в «салонах красоты» выбор косметических изделий облегчает ЭВМ. Эта же счетная машина в свободные минуты за несколько франков предлагает даме, в зависимости от даты ее рождения, разбор ее характера и предсказывает судьбу по всем ярмарочным рецептам — взамен попугая...

Чтобы жить «на уровне», в прежние времена требовались не только деньги, но определенное положение в обществе. Каждый магазин имел своих покупателей, каждый дом — посетителей из своего круга, каждая школа — свой раз навсегда данный контингент. Из этого вытекал страх «переступить порог», за которым могли последовать изгнание из общества и социальная деградация. Считается, что этого барьера в Люксембурге давно нет. Директор ты или рабочий — любое дело в обществе уважаемо, любой заработок пахнет одинаково, и каждый может подняться на любую ступень, если достаточно заработал.

Жан-Пьер решительно считает законы общества потребления смыслом жизни. Он замкнул себя и семью в круговорот: работа — покупки — уик-энд — работа. Начальник цеха, он заботится о том, чтобы все шло хорошо в цеху, а жена печется о том же в семье. Хорошо смазанная машина катится безостановочно, улыбка никогда не сходит с лица, хотя порой и смахивает на гримасу карнавальной маски. Потребительское благосостояние искоренило заботы, сожаления и печали. Оно принесло радости, удовольствия и смех. В любую комнату квартиры, в кабину автомобиля, на веранду дачи. Без людей, без друзей и без соседей. С ними Жан-Пьер встречается только на работе, на улице он их не замечает и часто молча проходит мимо них в лесу. Он знает их, но ничего не хочет о них слышать. Разумеется, они живут так же, как и он, может быть, чуть хуже или чуть лучше, но ведь у всех одинаковые шансы. Только не дать себя обогнать и быть всегда вовремя на месте. Конечно, на нужном месте.

— Работа вечна, а политика ни к чему,— не менее решительно утверждает он свое отношение к жизни.

Но и самый надежный дом может однажды обрушиться. И для этого не обязательно большое сейсмическое бедствие. Все зависит от фундамента, который чаще всего не виден и о котором знают правду только посвященные.

Вот уже несколько недель Жан-Пьер говорил о дефекте автоматики в своем цехе, на первый взгляд как будто не столь уж и серьезном, но из-за него могли самопроизвольно сойти со своего курса изложницы с кипящим металлом. Однако на заводе с некоторых пор стали экономить решительно на всем. Снижают производственные расходы, поскольку вздорожало сырье и конкуренция опережает даже таких сильных бегунов, как люксембургские сталелитейщики. Возможно, из-за халатности, а возможно — из экономии с ремонтом автоматики не очень спешили. Жан-Пьер написал около десятка докладных, а печи все так же продолжали извергать тонны стали и чугуна. изложницы исправно двигались взад и вперед, рабочие были на своих местах, инженеры нажимали нужные кнопки, все шло своим чередом, как и должно. До определенного момента...

В одно прекрасное утро первая смена началась как обычно. В общем шуме нельзя было распознать никакой дисгармонии. Но Жан-Пьер был не в своей тарелке, потому что знал больше других. Ведь именно сегодня он написал десятую докладную. На этот раз в раздраженном тоне, который на заводе не принят, не говоря уже о нарушении субординации. И сейчас он немного сожалел о своем поступке. И вдруг...

Переваливающиеся, как квочки, изложницы на миг останавливаются. Сначала нерешительно, потом резко, так что слышен лязг железа о железо. Жан-Пьер бросил взгляд на контрольный пульт и не успел до него дотянуться, как блеск огня ослепил его. Он сделал единственно возможное: остановил движение на пути металла от печи и объявил аварийную тревогу. Он успел заметить, как две изложницы медленно накреняются, потом резко подпрыгивают — и вот уже вокруг все сияет, как море, освещенное лучами заходящего солнца. Только это — не ласковое сияние, оно шипит, обжигает, выбрасывает вверх облака пара и дыма, превращает цех в пекло.

Жан-Пьера оглушает неожиданная какофония звуков, но в ней можно различить человеческий голос, полный боли, муки и смертельного ужаса. В разлившемся металле погиб человек... Там, на трассе, никого не должно было быть, но так случилось. Никто никогда не узнает почему. Заводская сирена гудит отходную человеку, отцу троих детей, который уже много лет назад обручился со смертью.

Жан-Пьер едва стоит на ногах. Этот веселый парень сразу переменился, металл, который стал его жизнью вот уже десять лет назад, только сегодня сделал из него настоящего мужчину. Он точно знает, что будет дальше. Не питает никаких иллюзий. Под шум аварийных бригад, сигналы санитарных машин и непрерывные звонки телефонов он старательно складывает отчет о работе и копии своих докладных. Дело об аварии изложниц он может и выиграть, но другое — почему в его цехе произошло нарушение техники безопасности и человек очутился там, где ему не положено быть, разумеется, проиграет.

Еще вчера приветливые шефы вдруг резко меняют к нему отношение. Через секретаршу ему передают, чтобы он взял отпуск и ждал решения комиссии по расследованию. Никто ни в чем его не обвиняет, но все сверлят глазами как заранее осужденного, ибо погубленная человеческая жизнь не нуждается в обвинителе. Теперь должен найтись какой-нибудь виновник.

Не проходит и недели, как виновника находят. Директор завода беседует с Жан-Пьером, не давая ему вставить и слова:

— Вы серьезно запустили текущий ремонт на производстве, ваша небрежность вызвала аварию с ущербом около миллиона франков, недостаток трудовой дисциплины, и вообще халатное отношение к технике безопасности, которое вы допустили и не искоренили, непростительно Это стоило человеческой жизни, что угрожает чести предприятия. Комиссия по расследованию единогласно признала вашу вину доказанной, и этим дело для нас закончено. Остается передать его в суд, однако...

Жан-Пьер что-то бормочет о докладных, о предупреждениях, о ревизиях, которые обнаружили в его цехе полный порядок, дисциплину, и снова повторяет, что писал неоднократно. Но директор и ухом не ведет:

— Принимая во внимание вашу верность предприятию «Арбед», мы готовы сделать для вас исключение. Мы не станем передавать дело в суд, ибо жизнь все равно уже не вернуть. Мы накажем вас денежной компенсацией и переведем на другой, менее ответственный участок. На заводе плохо ведется производственная документация. Квалифицированный инженер там необходим. Подпишите вот это, и дело с концом!

На столе красного дерева, уставленном телефонами, лежит листок бумаги — обязательство Жан-Пьера Нейперга оплатить заводу причиненный ущерб в сумме нескольких сот тысяч франков и перейти на другой участок, согласно потребностям производства.

Жан-Пьер быстро и растерянно подсчитывает сумму уплаты — это два или три годовых заработка. Ладно, можно затянуть пояс потуже и расплатиться. Но при этом он не замечает, что тем самым берет на себя ответственность за аварию, которую десять раз предсказывал. И вообще он впервые оказывается на распутье. И нигде не видит указателя. Лишь хмурое лицо директора, который дает понять, что Жан-Пьер отнимает у него время. Поэтому он колеблется. Но недолго: поднятый указательный палец директора направлен на бумагу — она еще без подписи. И глаза Жан-

Пьера наконец видят столь желанный указатель. Для него вдруг загорается зеленый свет. Он снова там, куда его направило начальство.

Он подписывает и не замечает удовлетворенной улыбки директора. Ведь тем самым Жан-Пьер признал свою вину. К чему тогда суд, который мог бы констатировать нечто совершенно иное? И даже противоположное. Виновник есть, поэтому перестаньте кричать: «Ловите его!» Жан-Пьер поймался сам.

Каждый только для себя. Сегодня это еще более верно, чем вчера.

И БЛАГОСОСТОЯНИЕ ИМЕЕТ СВОЮ ИЗНАНКУ

С того трижды проклятого дня Жан-Пьер стал приносить домой вдвое меньшую сумму. Хозяйка дома решительно сократила ассортимент косметики. С электронно-счетной машиной давно не советуется. Времена Диора в доме тоже давно миновали. Дети потеряли вид картинок из модных журналов; одевают их хотя и со вкусом, но в ширпотреб, в обычную готовую одежду для людей с ограниченными возможностями, не обращающими особого внимания на времена года, что еще вчера означало для этой семьи серьезный проступок против правил, принятых в их кругу.

Однако Нейперги живут и не отчаиваются, что в затруднительном положении всегда существенно. На удивление быстро они поняли, что и в Люксембурге блестящие монеты имеют свою темную оборотную сторону, что будущее не всегда «становится таким, каким мы стараемся его сделать», как их учили еще в школе. Но они все еще приписывают «все зло мира» той черной пятнице, когда изложницы сошли со своего привычного курса. До сих пор до них не дошло, что весь мир вокруг переживает перемены, тень которых падает и на Люксембург.

На рабочем столе Жан-Пьера время от времени появляется газета. Прежде ненужная человеку труда макулатура, нарушитель спокойствия, чуть ли не внешний враг дома. Трудно сказать, кто первым принес ее в дом, потому что в свете темы «семья и работа» события сейчас обсуждаются не только у них, но и у соседей. Обсуждаются согласно версии клерикальной «Люксембургер ворт», которую покупают все вокруг. И вот однажды в дом случайно попала «Цейтунг вум летцебургер Воллек», напечатанная — в отличие от других изданий — одним цветом, но зато предлагающая целую палитру новых для семьи информационных сообщений. Тогда еще Жан-Пьер не знал, что читает газету люксембургских коммунистов, печатающуюся в тесной комнатенке, где не повернуться и каждый сотрудник владеет несколькими профессиями — ради экономии арендной и заработной платы.

Ныне Жан-Пьер проводит свой рабочий день на самых задворках завода, в темном кабинете, уставленном полками и картотеками со статистическими данными и сведениями о технических новинках. Сначала он приходил сюда не очень охотно: казалось, узкие стены валятся на него, тишина вокруг душила, все представлялось никудышным и никчемным. Ведь он обязан с благодарностью садиться ежеутренне за этот измазанный чернилами стол, потому что одним росчерком пера сам взвалил на свои плечи все грехи мира и должен теперь отбыть положенное время в чистилище.

Но прошло немного времени, и его творческая мысль и тут нашла себе пищу. Уже несколько месяцев, как он завел собственную полку, куда ставит отчеты и сообщения о росте забастовок, безработицы, инфляции, о валютном, сельскохозяйственном и нефтяном кризисах. Факты, которые по отдельности малозначительны, но в сумме составляют информацию, внушающую тревогу. Вот так Жан-Пьер постепенно освобождается от люксембургских иллюзий об обществе классового мира, спокойствия и сотрудничества во веки веков.

Тем временем госпожа Мария — супруга Жан-Пьера — также изменилась до неузнаваемости. Несколько экзальтированная дама, интересовавшаяся главным образом модой, превратилась в экономную хозяйку. Жан-Пьеру это очень помогло встать на ноги, и его от души радовало, что жена оказалась хорошей подругой не только на солнечный день, но и в ненастье. В новых условиях госпожа Мария справлялась с домом не хуже, чем раньше, и совсем не упрекала мужа, что может оценить лишь тот, кто сам это испытал.

Вполне естественно, что серьезной проблемой стала квартирная плата. Госпожа Мария не задумываясь нашла рецепт и от этой болезни: «начать с вилки!», что означало экономить на еде.

Кухня с громадным холодильником, электрической плитой, кухня, где сияет неземным светом гриль, где поют свою песню посудомоечная машина и стиральный автомат, наконец, отдыхает. На столе не пахнет рыбными и мясными деликатесами. Значительно реже оглашает дом гудение электроприборов — от телевизора и проигрывателя до фена: хозяева экономят и на электроэнергии. Вскоре они осознают, что можно вообще обойтись двумя платьями, парой свитеров и непромокаемым плащом. Приобретение грампластинок и художественной литературы вычеркнуто из бюджета совсем. Для кино и театра домашняя касса открывается только по праздникам.

Госпожа Мария тщательно хранит остатки прежних сбережений — «на черный день». Особенно на случай болезни, ведь не только зубному, но и окулисту за очки, не говоря уж об операции, приходится доплачивать, и на этом-то не сэкономишь.

В госпоже Марии, замкнутой ныне в вечном кругу «получка — квартира — пропитание», проявился до сих пор неведомый боевой дух. По испытанному примеру лотарингских хозяек она собирает столь же упорных женщин и основывает в своем городке организацию потребителей, а точнее — общество потребительниц, так как руководят ею женщины. Ведь женщины знают, почему эта организация нужна, во всяком случае теперь, когда за ценами никто не следит, даже в раю Западной Европы. Поэтому в одно прекрасное утро они начинают контролировать их сами, и надо сказать, методом весьма оригинальным.

Господин Берник, хозяин химчистки — подобную фирму здесь называют по-американски: прессинг,— вышел на площадь посмотреть, хорошо ли работник-итальянец начистил вывеску — сплошное стекло и пластик. Не успел он поднять глаза, как увидел несколько необычное и к тому же обозленное сборище перед витриной его мастерской.

...Посреди сверкающей витрины наклеен канареечно-желтый плакатик. А на нем — энергичный человечек огромным указательным пальцем тычет в эмблему трижды уважаемой фирмы Берник. В комиксовом облачке вписаны его слова: «Вас контролируют!»

И подпись: «Общество защиты покупательной способности».

Господину Бернику кажется, что это ему приснилось, но в то же время он крайне возмущен. Кто же это осмелился испачкать стекло, запятнать честь фирмы, ее имя и традиции?

Его нисколько не утешает, что в городе сегодня с утра оклеены все витрины, так что многие хозяева и предприниматели, а не только господин Берник не смогут заснуть вечером без солидной дозы снотворного. Особенно когда столь спокойная госпожа Мария, клиентка бесспорно уважаемая, далеко не дипломатично и слишком громко кричит ему в лицо:

— Этот человечек на плакате говорит правду! Наши мужчины не для того добились повышения зарплаты на двенадцать процентов, чтобы безответственные торговцы повысили цены на те же двенадцать процентов.

К ней присоединяются и другие, господин Берник слышит еще кое-что в свой адрес, так как толпа расходится не сразу. От всего этого он в таком ужасе, что не решается ни ответить, ни сорвать плакатик, только пятится в пустую мастерскую и с облегчением захлопывает дверь. После десятков телефонных разговоров и совещаний с теми, кого постигла такая же участь, он выбегает на улицу, когда уже смеркается, и проворно заклеивает канареечный плакат не менее вызывающим зеленым: черная надпись на нем извещает, что... «произошла огорчительная ошибка, так как цены должны были повыситься только на шесть процентов в связи с подорожанием электроэнергии, моющих средств и услуг поставщиков. Поэтому убедительно прошу дам-клиенток...»

В тот вечер у Нейпергов за редким теперь праздничным ужином, украшенным хорошо охлажденной бутылкой рислинга «Сильванер», госпожа Мария рассказывает драматическую историю победы слабого пола над заговором предпринимателей.

— Представь,— говорит Жан-Пьер,— а я сегодня вступил в профсоюз. Я тоже не хочу быть один, а главное — вечно стоять в стороне. При этом мне в голову не приходит ничего, кроме мушкетерского «один за всех, все за одного». У меня такое чувство, что нас вдруг стало много, что мы нужны друг другу, что мы должны глядеть немного дальше соседнего забора.

Нейперги теперь живут не только для себя.

БУНТ ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

В Эше, втором по величине городе Люксембурга, в ратуше уже несколько лет главенствуют коммунисты. Для Люксембурга с его клерикальными и традиционалистскими порядками — это весьма горькая пилюля. Люксембуржцы довольно быстро привыкли, что не в одном парламенте, но и в местной ратуше раздаются решительные речи: «Государственный бюджет не только свидетельствует об экономическом преуспеянии, но и обнаруживает отсталость системы оплаты труда. Вот почему снова возникают забастовки, которых страна не знала десятки лет... Понижение доходов в сельском хозяйстве вызвало волнения и в деревне: если до сих пор там господствовала идиллия, то теперь она кончилась!»

Вероятно, и этим следует объяснить нетрадиционное решение избирателей, которые призвали к руководству коммунистов. Но вообще-то корни перемен в Эше уходят в далекое прошлое.

Когда Гитлер начал свою западную кампанию, Люксембург принял на себя первый танковый удар вермахта. Маленькая страна с населением в 340 тысяч человек, без постоянной армии, пала в тот же день, то есть 10 мая 1940 года. Гитлеру нужна была не только прославленная сталь, но и само население Люксембурга, которое он одним декретом провозгласил не просто арийским, но и непосредственно немецким и таким образом без лишних разговоров присоединил к «тысячелетней империи». Гаулейтер Густав Симон, выполняя указания из Берлина («было бы желание, а идея придет»), решил порадовать «вернувшихся в отчий дом» переписью населения, в ре-

зультате которой каждый люксембуржец мог стать полноправным немцем, заполнив всего три рубрики анкеты. Однако на вопрос о государственной, национальной и языковой принадлежности люксембуржцы ответили единодушно: л ю к с е м б у р г с к а я. Заметим для педантов: так поступили 97 люксембуржцев из 100. Так что «Heim ins Reich» [1] не состоялось, и волей-неволей пришлось дать отбой. Люксембург был в Западной Европе первой страной, выступившей против фашистской оккупации, против насильственного присоединения к области Кобленц-Трир. И он доказал это действиями, достойными восхищения.

30 августа 1942 года в Люксембурге была объявлена мобилизация. Видимо, в Берлине пришли к выводу, что за прошедшие годы люксембуржцы поумнели. Ничего подобного. На насильственную военную мобилизацию они публично и во всеуслышание высказали свою точку зрения. Отрицательную.

Вскоре после этого началась всеобщая забастовка, остановился поток стали, начали остывать печи. Сигнал к забастовке дала заводская сирена в Эше. Кнопку нажал рабочий-сталелитейщик Генрих Адам. Его поступок был равносилен объявлению войны гитлеровской Германии. Генрих стал первой жертвой этой войны. На красных плакатах с лаконичным «был расстрелян... был расстрелян... был расстрелян...», покрывших холм земли, его имя стояло в самом верху.

Люксембург дождался падения «тысячелетней империи» и дней освобождения, жизнь в нем потекла спокойнее. В стране жилось действительно хорошо, значительно лучше, чем в соседних странах. Люксембуржцы приняли факт благосостояния как нечто само собой разумеющееся и, по правде говоря, задрали нос. Они считали нормальным, что сорок процентов рабочей силы в промышленности им надежно обеспечили иностранцы, а когда пять, повторяю, пять местных юношей выразили желание обучаться профессии строительных рабочих, это отмечали как национальный праздник. Последних же трех безработных пригласили на телевидение для того, чтобы обсудить, как им жить дальше, и в тот же вечер они получили сотни предложений. Все шло как по маслу, без обычной в других местах шумихи, потому что на люксембургской земле жили согласно девизу «самый...» — и этим сказано все.

Жан-Пьер, взяв с меня слово молчать, пригласил меня на собрание. В настоящую рабочую раздевалку, где выстроились неровными рядами металлические шкафчики, валяются бутылки из-под пива и кока-колы, стоит смешанный запах труда и пота. Она была битком набита людьми, в ней стоял гул голосов, висел сигаретный дым. Говорили о заработной плате, о рабочих местах, о росте травматизма и снова о заработной плате и о ценах, которые подскочили и в Люксембурге.

У непосвященного легко могло бы создаться впечатление, что все это обычно, примерно так же проходят тысячи других собраний. Но в данном случае речь шла не о простой забастовке, а о первой в серии забастовок. На повестке дня была забастовка всеобщая, а это само по себе звучит гордо. Более того, она была объявлена как раз там, где тридцать лет назад начал свой спор с Гитлером Генрих Адам. Неудивительно, что именно у этой сирены, сигнал которой обошелся в человеческую жизнь, стоят в минуту молчания руководители новой забастовки. Моложе на тридцать лет. Это уже не сопротивление службе в вермахте, но их борьба — тоже сопротивление, тоже бунт: во имя лучшей жизни, труда, своей рабочей чести. Об этом — слова оратора, только что напоминавшего о борьбе Генриха Адама:

— Да, обеспеченную работу, хорошие заработки, благополучие в семье — все это даст нам заботливая родина Но лишь в том случае, если мы будем молча соглашаться с доходами, в тысячу раз превосходящими нашу заработную плату, с доходами, которые, вложив свои капиталы, получают акционеры, согласно заведенному порядку: «труд есть труд, а капитал есть капитал». Наш строй пресловутого «социального сотрудничества», когда каждый занимает свое заранее определенное место,— это, собственно, отличное общество молчунов, которые не задают вопросов, а лишь берут то, что мудро предоставляют им еще более мудрые. Рабочему далеко до крестьянина и торговца, не говоря уже о чиновнике. Правительство пропагандирует Малую Европу, но о Большой Европе предпочитает молчать. Последняя война нас пробудила, а мир опять усыпил. Мы — маленькие люди и полагаем, что это обязывает нас быть терпеливыми и тихими. Потому что перемены, мол, могут оказаться к худшему. И наше молчание позволяло другим говорить за нас чужими голосами... Но лишь до сегодняшнего дня, потому что теперь будем говорить мы!

И он включил старую сирену, которую пришлось специально для этого отремонтировать, но теперь она снова гудит так, что голосов не слышно. Теперь люксембуржцы хотят перемен.

Люксембург проснулся в ненастный октябрьский день. Без света на улицах и в домах. Без автобусов, с пустыми вокзалами, с запертыми школами, банками, учреждениями, а также музеями и библиотеками. На немногочисленных театрах висят плакаты: «Спектакля не будет!». В нескольких открытых газетных киосках нет привычных стопок утренних газет. Почтальоны не принесли писем. Умолкли стройки и большие заводы. Тем, кто не подчинился забастовочной дисциплине, отключили свет. За исключением нескольких цехов (чтобы не произошло взрыва печей) не работает «Арбед» —

[1] Отечество в рейхе *(нем.)*.

третья по величине компания в Западной Европе. Не открыла ворота американская химическая фабрика «Good Year» [1], машины которой наводняют рынок Малой Европы. Тихо на заводе «Дженерал моторс». Дома остались и пивовары прославленного пивного завода «Дикирк». Ко всеобщему удивлению, не вышли на работу и врачи курортов Вианден и Эхтернах, за холмистые окрестности прозванных Малой Швейцарией. В парламент не пришли не только шесть депутатов-коммунистов, но и десятки других. Двумя тысячами тремястами инвестиционными, двумя тысячами частными трестами и семьюдесятью банками — наибольшей финансовой концентрацией из девяти стран Европейского экономического сообщества — начал овладевать страх. Рухнул еще один миф; вчерашняя уверенность превратилась в неуверенность.

Всегда спокойные люксембуржцы не просто не вышли на работу, но даже вышли на улицы. Они несут транспаранты, более того — скандируют лозунги. Красиво написанные плакаты говорят не только о заработной плате и о ценах, а и о бюджете, который предусматривает наибольшие в Западной Европе расходы на образование, но не может содержать ни одного высшего учебного заведения... О том, что если Люксембургу не нужна армия, то почему он в Североатлантическом пакте?

Демонстрация проходит по спокойному городу Люксембургу, «одной из столиц Западной Европы... второму Гибралтару континента... городу будущего и сказок, местонахождению самой популярной радиостанции мира», как говорят о нем патриоты.

Об этой радиостанции и пойдет речь, потому что она передает музыку и песни, как будто вокруг ничего не происходит. Руководители забастовки решили сказать по этому поводу свое слово. Решительное, как представители бастующих всей страны.

«Радио Люксембурга» делает честь государству своими музыкальными программами. Оно — носитель музыкальной моды, лакмусовая бумажка настроений молодежи, учреждение, которое стоит увидеть в действии. Композитор, однажды получивший возможность выступить в местной студии РТЛ, несомненно попал на подмостки, открывающие дорогу в мир. Кто же не прошел сквозь сеть местных менеджеров музыкальных программ, тот, конечно, остался за бортом. Если парижский зал «Олимпия» по праву называется Меккой шансона, то РТЛ — Мекка всех музыкальных жанров, которые мы высокомерно называем легкими. В РТЛ родилась эпоха джаза, а когда он перестал развлекать, то сменился битом, а потом снова джазом. РТЛ — творец всех мод поп-музыки, мыслимых и немыслимых музыкальных передач и программ, потому что его волны преодолевают языковые барьеры и государственные границы.

Оставим в стороне вопрос, кто стоит за кулисами предприятия, которое не только приносит надежные миллионы дохода, но и нивелирует вкус, разжигает страсти и многие годы ведет свою собственную идеологическую войну под лозунгом: «что нам нравится, то хорошо, что развлекает нас, то нам нужно, что помогает забыть, дает возможность жить, жить, жить». Пусть даже совсем недалеко падают бомбы, людей бросают в «тигровые клетки» и дети умирают от голода. Ведь самое большое искусство — это искусство развлекаться, и оно разработано в РТЛ и вправду превосходно. Мы попали прямо на кухню иллюзий, на «радио Люксембурга».

Принимать нас, разумеется, не будут. Нам не предстоит экскурсия по роскошным кабинетам, по современнейшим интерьерам, по студиям, где пользуются чуть ли не космической техникой. Но это неважно, ведь я знаю этот дом вечной тишины, хотя он громко вещает на весь мир. Никто здесь не спешит, потому что все функционирует безукоризненно. Однако и этот самый упорядоченный порядок иногда сменяется беспорядком. Сегодня они не в состоянии справиться с тем, что происходит вокруг. Большая группа людей, гудящая разгневанными голосами, направляется к кабинету директора и сразу заполняет приемную. Перепуганные секретарши не знают, что предпринять. После непродолжительных переговоров бесшумно открываются двери, как в сейфы «Лионского кредита», и мы вплываем внутрь на волнах пушистых и мягких ковров. Незваные, но все же принятые, хотя и с кислой улыбкой.

Хозяин предлагает нам кресла, достойные конференции на наивысшем уровне. Но никто не садится, все происходит стоя, ведь конференция будет краткой.

Господин директор выслушивает ультиматум о возможных последствиях его отказа передавать наряду с музыкой короткие информационные сообщения о забастовке. Он терпеливо слушает, весь внимание, но смотрит на нас как на пришельцев с другой планеты. Взгляд его скользит по лицам, задерживаясь дольше только на моем. Вероятно, он сообразил, что нас знакомили на последнем приеме в люксембургской ратуше в обстановке несколько более спокойной. Но он и бровью не ведет. Не зря ведь он директор. Услышав, что в случае отказа РТЛ лишится электроэнергии, будет отключена местная сеть, выведена из строя башня в Арденнах и так далее, он, наконец, оживает. Только теперь наш хозяин делает движение доныне абсолютно неподвижной головой. Он не произносит ни слова, а лишь кивает в знак согласия. Видно, заключать договоры с невоспитанными посредниками считает ниже своего достоинства.

В тот день и в ту ночь «Радио Люксембурга» работает по указаниям руководителей всеобщей забастовки. Оно немного удивляет миллионы своих слушателей. Когда пройдет двадцать четыре часа, все будет снова по-старому.

Но по-старому ли?

[1] «Добрый год» *(англ.)*.

ПОХОД К ГЛАВНОМУ КУЗНЕЦУ

Жан-Пьер не раз приглашал меня в свои родные края на севере Люксембурга. По разным причинам посещение мест «поистине буколических», как он любил говорить, долго не могло состояться. Но теперь Жан-Пьер настойчив вдвойне. Вероятно, потому, что не знает, куда девать свободное время. После нынешней всеобщей забастовки он регулярно попадает в список частично безработных. Это — свежее изобретение министров, помогающее сохранить для Люксембурга видимость полной занятости. Просто десятки тысяч людей работают лишь половину прежнего времени с искусно отрегулированной заработной платой, разумеется, в сторону понижения. Жан-Пьер, который в тридцать лет занялся политикой, платит первую дань за неуважение к властям...

Итак, мы едем. И вдруг мне начинает казаться, что я дома. Невысокие холмы вокруг будто украдены с чешской границы. Они чередуются с лугами, на которых можно увидеть пасущихся косуль. Местами ковры хвойных лесов прерываются белыми домиками деревень с красными крышами, над которыми воздеты благословляющие руки замков со сказочными названиями...

Вскоре я начинаю понимать, что едем мы не с туристическими целями, не на сбор скаутов и не на фестиваль пастушьих песен. У Жан-Пьера свои планы, а главное — точная информация.

Обычно пустые дороги сегодня загромождены тракторами всевозможных марок. По лесам, еще не знающим автомобиля, по узким проселочным дорогам, похожим на колбасы, вверх и вниз движутся колонны тракторов. Они ползут, качаясь, по ледяным дорожкам, напоминая танки, отправившиеся на священную войну во имя того, чтобы крестьянину не пришлось уходить с земли своих отцов из-за вздорожания машин, нефти и удобрений. Крупные рыбы, как всегда, заглатывают мелкую рыбешку.

И здесь, в краю вечного мира, разоряются малые, до сих пор процветавшие фирмы. Владельцы «зеленого рынка» определяют закупочные цены на продукты, люксембургские земледельцы прогорают и вынуждены обращаться к своему аварийному запасу.

Эти колонны направляются вовсе не в сельскую кузницу, а к самому главному кузнецу. В Брюссель, в резиденцию Европейского экономического сообщества. И местные крестьяне отправились в крестовый поход не в одиночку.

Когда мы попадаем на бельгийскую равнину, нас нагоняет колонна тракторов, составленная крестьянами где-то в бассейне немецкого Рейна. Недалеко от Брюсселя мы обгоняем голландцев. По сообщениям хорошо поставленной информационной службы, с запада в королевскую метрополию уже вторглись французы. Начинается суматоха, как будто дело идет к Ватерлоо. Протестующие крестьяне не едут по автострадам. Грохотом и облаками дыма и пара они наводят ужас на узкие улочки городов, где все дышит прошлыми столетиями. Брюссель захлебывается от волнения, в котором звучат и трагические тона забытой городом деревни, столетней нужды и отсталости, оставшейся до сих пор вне поля зрения и поэтому никого не занимавшей. Теперь крестьяне из четырех стран привезли свои жалобы и на цветочный рынок «Гроте Маркт», и на великолепную площадь Конгрессов. Там они слезают с тракторов и скандируют свои лозунги, так что звенят окна даже на самых последних этажах небоскребов.

Жан-Пьер, которого я потерял из виду, вдруг оказался рядом со мной, он хватает меня за руку и тащит к мраморным ступеням дворца. В поистине ярмарочной толчее мы видим там корову с красивым колокольчиком на шее. Да, у люксембуржцев действительно французский дух, они не теряют юмора даже в самые трудные минуты. Корову со своих полей они возвели в ранг полномочного министра, и вот «Ее превосходительство госпожа корова» уже начала «переговоры».

Трудно описать, как эта благопристойная скотина поистине королевских размеров прошла через не очень широкие двери дворца внутрь, потом двинулась по лестнице и длинному коридору к залу заседаний и через совсем маленькую дверь втиснулась в помещение, где ошарашенные министры воззрились на это сюрреалистическое зрелище как на кошмарное видение. Председательствующий французский министр господин Боне молча, в полной тишине принял петицию крестьян. Корова при этом что-то промычала, так что и в самом деле было весело. Правда, как кому...

А внизу на площади события приобрели далеко не комический характер. В строй демонстрации ворвалась полиция, использовав привычные орудия: дубинки, воду и газ. Возмущенные крестьяне этого не потерпели. Дело обернулось плохо. Среди десятка раненых на мостовой остался и убитый. Министры, напуганные пролитой кровью, без дальнейших споров утвердили повышение закупочных цен. Обратный путь крестьян из Брюсселя был не очень веселым. Ведь там на булыжнике остался лежать один из их товарищей.

Человек, который не хотел жить только для себя.

Луиджи с Острова бандитов

ПАРЕНЬ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА

Снова укладываю чемоданы. Терпеть не могу эти последние минуты в гостинице, когда торопишься уплатить по счету и раздать чаевые. И при этом надо быть бдительным. Главное, ничего не забыть, а поскольку мы в Италии, приходится быть бдительным вдвойне — только бы не обокрали! Это значит — смотреть во все глаза. Но усмотреть все равно не удается.

В моменты предотъездной, а потому вполне естественной суеты и растерянности отходят в сторону и воспоминания о «Ла Скала», питомнике всех соловьев прошлых и нынешнего столетий, и о «Тайной вечере», и о Дуэмо, самом значительном памятнике готики в Ломбардии.

Закусываю в баре самообслуживания «Carrefour» уже в предместье Милана. Пью вкуснейший каппуччино, кофе со сливками, который хорошо готовят только здесь. Наконец-то все позади! И гостиница, и пробки на улицах, где водители признают только одно правило — «кто скорее». Совсем забываю, что я до сих пор в Милане, то есть в итальянском Чикаго.

Не успеваю допить, как двери распахиваются и в них появляется персонаж из приключенческого фильма. Весь в черном, голову и лицо стягивает чулок — что может быть отвратительнее,— а в руке блестящий револьвер. Ему даже не приходится произнести: «Alto le mani!»[1],— револьвер выглядит столь внушительно, что наши руки взлетают к потолку раньше, чем бандит предъявил свое не слишком учтивое требование.

Киносюжет длится всего несколько минут, в баре абсолютная тишина. Лишь тренированные уши различают шелест банкнот, которые из нескольких касс исчезают в бездонном мешке мужчины, такого же черного и с таким же устрашающим чулком на голове. Не шевелюсь, но глазами пробегаю по бару. Их пятеро, и действуют они в самом деле ловко. Один из них загораживает дверь, двое занимаются кассами, четвертый держит в страхе служащих, пятый что-то вывесил снаружи, так что никто сюда не войдет. Наверное, объявили переучет или приемку товаров; почти как в Праге.

Когда истекает точно установленное время, очередь из автомата разбивает верхний свет и незваные гости растворяются в наступивших сумерках.

И только после этого поднимается шум. Все кричат, перебивая друг друга, суетятся и топают ногами. Хозяин, прибежавший из конторы, рвет на себе волосы и громко плачет. По его щекам текут крупные, как горох, слезы, он всхлипывает, картинно воздевает руки, призывает всех святых, вместо того чтобы немедленно вызвать полицию.

А тем временем на улице черная пятерка совершенно спокойно, не спеша, садится в два автомобиля «джулия супер» и исчезает в круговороте шоссе, к вечеру до отказа забитого мчащимися стремглав машинами. Полиция приезжает только через десять минут, разумеется, с другой стороны. Она тоже ничуть не спешит. Расспросы стражей закона не приносят пользы, потому что каждый свидетель утверждает свое. Лично меня господин комиссар не считает достойным большого доверия и даже не записывает в блокнот марку машины, которую я определил совершенно точно. Тем быстрее я смогу уехать. Заплаканный падроне еще успевает мне сообщить, что лишился 200 миллионов лир. Но что это может значить для миланского оборота гангстеров, который в конечном счете составляет сумму около пятидесяти миллиардов лир в год?..

На довольно значительном расстоянии от города меня останавливает молодой человек, одетый соответствующе своему возрасту с небрежной элегантностью. Вельветовые брюки, черная рубаха и серебряная цепочка в виде полицейского наручника на левой руке — все как полагается, на высшем уровне. В темноте я попутчиков не беру, но на этот раз нарушил свое правило. Сам не знаю почему. Наверное, я еще под впечатлением миланского приключения и поэтому даже не проявляю интереса к разговору, что противоречит моим профессиональным принципам — исповедовать каждого, кто встретится на моем пути. А может, меня утомила автострада, вечернее движение, слегка опьяняющее большой скоростью, космическими вспышками встречных машин. Поскольку бастуют сборщики платы — а на итальянских дорогах платят, и довольно дорого, в зависимости от размера автомобиля и дальности пробега, мы едем non-stop и, главное, даром. До той минуты, когда...

Вдали на шоссе внезапно возникает красный круг. Он быстро приближается, и похоже, что не так-то легко будет его проскочить. Очевидно, полицейская проверка. Медленно торможу и явственно чувствую, как мой сосед, до этого времени совершенно спокойный, начинает нервничать. Он скорее шепчет, чем говорит: «Когда остановитесь, я выскочу, лучше скажите, что никого не везли. Там очередь, потому и суматоха... Может быть, пройдет...» Гляжу — его уже рядом нет.

---

[1] Руки вверх! *(итал.)*.

Когда, наконец, очередь доходит до меня, полицейский проверяет документы, отдает честь, отходит и тут же возвращается, применив трюк поручика Коломба из любимого американского многосерийного фильма о полицейских.

— Вы выходили во время остановки, signor autista?[1]

— Да, у меня выпал блокнот, который я держу на щитке приборов...

— Bene, signore, ripreso![2]

Не успеваю я отъехать на километр, как от тумбы отделяется знакомая фигура и без лишних церемоний лезет в машину. На этот раз я уже не так легкомыслен, и моему знакомому приходится, прежде чем я поеду дальше, вывернуть карманы. Судя по его документам, он не мафиозо, но в Италии ничего нельзя знать наверняка. Я говорю ему, что полиция видела, как он выходил, но, по всей вероятности, это их не обеспокоило, ведь я журналист, а это для полиции только лишняя морока.

— Я Луиджи, моя родина — Сардиния, а в Милане у меня земля горит под ногами. Я не принадлежу к «клану сардинцев», но полиция думает иначе, потому что у меня есть прошлое — я работал в обслуге Джо Адониса, если вам это что-нибудь говорит. Целых четырнадцать лет он был главарем миланской мафии. Я не был его оруженосцем, просто мальчик на побегушках. Когда его замели и отправили в Анкону, я это бросил. Но ускользнуть от бывших товарищей оказалось легче, чем от полиции. Она обо мне печется и не оставляет в покое. И как только что-нибудь случается, она тут как тут, начинаются допросы и всякое такое. А знаете, сколько раз на дню в Милане что-нибудь случается? Бывает и по сто раз!

Где-то в моих аккуратно сохраняемых вырезках из «Коррьере делла сера» отчеркнута последняя годовая статистика: 104 160 правонарушения, 80 616 краж, 494 разбойных ограбления, 67 случаев шантажа и 4 похищения. Кроме того, взрывы — любимое миланское развлечение; во время одного из них в Земледельческом банке погибло ни больше ни меньше как шестнадцать человек. Сведения об убийствах тщательно скрываются.

— Так что все вращается в заколдованном кругу,— продолжает Луиджи.— Сегодня я прорвал этот круг и еду домой, в Оргозоло. Это деревушка в горах. Бедная и бунтарская. Однажды там снимали фильм, я в нем играл, как и все жители деревни. Он назывался «Бандиты из Оргозоло».

Эта история похожа на правду. В памяти моей всплывает кинобаллада Витторио де Сеты. И я сам рассказываю спутнику то, что сохранилось в моей памяти.

...Луиджи беспокойно ерзает на сиденье. Ему и в голову не могло прийти, что сюжет этого фильма о пастухах и жандармах я сумею рассказать совершенно точно и без запинки, даже с некоторыми деталями. Конечно, он немного взволнован тем, что история, случившаяся в Оргозоло, действительно облетела весь мир и не померкла. Сердце его сразу раскрывается, как это бывает обычно у южан, если они вам поверят.

— Поезжайте в Сардинию, там вы увидите правду. Об Италии, о мафии пишут многие. О нас, бандитах по воле судьбы, мало кто. Кроме того, такой страны, как Сардиния, вы не найдете даже на самом краю света. Поезжайте и убедитесь!

Когда мы прощались с Луиджи в Риме, все было еще неопределенно. Программа моего пребывания в Италии, заранее совершенно точно распланированная, Сардинию не включала. Но помог случай. В Кальяри, самом большом порту Сардинии, в это время открывали словацкую выставку. И правительственная делегация из Братиславы высказала желание, чтобы ее сопровождал журналист. Один звонок из посольства — и дело было решено. В тот же вечер в Чивитавеккьи на берегу Средиземного моря я сел на корабль и мы поплыли.

Решаю дилемму: выносить или не выносить чемоданы из «рено», который краном поставили на самую середину палубы парохода «Эльба». Но долго ломать голову не приходится. Возле машины вижу Луиджи в пальто, который с готовностью предлагает себя в качестве ночного сторожа.

И вот, наконец, романтическая Сардиния в предрассветной дымке, словно сирена, совершающая утренний туалет. Но, внимание, здесь уже вступает в силу: Attenzione, banditi![3]

Великолепно, что одного из них я привез с собой, как Монте-Кристо своего Жакопа. И у него зоркие глаза, крепкие руки и тревожное прошлое.

КАК СТАТЬ БАНДИТОМ

Рецептов, конечно, много, и некоторые из них бесчисленное количество раз были с успехом испробованы в жизни, в романах и в фильмах. Но в отличие от сицилийских местные — сардинские — рецепты не попали в массовую литературу и в кино, потому что суровая действительность сардинского бандитизма не столь романтична, как это требуется для разрекламированных бестселлеров и боевиков киноэкрана. Однако и «бандитизм по-сардински» — поучительное явление нашей эпохи.

---

[1] Синьор водитель *(итал.)*.
[2] Хорошо, синьор, проезжайте! *(итал.)*.
[3] Осторожно, бандиты! *(итал.)*.

Ведь внимания достоин и тот факт, что Сардиния, второй по величине остров Средиземного моря, с античных времен считается одним из самых чарующих уголков мира. Пляжи чередуются здесь с утесами, достигающими стометровой высоты. Тропинки мгновенно взлетают от плодородных виноградников до высоких гор, поросших внизу оливковыми деревьями, а выше — съедобными каштанами, которые давно одичали, потому что как источник питания утеряли значение десятки лет назад. Почти половину острова заполняют цветы, кустарники и низкорослые деревья, перемежающиеся островками скал. Эфирные масла и смолы стали духами этого острова. Он пахнет пряно, как и его близнец Корсика.

Такая красота, естественно, притягивала завоевателей всех веков, и потому неудивительно, что на Сардинии и дети рождались под грохот пушек, треск винтовок и звон мечей. Сначала сюда вторглись финикийцы, потом карфагеняне. После них — греки, этруски. Не обошлось и без римлян, пизанцев, генуэзцев и, наконец, испанцев. После герцогов савойских и сардинских королей свой суверенитет здесь установили три итальянские республики. Одной из них сардинцы дали даже президента — Антонио Сеньи. Но и он не помог острову, продолжавшему слыть гнездом бандитов.

Оргозоло — скорее деревушка, чем городок,— прилепился к скале, как орлиное гнездо. В семье Луиджи, все — и отец, и дед, и прадед, и все другие предки — пасли овец и коз, испокон века бывших для жителей острова средством к существованию.

Через несколько лет после войны, которую сардинские партизаны выиграли сами, так что британский десант в сентябре 1943 года освобождал уже освобожденное, отец Луиджи ушел из дома в наручниках в сопровождении карабинеров. Он был обвинен в контрабанде, которой в те времена занимались на острове многие. Более ловкие, как Джо Адонис из Милана, Лучано Лиджо из Корлеоне и Сальваторе Камбино из Турина, начинали с того же, но далеко пошли и сумели стать заправилами в мире подонков. Стали шефами, чьи имена вызывали и до сих пор вызывают страх. Миллионерами, которые не только верховодят во всей торговле дурманящими ядами; в полной зависимости от них ночные заведения и проституция всех больших городов. Деньги они себе делали главным образом вымогательством у владельцев баров, ювелирных магазинов, домов моды, банков, промышленных предприятий, которые не желали быть ограбленными и потому охотно платили отступное.

Отец Луиджи переправлял американские сигареты из Кальяри в Альчеро, с равнинного юга на горный север. Он носил их в корзине на спине для шефов, которых не знал и которые преспокойно дали его осудить на пятнадцать лет, потому что в одной из перестрелок с контрабандистами погиб полицейский, а отец Луиджи не смог доказать свое алиби, хотя на самом деле был далеко от места убийства. Так Луиджи в шесть лет стал главой семьи. Без доходов, без друзей и без будущего. Он поднимался до восхода солнца и воровал у соседей овощи, из них готовили обед для всей многочисленной семьи. Потом выгонял из хлева жалкое стадо — трех коз — и гнал их пастись на окрестные холмы. Что́ он ел весь долгий день, никого не интересовало. Ведь оливки и каштаны росли повсюду, достаточно было оглядеться. Плоды их, правда, не всегда были зрелыми и не всегда удавалось увернуться от сторожей. Но это уж была его забота. Козы должны были возвращаться с пастбища с полным выменем, чтобы дома было чем ужинать. Так проходили месяцы и годы, похожие друг на друга и, главное, безнадежные. Луиджи, живший в сердце природы, разузнал все о повадках птиц, безошибочно определял, где водятся серны, дикие кабаны и другая живность. Писать и читать он, разумеется, не умел.

...Когда ему было десять, накануне рождества в их ветхой лачуге появился человек, который время от времени заходил к ним и раньше и беседовал с матерью. Прежде Луиджи казалось удивительным, что после его прихода в семье меньше кричали о вечной нехватке денег, становилось немного больше еды. В один из приходов незнакомца Луиджи получил свои первые кожаные башмаки вместо плетеных лыковых, из которых уже вылезали пальцы. На этот раз незнакомец после короткого разговора с матерью отвел Луиджи в сторону.

— Ты уже подрос и можешь заняться тем же, что делал твой отец. Хочешь? В конце концов надо ведь расплатиться за поддержку, которую мы оказываем семье уже несколько лет, с тех пор как твой отец попался.

Луиджи не очень хорошо понимал, чего от него хотят, но с радостью уехал бы из дома, где знал лишь голод и нищету. Поэтому они быстро договорились. Незнакомый посланец незнакомых людей и пастушок Луиджи.

И вот Луиджи вдруг оказался в Кальяри, в порту, похожем на все остальные средиземноморские порты. Этот внезапный прыжок в мир основательно испугал его, считавшего весь мир одной деревней. Шум и грохот полумиллионного города, спешка, вавилонское столпотворение, людские массы — все это обступает и страшит, и он даже не может вдоволь насладиться дарами добрых дядюшек: одет он теперь, как сынок господина старосты из Оргозоло, во все новое, мягкое и блестящее.

Еще вчера он был голодранцем, спавшим вместе с козами. А теперь щеголяет в немнущейся одежде, в рубахе как свежевыпавший снег, у него есть даже галстук и

туфли по последней моде. То, что с ним произошло,— чудо, и соответственно этому он себя ведет.

А что он за это должен делать? Собственно говоря, ничего. Вернее, почти ничего. Лишь постоянно быть к услугам господина Гаспаре, выполнять его поручения, сторожить перед домом, не торчат ли там посторонние, съездить на машине или сбегать куда-нибудь. Сущие пустяки. И при этом он досыта ел, был постоянно в тепле и об опасностях пока не имел ни малейшего понятия. Все это остается для него игрой, даже когда его снова переодевают оборванцем, чтобы он не так бросался в глаза, и велят носить разные свертки и пакеты, при этом одни издают металлический звон, а другие необычно легки. Он выполняет задания на отлично. Лишь один раз, по неосторожности, разрывает пакет, и оттуда сыплется белый порошок, который хочется лизнуть. К счастью, он не делает этого, но от господина Гаспаре ему влетает по первое число.

— Ты думаешь, «кокс» — это сахар? Это белое золото, мой мальчик, в каждом грамме — либо богатство, либо тюрьма, если попадешься,— слышит он объяснение, пока еще не совсем понятное, потому что слово «кокс» вместо «кокаин» начнет употреблять только в пятнадцать лет. А к тому времени ему еще предстоит осиротеть.

В Кальяри сцепились друг с другом клан господина Гаспаре и сардинцы, служившие на континенте у Джо Адониса. Господин Гаспаре не хотел поддаваться, и его подкараулили в излюбленном кафе «У Розалии», единственном месте, где умели готовить лангустов по его требовательному вкусу.

Луиджи первым увидел человека, который внезапно появился возле господина Гаспаре и лаконично произнес:

— Привет от Джо.

Потом этот человек поднял револьвер до уровня головы благодетеля Луиджи, раздался выстрел, и все вокруг затянуло розовым туманом. Луиджи еще успел заметить, как все застыли, а официант попятился в кухню. В неожиданной тишине, когда Гаспаре еще сидел на стуле как обычно, лишь немного наклонив голову к столу, стрелок беспрепятственно вышел из кафе. Снаружи зафырчал мотор автомобиля, и только тогда господин Гаспаре вдруг шевельнулся и медленно сполз на землю. Что было потом, Луиджи не помнит совсем.

Через неделю-другую душеприказчики Гаспаре — сплошь эмиссары Джо Адониса — пригласили Луиджи в Милан. По приказу Большого шефа.

— Говорят, он хотел тебя усыновить? — рявкнул Джо Адонис, едва увидев Луиджи.— Но он ничему тебя толком не научил. Тебе пятнадцать, а ты почти неграмотен. Стрелять из револьвера, конечно, тоже не умеешь. Поэтому теперь ты будешь учиться. А потом посмотрим. Мир станет твоим, лишь когда выучишься,— он громко расхохотался и выставил Луиджи за дверь.

Падрино Джо сдержал слово: для Луиджи началась суровая жизнь. Он вставал в пять утра, полчаса занимался гимнастикой и сразу же после этого усаживался за английский и французский. Потом шли бесконечные часы бухгалтерии, географии, усвоения различных сведений о сырьевых базах, время от времени лекции по психологии, а также уроки, которые по-ученому назывались public relations [1]. Во второй половине дня становилось немного веселее. Его обучили верховой езде, вождению всех видов автомобилей, боксу, дзю-до и каратэ. И лишь после этого настал черед оружия. За несколько недель он научился попадать в яблочко не только из револьвера и прицельных винтовки, но и из пулемета. Каждый вечер его заставляли разговаривать по-английски и по-французски. У него не оставалось ни одной свободной минуты. «Маленький лорд» в королевстве Джо Адониса готовился к большим делам.

Перед ним часто приоткрывали тайны, он знал о наркотиках, о проституции, о шантаже, но к делу не привлекали. Он ни разу не участвовал в ограблении банка или ликвидации конкурента. Детское воспоминание о крови в кафе «У Розалии» за это время поблекло. Вся эта таинственность ему даже нравилась, и он радовался, предвкушая, что получит когда-нибудь частицу власти, может быть, станет заместителем шефа в клане. Но Джо не торопился, ведь Луиджи не исполнилось еще и восемнадцати, время преемственности пока не наступило. Это спасло его во второй раз.

Когда полиция разгромила «империю» Адониса, Луиджи вместе с остальными сразу же оказался на скамье подсудимых. Несовершеннолетие и недостаток улик спасли его от тюрьмы. На несколько месяцев его поместили в исправительный дом, но вскоре он вышел на свободу, потому что приобрел правоспособность. Разумеется, под строгий полицейский надзор, с вызовами и допросами, едва лишь что-нибудь случалось. Прежних хозяев не стало, но полиция не оставляла его в покое. И вот в один прекрасный день он сложил вещи в небольшой чемоданчик и отправился домой в надежде, что избежит проклятия судьбы. Жизнь ничему еще его не научила, но уже порядком истомила. Он искал покоя, уголка, где можно жить без «друзей» из мафии, а главное, без агрессивной слежки полицейских, которые вечными подозрениями возвращали его к прошлому, не давали забыть о преступном гетто, выйти из него.

---

[1] Общественные отношения *(англ.)*.

Но бегство от мафии на Остров бандитов немного напоминает прыжок из огня да в полымя.

ЛУИДЖИ ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ БАНДИТОМ

Сначала Луиджи только осматривается в Оргозоло. Дома он нашел лишь мать, отец из тюрьмы не вернулся. Он никуда не спешит. Иногда заходит поболтать к сверстникам в такие же каменные лачуги, как и у них, прижатые друг к другу, словно цыплята к квочке, в комнаты, которых в каждом доме по одной.

С одной стороны закут для скота, посередине очаг, дым от которого выходит через крышу, придавленную большими камнями, чтобы ее не унес первый же сильный ветер. Люди, как и в его детстве, спят на земляном полу на соломе, зашитой в мешки или просто разложенной между вбитыми в землю колышками. Одеяла сшиты из мелких лоскутков со вкусом, который вызвал бы восхищение и у парижских законодателей моды. Но здесь они вызывают скорее противоположные чувства. На веревках развешаны мешочки с зерном, луком и чесноком. Между ними висит латаная одежда — многие вещи явно напоминают американскую военную форму.

Вечером в местной таверне, за стаканом крепкого вина, рожденного сардинскими виноградниками, он слышит то же самое, что слышал когда-то от отца:

— Пастух — это человек, до сих пор забытый богом и людьми. За все он платит втридорога. За аренду земли. За овцу до 10 000 лир, хотя дохода от нее — не более 15 000, а бывает и меньше... Если же солнце палит сверх меры, то нет травы и овцы гибнут как мухи. А возмещение должен платить все тот же пастух. Все осталось как прежде. Время здесь остановилось. Из пяти тысяч жителей Оргозоло не меньше тысячи мужчин работают на материке. А остальные кормятся как могут. Говорят, что мы воруем. Но ведь и это способ прокормиться. В каждой семье кто-нибудь сидит в тюрьме. У властей для этого есть статья «за бандитизм», мы же говорим — надо ведь как-то жить... Когда дети орут от голода и работы вообще нет и не предвидится, мы идем туда, где всего достаточно, и берем. Иногда получается, иногда нет. Порой при этом приходится стрелять, но только вынужденно... Потом присылают карательный отряд, который грабит, бьет и берет под стражу. Некоторые признаются. Тогда их уводят с собой... Через месяц танцы начинаются снова. Дьявол хохочет, а у господа бога, вероятно, закрыты ставни, чтобы не только не видеть, но и не слышать. Нет мира под оливами Оргозоло.

Луиджи находит дома на столе записку, что его ждут в приходе. Преподобный отец — воплощенная доброжелательность. Он живет в единственном настоящем доме деревни, в доме, достойном называться домом, здесь есть даже вода в сверкающих кранах и свет, который где-то на задворках вырабатывает неслышный генератор. Луиджи быстро убеждается, что падре Джанлоренцо говорит не только по молитвеннику. Его интересует Милан и вообще окружающая жизнь. Потом он заводит с Луиджи серьезную беседу. Речь его — не свежий майский дождик, скорее ноябрьский ливень с крупным градом.

— Еретики, богохульники, вероотступники,— это еще самые мягкие слова священника об оргозольской пастве.— Крадут, разбойничают, убивают друг друга, а главное, представителей закона, и даже на исповедь не приходят. Ваш падрино,— он проявляет информированность, имея в виду Джо Адониса,— этого не терпел. Перед каждым делом положено было отслужить мессу, а после окончания — исповедаться.

Падре ни на минуту не умолкает.

— А с тех пор как тут работает организация коммунистов, стало еще хуже. При этом епископ из Нуоро дает мне бессмысленные советы не поддаваться на провокации и вступать в контакты со всеми. Но какие тут вообще могут быть контакты, если каждая партия говорит на своем языке! Причем одна признает высочайшие ценности, общие для всех людей, а именно — бога на небесах, в то время как другая упрямо их отвергает и полностью отрицает бога! В такой игре участвовать невозможно, ибо, как учит нас апостол Павел, нельзя одновременно сидеть и у престола Господня и за столом его врагов. Для оргозольцев крестового похода мало, они давно уже прокляты, погибли, провалились в преисподнюю...

Луиджи приехал в Оргозоло не для того, чтобы основать мафию или прославлять бога. Вдобавок он легко понял, что этот смятенный падре не слишком-то заботится о сохранении тайны исповеди и от своего одиночества лечится за стаканом вина с карабинерами, которым рассказывает даже то, чего не знает. Поэтому Луиджи лишь рассудительно покачал головой и ушел, хотя его удерживали и просили помочь обратить соседей на стезю истинной веры.

Не прошло и недели, как Луиджи собрал первую группу тех, кто поверил ему. Для него оказалось новостью, что односельчане считают его обладателем больших денег, которые он где-то припрятал и достанет в подходящий момент, когда полиция прекратит слежку. Не имело смысла их разубеждать. В конце концов для начала этот миф был вполне пригоден.

На праздник тела господня, когда весь Оргозоло принарядился, вывесил трехцветные флаги и ленты, украсил дома цветами, а главное — убрал церквушку как розовый куст, Луиджи назначил день испытания своих ближних.

Женщины, все в черном, еще разглаживали последние складки на юбках, девушки довязывали банты и незаметно подкрашивали губы и пудрились. И вот уже все направляются в храм.

Половина седьмого утра, и единственная улица в Оргозоло заполнена женщинами, девушками и детьми. Сначала отслужена месса. Потом великолепная красочная процессия проходит по селу, останавливаясь у всех памятников и крестов — многие возведены на тех местах, где карабинеры застрелили местных строптивцев.

Так продолжается все утро. Джанлоренцо ораторствует безостановочно. Этот овчар локальной католической овчарни на седьмом небе. Такого в Оргозоло еще не бывало. В прошлом году дождь лил как из ведра, до этого карабинеры, невзирая на праздник, прочесывали деревню. Он и не упомнит, когда в последний раз кричал «Salve!»[1] перед такой большой толпой.

И вдруг епископ говорит ему: «А знаешь, там ведь не было ни одного мужчины».

Падре Джанлоренцо мигом возвращается к реальности. Он вообще не заметил, что тело господне славили одни только женщины и дети. Ведь утром он видел и мужчин. Они были в черном, как будто собрались в церковь, и учтиво снимали шляпы, приветствуя его. А теперь он сомневается, да было ли это? Ведь он не видел ни одного у церкви перед мессой.

Высоко в горах, там, где растет только горная сосна, пылает костер, на котором жарится баран. Вокруг черными кольцами и спиралями уселись оргозольские мужчины. Здесь все — от пятнадцатилетних подростков и до семидесятилетних стариков. Последних лишь горстка, потому что данные о среднем возрасте из статистики Всемирной организации здравоохранения к Оргозоло не относятся. Мужчины из Оргозоло умирают молодыми. Чаще всего стоя и с пулей в сердце или в голове.

— Наше сопротивление ни к чему не приводит,— начинает Луиджи.— Ладно, пусть мы бандиты, это не смоется с нас и до конца двадцатого века, но мы все равно бедняки. Последние из последних. Если Паоло выстрелит в карабинера, они пришлют целый отряд, который уж непременно объест Оргозоло, а может быть, сделает и что-нибудь похуже. Если Маттео пырнет старосту, он просидит пять лет. Пеппе организовал банду. Два года все перед ним дрожали, но потом с помощью псов и вертолетов их нашли и перестреляли, как антилоп на африканском сафари. Это ни к чему не приведет!

— А ты чего хочешь?

— Всегда так было, богатство для господ и бедность для нас!

...Шум, сомнения, возражения. Но Луиджи не спешит. Дает им выговориться. И лишь когда они смолкают, выпаливает:

— А что, если хозяйствовать сообща? Сообща пасти, сообща доить, делать сыр и продавать его. Сообща высаживать оливы и овощи и весь урожай собирать вместе. Выйти на рынок в Кальяри. Это теперь уже столица, там многое можно сделать. И делить доходы по тому, кто сколько сделал. Если хотите, я достану свой «сказочный клад». Он не так велик, как вы думаете, но для начала хватит. Я передам его кооперативу как основу!

Когда солнце опустилось в море и от барана остались лишь кости, оргозольцы подали друг другу руки. Слово кооператив перебегало из уст в уста, а с ним и надежда, что завтра будет лучше. Так Луиджи перестал быть бандитом.

ДОМА ЗНАЧИТ ДОМА

У Луиджи двери теперь не закрываются. Группами приходят пастухи, по одному — представители местной власти, даже священник пришел с упреками. Приезжают торговцы из Нуоро, Кальяри и Альчеро. Одни по старому знакомству, другие — услыхав, что он задумал. И карабинеры пришли, их было двое, послушали немного, потом почти королевским тоном произнесли: «Bene»[2] — и удалились. Оружие на них звенело, как на рыцарях кватроченто, последнего столетия турниров и дуэлей на шпагах. Всех, кто приходил до сих пор, а их было не так уж мало, Луиджи ожидал, и поэтому они ничуть его не удивили. Кроме одного.

А вот теперь он не знает, что делать. Он, видавший виды бандит, которому судьбой было предначертано стать мафиозо, сидит и молчит. Есть отчего замолчать.

У дубового стола в комнате Луиджи покуривает трубку местный секретарь коммунистов. Он был и там, наверху, в день тела господня. И барана ел. Только совсем не пил и руку на прощанье Луиджи не подал. Сознательно, чтобы иметь удобный повод завязать дальнейший разговор. Он сидит и пристально смотрит в глаза Луиджи. Все тот же молчаливый Сальваторе, с которым они пасли коз на одном холме и грели замерзшие ноги у одного костра. Наконец он начинает говорить:

— Послушай, Луиджи, ты задумал большое дело. Партия на полуострове организует кооперативы в областях Эмилия, Романья и под Болоньей. Но для нас ты мафиозо, и я не знаю... Сердце говорит мне: «не имей с ним дела», но разум подсказывает: «не обращай внимания!» А что, если ты хочешь основать еще один сардинский клан

---

[1] Слава! *(итал.)*.

[2] Хорошо, ладно *(итал.)*.

прямо на острове и все это лишь ловкий трюк? Быстро объединишь всех мужчин и получишь в свое распоряжение таких бандитов, каких мало кто имеет. Их не надо учить ни стрелять, ни прятаться, и слишком робеть они не станут, если прольется кровь. Этих качеств им не занимать. Они все умеют. Но только этот путь никуда не приведет. Ведь ты это знаешь. Ты пережил падение двух кланов мафии, и что сам остался жив — седьмое чудо света. Не так ли? Ты задумал это серьезно? Кооператив в Оргозоло?

Если да, партия тебе поможет, ничего за это не требуя. Мы поможем ради доброго дела. Причем без коммунистов в Оргозоло ты теперь далеко не уедешь. Но сначала мы убедимся, что ты ведешь чистую игру. Мы узнаем это раньше, чем карабинеры, и скажем. Не полиции, а людям. Здесь уже достаточно много таких, которые в бандитизме, в шантаже, в краже овец, коз, лошадей, а также людей не видят решения проблемы. Поэтому хотят жить иначе. Ты понимаешь?

Ты показал им дорогу и, если предашь их, будешь проклят и даже хуже того! Хоть партия это и запрещает, я вытащу отцовское ружье, я знаю, где оно надежно припрятано, и застрелю тебя, как паршивого пса. Потому что ты опозоришь наше детство, мечты, которые не осуществились, так как мир пока стоит немногого и он против нас.

Прошли недели, пока удалось добиться согласия властей, того, чтобы на списке членов кооператива пастухов и скотоводов стояли все необходимые печати. Вскоре выяснилось, на что способны коммунисты. Депутат из Нуоро так долго осаждал представителя власти в Кальяри (Сардиния — одна из пяти областей Италии, имеющих автономию), что наконец и последний «дотторе», недовольно махнув рукой, подписал документ. Consorzio Produttorio Latte[1] увидел свет. Покамест как кустарное производство, потому что на строительство молочного завода, разумеется, не хватило денег. «Клад» Луиджи уже давно показал свое не слишком глубокое дно. Но дело все же пошло.

В Оргозоло начали поступать первые деньги. Новенькие банкноты. Они, конечно, послужили хорошим поводом, чтобы начать мечтать о будущем, когда построят молочный завод, который обеспечит стерилизацию, и кооператив сможет по-настоящему конкурировать с монопольными молочными заводами. Тем временем монополисты пришли к соглашению, что дело это так оставлять не следует.

Прежде всего в Оргозоло послали санитарную инспекцию в надежде нанести кооперативу поражение с помощью бактерий. Но из этого ничего не вышло. Официальное заключение свидетельствовало в пользу кооператива. Тогда стали запугивать потребителей. Это уже было похуже. Некоторые отпали, но многие все же остались верны, так как с Монте дель Дженнарджento молочные продукты поставлялись по устойчивым ценам. Вместо отступников появились новые потребители — из Ольбии и Альчеро, где в общественной жизни уже давно взяли верх коммунисты. Луиджи мог быть доволен, вклад в банке рос быстро, ничто не мешало начать весной строительство первого в Сардинии кооперативного молочного завода.

Но однажды вечером Луиджи не вернулся из Кальяри. Сначала никто не придал этому особого значения. Однако когда он не появился и на следующее утро, стали звонить по телефону, и быстро выяснилось, что он выехал точно в обещанное время. Следовательно, он уже давно должен был добраться домой. Еще сильнее начали волноваться в Оргозоло, когда пришло новое сообщение — на воротах церкви с рассветом появился приколотый ножом листок:

«Луиджи ведет Оргозоло дорогой дьявола. Он противится столетним законам. И поэтому понесет справедливую кару. Он уже осужден. На смерть. На смерть. На смерть, как велят обычаи наших предков.

Мстители сардинцев».

Сардиния считается в Италии — стране похищений — наиболее оживленной в этом смысле областью. Похищения детей, женщин, да и мужчин здесь будничное дело. Их насчитывают двадцать за год, более сотни за последние пять лет. Ничто не изменилось и после привлечения к охране порядка 7 500 карабинеров и полицейских. А между тем похищают только тех, за кого рассчитывают получить большой выкуп.

Что касается случая с Луиджи, то он оказался не совсем стандартным. Выкупа на этот раз не требовали, а угрожали убийством человеку, ставшему бельмом на глазу для мафии,— хотя он и разошелся с ней по-хорошему, но как знать, где найдешь, а где потеряешь. А также для местных помещиков, которых, конечно, страшила перспектива остаться без доходов от грабительской арендной платы.

Вокруг городка Барумини на холмах и в полях стоят памятники бронзового века. Тогдашние жители этих мест, нураги, прославились на все Средиземноморье своими кубками в форме колоколов. Хотя обитали они преимущественно в пещерах, но строили и мощные башни с каменными стенами.

В одной из таких башен, пережившей тысячелетия, мерзнет и проклинает свою неосторожность Луиджи. Хотя он и знал, что ряды его врагов растут день ото дня, но все еще недооценивал возможные последствия. Он, искусно владевший ножом,

[1] Концерн по производству молока *(итал.)*.

револьвером, дзю-до и каратэ, попался как школьник и теперь сидит здесь, не зная, что предпринять. А тем временем дни идут, и кто знает, что делается в Оргозоло.

Его допрашивали закутанные с ног до головы люди и предлагали соглашение. Луиджи сразу понял, что это — не старые друзья из мафии, а помещики, которым кооператив перерезал жилы. На первом же допросе ему предложили бросить все и возвратиться на континент. Достаточно подписать признание, что он растратил кооперативные деньги, и все двери за ним захлопнутся. Разумеется, это «благородное предложение» он отверг.

Потом ему три дня не давали даже куска хлеба. Лежа со связанными крестнакрест руками и ногами, он слушал, как за стенами свищет ветер, дробит камешки на башне и вызывает страшные привидения из давно забытых могил. На второй допрос его пришлось нести. От слишком сильно затянутых веревок кровообращение в руках и ногах нарушилось. На этот раз он выслушал только ультиматум. Еще более категоричный, чем первый.

Ему оплатят билет на пароход, и он уедет в Америку. Оставит письмо, что нервы у него не выдержали и он сам принял такое решение. Один из закутанных мужчин, голос которого был ему знаком больше других — всплывали воспоминания о детстве и отцовских спорах с хозяином овечьей отары,— добавил лаконично:

— Это в последний раз. Трижды мы никого не просим!

Луиджи собрал все силы и плюнул. Он попал в маску, выглядывавшую из-под покрывала, маска с отвращением отвернулась.

В тот же момент он получил удар по голове, который надолго лишил его сознания. Пришел он в себя, снова связанный и на том же месте. С этой минуты он больше ничего не ждал, потому что от пощады отказался сам. Он не позволял себе никаких иллюзий, сразу разгадав хитрость противника. Ведь подписать фальшивое признание в краже — значит подписать собственный приговор. А так у них, во всяком случае, ничего, совсем ничего нет в руках. И может, найдется кто-то, кто сумеет одолеть их и отомстит за него.

Около полуночи его вывели и пошли, скорее поползли, сквозь разыгравшуюся бурю. Ветер свистит в ушах. Луиджи думает только о том, чтобы все поскорее кончилось. Быстро и безболезненно.

Но в момент тишины, когда ветер улегся и все вокруг замерло, Луиджи услышал за спиной короткий звук. Потом кто-то торопливо развязал ему руки. И сквозь возобновившееся завывание ветра один из людей прокричал ему в самое ухо:

— Джо Адонис когда-то сохранил мне жизнь. Теперь я плачу долг Маленькому лорду. Но мои новые господа совсем другие люди. Поэтому ты должен стукнуть меня по голове, и посильнее, чтобы никто ничего не заподозрил. А потом иди, но не забудь, что тебя приговорили к смерти. Что касается меня, устроишь мне отъезд в Америку. Можно и трюмным матросом. Я знаю, что денег у тебя мало. А связи, конечно, найдутся. Не пройдет и месяца, как я объявлюсь. Или кто-нибудь другой. Пароль — Барумини. И, если у тебя все дома, старайся ладить с мафией. Возвращаться не надо, этого они и не ждут, но ладить с ними следует. И с помещиками тоже. Помни, что человек может ошибаться много раз, но смерть дважды не ошибается...

ПАСТУХИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Возвращение Луиджи в Оргозоло было отпраздновано большим карнавалом. Пир шел горой, и все хотели знать, как ему удалось выпутаться. Приехали карабинеры и долго его допрашивали. Он отвечал согласно версии, о которой договорился в ту ненастную ночь. Поверили они или нет, его не занимало. Голова и так была полна забот. Ему пришлось восстановить прерванные давно контакты. Новый шеф миланского дна проявил интерес к встрече с ним. Но Луиджи не перешел Рубикон во второй раз. Он и так унижался, и немало. Главное было закрепить перемирие и добыть место на пароходе. Человек из Барумини уже ждал. Он получил инструкции и исчез. Надо думать, что его пароход доплыл до статуи Свободы.

...Тем временем кооператив в Оргозоло успешно рос. Приходили все новые пастухи и предоставляли в распоряжение кооператива свои арендованные стада. Членами Consorzio стали и первые независимые владельцы участков земли и стад. Молочный завод с современным оборудованием уже строился.

Луиджи многому научился. К торговым операциям, которые разрастались и понемногу захватили весь остров, он привлек хороших математиков. На производство сыра chacoli и каппуччино послал лучших специалистов; к стадам, которые постепенно меняли не только объем, но и цвет, приставил людей, которые знали, какая порода дает лучшее молоко, не требует больших забот и легче переносит горный воздух и болезни. Все это он делал открыто, с помощью административных учреждений, которые хотя и медленно, еле-еле — что для Италии явление обычное,— но все же выполняли его требования, принимали решения и выдавали бумаги со множеством резолюций и печатей.

Наряду со всеми этими торговыми делами Луиджи освежил и старые свои познания. Он снова обзавелся оружием. На это ему дали разрешение, потому что карабинеры не могли день и ночь стоять на страже у его дома. Он тренировался

в стрельбе и в приемах каратэ, чтобы кости и мышцы не потеряли сноровки. Из числа самых верных людей он создал свою милицию. Вооруженную, ибо кто же в Оргозоло не имеет под рукой револьвера, ружья или на худой конец штыка? Он хорошо знал, что делает,— ведь стада в горах, сыроварни и грузовики, колесившие по всем направлениям, нуждались в охране от таинственных стрелков, поджигателей и bombarolles [1], которые появлялись в самые неожиданные моменты. Кооперативом стал овладевать страх. Страх перед теми, кто ступил на путь бандитизма, когда Остров бедняков стал понемногу от бандитизма отказываться.

Положение обострилось. Карабинеры снова проверяли дом за домом. На дорогах расставили патрули, людям приходилось подвергаться проверке, даже идя в церковь. Круг снова замкнулся, и казалось, что из него нет выхода. Но Луиджи уже выписывал новый рецепт. И в самом деле оригинальный.

Сначала неизвестные люди постучали в ворота усадьбы господина Павезе. Их было пятеро, на головах чулки, в руках карабины с укороченными стволами. Тот, к кому они пришли, с незапамятных времен господствовал над арендаторами Оргозоло и его окрестностей. Но сейчас господин Павезе утратил свой самодовольный вид и воинственность. Голос его просительно дрожит. Он клянется отцом, сыном и святым духом, что никому ничего плохого не сделал. Арендную плату он взимал обычную, ждал, если видел, что платить нечем. Ведь всем известно, что он добряк до мозга костей.

Луиджи знал по рассказам, с каким воодушевлением выступал Павезе во время суда над отцом:

— Это лентяй и дармоед, он никогда серьезно к работе не относился, слова не держал, аренду не платил, в церковь не ходил, еще и других сбивал. Какой бы приговор ему ни вынесли, все будет мало, ибо лишь адский огонь его может очистить. Никакого милосердия, наоборот — суровость, собаке — собачья смерть!

Отец Луиджи и умер, как пес, в зловонной тюрьме третьей республики, так как свидетельство хозяина всегда считалось правдивым. Но Луиджи думает о будущем, и вот господин Павезе клянется, что его арендаторы станут жить как у Христа за пазухой, никто не нанесет им ущерба, он никого не станет оговаривать, он и пальцем никому не погрозит, а уж чтоб с земли согнать — и думать нечего. А оружие вы лучше возьмите, все равно стрелять я не умею, оно мне только мешает... Всем скажу, что надо жить в мире, в справедливости, относиться друг к другу как брат к брату, без злобы и ссор, ибо так сказано в Писании, и так пребудет...

Люди с чулками на головах отобрали у него оружие: карабины, и автоматы, и даже пулемет с боеприпасами, и ящик ручных гранат. И ушли, ибо в эту ночь надо было еще поспеть к господину Пекорелли, которого называли «кровавым», потому что своих арендаторов он стегал кнутом. И здесь все прошло гладко. Оружия взяли еще больше.

За неделю таинственные люди обошли всю округу. Они умело избегали ловушек карабинеров и лишь однажды их застигли врасплох. Уже под конец, в замке господина Мазелле, они наталкиваются на сопротивление. Из окон средневековой твердыни, помнящей не только королей, но и пиратов, по ним открывается такая ожесточенная стрельба, что крестьяне оставляют замок в покое. Лишь поджигают окрестные амбары, а условия свои вывешивают на воротах церкви.

Время Луиджи четко распределилось между кооперативом и допросами. Карабинеры стали приходить почти каждый день. Он встречает их свежим, как будто всю ночь покойно спал в постели. Умело и ловко он ведет эту сепаратную войну во имя кооператива. Войну против богачей, которые доныне решают вопрос о справедливости в зависимости от размеров счета в банке, отбирают у пастухов последнее; войну против тех, кто никак не желает понять, что сардинский бандитизм — не заговор мафии, а болезнь, порожденная бедностью. Поэтому-то все драконовские методы и полицейские облавы ничего не изменили. Поэтому гремят выстрелы в горах, на перекрестках дорог, в местах расположения карабинеров, вокруг старинных замков, повсюду, где засели хозяева голодных и обездоленных людей. А в это же время в университетах учат, что рост преступности связан с кризисными явлениями, при которых на периферии общества оказываются безработные или частично безработные, но всегда плохо оплачиваемые слои населения, обесценены идеалы человечности, семьи, религии. Однако это общество существует по-прежнему, хотя ничему не верит, ничего не уважает, ничем не гнушается. Даже убийством ни за понюшку табаку. В таком климате и формируется тип гангстера самого младшего поколения.

Это молодой человек обычно в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет, как правило, еще не судившийся, который, однако, не сумел «вписаться» в общество и поэтому любой ценой хочет заполучить «все и сразу», пусть даже ему это дорого обойдется. Ведь наказания утратили свой устрашающий характер, так как виновников большинства преступлений (до 80%) даже не удается найти. Преступники уверены, что если их и поймают, то они легко выпутаются. Особенно если находятся на службе у гангстерского клана, возглавляемого почтенными членами общества —

[1] Террористы-бомбометатели *(итал.)*.

общества больших денег,— в государстве, пропитанном коррупцией, о масштабах которой общественность и не подозревает.

Кооператив тем временем живет, энтузиазм его членов не угасает. Они не богатеют, но бедствовать перестали. Никто больше не боится зимы, которая здесь всегда означала голод и даже угрозу замерзнуть в собственном доме из-за нехватки топлива.

Для Луиджи начинается очередной день. Каждое утро, когда он идет по своим делам, его взгляд падает на гигантские буквы надписи, старательно выведенной чьей-то рукой на скалах, возвышающихся над деревней:

«Пастухи всех стран, соединяйтесь!»

На чужбине

БЕГСТВО ИЗ КАСБЫ

В Марселе любят говорить: если бы в Париже был бульвар Канебьер, он был бы Марселем. Это высокомерное заявление не беспочвенно — ведь то, что можно увидеть в Марселе, вы, конечно, не увидите в столице на Сене.

Между старинными домами и прозрачными современными дворцами, мимо столиков бистро, стоящих у самой проезжей дороги, движутся толпы самоуверенных моряков, бородатые хиппи в порванной одежде, шумные западные немцы, обвешанные фотоаппаратами и сувенирами, старые англичанки в нарядах от Диора в сопровождении двадцатилетних юнцов с лицами манекенов, флегматичные индусы в тюрбанах, живые, как ртуть, итальянцы, мечтательные испанцы с походкой танцоров фламенко, сенегальцы в белых рубахах «бубу» и арабы, множество арабов... Вскоре у вас создается вполне обоснованное впечатление, что во французском Марселе представлены все народы Леванта, прямые потомки древних финикийцев, греков, римлян и норманнов, а также недавние члены современных союзов ЕЭС и НАТО, лишь самих французов вроде бы маловато. Не будем делать поспешные выводы, ибо первое впечатление всегда обманчиво. Французов, конечно, большинство, они-то и объединяют этот Вавилон, придают ему шарм и блеск. Так что бульвар Канебьер — единственный в своем роде.

Пятница, начинается уик-энд, а Канебьер зияет непривычной пустотой. Заперты на засовы магазины, сверкающие хромом и пластиком, лавчонки, кафе, парикмахерские, мастерские портных и ювелиров, представителей всех возможных ремесел и сопутствующей им бедности. Спущенные жалюзи и прикрытые ставни наводят тоску. Не хватает только воя псов. Что-то мрачное и таинственное висит в воздухе.

По бульвару медленно идет похоронная процессия. Марсельцы несут на плечах Эмиля Герлаха, водителя автобуса, которого убил в споре о цене билета алжирец Салах Бугрин. Произошла непоправимая трагедия. Вдвойне печальная еще и потому, что Бугрина, по заключению врачей, нельзя было оставлять без надзора в связи с состоянием его психики.

Но величие Франции и ее благополучие в большей мере зависят от дешевого труда чужих рук, что выдается за один из священных принципов международного сотрудничества. Обетованные европейские страны не только гостеприимно приняли десять миллионов нищих, обездоленных и отчаявшихся иммигрантов, но и «великодушно» предоставили им работу. Множество арабов, африканцев, а также португальцев, итальянцев, испанцев, греков и турок странствуют уже десятки лет по старому континенту. На окраине Женевы выросло новое Палермо, на окраине Гамбурга — новая Смирна, а под Марселем — алжирская касба.

Иностранцы согласны работать там, куда никому не хочется идти. Это стало правилом. Ведь французу уже как-то неудобно вывозить мусор, подметать улицы, лезть в каналы и дымоходы, и все это — за небольшую плату. Немцы из Западного Берлина тоже не считают уже для себя приемлемым делом подбирать жестянки из-под кока-колы и кожуру бананов на опрятных автострадах. Швейцарская девушка в косметике от фирмы «Шанель» просто не может работать прислугой или уборщицей. Поэтому мир вполне разумно разделен не только на бедных и богатых, но и на прислуг и господ. Вторым дано достаточно, чтобы они могли поделиться с первыми хотя бы крошками со своего стола. Так что нищие, обездоленные и отчаявшиеся сыты, хотя мусорная свалка общества благополучия становится их судьбой и в благополучной Европе.

Когда же происходит непоправимое, как в случае с водителем Герлахом, разгораются такие страсти, перед которыми немеет разум. Даже в демократичной, традиционно антирасистской Франции. Оставим в стороне тот факт, что разъяренная толпа расправилась с Бугрином на месте. Это, вероятно, можно понять, хотя и трудно оправ-

дать. Но в тот же день представители фашистского Национального фронта объявили программу действий, достойных «истинной» Франции: «Нужно, чтобы во Франции разыгралось несколько расовых скандалов, и тогда все граждане, или по крайней мере большинство, станут думать как мы!.. Чемодан или гроб, выбирайте! Нас изгнали из Алжира силой, изгоним их в Алжир тоже силой!.. Они не хотели французского Алжира, мы не хотим алжирской Франции!»

В день похорон местная газета «Меридиональ» напечатала черным по белому: «Требуем крови алжирских убийц...» И вскоре добилась своего...

В первую же неделю после марсельских похорон каждый день был отмечен убийством алжирца. В субботу в Марселе на улице упал с разбитой головой юноша двадцати одного года, в воскресенье — Саид Абдулла с пулей во лбу, в понедельник — Рашид Мука, зарубленный топором, во вторник, в среду... На следующей неделе эпидемия перебросилась в Париж. В большинстве случаев даже особо тщательное следствие не смогло установить, почему и как произошло убийство.

После этого президент Алжира Хуари Бумедьен вынужден был приостановить выезд алжирцев во Францию. Но инциденты продолжались. В конце года в алжирском консульстве в Марселе, которое совсем не охранялось полицией, взорвалась бомба. В итоге — четверо убитых и двенадцать раненых. Статистика показала — всего во Франции за один год убито 52 алжирца. Один человек в неделю. Гастон Деффере, социалист, мэр Марселя, где каждый четвертый житель араб, демонстративно не принял участия в похоронах жертв из консульства. Зато через две недели он стал во главе сионистской демонстрации, которая добивалась для Израиля прав на Синай и Суэцкий канал.

Посреди марсельской касбы, выстроенной не из камня, как ее прообраз на другом берегу Средиземного моря, а из старых листов жести и ящиков из-под фруктов — была бы крыша над головой,— собрались руководители алжирской профсоюзной организации, чтобы решить важный вопрос.

Салах Бугрин до сих пор в больнице под тщательным наблюдением врачей и полиции. Когда он оправится от последствий избиения, его ждет справедливый суд. Все знают, что он, как невменяемый, будет отпущен, а потом выдворен из страны. Но в касбе скрывается еще один Бугрин. По имени Саид. Саид не брат и не кузен душевнобольного из злополучного автобуса, но кому он может это объяснить? Уже два раза в него стреляли, от колотой раны в грудь он тайно лечился в течение нескольких недель.

По всей касбе развешаны написанные от руки листовки: «Разыскивается Саид Бугрин, убийца». Где-то достали его фотографию; к счастью, на ней он не очень похож, но чем черт не шутит! Фашисты пообещали тому, кто его застрелит, 10 000 франков, а это не так уж мало. Поэтому Саид Бугрин ни минуты не может быть спокоен за свою жизнь.

Горстка отважных мужчин для того и заседает, чтобы предотвратить наихудшее. Один фантастический план сменяется другим. У убийц есть свои шпионы среди полицейских, таможенников, бензозаправщиков, трактирщиков. Значит, можно рассчитывать только на себя и на оригинальность решения, ведь вооруженная шайка следит прежде всего за путями выезда в Африку, Испанию и Италию. И тогда рождается идея отправить Саида в Швейцарию, в страну, где среди массы иностранцев арабов можно сосчитать по пальцам...

В тот же день ко мне в маленькую гостиницу «Панорама» приходит гость. Я давно уже привык, что мой друг Хуари все окружает таинственностью, но он столько раз помогал мне, что я никогда не сумел должным образом его отблагодарить. Однако, когда он рассказывает, в чем дело, меня оторопь берет. Я должен отвезти Саида к швейцарской границе, не более и не менее. Там его уже ждут и переправят до самого Санкт-Морица, чтобы надежно укрыть в немецком кантоне. Чувствую, что меня бросает то в жар, то в холод. Ведь здесь придется иметь дело не с полицией, которая самое большее может меня выдворить, а с настоящими головорезами. Марсель-то я немного знаю. Но еще лучше знаю трагедию Саида Бугрина. Так что вопрос можно считать решенным.

Перевозка организована просто и потому проходит успешно. Даю Хуари ключ от багажника, моя сумка и личные вещи лежат на заднем сиденье, багажник я не открывал уже неделю. Это сделают сегодня ночью, без меня. Отъезд запланирован на завтрашнее утро уже три дня назад. У портье лежит счет, который я оплачу перед сном. Мы прощаемся с Хуари. По-французски, то есть тремя поцелуями.

Все шло как по маслу. За полчаса я доехал до пересечения лесных дорог где-то между Безансоном стендалевского Жюльена Сореля и Порталье Элоизы Руссо. Останавливаюсь и открываю багажник. Человек, улыбающийся мне оттуда, мог бы служить прообразом героя Виктора Гюго. Смех после такого напряжения, после стольких ухабов и резких поворотов — ведь Юра это все-таки горы. Я его понимаю, он смеется от радости. Синяков на всем теле, полученных по моей милости, он совсем не замечает. А как благодарит!

Через полчаса за ним приходят, чтобы перевести в Швейцарию. Мы прощаемся молча, простым рукопожатием.

БЫТЬ ИНОСТРАНЦЕМ В РАЮ

Ровно через месяц из Санкт-Морица пришла условленная открытка, подтверждение, что все в порядке. Одновременно пришло и официальное предложение написать серию статей о «партии национального действия», которая в своей программе борьбы против иностранных рабочих заявляет следующее: «Если мы не остановим их вовремя, придет конец старой доброй Швейцарии». У меня есть основания предполагать, что Саид попал из огня да в полымя. Предпочитаю разобраться в этом на месте.

О Швейцарии говорят, что эта страна — олицетворение западной добропорядочности. Она живет традиционно, с комфортом. Гордится тем, что сберегательных книжек здесь не намного меньше, чем населения, а счетных машин больше, чем в любом другом европейском государстве. Политических кризисов там не бывало с 1848 года, забастовок — с конца первой мировой войны... Как известно, это единственная страна в Европе, которая за последние сто шестьдесят лет не знала революций, войн и конфликтов с соседями. Задолго до того, как бацилла национальной розни расщепила континент, в альпийских долинах национализм был почти излечен. Представители четырех народов жили в согласии и общались между собой на нескольких языках.

Откуда же вдруг столько шума вокруг иностранцев, которые приносят благосостояние не только как туристы, но и как рабочая сила? Ведь более миллиона рабочих, главным образом итальянцев (они составляют 15 процентов населения вообще и 29 процентов всех работающих), в шестимиллионной Швейцарии трудятся ради процветания альпийской федерации. Всю тяжелую и грязную работу делают греки, испанцы и итальянцы обоего пола. Для швейцарца хорошо все, что приносит деньги, а значит, и гастарбайтеры, или чинкали, как здесь называют иностранных рабочих. Но их не должно быть слишком много, дабы в страну покоя они не занесли семя беспокойства. И, конечно, не разбавляли истинно швейцарскую кровь. Поэтому серьезную проблему представляют не только совместные школы, помещение раненого югославского рабочего в больницу, но, главным образом, взаимоотношения молодежи. Брак швейцарки и итальянца равносилен общественному скандалу.

Встречаюсь с Саидом. С радостью отмечаю, что здесь он выглядит лучше, чем тогда в заиндевелом лесу зимней Юры. Видимо, он успокоился и стрелки из Марселя действительно потеряли его из виду. Однако призыв отомстить был высказан и не отменен, так что дамоклов меч продолжает висеть над головой Саида.

Вечер провожу с Саидом в кругу скорее итальянском, чем арабском. Должен сказать правду — жилье здесь на уровне действительно непривычном для иностранных рабочих в Европе. В Санкт-Морице под сенью фешенебельных отелей не терпят британских slums[1] или французских бидонвиллей, поселков, в которых умирают от эпидемий и холода. Здесь чистота, образцовый порядок, есть горячая вода, даже телевизор в маленьком клубе, где проводят вечера. Но и эта монета имеет свою оборотную сторону.

То, что рассказывают мне Саид и другие, как-то не вяжется с обстановкой, в которой мы сидим.

— Вы думаете, нас любят? Мы им нужны, но нас ненавидят. Стоит выпить с ними рюмочку grappa[2], чтобы понять это. Они знают, что без нас существовать не могут, что все это их благополучие построено на нашей дешевой рабочей силе,— и от этого ярость их только сильнее. Конечно, они нам платят, но требуют, чтобы мы не попадались им на глаза не только в общественных местах, но и на тротуарах. Они уже на пути к тому, чтобы написать на скамейках в парках пресловутое Swiss only[3]. И в самое ближайшее время...

Иногда лучше воспользоваться свидетельством других, это исключает подозрения в необъективности. Хотя я был как раз в то время совсем недалеко и говорил с очевидцами. Ведь Саид был одним из тех, кто все слышал своими ушами и видел своими глазами. И все же воспользуемся информацией в газете, которая так же далека от коммунизма, как ватиканская курия от великого муфтия в Бейруте.

Стоит вечер, прекрасный тихий вечер. Лишь ветерок колеблет железных петушков и другие украшения на крышах Санкт-Морица. И вот в этот погожий вечер трое швейцарцев сбили с ног каменщика Аттилио Тонолу и стали кричать:

— Чинкали, чинкали!

Тонола упал на смерзшийся снег, и эти слова, вероятно, были последним, что он услышал: тяжелые ботинки трех взбесившихся негодяев выбили у него душу из тела.

Их нашли — эти ботинки — все в крови, но аккуратно выставленные в ряд перед дверью комнаты, где эти пьянчуги спали после выпивки и убийства.

Вечер начался весело. В пивной «Крона» шла обычная «глайха», какую устраивают предприниматели для своих рабочих, когда заканчивается подведение стен под

---

[1] Трущобы *(англ.)*.
[2] Виноградная водка *(итал.)*.
[3] Только для швейцарцев *(англ.)*.

крышу. Потом итальянские каменщики и подсобные рабочие маленькими группками направились к своим общежитиям по уже совсем опустевшим улицам курортного города, в котором окончился сезон. Воздух был сухой и прозрачный, сияли звезды, и Тонола с двумя приятелями запели. Итальянскую песню, конечно...

Четвертый из группы Анджело Бонетти был глухонемой. Песенка немного возбужденных каменщиков разозлила троих ехавших мимо швейцарцев. Они опустили стекла машины и стали кричать итальянцам: «Tchinkali, Tchinkali» — старое ругательство, носящее почти ритуальный характер. Оно датируется временами первых итальянских иммигрантов, когда швейцарцам казалось, что в свободное время итальянцы только тем и занимаются, что делают ставки на петушиных боях: «Duo! Tutta! Tre! Cinque, cinque, cinque!»[1]. И в соответствии с немецкой транскрипцией итальянского произношения слова «cinque» их насмешливо прозвали «Tchinkali» — чинкали.

Наши четверо итальянцев, привыкшие и к худшему, только пожали плечами и пошли дальше своей дорогой. Тем временем автомобиль развернулся, преграждая им путь, причем пассажиры повторяли свои выкрики. Тут двое из группы — Джованни Крозио и Чельсо Тони, зная, что швейцарские власти при малейшем инциденте готовы отобрать разрешение на работу, предпочли свернуть в боковую улицу. Таким образом в свете фар автомашины остались только Тонола и глухонемой.

Трое разгулявшихся швейцарцев пришли в еще больший раж. Машина резко остановилась, разъяренные швейцарцы окружили Тонолу и стали его бить. Но теперь уже Тонола не захотел молча терпеть оскорбления. Глухонемой уже был довольно далеко, он побежал в пивную за помощью. Оглянувшись, он увидел, что его товарищ лежит на земле, а те трое топчут его ногами. Когда подоспела помощь, улица уже снова была пуста. Лишь на снегу алели пятна крови и виднелся след от тела, которое тащили волоком. Умирающего Аттилио Тонолу нашли в темном закоулке за сараем.

И для убийц Тонолы это был сначала праздничный вечер — они отмечали в пивной день рождения. Виновник торжества Карл Шмидт потом ушел спать, разрешив двум своим младшим братьям с товарищем покататься на его машине. Двадцатитрехлетний Арни — подмастерье мясника, а двадцатидвухлетний Йозеф — помощник электромонтера. Все братья родом из кантона Аппенцелль, а их друг — из Санкт-Галлена, то есть из немецких кантонов Нижней Швейцарии. Все трое живут теперь в Энгандине, и условия их жизни мало чем отличаются от стиля жизни итальянца, которого они убили. Преступление это не было простым следствием алкогольного опьянения или проявлением врожденной грубости и склонности к насилию. Оказалось, что следует учитывать и рефлекс настроений, которые культивируются определенной политикой и которым подвержена все большая и большая часть швейцарцев. В особенности это касается членов «партии национального действия». Терпимые швейцарцы предоставляют ей из года в год все больше кресел в парламенте. Теперь уже десятки. Так что проблема чисто моральная перенеслась в плоскость явно политическую.

События, последовавшие за убийством, лишь подтвердили уже известное. Никто и словом не обмолвился о том, что кроме добропорядочной и благородной Швейцарии существует еще и Швейцария людей с ограниченным кругозором, предубеждениями и предрассудками. Ощутимее всего это в маленьких сельских общинах, ревностно охраняющих свое средневековое своеобразие и в завистливом пренебрежении к иностранцам ищущих компенсацию за все, чего сами не имеют.

— Зачем говорить об убийстве? Ведь это была просто драка. Он — то есть Тонола — при этом поскользнулся, и случилось несчастье,— предполагает начальник тюрьмы в Сомадене, где находятся обвиняемые. Начальник полиции в Санкт-Морице говорит, что итальянец был здоровенный детина, а швейцарцы по сравнению с ним малы и слабы. Но убит-то здоровенный. Ряд газет отметил событие всего несколькими строчками в хронике дня под заголовком «Драка». Однако подобного рода происшествия продолжаются.

Итальянец, тщетно искавший комнату в Цюрихе, стал обращаться по телефону на немецком языке, и выяснилось, что свободных комнат десятки. Греческого рабочего пинками отогнали от дверей бара, где он беседовал со швейцарской девушкой. В цюрихском «Рио баре» официантка заявила двум итальянцам (один из них — служащий страхового общества, второй — сотрудник торгового пароходства), что они не будут обслужены, поскольку шеф не желает, чтобы его заведение посещали итальянцы. В тот раз все завершилось благополучно, так как группа студентов на следующий день исписала окна, двери, стойку и стены бара надписями: «СС» и «Доктор Штамм — юрист и расист!» Слово было найдено и произнесено.

Вся иностранная колония Санкт-Морица собралась на похороны Тонолы. Была прекращена работа, хотя это в Швейцарии не принято. Тонолу пронесли по городу в полном молчании. Опущенные жалюзи и закрытые ставни свидетельствовали о том, как настроены уважаемые граждане, зараженные бациллой нетерпимости. Потом еще будет суд, множество ловких болтунов-адвокатов все перекрутят так, что справедливое дело покажется заранее проигранным. Но в решающую минуту в зале встанет Саид

[1] Два! Все! Три! Пять! (*итал.*).

и пойдет прямо к судейскому столу. Он потребует разрешения выступить со свидетельскими показаниями и получит его.

Никто до этого момента не предполагал, что Саид был свидетелем всего, что случилось в тот вечер. Теперь он говорит в притихшем зале, где слышны только всхлипывания вдовы Тонолы, матери четырех детей. Слова падают, как удары молота. К тому, что мы знаем, он добавляет страшные подробности: циничная брань нападавших, просьбы Тонолы о пощаде, превратившиеся в нечленораздельный хрип... Мы узнаем, что убийцы смеялись и шутили, слышим их слова: «На одного вонючего чинкали меньше...» И адвокаты обвиняемых вдруг как-то сникают. Потрясающая история становится еще более убедительной. Теперь должно последовать наказание.

Саид сразу попадает в центр внимания. Напрасно он старается избежать кинокамер и вспышек фотоаппаратов. Ведь он изменил ход процесса, благодаря его показаниям семья Тонолы получит пенсию в размере шестидесяти процентов жалованья убитого мужа и отца.

И здесь я хочу вернуться к образу мыслей «швейцарца-патриота». Этот тип мышления питается самым обыкновенным страхом. Его социальный фон — опасения, что могут возрасти налоги, до сих пор самые низкие в Европе, а квартирная плата, по сравнению, например, с Францией просто ничтожная, тоже станет выше, что процветание может смениться крахом. Ведь Швейцария — страна уязвимая. Альпы очень красивы, и красоту их надлежащим образом эксплуатируют 7700 отелей на четверть миллиона мест. Однако Швейцария крайне бедна источниками сырья, приходится ввозить значительную часть продовольствия, по сути все сырье и большую часть топлива для электростанций.

...А иностранцы пусть довольствуются тем, что есть. Им платят жалованье, чего же они еще хотят?

Но друзья Саида хотят многого.

ГОЛОДОВКОЙ ОБ СТЕНУ

В записке Саид сообщает мне, что завтра в общежитии начинается голодовка. О причинах я точнее узнаю на месте.

В Санкт-Морице внезапно замирают все стройки. В безжизненной строительной площадке есть что-то нереальное. Причудливо выглядят устремленные в небо железные конструкции, скелеты зданий, чудовищных размеров бочки и бетономешалки, висящие на ветру освещенные солнцем треугольники кранов. Хаотическое нагромождение техники, которая без людей омертвела и кажется отражением в кривом зеркале.

На воротах строительных площадок суровые объявления: «STREIK» — «Забастовка». И тут же рядом не менее выразительное «HUNGERSTREIK» — «голодовка». В тот же день кто-то расклеивает по городу листовки:

«Вам нужны наши руки? Хорошо. Вы их получите. Но долг платежом красен. Мы не станем больше терпеть дискриминацию в оплате труда. Мы требуем равных со швейцарцами гражданских и социальных прав. Запретите специальным законом произвол ксенофобов и расистов.

Швейцарцы и швейцарки, мы приехали к вам работать и хотим лишь хорошего обращения, достойного традиций вашей демократической страны. Однако над нами насмехаются, нас оскорбляют и даже убивают! Сколько это будет продолжаться? Кто их остановит? И чем?

Мы ждем ответа сегодня, завтра, послезавтра...»

В общежитии рабочих тишина. Все разошлись по комнатам, лежат и дремлют. На столиках у постелей только стаканы и графины с питьевой водой. Больше ничего.

На ногах только стачечный комитет, который из общего возбуждения, вызванного смертью Тонолы, хочет извлечь политический смысл и урок. Убедить несознательных, поднять покорных, а главное, показать швейцарским властям, что иностранные рабочие способны на солидарность.

Разумеется, Саида я нахожу в центре шумной толпы, которая обсуждает, спорит и принимает решения. Конечно, все не так просто. Забастовка идет, но не ширится. Она ограничена Санкт-Морицем, не перешла границ кантона Граубюнден, ее игнорируют печать, радио и телевидение.

В тот же день, пытаясь прервать заговор молчания, обзваниваю нескольких знакомых в редакциях и на радио. Ответы не слишком обнадеживают. Все прекрасно знают, что происходит в Морице, но ничего не обещают, потому что шефы категорически запретили писать и говорить на эту тему. Ни слова о Морице! Остается последняя попытка. Сажаю в машину ослабевшего Саида, и мы едем в ближайшую редакцию, надеясь, что по крайней мере присутствие популярного свидетеля разбудит совесть седьмой великой державы. Однако швейцарская совесть — это качественная жевательная резинка. О забастовке пишут только газета партии труда и, разумеется, соседи, главным образом французы и итальянцы.

Тем временем выпал снег. Он покрыл не только вершины гор, но и леса на

склонах, и город с его островерхими крышами. Снег лежит повсюду, и его столько, что в нем захлебываются пешеходы и автомобилисты. Зато туристы могут встать на лыжи. Наступил их час. И они приезжают тысячами. До сих пор полупустой Мориц вдруг раздувается и грозится лопнуть, как перезревший арбуз.

Сегодня иностранный туризм дает здесь на душу населения наибольший доход в мире. Невзирая на то, что Австрия предлагает более дешевые гостиницы. Поскольку вершина горы, как правило, находится далеко, под рукой должно быть множество отелей. И чтобы отель не оказался убыточным, он должен быть всегда заселен по крайней мере на 65 процентов. А поскольку среди приезжающих большинство люди молодые, не остается ничего другого, как вкладывать деньги во все более современное оборудование, в бассейны, дискотеки и прочие новшества. Все это ставит под определенную угрозу стиль жизни, сводит на нет удовольствие от пятичасового чая, потому что пришло время плотно спрессованного туризма, массовых подъемов и спусков, крика, грохота бит-музыки, какофонии, которая вторглась в тихие долины и на вершины гор. Как ни странно, против этой грязной полосы на лице старой Швейцарии никто не протестует. Это — торговля, а на торговле ведь земля держится. Швейцарский собственник умеет наступить себе на горло, когда речь идет о деньгах. Но он непримирим, когда дело касается национальной чести. На нее покушаться нельзя.

При таких обстоятельствах голодовка заранее обречена на провал. Ее никто не замечает. Недостроенные дома под снегом стали выглядеть вполне естественно, как будто строительство приостановлено в связи с зимой. А голодающих гложет сомнение: к чему это все и как долго им еще терпеть? Большинство из них уже не могут двигаться.

Стачечный комитет больше не заседает, он тоже теряет силы. По общежитию пущено письменное предложение прекратить забастовку. Подписей становится все больше, но все еще не слишком много, а голодовка тем временем приближается к концу второй недели...

После беседы с Саидом я обхожу окрестные бары, рестораны отелей и привычные места скопления туристов. Мимоходом сообщаю, что делается в общежитиях для иностранных рабочих. Этого оказалось достаточно. Я и представить себе не мог, как быстро распространяются новости из уст в уста. Уже на второй день Санкт-Мориц полон должным образом преувеличенных сведений о голодовке, об умирающих людях, о несправедливости местных предпринимателей. Первые гости уезжают. С гор несутся лавины, а здесь лавина чемоданов и лыж катится к вокзалу.

И тогда вмешиваются власти. Вереница санитарных машин подъезжает к общежитиям и увозит голодающих. Бесполезны крики, протесты и отчаянный отпор смертельно ослабевших людей. Всех увезли. Стали проводить искусственное питание и насильно прекратили голодовку.

Сижу в больнице у Саида, который постепенно приходит в себя. Телом, но не душой. Он на грани нервного расстройства.

— Мы проиграли по всему фронту. Недооценили противника. Видимо, с ними нужно иначе. Ведь на наши требования они вообще не реагировали, как будто мы не существуем. Чинкали остаются чинкали. Круг замкнулся. Все повторяется... Видно, надо мне собираться и ехать домой. Это выше моих сил. Сначала Марсель, теперь Санкт-Мориц. И везде бьют по голове.

Я как-то не нахожу слов, чтобы возразить ему. Здравый смысл говорит, что они действительно проиграли, что швейцарская спесь ничуть не уменьшилась. Но тот же здравый смысл подсказывает мне: не впадай в панику, это только начало.

Прошли недели и месяцы. История в Санкт-Морице совсем забылась. Но примеры действительно множатся. Споры о правах иностранных рабочих в Швейцарии вспыхивают повсюду. О случаях в Женеве, Лозанне и Цюрихе даже пишут в газетах. Потом следует референдум ксенофобов, добивающихся, чтобы количество иностранных рабочих в стране было закреплено законом. Но они проигрывают. Побеждает здравый смысл. Референдум отвергает законопроект, предусматривающий снижение количества иностранных рабочих до 500 000 человек за пять лет и строгие иммиграционные меры для каждого кантона. Иностранные рабочие реабилитированы общественным мнением.

Борьба Саида оказалась не напрасной. Он вовремя вывел своих товарищей из выжидательной позиции и поднял их на борьбу, которая завершилась поражением. Но проигранный бой еще не означает, что проиграна война.

◆

Антирубрика

ТЕОДОР МАЗИЛУ

РАССКАЗЫ

Перевод с румынского ЛИЛИИ ДОЛГОШЕВОЙ

Квадратная голова с закруглениями

Жила-была квадратная голова и, как всякая квадратная голова, очень гордилась своей квадратностью. Бывало, что эта тяжелая, похожая на каменную плиту голова водружалась над всеми проблемами — да так, что уже ничего не было видно и никто не смел дышать. Каждое утро она гляделась в зеркало и, обнаружив, что ее форма нисколько не изменилась, вздыхала с облегчением. Квадратная голова опасалась, как бы враги не округлили ее.

— Слава богу, закруглений нет.

Человек с квадратной головой любил себя и особенно эту самую свою голову. Благословенная квадратная голова приносила ему одни только выгоды. Во-первых, женщина, разочарованная цинизмом мужчины со слегка закругленной головой, бросилась в его объятия и к тому же принесла в дом нежность перезрелой тридцатилетней дамы и хорошо обкатанный автомобиль. Во-вторых, нашел хорошую службу: как раз тогда одному учреждению потребовался человек с квадратной головой. Тамошнее начальство не отличало компетентности от тупости и угодливости. И придерживалось убеждения, что услужливый человек со временем становится и компетентным. Был бы он подобострастным, а компетентность придет сама собой.

Служба у квадратной головы была простая. Голова фактически ничего не делала. Только отвергала. Как стена, от которой все отскакивало рикошетом. А поскольку твердость квадратной головы общеизвестна, то она выполняла эту операцию самоотверженно и весьма успешно. И хотя квадратная голова работала в области торговли, где оборот — дело естественное, ей удавалось затормозить все. Срабатывал условный рефлекс — и голова отклоняла инициативу, рационализаторские предложения, всевозможные советы. Любое отклонение от правил грозило пошатнуть кресло Ее Величества Квадратной Головы. Понимания от нее не требовалось; она только слегка покачивалась то вправо, то влево. И это ритмическое движение принесло человеку — квадратной голове славу серьезного товарища. Его серьезность привела к развалу торговли, за которую он отвечал, но зато нисколько не уменьшилась его слава как серьезного человека... Он все умел угробить, но делал это с достоинством.

Как-то раз человек — квадратная голова пережил драму: впервые за долголетнюю карьеру ему бросили упрек—да еще прямо в лицо — из-за формы головы:

— Ты, братец,— квадратная голова...

Он понял не сразу, что это не похвала. Вся его квадратная база была в опасности.

В одно прекрасное утро даже жена,

его кроткая и дисциплинированная жена, сказала, открывая дверцу машины:

— Ты — квадратная голова.

Логика с трудом пробиралась в квадратную голову, будто солдаты сквозь топь; наконец, с грехом пополам родилось подобие ее: «Я потеряю и жену и уважение коллег, если не округлю голову. Не будет закруглений, я — конченый человек, мертвец».

Даже такая расквадратная голова, какой она была, хотела жить и радоваться жизни. Инстинкт самосохранения подсказывал — необходимы закругления: «Я — старая лиса: надо быть деловым и инициативным человеком — я все могу!» Квадратная голова была себе на уме: она пожелала стать круглой. Кое-что удалось сделать. Думать она все равно не умела, поэтому и не думала, но начала читать Кафку. Квадратная голова стала немного модерновой. Инициативу она больше не рубит с плеча, а отклоняет мало-помалу, оно и незаметно, глядишь, будто кто проглотил ее. Советы она заминает для ясности с вежливой улыбкой. Эта квадратная улыбка наклеилась на старое квадратное тупоумие и распрекрасно все его целиком и прикрыла. Квадратная голова стала мягче, обходительней: она не отклоняет больше инициативу, она просто зарывает ее в землю. Порою она кажется погруженной в раздумья, вздыхает, разумеется, насколько позволяет отверстие на ее квадратной физиономии. Случается, квадратная голова впадает в ностальгию по былым временам:

— Ах, как хорошо было раньше, когда насильно не заставляли думать. Не вынуждали мыслить — ведь это, если разобраться, покушение на свободу личности! Зачем мне вменяют в обязанность мыслить? А если я не хочу? А если у меня нет мыслей и есть семейные трудности?

Бедная квадратная голова изо всех сил старалась шагать в ногу со временем. Старалась быть круглой, пользуясь при этом исключительно руководством для квадратных голов. Впрочем, другого у нее и не было. Вздумай она летать, то и летала бы квадратообразно. Голова умудрилась превосходно сохранить квадратную форму, хотя стала пустой и мягкой.

Словом, у квадратной головы появились закругления. Только-то и всего. Завидев голову покруглее своей, она желтеет, как воск, от злости. Эта квадратная и мягкая голова. Пустая и квадратная... Берегитесь твердых квадратных голов, но луще квадратных и пустых.

Шедевр

Властитель живописи (своей!), художник не спешил к телефону.

Телефон звонил — раз, другой, третий. Однако творчески зрелый, известный живописец не снимал трубку. «Пускай его трезвонит»,— говорил сам себе наш художник, убежденный в самобытности собственного таланта. «Звони, звони, голубчик... Канули в небытие времена, когда я вскакивал с постели на любой шум... Тогда я шел на ощупь, искал свой путь в искусстве».

Телефон продолжал звонить, и Досточтимый соблаговолил, наконец, спустить ноги с кровати. Проделал он это нарочито замедленными движениями, чтобы хоть как-то отомстить за прошлое, когда он стремглав бежал к телефону.

— Кого бог послал в эдакую пору?— спросил художник усталым и безразличным голосом. На самом деле он был в восторге — наконец-то настала пора, когда можно не интересоваться тем, кто добивается его спозаранку. А ведь, бывало, он с замиранием сердца ждал суда критиков; то время кануло в Лету. «Вам очень понравилось? Мерси... Правда, несколько рановато для комплиментов...» — тут он, автор полотен, пронизанных новым шармом и неоспоримым своеобразием, прервал незнакомый голос в трубке.

А потом и вовсе бросил трубку — так велика была тяга художника к состоянию довольства собой; он выиграл битву — и его теперь не волновали ни похвалы грозного критика, ни анализ его художественной индивидуальности, ни новооткрытые черты его творчества. А ведь был период, когда все это интересовало Маэстро. То время безвозвратно ушло.

Было позднее утро, и Лауреат последней выставки в Брюсселе решил откушать. По правде говоря, его привлекал не столько сам завтрак, сколько разговор после него с домработницей. Разговор велся на одну и ту же тему, как ей изощряться, на какие уловки пускаться, чтобы никто не догадался, что художник дома.

Разговор с Бетти был самым достоверным свидетельством его художественной зрелости.

Размышляя о беседе со своей домработницей Бетти, ныне Единодушно Признанный всегда вспоминал несносные дни дебюта, лихорадочные поиски оригинального пути в искусстве, страдания во имя собственной художественной незаурядности.

Мысленно готовясь заговорить с Бетти, он припоминал со смиренной иронией всех тех, кто вовремя не уверовал в

АНТИРУБРИКА

его талант, в его звезду. Думы о Бетти переплетались с воспоминаниями о первой жене: она тоже не верила в его талант и поэтому убежала с посредственным пачкуном, добросовестным, но безликим.

В ожидании домработницы художник ощущал, как его талант становится богаче и ярче. Мало-помалу исчезали из его творчества и чуждые влияния.

— Бетти, прошу тебя, зайди ко мне на минуточку...

Обратившись к домработнице, художник предполагал, будто он высмеял того самого критика, который много лет назад посмел, сравнив его с Чукуренку и другими знаменитостями, обвинить в отсутствии самобытности: «Коллега, вы были неправы, как видите, я — весьма оригинальный талант!»

Бетти знала, почему ее зовет хозяин-художник, но, чтобы доставить ему удовольствие, всегда притворялась немного удивленной.

— Бетти, меня ни для кого нет дома...

— Как, совсем ни для кого?..

— Совсем ни для кого...— При этих словах художника охватывало презрение к его поклонникам, восторженным и благородным.

— А что говорить, когда вас будут спрашивать?

— Что хочешь, Бетти, дорогая, говори, что хочешь, по своему усмотрению,— и Несравненный Художник лениво улыбался, забавляясь мыслью о том, как его домработница будет решать столь серьезную проблему.

— Я могу говорить, что вы уехали в провинцию?

— Я же сказал: что хочешь, Бетти, я на тебя целиком полагаюсь.

— А может, раньше докладывать вам, кто пришел?

— Не стоит, Бетти. Кто бы меня ни спрашивал, меня нет дома.

Однако тот, про кого некоторые утверждали, будто он превзошел Ренуара, бывал благодарен своей домработнице, если она не исполняла в точности его распоряжений. Это было двойное удовольствие: он мог высказать свое презрение прямо в лицо посетителю, а затем обругать Бетти за то, что она плохо справляла свои обязанности.

Неподражаемый и Неповторимый Художник считал для себя развлечения подобного рода вполне заслуженными... «Я работал, трудился в поте лица... Теперь я могу смотреть на людей сверху вниз — для этого я вставал десять лет назад в шесть утра. Я пожертвовал лучшими годами жизни, чтобы иметь возможность швырять телефонную трубку, когда хочу... Я целые дни напролет не выходил из мастерской, чтобы, слушая сейчас похвалы знаменитостей, думать о другом. Я работал как одержимый, чтобы иметь право на презрение».

С едва скрываемой радостью Маэстро совестил домработницу Бетти, когда по ее недосмотру кто-нибудь проникал в дом. На самом деле он бывал ей признателен. Он получал возможность конкретно высказывать свое презрение пришедшему.

— Бетти, Бетти, ну что это такое? Я же просил тебя запомнить, что меня ни для кого нет дома! Ты говоришь, приходили из Примарии, ну и что? Примария — разве причина, чтобы вторгаться в мой дом?

Бетти стояла на пороге — испуганная, пристыженная. Она пугалась и стыдилась, потому что знала — это нравится художнику. В конечном счете, ей платили за страх и стыд, да еще как платили, сполна!

— Я думала, он важный господин... И он сказал, что пришел по важному делу, что у него срочно, что в ваших интересах.

Бетти опять проявила уступчивость, и вот Объект многочисленных восторженных и компетентных трудов очутился лицом к лицу с молодым человеком, весьма настойчиво о чем-то его просившим. Художник смотрел на незваного гостя со скучающим видом, что служило верным признаком его художественной зрелости и оригинальности таланта.

— Раз уж зашли, прошу садиться...

Развалившись в кресле и глядя со смиренной проницей на наивного посетителя, художник чувствовал в глубинах души своей необъятные творческие силы. «Я перегоню Ренуара. Да, да, на этот раз я его воистину перегоню».

Рассеянно слушая патетические разглагольствования посетителя, Художник чувствовал, как росло в нем то счастливое беспокойство, которое он испытывал, лишь входя в мастерскую. Тот, кому удалось завершить формирование своей самобытной художественной натуры и оторваться от анонимной безликой толпы, смотрел сейчас с иронической и небрежной улыбкой на юного посетителя и все больше ощущая свое сокровенное предназначение, причастность к шедевру всей своей жизни. Чувство благодарности завладело его душой, и это чувство благодарности и расцвета личности поставило художника в его глазах рядом с великими мира сего — Ван Гогом, Делакруа, Сезанном... Ренуар давно остался далеко позади.

— Мы решили, что для монументального панно — такого, какое нужно Дому молодежи, вы — самый подходящий художник.

«Чего я хотел добиться своим искусством? — спрашивал себя художник.— Смотреть на людей сверху вниз. О! К чему лицемерить, я этого хотел... И добился!.. Таков главный шедевр моей жизни!» Все-все, что он сделал за долгие годы напряженного труда: пейзажи, портреты, композиции, фрески,— было лишь незначительным эскизом, неуве-

ренной пробой к его фундаментальному творению.

— Я знаю, вы чрезвычайно заняты. У вас будут все условия...

— Не могу, юноша, никак не могу, устал...— ответил он, и ему показалось, что, демонстрируя усталость и безразличие, он будто накладывает последние мазки на свой шедевр.

Художник подметил страх, который запечатлелся на лице наивного посетителя, и радость его возросла. Нечто, которому он поклонялся, нечто, дававшее ему надежды в тяжкие годы дебюта, исполнилось сейчас, в этот миг, именно так, как он это себе представлял. Он работал по ночам, мечтая, как однажды ему предложат заказ, будут умолять его, а он, раздосадованный, станет слушать, а потом ответит утомленным голосом: «Глубоко сожалею, но я очень занят...» Он подолгу мечтал об этой сцене, о скучающем выражении своего лица и великолепной фразе: «Глубоко сожалею, но я очень занят...» Так мечтает о суше потерпевший кораблекрушение в океане. В скучающей маске, которую он наденет позднее, в безразличии, с каким отвергнет заказы, которые почтут для себя за счастье десятки художников, он усматривал расплату за все. И вот пришла победа. «О, я счастлив. Смотрите все, в этот миг я мог бы умереть...»

Поддавшись детской радости, Художник повторил заветные слова, которые питали его мужество в трудные минуты бытия:

— Сожалею... Я чрезвычайно занят...

Удивленный посетитель торопливо оделся и заспешил к выходу. Художник, достигнув апогея в своем творчестве, меланхолически проводил его до двери взглядом, в котором светилась нежность, непонятная незнакомцу.

Маэстро был счастлив. Цель, которую он перед собой поставил много лет назад, когда писал картины в нетопленной клетушке с земляным полом, достигнута. «О, я думаю, один Бах дожидался смерти так спокойно и умиротворенно, как я се жду в сей миг!»

С того дня он не заходил в мастерскую. И лишь изредка просил домработницу позаботиться, чтобы его не отвлекали от работы. Бетти, как и прежде, обещала беречь его покой. Но вскоре он понял, что предосторожности напрасны: никто не тревожил его.

Хитрости домработницы были больше не нужны. Однако от излишнего усердия или из-за необъяснимой нежности Бетти продолжала лукавить... Но лукавство ее было грустным и бесполезным. Вопреки создавшейся ситуации потребность в презрении и отказе с иронической улыбкой на устах от заказов еще не изжила себя в Художнике. Поэтому, согласно установившейся традиции, он вызывал Бетти после завтрака, давал советы и учил, как поступить, чтобы никто не догадался, что он дома. «Никого не пускай, Бетти... Они находят разные предлоги. Надо будет — забаррикадируй дверь... И не поддавайся на уговоры. Не открывай, даже если тебе пообещают миллион для меня».

Бетти слушала, удивленная и покорная, эти строгие бесполезные наказы.

■

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ

СТАСИНА ЖЕНА

Перевод с польского АСАРА ЭППЕЛЯ

Прошу минутку вниманья! Перед вами супруга
Непонятого провидца. Три брата их было. Три друга —
Стася, Буся и Ася,— и все трое творили.
Стася творил всех дольше — братья послабже были.
Но взял вдруг перо и сломал он и воткнул куда-то;
Вхожу — оттоманка, Стася и перо сломато.
Я склеить было хотела, но Стася, с помощью взгляда,
Дал мне понять, что поздно — час пробил и клеить не надо.
На полу возле таза изорвана в клочья лежала
Последняя Стасина драма: «Вот где у пчелки жало!»
Десять актов. С прологом. И все собственноручно.
Но рукопись возвратили, сказавши, что несозвучно.
Стася взял свои акты, в карманы пораспихал их
И побрел в переулки средь ветра и листьев палых.
Словно Шопен, трагичен, он шел в осенние дали,
И слезы в полкилограмма с ресниц его упадали.

На обед я сварила суп и бигус с картошкой.
Вдруг Стася как встал со стула! Как дал мне по уху ложкой!
Сюда вот. В это вот ухо. В качестве поученья.
Я охнула. Да чего уж! Я вынесу все мученья!
И воспаление уха, и Стасин характер мерзкий —
Лишь только бы созидал он, мой Аполлон Бельведерский.
Ну, я ему в ножки упала и говорю: «Стасёчек,
Может, хочешь чаечку, а может — шарлотки кусочек?»
Но Стася остался Стасей и крикнул страшно и глухо:
«Не смей, говорит, мещаика, лишать меня силы духа!
Шарлоткой сбить меня хочешь? А я надежда вселенной,
Я сфинкс, говорит, пустыни, египетский и нетленный!
Меня метафоры мучат, пафос и правая злоба,
Шекспир со мной по сравненью — нуль, а Мицкевич — микроба!
Не смей и думать, что завтра дам я мочу на анализ,
Я этого выше и создан, чтоб мне века поклонялись!
Я, говорит, метафизик и чисто случайно Стася,
Мой дух уже воплощался в Дантовой ипостаси!»
Тут пришел Паутянский, вытер ноги в прихожей,
Издерганный человечек — его не печатают тоже.
Вошел он, чихнул и тихо заплакал на всякий случай,
А Стася как раскричится: «Ах ты, графоман линючий!
Литературная сошка, бездарь — и все такое!
А я витаю над бездной и не знаю покоя!
Держите меня! А то ведь я жизнелюбьем не брызжу!
Я, говорит, провидец и все, говорит, провижу!
Пойду вот, отматерю вот редакторов и всех присных!
А потом по Варшаве пущусь, будто бледный призрак.
Выворочу с корнями все фонари и тумбы,
И пусть обо мне возвещают благовесты и трубы!»
Тут Стася скушал шарлотки большой кусок машинально,
Глянул на нас с Паутянским дико и инфернально,
А после из оттоманки вынул свое творенье,
Плод глубоких раздумий, борения и гореиья,
Поэму под заголовком «Бедра с бархатной кожей».
Паутянский хвалил, но с весьма лицемерной рожей.
Известно — ханжа и проныра и завидует Стасе,
Наврет, обольстит человека и уйдет восвояси.
А мне, покамест мой Стася читал про бедра, казалось —
То ли вода, то ли что-то другое где-то плескалось...
Тут Стася читать закончил и лег на оттоманку.
И заснул. А спать любит. И храпит спозаранку.
А по ночам, когда месяц в шифоньере дробится,
Мне не спится, поскольку где-то что-то сочится
Или хлюпает тихо. А если в потемках сонных
Стася по дому ночью бродит в одних кальсонах,
Бульканье слышно громче, я просто вся извелася...
А это, как оказалось, в мозгах плескалось у Стаси.

◆

Среди книг

Издано в СССР

РОМАН-ОБЪЯСНЕНИЕ

Александру Ивасюк. Половодье. Роман. Перевод с румынского Татьяны Ивановой и Кирилла Ковальджи. Москва, «Прогресс», 1977.

Название, которое я дал этой рецензии, приложимо, по-видимому, ко всякой другой рецензии на сколько-нибудь серьезный реалистический роман.

Что бы там ни говорили об «открытой форме» и принципиальной незавершенности (non finito) современного романа, он, как и его предшественник роман XIX века, всегда *объясняет* какую-либо жизненную проблему, конкретно существующую в данных обстоятельствах места и времени, однако интересную и поучительную для людей, живущих в иных обстоятельствах и даже в иное время. Писатель, взявшийся за роман, «обрекает» себя на необходимость растолковать читателям происходящее (и то, что за ним стоит,— свою сверхзадачу), пожалуй, в большей степени, чем если бы он взялся за произведение другого жанра,— такова уж традиция восприятия романа, наша читательская привычная настроенность, воспитанная веками его истории. Автор может максимально устраниться из романного текста, перепоручить повествование кому угодно в первом или третьем лице — что из того? Нам нужно знать, почему происходящее (или происшедшее) такое, а не иное, отчего герой в одном случае поступил так, а в другом эдак и по какой причине мир представляется автору в том обличье, которое «смоделировано» прочитанным нами романом...

А Александру Ивасюк в романе «Половодье» вовсе и не хотел что-либо из объяснений кому-либо передоверять. Аналитический комментарий и право на выводы он взял на себя прямо и недвусмысленно. Он все время с нами, автор-человек, писатель начала 70-х годов текущего столетия, рассказывающий нам о том, что случилось в маленьком трансильванском городе почти тридцать лет назад, в начале 1946 года (по-румынски роман вышел в свет в 1973 году). Он не оставляет без мотиваций, кажется, ни одного поступка, ни одного душевного движения своих персонажей. Иногда он «предрекает» кому-то из них (легко это делать, не скрывая, что смотришь-то в прошлое, рассказываешь о бывшем) этапы их будущих, по отношению к сорок шестому году, служебных биографий. Между действующими героями и комментирующим автором, повторяю, временна́я дистанция почти в тридцать лет, и она ясно ощутима в тексте, что не мешает героям «Половодья» изменяться по законам самодвижения, по собственной социально-индивидуальной логике (за некоторыми исключениями, автор никому из них ничего не навязывает). Глубинное же течение сюжетного развития, его основные сцепления и столкновения определяются, как и положено в эпическом искусстве социалистического реализма, логикой самой истории: все время ставя героев в «ситуацию выбора» (социального, идеологического, нравственного) и давая им личную свободу нести ответственность за осознанно принятое решение, автор «Половодья», этого в известном смысле уже исторического романа, не вправе, да и не желает «перегораживать» или менять русло этого течения какой-нибудь собственной, «волюнтаристской» эскападой.

Нет, позиция А. Ивасюка-романиста

предельно ясна и подлинно реалистична. Я покажу, словно говорит он нам, что произошло в небольшом городе на севере Трансильвании в начале сорок шестого года, в сложнейшей, запутаннейшей обстановке разрухи, голода, коррупции и спекуляций, вызванных только что кончившейся войной; в обстановке, политически и социально не определившейся, когда антифашистский блок включал в себя очень разные социальные факторы, когда внутри его действовали и возглавляемые коммунистами силы, стимулировавшие движение народных масс к справедливому социалистическому переустройству жизни, и силы (монархия, буржуазные партии, мелкобуржуазная стихия), тяготевшие к старому порядку Румынии, вожделенно и униженно ожидавшие, что «Запад спасет» их от рабочего класса, от социализма. Я покажу вам, как бы продолжает автор-комментатор, какими «странными» формами оборачивались исторические закономерности того переходного времени, *начала* того переходного времени,— как, например, при попустительстве, а чаще прямом пособничестве буржуазных деятелей, либералов, царанистов, маленьких «вождей» маленького города, впрочем, такого, откуда выходили министры для правительств «всей» Румынии, города, где без конца толкуют о «великих» традициях, на самом деле имея в виду традиции не движения народных масс, а верхушечных компромиссов, политиканствующих комбинаций вокруг «трансильванского вопроса»,— как при попустительстве таких людей остатки и останки румынского фашизма оживали и паразитировали на трудностях жизни той поры, проявляли себя уже не в виде терроризма «железногвардейцев», а в виде бандитских шаек спекулянтов, рэкетиров, своеобразных мафиози, уже, впрочем, готовых переодеться в костюмы буржуазных воротил, потому как награблено было ими у народа много. Не случайно подумывает Карлик, глава этой банды, о возможности союза с бывшим министром, внешне респектабельным «западником» доктором Шулуцию,— Карлик, уголовно-зловещая, по-своему драматичная и символичная фигура, которая в романе — убежден, что сознательно,— проецируется на Гитлера, становясь его миниатюрным морально-психологическим подобием.

«Показать» для А. Ивасюка означает тут же разъяснить. И так — с первых же страниц, на которых появляется старая госпожа Дунка, хранительница традиций «великого» рода, даже двух — мужнина, из которого выходили министры, и отцовского, княжеского (отец ее — знаменитейший доктор Т. М., один из руководителей Национальной румынской партии в Трансильвании), а рядом с бабушкой Дункой — внук Григоре, мальчик с большой фантазией и уже холодным любопытством в сердце.

Потом появляется сын старой Дунки, адвокат Пауль Дунка, непутевый, неудачливый, поломавший все традиции рода («Жизнь стала другая, и теперь ясно, какие все это глупости»,— кричит он матери), спутавшийся с бандой Карлика, ставший его сообщником в преступных махинациях, сначала истинно преданный ему, поскольку Дунку, «европейского интеллигента», влечет философия вседозволенности, только влечет она Пауля Дунку до поры до времени — пробуждается в нем, наконец, больная совесть, и хочет адвокат порвать с бандой, участвовать в ее разоблачении.

И еще и еще появляются люди, с каждой главой новые.

Осколки богатых семей, многонациональной элиты города и области, *бывшей* элиты... Рабочие... Коммунисты, недавние подпольщики, ныне открыто взявшие на себя ответственность за улучшение жизни (в антифашистском правительстве П. Грозы в Бухаресте и здесь, в убогой провинции, они борются за интересы масс, ведут за собою массы)... А рядом — продажные полицейские чины (старый аппарат власти еще далеко не сломан и не сломлен)... Появляются в поле нашего зрения деятели царанистской партии и американский журналист Уорнер, представитель могущественного газетного клана, воздействовавшего на сознание самих президентов США... Круг действия расширяется. Роман бытовой, семейный; остросюжетный роман, интригу которого составляет социальный «казус» (в исторических масштабах борьба против банды Карлика, разумеется,— исторически характерный казус); роман политический, идеологический — все это и есть роман «Половодье». И на всех «этажах» повествования, будто за плечом каждого персонажа — комментирующий и объясняющий автор, его излюбленные синтаксические конструкции с бесчисленными «потому что».

В такой манере постоянного авторского присутствия таится опасность определенной монотонности стиля. Иногда (правда, к счастью, очень редко) автор разъясняет и без того ясное; иногда, тоже редко, попросту мешает читателю самому вынести суждение о герое; да и не все персонажи романа заслуживают того, чтобы автор подробно все и вся в них мотивировал. Заслуживает ли подобного внимания продажный полицейский чин, примитивный, мелкий и злобный хищник Месешан? Однако в целом манера А. Ивасюка одерживает верх над первоначальным читательским сопротивлением ее почти нарочитому воздействию на сознание. Потому что прежде всего объяснения, идущие от автора, разнообразны. Это и социологические, так сказать, аттестации героев, это и исторические «справки», умно и нередко сатирически остро раскрывающие генезис персонажей: это — наиболее часто — психологический комментарий и нравственно-моралиаторское «сопровождение», к чему, привыкнув, даже пристращаешься, поскольку автор не позволяет себе быть банальным, плоско-элементарным, а всегда

самостоятелен, остр умом, заразителен; видно, что такой, как бы поверх текста идущий разговор с читателем доставляет ему дополнительное удовольствие. Авторское сопровождение *обогащает* характеры описываемых лиц, делает их значительнее, индивидуальнее, «репрезентативнее».

Вот небольшая сценка из шестой главы, представляющей собой отличную новеллу, тесно ввязанную в сюжет романа, однако и самостоятельно воспринимаемую, с центральным «портретируемым» героем (таков композиционный прием не только в этой главе). Ион Леордян, станционный сторож, полукрестьянин-полурабочий, никак не хочет взять в подарок от рабочего-механика, коммуниста, теплую шинель, без которой рискует замерзнуть. Осторожный, недоверчивый, как говорится битый жизнью, Леордян «удивлялся и не хотел ее брать. Наверное, механик дал ее ему не без задней мысли. А вдруг это одно из тех мошенничеств, на которые люди пускаются, чтобы обмануть его, Леордяна, чтобы принести что-то в свой дом — детям, не знающим голода и холода, и своим толстым, самодовольным женам с двойными подбородками. Мошенничество, благодаря которому одни процветают, наживаясь на обмане других людей вроде него,— этим-то всегда не везет, и потому с таким тяжелым сердцем возвращаются они домой, к своим худым, измученным и сварливым подругам; да и как женам не ворчать — ведь не встретился им настоящий мужчина, умеющий мошенничать, а достался такой, которого постоянно обманывают». И следующий абзац, уже прямо от автора: «Вот почему он не хотел брать шинель, боясь попасть в игру, которая не по нем...». Такой то растворенный во внутренних монологах персонажей, то сопровождающий их диалоги, их «жесты» и поступки разъяснительный социально-психологический комментарий («Честь для Леордяна была превыше всего»,— скажет автор несколькими строками ниже) возвышает эту и другие фигуры, делает их осознанно типичными в читательском восприятии. И эту фигуру возвышает (даже сюжетно — из-за убийства Леордяна «людьми Карлика» и поднялась буря в городке), и другие. Ту же старую Дунку. Того же Карлика. Хитрого приспособленца, постоянно рассчитывающего каждый свой шаг, юриста Маню и бескорыстного энтузиаста — молодого рабочего «рыжего Матуса», мгновенно вспыхивающего как порох. Сатирически-разоблачающий комментарий к переживаниям и «жестам» подкупленного бандитами префекта полиции Флореску и упомянутого респектабельного доктора Шулуциу тоже не лишает их своеобразной значительности. И совсем не величественный, в согласии со своим возрастом, мальчонка Григоре так преподносится автором и с таким вниманием, можно сказать психологически, препарируется, что и он тоже вырастает в наших глазах.

Персонажи «Половодья» живут на страницах романа интенсивной и разносторонней внутренней жизнью. Почти все. Жаль, что один из важных для идейной, политической и нравственной концепции книги характеров — «представитель центра» Григореску — психологически разработан бедно. Появляясь в качестве deus ex machina близко к концу сюжетной ситуации, чтобы исправить якобы совершенные руководителем местных коммунистов Дэнкушем «хвостистские» ошибки, Григореску в изучении ситуации, в общении с трудовыми людьми города приходит к выводу, что Дэнкуш был скорее прав, чем не прав, и энергично, действенно развязывает, с согласия «центра», все «узлы», которые Дэнкуш все же не смог развязать сам. Октавиан Григореску вызывает в Дэнкуше восхищение не только тем, что «олицетворял власть (новую власть.— *Ю. С.),* но никак этого не выказывал, не подчеркивал какими-либо внешними признаками поведения, а вел себя так же естественно, как обычно», но и тем, что воплощал собою «нынешнюю форму революции — быстрые решения, принимаемые от имени государства» (нового государства переходного периода — с ясной, побеждающей социалистической альтернативой). Однако внутренний мир Октавиана Григореску скрыт от нас и вряд ли может вызвать симпатию читателей, да и автора, его психологическое самоощущение, выраженное таким, не раз повторяемым сравнением: «Его тело и ум работали как хорошо отрегулированная машина, созданная для того, чтобы работать по 18 часов в сутки».

Образ Дэнкуша психологически куда объемнее и человечески привлекательнее.

Как психолог, как внимательный исследователь психологических личностных мотивов Александру Ивасюк не испытывал в «Половодье» никакого страха перед самыми сложными художественно-аналитическими задачами. Он вторгается в самые темные подвалы души Карлика, во все его подоплеки — не на радость неофрейдистам, а показывая могущество реалистического метода изображения. Он впечатляюще изобразил душевную эволюцию, «очеловечение», казалось бы, навек зачерствелой в сословной гордыне старой Дунки. Головокружительна и эволюция Пауля Дунки и его трагической любовницы Хермины. Впрочем, путь Пауля *в общем* следовало, пожалуй, изобразить и объяснить еще более подробно — его развитие предстает все же слишком скачкообразным. И это, я думаю, потому, что с композиционными возможностями такого романа история подобного характера монтировалась с большими затруднениями, эта история тянула к форме «романа воспитания», в то время как автора увлекла идея дать роман — эпическую мозаику.

Мозаика эта играет всеми красками и гранями искусства современной реалистической прозы: пластикой описаний умной, до символики доходящей детализацией, на-

пряжением, неожиданностями поворотов сюжета, вторжениями публицистичности и, конечно, острым психологизмом, *объясняющим* психологизмом, умело соединяющим, а в ряде случаев сливающим голос автора и характерные голоса героев. Держат же эту «мозаику», не дают ей рассыпаться сквозные внутренние мотивы, отражающие глубокую авторскую, человеческую заинтересованность, авторский пафос. Эти мотивы располагаются, как и авторские объяснения, в нескольких плоскостях: *политически* это мотив веры автора в разум и силу пробудившегося к новой жизни народа (шествие народа по улицам города — одна из самых эмоционально сильных и рационально символичных, «горьковских» сцен книги); *нравственно* это мотив личной ответственности человека за выбор, который он делает, сталкиваясь с теми сложными ситуациями, в которые его «впутывает» история (слишком часто, чтобы быть случайным, повторяется в романе само это слово — «выбор», «я должен сделать выбор»); есть в книге и *философский* сквозной мотив, он касается проблемы «реальности и иллюзий, права на правду и на ложную «систему фраз», если вспомнить горьковского Самгина,— и ясно, что, писатель социалистический, А. Ивасюк стоит за правду, за честный взгляд на жизнь, какова она есть, а не каковой кажется, хотя он понимает (и объясняет нам), что иллюзии могут возникать у людей не только кроваво-«ницшеанские», вроде тех, что у Карлика, но и благородные (от них освобождаются и недоверчивый Леордян, и нетерпеливый Матус, и не все еще умеющий трезво понять Дэнкуш, и снедаемый жаждой праведно пострадать «прозревший интеллигент» Пауль Дунка).

Впрочем, этот философский пафос в книге, конечно, сливается воедино с нравственным и политическим. Как и должно быть в подлинном искусстве...

Автор романа «Половодье» не увидел советского издания своей книги: в марте 1977 года, к горю нашему, он погиб во время бухарестского землетрясения. Я был знаком с Александру Ивасюком. Разговоры с ним в Бухаресте и в Москве были интересными, поучительными. Он многое знал и еще больше хотел узнать о жизни нашей страны, которую высоко ставил в мире,— он любил обсуждать глобальные политические вопросы. В разговоре А. Ивасюк раскрывался как незаурядный эрудит, впечатлительный и одновременно глубокий человек, как остроумец (остр умом!).

Читая «Половодье», я много раз ловил себя на мысли, будто слышу его голос, вижу блеск его глаз, вникаю в смысл его отточенных и одновременно темпераментных объяснений.

Да ведь так оно и есть: жизнь писателя продолжается в его книгах.

Ю. СУРОВЦЕВ

ПОЧВА И СУДЬБА

Современная норвежская новелла. Перевод с норвежского. Составитель Ф. Золотаревская. Москва, «Прогресс», 1977.

Есть особая притягательность в антологиях, будь то антология стихов или рассказов. Не найти там, пожалуй, той артезианской глубины жизненных пластов или лирических характеров, что можно обнаружить в романе или поэтической книге, но зато существует эффект мозаики: каждый отдельный мазок, каждый отдельный блок дают свой оттенок, а в целом возникает красочная, прорисованная в деталях картина.

Драгоценная особенность рассказа в том и заключается, что, будучи лаконичным, он дает концентрированную, плотную или, как теперь говорят, густую зарисовку характера, явления, ситуации. Вот отчего и люблю я сборники рассказов.

В «Современной норвежской новелле», куда вошли произведения тридцати одного автора, прекрасно уживаются разные писательские поколения, разные творческие манеры и, главное, разные ракурсы, в которых видится человек, видится мир.

И это очень увлекательно! Жизнь, которая на отдалении кажется нам одинаковой (неприветливый климат, выносливые, трудолюбивые люди — вот, в сущности, и вся наша «модель» Норвегии), предстает удивительно богатой, многоликой, драматичной. Здесь новеллы и о детях, и о первой влюбленности, и о семейной жизни, и о старости, и о взаимоотношениях детей и родителей, хозяев и работников, людей и животных — словом, о всей жизни человеческой. Жизни, в которой есть место и радостям, и горестям, и трагедиям, и состраданию.

Два рассказа могут сразу дать представление об амплитуде и тональности сборника.

Через три года после свадьбы («Рождество мстителя» А. Сандемусе) от сорокатрехлетнего Конрадсена сбежала с молодым банковским дельцом двадцатитрехлетняя жена Аннелиза. Велико горе брошенного мужа, да еще втройне усугубленное обывательской боязнью насмешек со стороны знакомых. Как отомстить? И вот однажды его озарило: она ведь будет стариться, поблекнет ее красота, а уж какой сморщенной и высохшей будет она в шестьдесят лет! И вот тридцать семь лет он ежегодно устраивает маленький праздник в день ее рождения (падавший как раз на канун рождества): еще на год негодница ближе к старости! Наконец настал день, когда ей стукнуло шестьдесят. А ему восемьдесят... И в этот день, проходя мимо какого-то магазина, он увидел в витрине этикетки с ценами: 40, 3, 37, 80. Нет! — подобно пушкинскому Германну (не исключено, что «Пиковая дама» и подска-

зала этот ход) потрясенно вскричал старик, увидев 37 и 80 вместо 60! — Нет! — и умер от разрыва сердца.

И еще судьба, внешне контрастная этой. «Жили в большом городе одна-единственная девушка и один-единственный юноша. Их райским садом был громадный парк на городской окраине, и здесь по четвергам в пять часов пополудни юный Франческо встречался со своей Лаурой» (А. Омре. «В парке»). Романтически мечтали о том, как они поженятся, горевали, что никак не могут пока решиться на это: слишком мало он получает, на такой заработок не снимешь квартиру, не заведешь детей. Пять лет продолжались томительные четверговые встречи с поцелуями на скамье под дубом. Внезапно он скрылся: уехал в Америку, чтобы быстро разбогатеть в обетованной стране. Но только к глубокой старости скопил он немного денег и вернулся доживать остаток дней на родине. Старый, одряхлевший, приходит он в четверг к тому дубу, садится на скамейку рядом с незнакомой женщиной и рассказывает ей свою историю. Он не узнал Лауру, но она узнала его: все эти десятилетия (пожалуй, больше чем тридцать семь лет) она приходила сюда по четвергам.

Две небольшие новеллы, выдернутые из потока повседневности, но сколько в них скрыто подтекста. Бессмысленная злоба, заполнившая тридцать семь лет жизни, страх перед семейным счастьем, не подкрепленным земными благами, верная любовь к пропавшему жениху. Все чуть-чуть усилено — иронией в одном случае и романтикой в другом,— но как верно показаны и пустота существования, и иллюзорность надежд на счастье, и спасительная вера.

Не это ли в своей переплетенности и создает так называемый образ жизни, под которым разумеется не только уровень благ, но и характер отношения к действительности, уровень духовных запросов.

Или еще два рассказа об одном и том же событии — осуществившейся мечте о внезапном чуде, внезапном счастье: большом выигрыше по лотерейному билету. Выигрыше, который в «Лотерейном билете» Э. Болстада привел к смертельной вражде и драке двух братьев, а в «Освобождении» Э. Экланда — к убийству батрака разъярившимся хозяином. Не правда ли, какая горькая ирония судьбы: даже счастье оборачивается несчастьем!

Норвежская проза прочно стоит на земле, на реальной почве, и оттого в большинстве своем новеллы носят грустный характер: несчастный исход, скудный жизненный удел, изнурительная однотонность существования. И в этом терпком привкусе отнюдь не повинна «злонамеренность» составителя Ф. Золотаревской, такова объективно уловленная ею доминанта той реалистической прозы, что близка к повседневной жизни, где маленькому человеку — будь то служащий, коммивояжер, хуторской житель, рыбак — всегда трудно. Столько сил затрачивается на то, чтобы выжить, что не остается сил на то, чтобы жить.

Пронзительная при всей дотошной скрупулезности деталей — а может, как раз в силу этой скрупулезности — новелла «Лив» Б. Вик повествует о сравнительно обеспеченной рабочей семье. Но обеспеченной за счет изматывающего труда. Две детали стягивают сюжет этой новеллы. Лив на работе зачищает тарелочки перед обжигом, снимая их с гипсовых форм. Две с половиной тысячи тарелок в день, четыре движения: форма — скребок — губка — вагонетка. «Последнее время гора обработанных тарелок так и стоит у нее перед глазами, она прикинула: на стопку высотой в один метр идет примерно сотня тарелочек... за день она обрабатывает горку высотой метров в двадцать пять... за три недели она успевает отшлифовать гору тарелок выше Эйфелевой башни». А дома, едва держась на ногах (она уже отстояла восемь часов в цехе), Лив гладит белье — у нее муж и двое сыновей. «Куча неглаженого белья никак не уменьшается, если отложить остальное на завтра, она не успеет сготовить обед на два дня, как она обычно делает по средам». Между этими двумя «пиками» — горой тарелочек и кучей белья — и умещается вся жизнь. Где то, о чем мечталось в юности, чего хочется сегодня? Уже ничего не успеть...

О таком же существовании и «сельская» новелла «Бирте из Свейгенеса» С. Хёльмебакка, и «морская» история «Мы нефть возим» Г. Б. Гуннерсена. Но, пожалуй, еще более трагический колорит у тех рассказов, в которых культ вещей доводит человека до ненависти, подозрительности, психического сдвига. Уже в самих «вещных» заглавиях акварельно тонкой психологической новеллы «Вмятина» Ю. Боргена и гротесковой «Паркет» О. Солумсмуэна обозначен кругозор, масштаб ничтожного потрясения, вызвавшего патологию, сдвиги. И это, может быть, самое разительное по сравнению с тем, что мы привыкли читать в нашей прозе: пустота, выморочность существования.

Но при всем том в сборнике не заглушено важное свойство жизни так называемого маленького человека — его бесконечная воля к тому, чтобы не только выжить, но и жить. Жить наперекор судьбе, наперекор внушаемому смирению, наперекор череде неудач. Одна из самых сильных, психологически достоверных новелл сборника — «Обломки» Ф. Бьёрнсета: двое «обломков» — безногий инвалид и трагически потерявшая ребенка женщина — находят, преодолевая стыд и цинизм, силу жить.

Не боясь быть банальным, сравню этот сборник с пейзажем Норвегии. Свинцовые тучи, частый моросящий дождь, приглушенные тона скалистой земли — и вдруг выглядывает солнце. Редко выглядывает, но оттого кажется и более теплым, и более светлым.

Во время поездки по Норвегии меня поразило, как спокойно, неторопливо каждый делает свое дело, будто и не сеет назойливый дождь. И как свежо, празднично покрашены дома в Бергене, одном из самых пасмурных городов. Эти ярко покрашенные дома и тщательно ухоженные, будто полированные зеленые квадратики газонов перед домами были для меня зримым воплощением того, что я определил *наперекор*.

Стойкость тогда стойкость, когда она подвергается испытаниям, как красота вдвойне красота, когда она создается, а не даруется «от бога».

И, продолжая эту мысль, скажу: ирония тогда особенно эффективна, когда не посмеиваются бездумно над человеческими слабостями и не пугаются невзгод, стараясь помочь преодолевать их, выработать душевную стойкость. Этот разговор об иронии вполне уместен, ибо она вносит весьма ощутимые оттенки в общую «мозаику» сборника. По-своему проявляется ирония у разных авторов, но, наверное, без этого своеобразного сочетания грусти, гнева и улыбки современная жизнь народа предстала бы обедненной. И, читая лучшие рассказы сборника, испытываешь то чувство, которое так великолепно уловил Б. Пастернак:

И тут кончается искусство
И дышат почва и судьба.

Именно так: почва и судьба.

А. БОЧАРОВ

Издано за рубежом

МУДРЫЕ И НУЖНЫЕ УРОКИ

Георги Пенчев. Литературните уроци на Луначарски. София, «Наука и искуство», 1977.

Георгий Пенчев. Литературные уроки Луначарского. 1977.

Эта книга Георгия Пенчева, известного критика и литературоведа, вызвала в Болгарии много откликов. Мы попросили Георгия Пенчева рассказать как родился у него замысел книги о А. В. Луначарском.

Сегодня мне трудно вспомнить, когда и как Анатолий Васильевич Луначарский вошел в мою жизнь. Кажется, его образ всегда занимал в моем сознании видное и незаменимое место. Вероятнее всего, изучение деятельности и трудов В. И. Ленина открыло для меня и яркий ряд ленинцев, и, естественно, привело к Луначарскому, ближайшему другу и соратнику гениального мыслителя. Часто вспоминается оценка — ее приводит Горький в своем очерке о В. И. Ленине,— данная пролетарским вождем Луначарскому: «На редкость богато одаренная натура... Я его, знаете, люблю, отличный товарищ».

Воистину редкими качествами должен был обладать Луначарский, чтобы заслужить такую высокую оценку. Ленинский отзыв значит исключительно много, именно он явился для меня эмоциональным толчком к работе над книгой: страстно захотелось более подробно узнать о взаимоотношениях Луначарского с Лениным, проникнуть в его нравственный и духовный мир. Знакомство с Луначарским оказалось в сущности неповторимым путешествием в удивительно богатый и интересный мир революционных битв и духовных исканий, взлетов и падений, блужданий и открытий, мир, в котором чувствуется неотразимое воздействие ленинской гениальности, преданности пролетарскому делу и социалистической революции. И становится понятным, где берет начало щедрый родник любви и уважения Ленина к Луначарскому.

Есть и другая причина, заставившая меня более внимательно изучить некоторые страницы трудов первого наркома просвещения. В духовном развитии человечества советская литература и культура — новое, необычное явление. Не только в плане приобщения миллионов трудовых людей к эстетическим ценностям, новое — и в открытых искусством неизвестных ранее способах овладения человеком и миром, в художественном утверждении человека как творца своей судьбы и истории. Осмысляя характер и глубокую идейно-эстетическую сущность этих процессов, их революционный смысл, замечаешь, что Луначарский воспринимается как своеобразный символ новаторского характера советской литературы и искусства. Действительно, как много соединилось в его личности; революционная устремленность к будущему и сыновнее признание творчества предшественников, всего ценного в классическом наследии; изумляющая энциклопедичность и завидное умение сочетать литературный порыв с великим делом Коммунистической партии и пролетарской революции, умение сделать художественное творчество оружием освободительной борьбы. Можно назвать и другие существенные черты, но и они не исчерпают образ Луначарского.

В политике КПСС, в жизни современного советского общества получили естественное развитие и полный расцвет дерзновения ленинской мысли. В сегодняшних достижениях советского народа, в растущей роли советской литературы и искусства как авангардной силы мирового художественного процесса живут стремления, идеи, прозрения Луначарского. Поэтому интерес

к личности и литературному творчеству Луначарского не означает интереса к истории, прошлому. Напротив. Чем глубже знакомишься с его богатым наследием, тем лучше понимаешь, какого незаменимого, блестящего учителя и друга имеем мы современники, в нашей борьбе за социалистическую литературу и искусство, в нашей идеологической битве с империализмом и ревизионизмом.

Идея написать книгу, посвященную литературному творчеству Луначарского, родилась не вдруг. Чувство, что огромная часть его духовного наследия имеет остросовременное звучание и нам исключительно нужна, боролось с сознанием редкой трудности задачи. Однако чем внимательнее я изучал мысли, оценки, заключенные в книгах Луначарского, тем больше рос интерес к написанному о нем. Передо мной представала во всей полноте обаятельная личность человека — коммуниста и литератора, неповторимая, сложная и загадочная. Я убежден, что невозможно по-настоящему понять человека, тем более художника, если не найдешь ключ к психологической его сущности, не почувствуешь напряжения силового поля его личности.

Стремясь как можно полнее представить себе характер, облик, деятельность Луначарского, я перечитал сказанное о нем Лениным, Крупской, Горьким и другими видными деятелями партии и советской культуры, отзывы и воспоминания мастеров мировой литературы, рассказывающих об остроте и блеске его ума, об его исключительной эрудиции... Но только когда я погрузился в его переписку с Лениным, мне по-настоящему открылась личность этого удивительного человека. Рядом с Лениным, озаренный огнем гениальности и обаяния Ильича, Луначарский излучает свой неподражаемый свет, и я глубоко убежден, что понять его в отрыве от Ленина и партии большевиков невозможно: Луначарский — великолепный пример того, как в условиях революционной борьбы, самоотверженного служения идеалу Коммунистической партии и советского государства может расцвести во всем своем многообразии такое поистине редкое творческое дарование.

Из исследований ряда советских литературоведов я узнал о многосторонней деятельности Луначарского как строителя молодой советской литературы и культуры. Искреннюю признательность и благодарность я испытываю к И. С. Черпоуцан, Н. Трифонову, П. Бугаенко, А. Елкину.

В нашей стране имя Луначарского известно давно. Вопреки фашистской цензуре и различным трудностям в двадцатые и тридцатые годы в прогрессивной печати Болгарии появляются его статьи по литературным и общественным вопросам. Личного контакта с великим советским критиком ищут такие известные наши партийные писатели, как Георгий Бакалов, Крум Кюлявков. Приятно отметить, что наиболее видные наши современные критики и исследователи по различным вопросам ссылаются на Луначарского, отмечают его большой идейно-творческий вклад в развитие марксистской эстетики и литературоведения. Необходимо подчеркнуть сделанное в этом направлении А. Стойковым, З. Петровым, В. Колевским, И Цветковым.

Отдельные произведения и статьи Луначарского не раз публиковались в Болгарии. Пятнадцать лет назад издательство Болгарской коммунистической партии выпустило достаточно полный сборник его статей по литературным вопросам. Сейчас этот сборник — библиографическая редкость. А широкий интерес к написанному Луначарским не убывает, и в том же издательстве созрела идея нового сборника, посвященного прежде всего проблемам партийной политики в области литературы. Моя работа над составлением сборника, подготовка вступительной статьи к нему была уже практическим шагом к книге «Литературные уроки Луначарского».

С момента ее выхода прошло уже какое-то время, и мне кажется, сейчас я могу более трезво и объективно оценить сделанное. Прав Алексей Толстой, утверждавший что автор растет вместе со своим произведением,— если бы потребовалось написать эту книгу заново, едва ли я изменил бы что-либо в главном, но ряд конкретных моментов, вероятно, разработал иначе.

Моей основной задачей было не только добросовестно прочитать Луначарского, постараться раскрыть его облик как литературного критика и теоретика нового типа, но и продолжить «разговор», позволяющий извлечь уроки для наших дней, касающийся современного литературно-художественного процесса, актуальных проблем социалистической литературы и тенденций сегодняшней болгарской литературы. Должен признаться, не все из задуманного осуществилось. Например, сейчас я вижу, что при исследовании отношения Луначарского к взглядам К. Маркса и Ф. Энгельса на вопросы литературы и искусства или при выяснении идеологической сущности литературы можно было глубже проникнуть в сегодняшнюю жизнь литературы, более обстоятельно выяснить те особенности творческого процесса, которые способствуют успехам социалистической реалистической литературы и познанию человеческой сущности.

Роль Луначарского в разработке и развитии метода социалистического реализма заслуживает подробного анализа. История этого метода, для утверждения которого Луначарский так много сделал, представляет несомненный интерес. В значительной степени об этом можно судить по его докладам, речам и статьям. Это наследие бесценно, и я убежден, что хороший литератор не может пройти мимо него.

Меня же глубоко интересовала трактовка Луначарским проблем метода социалистического реализма. Здесь его прозрения

не только пережили свое время, но именно сейчас, в наши дни приобретают все большее значение. Всестороннее развитие зрелого социалистического общества дает нам возможность осмыслить идеи Луначарского с дистанции времени. В дискуссии о нашем художественном методе, о его эстетической сущности Луначарский — наш незаменимый учитель. Конечно, годы отсеяли некоторые из его установок, но мы говорим о том, что выдержало проверку временем и является нашим оружием.

Если взять проблему литературной критики — то и в этой области Луначарский оставил нам блестящие образцы. Каждый раз, читая критические труды, я с каким-то внутренним волнением думаю о том, как актуальны до сих пор методологические уроки Луначарского. Как важно для литературной критики, которая, по выражению Тодора Живкова, является реальной формой партийного руководства художественным творчеством, всегда помнить советы соратника Ленина об этичности критики, о товарищеских взаимоотношениях между критиками и писателями, о критике самой критики.

Особого внимания заслуживает воздействие взглядов Луначарского на развитие болгарской марксистской литературно-критической мысли. Я не мог миновать эту проблему в своей книге, но сделанное — только начало. Более обстоятельно исследовать, как появились у нас и получали распространение статьи Луначарского,— интересная, важная и благородная цель, и я уверен, она найдет своих горячих сторонников.

Все, что я написал в книге «Литературные уроки Луначарского» об историческом вкладе советской литературы и об одном из его наиболее ярких представителей,— чрезвычайно маленькая и скромная дань сокровищнице нашего братства. Об Анатолии Васильевиче Луначарском будут еще написаны новые и гораздо более богатые и значительные книги. Верю в это, потому что жажда людей приобщиться к ленинскому гению и его наиболее видным соратникам воистину неутолима. Потому что наследие коммуниста и литератора Луначарского принадлежит не только его великой родине. Это наследие принадлежит всем прогрессивным людям земли.

ГЕОРГИЙ ПЕНЧЕВ

г. София

ПОД ЛИЧИНОЙ НАУЧНОЙ ОБЪЕКТИВНОСТИ

Wolfgang Kasack. Lexikon der russischen Literatur ab 1917. Stuttgart, Verlag Alfred Kröner, 1976.

Вольфганг Казак. Словарь русской литературы с 1917 года. 1976.

Недавно мне довелось познакомиться со «Словарем русской литературы с 1917 года», вышедшим в штуттартском издательстве «Альфред Крёнер». Если верить перечню «карманных изданий», напечатанному на суперобложке упомянутого «Словаря», издательство «Альфред Крёнер» представляется вполне респектабельным и авторитетным. В перечне впечатляет широта тематики — от Платона и Сенеки до Маркса и Ленина, от Иммануила Канта и Чарльза Дарвина до современных мыслителей. Философия, социология, история, география, искусствоведение...

Не берусь судить о качестве и направленности других выпусков, но, листая «Словарь русской литературы с 1917 года», составленный профессором Вольфгангом Казаком при содействии сотрудников и студентов факультета славистики Кёльнского университета, убеждаешься, что его авторы сослужили издательству плохую службу.

Рекомендуя читателю сочинение Казака, «Альфред Крёнер» гарантирует полноту и точность информации. Она касается без малого пятисот русских литераторов, журналистов, писательских организаций и более полуста литературно-теоретических понятий, съездов и т. п. В аннотации сказано, что вся эта информация в сочетании с краткими оценками основных произведений и библиографическими ссылками может служить основой для дальнейших исследований. Одним словом, если верить рекламным заверениям, труд профессора Казака заполняет брешь в историко-литературных познаниях западногерманских читателей, расширяет, углубляет, обогащает их представления о современной русской литературе и ее создателях.

Сам Вольфганг Казак, говоря в предисловии об источниках своего «Словаря», как бы мимоходом бросает тень на советские справочные издания, в частности, на Краткую Литературную Энциклопедию. Они-де в отборе и интерпретации фактов придерживаются сугубо идеологических критериев. Труд же Казака, если верить его словам, отличается беспристрастностью и научной объективностью...

Зная некоторые прежние работы этого автора — исследователя хоть и эрудированного, но явно тенденциозного, несколько настороженно относишься ко всем этим самохарактеристикам. И не напрасно.

Казак остается Казаком. Он верен своей методе. И демонстрируемая им «академичность» в освещении материала имеет мало общего с подлинной научностью, если понимать под этим в первую очередь следование истине.

Обилие имен и произведений, многозначительные ссылки на «авторитеты», внушительный библиографический и прочий вспомогательный аппарат — все это подчинено заведомо неблаговидной цели: убедить читателя в идейной бедности и эстетическом худосочии советской литературы.

Автору «Словаря» не удается, а временами он и не пытается скрыть своего высокомерного, недоброжелательного, а зачастую и просто озлобленного от-

ношения к литературе, создаваемой нашим народом. И тогда он становится неразборчивым в эпитетах, бестактным в определениях, забывает о занятой им позиции эдакого «чистого» ученого.

Ни один тезис, выдвигаемый Казаком против основополагающих теоретических понятий советской литературы, не отличается ни новизной, ни тем более убедительностью. Ибо свою «аргументацию» Казак черпает пригоршнями из старых, ряской покрывшихся источников.

Пожалуй, одной из наиболее характерных для этого издания является статья о Максиме Горьком. Уделив основоположнику социалистического реализма четыре столбца, Казак ухитрился насытить их лишь двусмысленными намеками, не сказав, в сущности, ни слова о самом главном и важном.

Причины отъезда Горького в 1921 году за границу извращены. Более того, по сути ставится знак равенства между великим пролетарским писателем и белой эмиграцией. А под занавес одна из самых значительных книг XX века — «Жизнь Клима Самгина» — названа многословной компиляцией, хроникой, литературное значение которой в принципе ничтожно. О художнике, открывшем новую эру в истории мировой литературы, сказано, что он с непониманием относился ко всем формальным поискам в искусстве начала века. Его реализм пренебрежительно именуется «романтико-патетическим». Кстати, в библиографии к этой статье нашлось место для упоминания самых разных антисоветских публикаций, в том числе парижского журнальчика «Континент», но полным молчанием обойдено горьковедение — одна из самых развитых областей советского литературоведения.

Автор «Словаря» грубо искажает творчество и других советских писателей. Говоря о К. Федине, Казак не может, естественно, хотя бы скороговоркой, не признать высокого таланта и незаурядного мастерства романиста. Но эти оценки тут же «нейтрализуются». Вообще все творчество Федина последних лет вызывает у Казака антипатию, ибо оно «отчетливо отвечает требованиям партийности». Признается, что «Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костер» написаны вроде бы в традициях толстовского эпоса, однако их автор, как конформист, якобы верен не правде жизни, а «ходульным» требованиям социалистического реализма.

Ярким произведением Казакевича о войне отказано в художественности, поскольку писатель «подчинился требованиям социалистического реализма иллюстрировать партийную точку зрения». По той же причине все романы Симонова признаются «второсортными». (Весьма странное в научном обиходе определение!) Творчество многих поэтов, представителей разных поколений, по утверждению Казака, лишено эстетического значения. В частности, не нравятся Казаку стихи М. Дудина: они продиктованы якобы не внутренней потребностью.

Подобные примеры можно продолжать и далее, но наибольшее возмущение вызывает провокационная заметка о М. Шолохове. И дело даже не в том, что кёльнский профессор пытается гальванизировать низкопробные, никем не принимаемые всерьез сплетни о том, будто «Тихий Дон» написан не Шолоховым. Казаку хотелось бы очернить не только выдающегося писателя, но и сам роман. Оказывается, деление на положительное и отрицательное в нем чересчур прямолинейно, ибо соответствует делению на красных и белых. Прочитав эдакое, невольно начинаешь сомневаться: а читал ли вообще господин профессор роман Шолохова от начала до конца? Если уже не в подлиннике, то хотя бы в переводе?

В заметке о Шолохове Казак в который раз прибегает к своему излюбленному приему: он «побивает» одного советского писателя другим. Автор «Словаря» считает, например, «Поднятую целину» неудачей Шолохова, потерявшего всякое представление о пропорциях. В поисках аргумента Казак обращается к... С. Залыгину, роман, которого «На Иртыше» также посвящен классовой борьбе в советской деревне двадцатых — тридцатых годов. Книга Залыгина противопоставляется роману Шолохова как более объективная.

Здесь опять-таки проявляется умышленный антиисторизм Казака, который произвольно вырывает произведение из сложного историко-литературного контекста, обрывает его связи со временем, а затем начинает как угодно манипулировать его идейным и художественным содержанием. Названные произведения Шолохова и Залыгина написаны в разные эпохи и на разном материале. Естественно, в чем-то и различен подход писателей к пробаеме. За плечами Залыгина был опыт десятилетий. И этот опыт включает в себя, в частности, традиции «Поднятой целины». Это лишний раз подтверждает, что социалистический реализм, о котором Казак судит как о явлении статическом, на самом деле является методом, творчески развивающимся. Он постоянно обогащается историческим и эстетическим опытом поколений. В этом его сила, жизненность и перспективность.

Вообще Казак охотно использует критические суждения советских писателей об их собратьях по перу, но делает это не ради объективности, а с целью дискредитации тех или иных авторов. Он, например, заключает заметку об И. Эренбурге суждением В. Шкловского, относящимся к 1922 году. Оно признано «пророческим», хотя далеко не полностью раскрывает своеобразие творчества Эренбурга, претерпевшего в последующие десятилетия огромную эволюцию. Кстати, творческая эволюция самого Шкловского, одного из ведущих формалистов двадцатых годов, закономерно приведшая этого видного литератора и уче-

ного в лагерь активных строителей новой, социалистической культуры, трактуется в «Словаре» превратно. Шкловский, сожалеет Казак, отвернулся от модернистских течений, отрекся от своих ранних экспериментов под давлением односторонней культурной политики...

Не будем останавливаться на специфической терминологии, которой оперирует Казак. Можно было бы подобрать целый букет эпитетов, которыми он награждает писателей. Одни второсортны, другие примитивны, третьи бессильны как художники, четвертые малозначительны т. д.

В этой связи — о главном изъяне «Словаря». Антиисторично само определение — русская литература с 1917 года, каким его подает Казак. В издательской аннотации сказано, что сведения как об официально признанных, так и о «преследуемых» в СССР писателях приводятся в одном ряду с данными об авторах, по разным причинам покинувшим родину с 1917 по 1975 год. И в этом усматривается и специфика, и достоинство «Словаря». Сам Казак говорит о несостоятельности попытки установить водораздел между советскими писателями и эмигрантами, поскольку политическая граница между ними якобы шатка. На деле же подобная «интеграция» нужна, чтобы, узаконив эмигрантскую литературу на равных правах с литературой советской, объявить ее выразительницей «истинных» дум народа. Все симпатии Казака на стороне всякого рода отщепенцев, «оппозиционеров», покинувших Советский Союз в разное время и промышляющих на Западе пасквилями на свою бывшую родину и ее народ.

Какое реальное содержание вкладывается в понятие «русская литература с 1917 года»? Великая Октябрьская социалистическая революция ознаменовала собой качественно новую эпоху и в истории, и в литературе. Произошло естественное размежевание: волей истории и логикой классовой борьбы писатели оказались по разные стороны баррикад. В СССР создана и развивается русская советская литература, питающаяся соками родной земли. По-разному сложилась судьба писателей, оказавшихся в эмиграции. Иным из них, как, например, Ивану Бунину, удавалось, преодолевая глубочайший творческий и психологический кризис, создавать произведения значительные. Большая же часть порвавших с родиной литераторов оказалась в тупике.

Система оценочных критериев, к которой прибегает Казак, в конечном счете находится за рамками эстетики. Хотя он и не устает говорить о художественном значении того или иного сочинения, его представления о художественности как таковой весьма неконкретны. Он готов признать совершенным, возвести в ранг шедевров любое произведение, лишь бы в нем обнаружились вирусы антисоветизма. И, напротив, подвергнуть остракизму писателя, отдающего талант народу. Охотно прячась за спину Слонима и Струве, он объявляет советскую литературу в стилистическом отношении пестрой смесью старомодного реализма, натурализма и неверно понятого модернизма.

В издании, подобном «Словарю» Казака, каждая строка на учете и, следовательно, объем информации о том или ином литераторе должен соответствовать его значимости, весомости его вклада в искусство и общественную жизнь, его роли в литературном движении. Казак сплошь и рядом нарушает пропорции и масштабы, деформирует картину, призванную отражать истинное положение вещей.

Он стремится вызвать недоверие к советским писателям — борцам против поджигателей войны, против фашизма и неофашизма во всех его проявлениях. Так, о Л. Гинзбурге, авторе документальных книг «Цена пепла», «Бездна», «Потусторонние встречи», повествующих о преступлениях гитлеровцев и их пособников на оккупированных советских территориях, он говорит с нескрываемым раздражением.

Односторонне информируя о писателях и произведениях, трактующих тему советско-западногерманских отношений, Казак исподволь настраивает своего читателя против советской литературы, которая якобы занята антинемецкой пропагандой.

«Словарь русской литературы с 1917 года» — книга, назовем вещи своими именами, насквозь лживая. И неудивительно, что честные мыслящие читатели на Западе отвергли эту псевдосолидную и псевдонаучную подделку советолога. Так, например, швейцарская газета «Форвертс» назвала труд Казака «отвратительным обманом», «нагромождением антисоветского материала». Точнее и не скажешь.

УРАН ГУРАЛЬНИК

◆

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

«ОСЕННИЕ МАНЕВРЫ»

Так называется новый роман Мелвина Брэгга, известного советскому читателю по книге «За городской стеной». На этот раз писатель, которого прежде интересовали в основном проблемы, связанные с жизнью рабочего класса, создал, по определению критиков, политический роман.

Действие «Осенних маневров» происходит в канун парламентских выборов. В центре повествования—член парламента от Камберленда, лейборист Джимми Джонсон, которому в начале политической карьеры весьма покровительствовал Гарольд Вильсон и которому пророчили блестящее будущее. Теперь перед читателем — усталый, разочаровавшийся во всем человек. Он почти простился со своими увлечениями, давно перестал быть идеалистом, верившим в торжество добродетели и терпимости; впрочем, воинствующий нигилизм и агрессивность левых экстремистов также вызывают в нем бессильный гнев. Он согласился выставить свою кандидатуру на выборах скорее в силу инерции, ибо давно уже утратил «бойцовские» качества...

В личной жизни Джонсон тоже потерпел фиаско: жена его Элен прикована к постели неизлечимым недугом, а приемный сын Гарет ненавидит отчима за то, что он всю жизнь скрывал от него имя родного отца. Гарет пытается скомпрометировать его, впутать в мелкие политические интриги... Джимми Джонсону оказывается даже не под силу сделать «правильный выбор» между двумя любовницами, связь с которыми не приносит ему радости.

По мнению рецензента «Таймс литерари саппламент», «Осенние маневры» лишь с чисто формальной стороны можно назвать политическим романом — писатель не дает исчерпывающего анализа расстановки политических сил в стране, ее экономического положения, ограничиваясь историей жизни лейбориста Джимми Джонсона, вернее, историей крушения его иллюзий. Рецензент отмечает высокий профессиональный уровень и художественное мастерство Мелвина Брэгга. «И все-таки,— заключает он,— остается ощущение, что роман страдает определенной заданностью, автор как бы подгоняет сюжет и действующие лица под выбранную им схему. Роман держит в напряжении до самого конца, но вряд ли надолго задержится в памяти».

ВЕНГРИЯ

ФИЛЬМ О ШАНДОРЕ РАДО

Венгерские кинематографисты обратились к книге видного ученого, доктора географических наук Шандора Радо «Докладывает Дора», повествующей о деятельности созданной Шандором Радо незадолго до второй мировой войны разведывательной группы в Швейцарии, которая действовала против фашистской Германии и ее союзников. Об этой книге наш журнал писал в 1972 году (см. «ИЛ» № 2, 1972), сейчас она вышла на семнадцати языках мира, в том числе и на русском.

Перед режиссером — постановщиком фильма Робертом Баном стоит очень трудная задача, пишет на страницах журнала «Фильм, синхаз, мюжика» Ласло Фабиан. Он должен, использовав материал помимо книги, создать художественный фильм, правдиво отражающий события.

Роберт Бан, указывает далее критик, пошел по линии создания фильма о Шандоре Радо как человеке, как личности, занявшей видное место в антифашистском движении. Поэтому какие бы события ни воссоздавались на экране: будь то деятельность антифашистской

На снимке: кадр из фильма «Докладывает Дора». В роли главного героя фильма Шандора Радо — актер Дюла Бодроги.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

группы, налаживание конспирации, установление явок или фантастически сложная и требующая уйму времени работа по шифровке текстов, будь то какая-либо ответственная операция или вечер, проведенный в домашней обстановке наедине с близкими, зритель должен понять внутренний мир Шандора Радо, почувствовать притягательную силу этого человека, коммуниста, каждый день рисковавшего собственной жизнью во имя победы правого дела.

Но главное в этом фильме, подчеркивает Ласло Фабиан, та историческая ситуация, те общественные обстоятельства, в которых проявилась партийная убежденность Шандора Радо, сказавшего недавно в одном из интервью: «Разведчики не очень любят публиковать свои мемуары. У меня особый случай: через двенадцать лет после возвращения домой необходимо было доказать, что все, что пишут за границей о моей деятельности,— ложь, направленная на умаление заслуг Советской Армии и восхваление немецких генералов и маршалов. Словом, я должен был написать эту книгу».

ГДР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ БЛОКА

В издательстве «Фольк унд вельт» вышло собрание сочинений Александра Блока в трех объемистых томах. Это наиболее полное из существующих изданий произведений Блока на немецком языке. Над подготовкой его работал большой коллектив переводчиков, комментаторов, редакторов во главе с известным литературоведом, знатоком советской поэзии Фрицем Мирау. В первом томе — избранные стихотворения и поэмы Блока, во втором — пьесы, статьи, речи, в третьем — дневники и письма.

В отборе и комментировании текстов Блока учтены новые работы советских исследователей; немецкий трехтомник воспроизводит в сокращенном виде состав русского восьмитомного издания 1960—1963 гг. Переводы прозы и многие переводы стихов выполнены заново. Поэма «Двенадцать» дана в переводе А. Э. Тосса, «Скифы»— в переводе Гейнца Чеховского, публикуемом впервые. Среди переводчиков, принявших участие в новом собрании сочинений Блока,— Фридеман Бергер, Уве Бергер, Пауль Винс, Райнер Кирш, Карл Микель, Вильгельм Ткачик, Адольф Эндлер, Эльке Эрб и другие. К изданию приложена обстоятельная библиография всех существующих публикаций произведений Блока на немецком языке.

Все три тома богато иллюстрированы: в них представлены многие фотографии поэта, близких его и литературных современников, а также автографы, иллюстрации к его стихам, найденные составителями в фондах советских музеев и архивов, подчас в редких и труднодоступных изданиях. В большой вступительной статье, открывающей первый том,— «Блок в наши дни»— Фриц Мирау дает содержательную характеристику творческой личности Блока. В статье показано, что масштабность мышления, свойственная поэту, стремление понять и воплотить эпоху в ее целостности, в ее драматическом напряжении подготовили его к тому, чтобы услышать «музыку революции». Ф. Мирау с глубокой убежденностью говорит о непреходящем значении творческого наследия Блока.

ТЕЛЕФИЛЬМ О МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ

По пьесе Эриха Шлоссарека «Выговор» создан телевизионный фильм «Как должна решать женщина?».

Героиня фильма — молодая учительница Карин Петерман — хочет быть принципиальной и последовательной и в личной жизни, и

на работе. В воспитании молодого поколения она не признает компромиссов и половинчатых путей, которыми часто идут ее коллеги по школе. Выговоры и плохие отметки, поставленные Карин двум ученикам 10 класса, ими заслужены. Однако некоторые родители и учителя ополчаются против нее, утверждая, что нельзя снижать отметки ребятам выпускного класса. Карин остается при своем мнении. По тому, как в этой истории ведут себя люди, она словно проверяет и своих близких — в том числе человека, которого любит и за которого собирается выйти замуж.

«В фильме нет хэппи-энда, однако можно предположить, что стойкая позиция молодой учительницы даст свои плоды и как-то изменит работу этой школы,— пишет рецензент еженедельника «Зонтаг».—Тема фильма, его конфликты вызовут интерес у многих людей, поэтому появление его очень своевременно».

«Эрих Шлоссарек, сам бывший учитель, хорошо знает жизнь современной школы и проблемы современного воспитания,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».— Его пьеса «Выговор» и телевизионный фильм по этой пьесе — явления несомненно значительные».

Во время XVII фестиваля пролетарского искусства телевизионному фильму «Как должна решать женщина?» (режиссер Клаус Гендриес) была присуждена премия Объединения Свободных немецких профсоюзов (см. «ИЛ» № 10, 1978).

ФРГ

НОВАЯ КНИГА КРЁЦА

«Истории из Шимгау. Баварцы о самих себе» — так называется новая книга известного западногерманского драматурга Франца Ксавера Крёца, рассказывающая о жителях маленького баварского городка Шимгау, где живет и сам писатель. Книга сложилась на основе серии магнитофонных интервью, которые писатель-коммунист брал у людей, знакомых ему по партийной работе. В предисловии, рассказывая о замысле книги, Крёц замечает, что писатель, стремящийся создать образ положительного героя, всегда оказывается перед проблемой, как сделать этот образ полнокровным, реалистическим, не снижая его звучания, но и не впадая в назидательный тон. Именно поэтому Крёц обратился к конкретным людям, с которыми его связывает общая работа и которых он хорошо знает. Люди эти не средние, они из числа лучших, это те, кто задумывается над тем, что происходит в стране, кто способен точно оценить ситуацию.

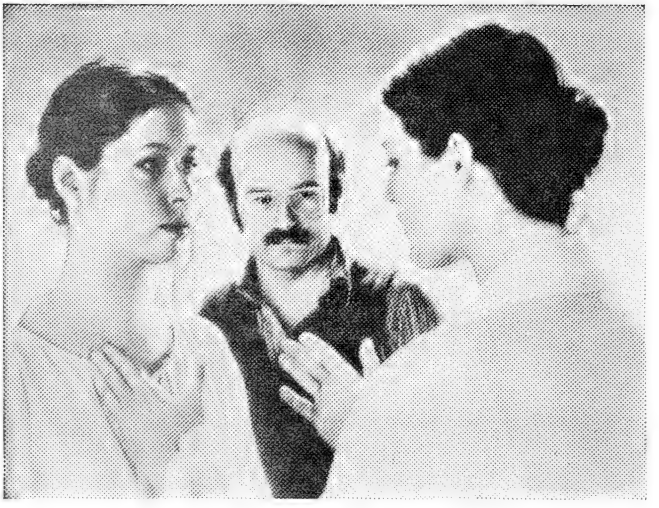
«Людей, которые наверняка стали бы голосовать за ХДС, я изображал во многих своих пьесах,— говорит писатель.— Теперь же мне хотелось показать тех, кто обладает классовым сознанием или по крайней мере стремится развивать его в себе». Эти люди и получают слово на страницах новой книги Крёца. Они рассказывают о себе, о своей жизни, о своих семьях, о бесконечных «одиссеях», связанных с поисками работы. Автор ничего не приукрашивает и не подправляет. Многие из рассказов потрясают своей обнаженной правдивостью, в них проступает реальная действительность современного капитализма, наглядно показываются те разрушения, которые производит в душах людей неуверенность в завтрашнем дне, господство «массовой культуры». Герои книги Крёца сознательно пытаются всему этому противостоять.

Книга Крёца, отмечает рецензент газеты «Унзере цайт», не проста для чтения. Нужна повышенная сосредоточенность, чтобы следить за свободно развивающейся беседой, и к тому же факты, о которых рассказывают герои книги, нередко производят гнетущее впечатление. И все же книга Крёца отнюдь не призывает читателя впасть в отчаяние, напротив, она заставляет верить, что разум и воля — это необходимые качества человека.

Новая книга Крёца, отмечает в своей рецензии Михаэль Кобальд,— своего рода этап в творчестве писателя. Здесь он впервые ищет подступы к созданию образа положительного героя, что очень важно для

На снимке: артисты Рената Райнеке и Отто Меллис в телевизионном фильме «Как должна решать женщина?».

(Газета «Нойес Дойчланд»)



Семь известных западногерманских кинорежиссеров, и среди них Александр Клюге, Фолькер Шлёндорфф и Райнер Вернер Фассбиндер, приступили к съемкам полнометражного фильма «Осень в Германии». По замыслу его создателей, в фильме должны найти отражение такие темы, как практика «запретов на профессии», травля многих известных писателей и деятелей искусства, обвиненных шпрингеровской прессой в том, что они якобы являются «духовными отцами терроризма в стране», а также сама проблема левацко-террористического движения в ФРГ.
На снимке: во время съемок фильма — актрисы Франциска Вальзер и Анжела Винклер с режиссером Фолькером Шлёндорффом.

(Журнал «Шпигель»)

всего его последующего творчества. Заслуживает внимания и тот факт, что книга вышла в таком солидном буржуазном издательстве, как «Кипенхойер унд Вич». Тактика бойкота, которому Крёц подвергался с момента своего открытого выступления в поддержку ГКП, доказала свою абсурдность. Сейчас Крёц — один из самых популярных писателей в ФРГ, его книги привлекают к себе внимание все большего числа читателей. И самые разные издатели уже не могут не считаться с этим фактом.

ИНДИЯ

НА СЪЕЗДЕ ТАМИЛЬСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ И ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА

Как сообщает орган южноиндийских писателей штата Тамилнад журнал «Тамарей», в августе 1978 г. состоялся очередной съезд литераторов и работников искусства, объединенных в крупнейшую в штате «Ассоциацию литературы и искусства Тамилнада». Насчитывающая несколько сот членов «Ассоциация», куда входят писатели, поэты, драматурги, режиссеры театра и кино, художники, скульпторы, композиторы, литературоведы и критики, была учреждена в начале 60-х гг. выдающимся общественным деятелем, основателем Компартии Индии в Тамилнаде, поэтом и публицистом Дживанандамом (умер в 1963 г.).

Впервые успешная попытка сплочения тамилоязычных писателей была предпринята в 1933 г., когда группа патриотически настроенных писателей во главе с основоположником критического реализма в литературе этого штата Пудумейпиттаном объединилась вокруг журнала «Маниккоди» и выработала основные эстетические принципы молодой национальной литературы. Тогда, в разгар освободительной борьбы народов Индии, поколение «Маниккоди» впервые оформило в организационном и идейно-художественном плане лучшие творческие силы штата, заложило основы для дальнейшего развития национальной литературы, ориентируясь на революционные идеи великого поэта Субраманьи Баради (1882—1921).

За истекшие 17 лет «Ассоциация» выросла до крупнейшей писательской организации, насчитывающей несколько сот человек. Она располагает своими отделениями практически во всех округах штата, поддерживает тесные контакты с писателями-тамилами из Шри-Ланки и Малайзии.

Такие известные писатели, как Говиндан, Туран, Ч. Рагунадан, Джанакираман, Джеякантан и другие, первыми в тамильской литературе глубоко и в убедительной художественной форме показали, что в основе подавляющего большинства человеческих трагедий лежат не только суеверия, предрассудки и якобы врожденные дурные наклонности людей, а социальная дисгармония, извечная борьба между трудом и капиталом.

Разработка теоретических принципов марксистского подхода к вопросам эстетики, литературы и искусства, популяризация и разъяснение этих принципов среди деятелей «Ассоциации» — все это заслуга сложившейся в штате школы литературоведов прогрессивного направления во главе с маститым писателем, поэтом и литературоведом Чидамбарамом Рагунаданом и крупнейшим фольклористом штата, профессором Н. Ванамамалеем — президентом «Ассоциации».

Достижения «Ассоциации» за последние десять лет и пути дальнейшего развития литературы и искусства отражены в обращении президента «Ассоциации» к прогрессивным творческим деятелям штата, одобренном делегатами съезда, в котором говорится, что та-

мильская интеллигенция должна и впредь всемерно развивать традиции, завещанные народным поэтом Субраманьей Баради, первым в Индии воспевшим свет идей, идущих из новой России. Эти традиции помогают противостоять дешевому коммерческому искусству, пытающемуся привить трудовому народу потребительское отношение к литературе и искусству. «Нам,— говорится в обращении,— всегда были дороги идеи пролетарского интернационализма, свободы и борьбы против всех форм национального и колониального гнета, нетерпимость к экономическому закабалению народов капиталистами и империалистами. Наша интеллигенция остается верным сторонником мира, выступает за укрепление дружбы с народами социалистических стран, чей опыт строительства новой культуры служит для нас отличным ориентиром. Тамильские литераторы,— говорится далее,— ясно видят и понимают истоки классового антагонизма в нашей литературе. Творчество русских и советских писателей, в первую очередь Льва Толстого и Максима Горького, помогает нашим художникам слова найти верный путь к сердцам трудового народа. Многое предстоит сделать в области изучения и обобщения опыта, вытекающего из изучения метода социалистического реализма. Лозунгу «искусство для искусства» мы противопоставляем свой призыв: «искусство и литература — для прогресса нации!». Мы призываем строить культуру и искусство для широчайших масс трудового народа»,— говорится в заключение обращения.

Съезд избрал руководящий состав «Ассоциации», наметил перспективную программу своей деятельности.

ИСПАНИЯ

ФИЛЬМЫ КАРЛОСА САУРЫ

На последнем фестивале в Канне была показана новая работа известного испанского режиссера Карлоса Сауры «С завязанными глазами». Одна из центральных проблем фильма определена крайними формами подавления личности в современном капиталистическом обществе.

В интервью мадридской газете «Эль паис» Карлос Саура рассказал о том, что замысел картины родился у него в мае 1977 года, когда он принимал участие в работе конференции, где выступали люди, пострадавшие от пыток, применяемых диктаторскими режимами ряда стран Латинской Америки. «Я стараюсь внимательно наблюдать за всем, что происходит вокруг меня,— сказал режиссер,— и выражать свой протест против несправедливости с помощью доступных мне средств. Пожалуй, в фильме «С завязанными глазами» это возмущение более очевидно, чем в других моих картинах, что обусловлено выбранной темой».

Карлос Саура сегодня, без сомнения, один из самых своеобразных и интересных режиссеров, работающих в Испании. Картина, показанная на фестивале в Канне в 1978 г.,— его двенадцатая работа. Свой путь в кинематографе Саура начал в середине 50-х годов как документалист. Первые художественные фильмы, снятые им,— «Бездомные» (1959) и «Плач по бандиту» (1960) — по идеям и по стилистике близки итальянскому неореализму. В последующие годы Саура сталкивается с рядом трудностей при осуществлении своих творческих планов, что в известной мере определило своеобразие его работ. В одном из интервью, данном в связи с выходом на экраны картины «Что посеешь...» (1976), режиссер сказал: «Трудности, встающие в нашей стране перед человеком, который хочет сказать правду, почти непреодолимы... Это вынудило меня искать другие, более опосредствованные способы выражения, и естественным результатом стало появление второго, а подчас и третьего смысла».

С середины 60-х годов, начиная со снятого по собственному сценарию фильма «Охота» (1965), характер фильмов Сауры меняется. Внимание режиссера сосредоточивается на внутреннем мире личности, на тончайших нюансах ее переживаний. Но каким бы замкнутым ни казался на первый взгляд этот мир, предмет утонченного и скрупулезного анализа художника всегда тот же — психология испанской буржуазии наших дней, того поколения, к которому принадлежит и Саура, родившийся в 1932 г.

На снимке: кадр из фильма Карлоса Сауры «Элиса, жизнь моя!». В роли Элисы — Джеральдина Чаплин.

(Журнал «Фильм»)

За годы работы режиссера в кинематографе его творческая манера значительно изменилась. В течение последнего десятилетия он прошел путь от изысканного эксперимента в картине «Логово» (1969) до вызвавшего яростные нападки крайне правых сил фильма «Кузина Анхелика» (1973), в котором прошлое Испании и ее сегодняшний день показаны с точки зрения прогрессивных сил страны. В следующих работах Сауры все отчетливее намечается переход от анализа субъективных представлений героя о внешнем мире к показу его связей с этим миром и того, как влияет общество на жизнь человека. Эта тенденция прослеживается в фильмах «Что посеешь...» и «Элиса, жизнь моя!» (1977). Продолжает эту линию в творчестве режиссера и новый фильм «С завязанными глазами».

На снимке: Франческа Бертини в начале своей карьеры и на одном из недавних снимков.

(Газета «Паэзе сера»)

ИТАЛИЯ

ЮБИЛЕЙ АКТРИСЫ

Если верить авторитетным источникам, Франческе Бертини — знаменитой актрисе итальянского немого кино, одной из первых мировых «кинозвезд», исполнилось 90 лет. Однако сама Бертини указывает другие год и дату своего рождения. Считаясь с ее версией, итальянская «Энциклопедия театра и кино» пишет: «Уточнение биографических данных затруднено мифом, который окружает ее фигуру, и романтическим оттенком, который носят написанные ею мемуары». Исполнилось Бертини 90 лет или нет еще, но печать отмечает юбилей этой старейшей итальянской актрисы, известной во всем мире. И сейчас жизнь Бертини окружена тайной — журналистам с нею невозможно встретиться, адрес свой она скрывает.

Элена Серачини Витьелло (таково подлинное ее имя) дебютировала в одиннадцать лет на драматической сцене в Неаполе, в шестнадцать начала сниматься в кино и к 1912 году стала «абсолютной примадонной» кинофирмы «Челио фильм». Продюсер Джузеппе Баратоло создал ей в Италии и за границей невиданную по тем временам рекламу. Женщины подражали ее манере одеваться, ее жестам и позам.

Самым большим успехом Бертини было исполнение заглавной роли в фильме «Ассунта Спина» (1915) режиссера Густаво Серены. В 1928 году гонорары Бертини достигли апогея, но в следующем году, выйдя замуж за известного ювелира, она покинула кино. Впоследствии Бертини все же не раз возвращалась на съемочную площадку, изредка соглашаясь играть в итальянских, французских, испанских фильмах. Актриса сыграла в общей сложности более чем в ста картинах. Последний раз ее видели совсем недавно: в нашумевшем фильме Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век» в роли монахини — сестры старого графа Берлингиери.

ПОЛЬША

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ 1978 ГОДА

Лауреатами Государственных премий 1978 года стали Войцех Жукровский, Эдмунд Ян Османчик, Аркадий Фидлер и Зигмунт Лановский.

Войцех Жукровский — один из тех писателей, жизнь и творчество которых, как отмечала критика, стали продолжением лучших традиций польской литературы. Творчество его тесно связано с жизнью народа, с жизнью страны. Биография писателя полна бурных и трагических событий: студент Ягеллонского университета, затем солдат сентября 1939 года, во время гитлеровской оккупации — рабочий каменоломни и борец польского подполья, в 1945 году воин Войска Польского. После войны Войцех Жукровский был дипломатом, военным корреспондентом во Вьетнаме, работал в Союзе польских писателей и в различных общественных организациях, был депутатом сейма. Для творчества Войцеха Жукровского всегда были характерны острые политические проблемы. Одной из тем его произведений является война («В стране молчания», «Дни поражения», «Крещенные огнем»). Книги о войне, как и другие его работы, например предназначенная для детей книжка «Похищение в Тютюрлистане», ставший бестселлером роман «Каменные таблицы», «Странствия с моим Гуру», книги о Вьетнаме, создали ему широкую популярность не только в Польше, но и за рубежом. Одна из его последних книг — «Пляж над Стиксом» пользуется у читателей большим успехом.

Как пишет газета «Трибуна люду», «Жукровский со

времен войны постоянно «присутствует» в польской культуре. Он принадлежит к писателям, чьи произведения целиком захватывают читателя, это,— говорит рецензент,— явление довольно редкое в современной литературе, но книги Жукровского хочется непременно дочитать до конца».

Недавно Войцеху Жукровскому исполнилось 60 лет, в связи с этим он был награжден самым высоким польским орденом — Орденом строителей Народной Польши. А сейчас ему присуждена Государственная премия первой степени за творчество в целом.

Эдмунд Ян Османчик—явление в польской публицистике примечательное. В юности поэт Опольской Силезии, деятель польского меньшинства в Германии, преследуемый гестапо, в годы войны он был в подполье, во время Варшавского восстания ежедневно вел по польскому радио передачи «Варшава борется». В 1945 году Э. Я. Османчик— военный корреспондент, свидетель взятия Берлина, встречи на Эльбе, единственный польский корреспондент на Потсдамской конференции, комментатор на Нюрнбергском процессе. На протяжении многих лет он — корреспондент польского радио и печати в послевоенной оккупированной Германии, в СССР, Франции, США, в странах Латинской Америки.

Особое место в творчестве Османчика, автора более тридцати книг, занимают книги «Дела поляков» и «Республика поляков». Он является также создателем уникальной «Энциклопедии международных вопросов и ООН», первой польской энциклопедии, переведенной на иностранные языки и посвященной важнейшим политическим международным проблемам деятельности ООН.

Османчик награжден Орденом строителей Народной Польши. За литературную и публицистическую деятельность ему присуждена Государственная премия первой степени.

Аркадий Фидлер, которому исполнилось 83 года, недавно отметил шестидесятилетие литературной деятельности. Неутомимый путешественник, он свою первую поездку совершил в 1927 году в Норвегию, после чего участвовал в экспедициях, собиравших фауну для музеев в Познани и Варшаве, посетил Бразилию, Перу и Канаду, побывал на Мадагаскаре. В это время он создает книги «Бишос — мои бразильские друзья», «Среди индейцев короадов», «Рыбы поют в Укаяли», «Канада, пахнущая смолой», которые приносят ему широкую известность.

Война застала его на Таити. Он возвратился в Европу. Его военные впечатления нашли отражение в книгах «Дивизион 303» и «Благодарю тебя, капитан». После войны Аркадий Фидлер возвращается к своей излюбленной тематике и создает трилогию для юношества. Первые части — «Остров Робинзона» и «Ориноко»— уже вышли, третья, под названием «Белый ягуар», готовится к печати. Популярность Фидлера огромна не только в Польше, но и за рубежом. Рецензент еженедельника «Литература» Кристина Гольдберг в статье «Мир глазами Аркадия Фидлера» пишет: «Читатели знают, что найдут в его книгах не только привлекательную экзотику, они найдут в них доброе напутствие в жизни, умение разглядеть в ней красоту и добро, осудить зло; его книги утверждают равенство людей, независимо от цвета их кожи, он верит в человеческую доброту и прежде всего в то, что гармоническое существование человека и природы, ее влияние на человека, может облагородить каждого».

Аркадий Фидлер удостоен за все свое творчество Государственной премии первой степени.

Зигмунт Лановский награжден премией второй степени за переводы скандинавской литературы, которые были отмечены также Шведской Академией, а университет в Упсале в праздновании своего 500-летия присвоил Зигмунту Лановскому за его переводческую деятельность звание доктора honoris causa.

РУМЫНИЯ

РОМАН О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ

«Романом, посвященным самой злободневной проблематике, структурно единым, написанным в «классической» реалистической манере», называет критик М. Йоргулеску новое произведение молодого прозаика Михаила Сина (род. в 1942 г.) «Стучи, и тебе откроют». В рецензии, опубликованной еженедельником «Ромыния литерарэ», критик утверждает, что «это довольно редкое литературное явление, полемически заостренное против двух весьма представительных направлений в нашей современной прозе. Речь идет, с одной стороны, о тех писателях, которые, по выражению критика, «продолжают эксплуатировать прошлое» вместо того, чтобы «исследовать настоящее», а с другой, о тех, кто не видит никаких различий между прошлым и настоящим, кто «живописует некое вневременное настоящее, произвольно стирая в своем воображении границы времени и пространства».

Подобным тенденциям и противопоставлен роман М. Сина. Это книга о тех, кто не может оставаться равнодушным к встречающимся еще в социалистическом обществе проявлениям беспринципности, эгоизма, «книга о решительном отказе от нравственных компромиссов». И потому, заключает рецензент, произведение М. Сина вызывает живой интерес у самых разных читателей — даже у глубоких знатоков современной румынской прозы, отмечающих «искусство романиста, остроту и злободневность поставленных в романе проблем».

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

за 1978 год

№ 1—12

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ.

Андерш Альфред — Винтерспельт (Роман. Перевод с немецкого И. Млечиной), № 5, 6.

Атиас Гильермо — Против течения (Повесть. Перевод с испанского Юрия Павлова), № 1, 2.

Батбаяр Дармаагийн — Миниатюры. Четыре времени года и др. (Переводы с монгольского Б. Намжилова и Н. Очирова), № 3.

Вежинов Павел — Барьер (Повесть. Перевод с болгарского М. Тарасовой. Предисловие Льва Озерова), № 1.

Веллерсхоф Дитер — Повести (Перевод с немецкого Е. Кацевой. Вступление Сергея Львова), № 2.

Вендт Альберт — Рассказы о Самоа (Перевод с английского и вступление Л. Володарской), № 10.

Гордимер Надин — Запах смерти и цветов (Новелла. Перевод с английского В. Коткина), № 8.

Джорджеску Паул — Перед молчанием... (Повесть. Перевод с румынского И. Огородниковой), № 5.

Доктороу Э. Л. — Рэгтайм (Роман. Перевод с английского В. Аксенова. Послесловие Я. Засурского), № 9, 10.

Дюрие Гастон — Моя жизнь среди бельгийцев (Картинки в прозе. Перевод с фламандского В. Ошиса), № 3.

Жубер Жан — Человек среди песков (Роман. Перевод с французского Г. Ерофеевой. Послесловие Ю. Уварова), № 8.

Зегерс Анна — И снова встреча (Повесть. Перевод с немецкого Нины Федоровой), № 11.

Козак Ян — Гнездо аиста (Роман. Перевод с чешского Л. Лерер и И. Бернштейн), № 7, 8, 9.

Кортасар Хулио — Две новеллы (Перевод с испанского М. Былинкиной), № 9.

Ларни Мартти — Рассказы (Перевод с финского Ю. Александрова), № 7.

Молина Родригес Альберто — Люди безмолвия (Повесть. Перевод с испанского и вступление О. Дарусенкова), № 7.

Нарайан Р. К. — Мои дни (Перевод с английского Н. Демуровой. Послесловие М. Салганик), № 10, 11.

Нгуен Хонг — Дочь бродячего циркача из рода Хоа (Рассказ. Перевод с вьетнамского М. Ткачева), № 10.

О'Брайен Эдна — Рассказы (Перевод с английского Е. Элькинд), № 9.

Олдридж Джеймс — Последний взгляд (Перевод с английского Е. Суриц и Н. Треневой Послесловие Б. Грибанова), № 12.

Оэ Кэндзабуро — Объяли меня воды до души моей... (Роман. Перевод с японского В. Гривнина. Предисловие Т. Григорьевой), № 3, 4.

Пий Рене-Виктор — Обличитель (Роман. Перевод с французского Т. Ерофеевой и Е. Шишмаревой. Послесловие Е. Амбарцумова), № 11, 12.

РАССКАЗЫ МОНГОЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 3.

Солович Ян — Золотой дождь (Пьеса в 4-х действиях. Перевод со словацкого Т. Мироновой), № 2.

Уильямс Теннесси — Рассказы (Перевод с английского С. Митиной), № 3.

Филипович Корнель — Рассказы (Перевод с польского К. Старосельской. Вступление Ярослава Ивашкевича), № 6.

Хилл Сьюзен — Я в замке король (Роман. Перевод с английского Е. Суриц), № 1, 2.

Чак Дюла — Рассказы (Переводы с венгерского С. Фадеева и Л. Васильевой. Вступление С. Сартакова), № 10.

Штриттматтер Эрвин — Рассказы (Переводы с немецкого О. Бобровой и Н. Ман), № 4.

Эрдэнэ Сэнгийн — Рассказы (Переводы с монгольского Б. Намжилова и Л. Скородумовой), № 3.

СТИХИ

Алегрия Фернандо — Бой в Сантьяго и др. стихи (Перевод с испанского Сергея Гончаренко), № 3.

Алова Эрдал — О чем рассказала роза и др. стихи (Перевод с турецкого Юнны Мориц), № 12.

Ан Оскар — У смерти золотой зуб и др. стихи (Перевод с испанского Сергея Гончаренко), № 3.

Божилов Божидар — Ода шуму и др. стихи (Перевод с болгарского Лорины Дымовой), № 12.

Булут Абдюлькадир — Горный дневник и др. стихи (Перевод с турецкого Е. Винокурова и Георгия Ефремова), № 12.

Вагенас Насос — Апология и др. стихи (Перевод с греческого Юнны Мориц), № 1.

Валенсуэла Тито — Заплутавшее где-то... (Перевод с испанского Сергея Гончаренко), № 3.

Викунья Сесилиа — Все дюны говорят о дюнах чилийского Севера и др. стихи (Перевод с испанского Сергея Гончаренко), № 3.

Гараи Габор — Из книги «Отсвет» (1976) (Перевод с венгерского Валентина Корчагина), № 1.

Гидаш Антал — Стихи (Переводы с венгерского Леонида Мартынова и Н. Горской), № 6.

Демирташ Метин — Место для свидания и др. стихи (Перевод с турецкого Юнны Мориц и Е. Винокурова), № 12.

Евтимов Евтим — Пирин и др. стихи (Перевод с болгарского О. Шестинского), № 12.

Еленков Лучезар — Ленин (Перевод с болгарского О. Шестинского), № 3.

ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ, № 3, 12.

Карандикар Говинд Винаяк — Ганга — река пота и др. стихи (Перевод Евг. Винокурова). Тайна прикосновения. (Эссе. Перевод и послесловие Н. Сиделева), № 11.

Кондос Яннис — Лестница и др. стихи (Перевод с греческого С. Ильинской), № 1.

Левчев Любомир — Вкус настоящего (Перевод с болгарского Л. Дымовой), № 3.

Магальянес Мануэль Висенте — Из книги «Мечта в зените» (Любовная лирика. Перевод с испанского Н. Горской), № 5.

Масторакис Дзени — Из цикла «Лица и каноны» (Перевод с греческого С. Ильинской), № 1.

Методиев Димитр — Русские глаза и др. стихи (Перевод с болгарского Лорины Дымовой), № 3.

Мирач Яшар — В стеклянной кофейне (Перевод с турецкого Юнны Мориц), № 12.

МОЛОДЫЕ ГРЕЧЕСКИЕ ПОЭТЫ (Вступление С. Ильинской), № 1.

МОЛОДЫЕ ТУРЕЦКИЕ ПОЭТЫ, № 12.

Ндебека Максим — Девятьсот восемьдесят тысяч (Поэма. Перевод с французского Александра Карлова), № 10.

Нето Агостиньо — Из книги «Священная надежда» (Перевод с португальского Михаила Курганцева), № 2.

Норж (Перевод с французского и вступление М. Кудинова), № 9.

Пирхасан Барыш — Этот мир (Перевод с турецкого Георгия Ефремова), № 12.

Пулиос Лефтерис — Дороги и др. стихи (Перевод с греческого Юнны Мориц), № 1.

Радоев Иван — Старый клуб Рабочего союза молодежи (Перевод с болгарского Лорины Дымовой), № 3.

Рексрот Кеннет — Из книги «Новые стихотворения» (Перевод с английского Алексея Парина. Вступление А. Зверева), № 11.

Родригес Мануэль — Исчезновение в Сантьяго (Перевод с испанского Сергея Гончаренко), № 3.

Рохас Гонсало — Из-под земли (Перевод с испанского Сергея Гончаренко), № 3.

Ружевич Тадеуш — Стихи разных лет (Переводы с польского Давида Самойлова, В. Британишского, Бориса Слуцкого. Вступление В. Британишского), № 5.

Стефанова Лиляна — Счастье (Перевод с болгарского Лорины Дымовой), № 3.

Сэндберг Карл — Стихи разных лет (К 100-летию со дня рождения. Перевод с английского Андрея Сергеева), № 2.

Те Хань — Голоса Чыонгшона и др. стихи (Перевод с вьетнамского и послесловие Мих. Матусовского), № 4.

ЧИЛИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ БОРЕТСЯ, № 3.

Шимборская Вислава — Из книги «Большие числа» (1976) (Перевод с польского Асара Эппеля), № 8.

Эспрну Сальвадор — Пирога и др. стихи (Перевод с каталонского Сергея Гончаренко. Вступление Н. Матяш), № 10.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Каммингс Э. Э. — Стихи из книг 1923—1958 гг. (Перевод с английского В. Британишского), № 7.

Хеллер Джозеф — Что-то случилось (Главы из книги. Перевод с английского Р. Облонской. Предисловие А. Мулярчика), № 4.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Бертран Алонзиус — Из книги «Ночной Гаспар. Фантазии в духе Рембрандта и Калло» (Перевод с французского К. Афанасьева. Вступление Юлии Гинзбург), № 4.

Гвездослав Павол Орсаг — «Кровавые сонеты» (Перевод со словацкого В. Левика. Предисловие Станислава Шматлака), № 8.

Эмре Юнус (Стихи. Перевод с турецкого и вступление С. Липкина), № 9.

КРИТИКА

Анджапаридзе Г. — Где кончается Риверроуд? (Заметки о творчестве Меджи Мванги), № 12.

Архипов Ю. — Возвращение Эдена фон Хорвата, № 4.

Вагапова Н. — Мирослав Крлежа и судьбы югославской революционной драматургии XX века, № 7.

Гвишиани Людмила — Альберт Рис Вильямс — друг Страны Советов (Вступление Бориса Полевого), № 8.

Зарев Пантелей — Идеал, современность, мировой литературный контекст (Перевод с болгарского О. Басовой), № 11.

Зверев А. — Каммингс и «чистая» поэзия, № 7.

Зорина И. — Момент узнавания (О первой советско-американской встрече в Москве), № 2.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ЛИТЕРАТУРА. Герасимов Геннадий — Среди кривых зеркал. **Колевский Васил** — Под флагом академизма (Перевод с болгарского А. Левы), № 5.

Курганцев Михаил — Во имя единственной цели, № 2.

Лакшин В. — О народе, о человеке, о себе (Проза Дюлы Ийеша), № 4.

Левидова И. — Читая романы Айрис Мердок..., № 11.

ЛИТЕРАТУРА МОЛОДЫХ: ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ. Начало **(Росен Босев, Сильвестр Эрдег, Гильермо Родригес Ривера, Александр Навроцкий, Александр Русов, Юрий Помпеев, Георге Сучу, Павел Францоуз),** № 3.

Лурье Ф. — «Я верю в судьбу человека», № 2.

Малиновская Н. — Джульетта и маски (О незаконченной пьесе Федерико Гарсиа Лорки. Вступление В. Столбова), № 12.

МИР ЭТОТ ТАК ОГРОМЕН... К 150-летию со дня рождения Льва Толстого **(Джеймс Олдридж, Чарльз Сноу, Имре Добози, Анна Зегерс, Долорес Медио, Ярослав Ивашкевич, Фернандо Намора, Эрскин Колдуэлл, Роберт Крайтон, Анри Труайя, Арман Лану, Зденек Плугарж),** № 9.

Млечина И. — Прошлое не умирает (Заметки о творчестве Альфреда Андерша), № 5.

Мотылева Т.— Толстой и художественные искания зарубежных писателей XX века, № 1.

Мулярчик А.— Война и мир Джеймса Джонса, № 9.

Перюс Жан — Поэт нашего времени (Заметки о творческом пути Жака Гошрона. Перевод с французского Н. Стрижевской), № 3.

ПОРА ВОЗМУЖАНИЯ. XX лет Ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки (Вступление Алекса Ла Гумы). **К. Чугунов** — В поисках пути (Заметки о современной африканской прозе). **Данге Ш., Салганик М.**— После тысячелетий безмолвия. **Арма Айи Квеи** — Эпос о легендарном герое зулусов (Перевод с английского В. Рамзеса. Послесловие Аполлона Давидсона), № 10.

Пытлик Радко — У истоков социалистического реализма в литературе Чехословакии (Вступление и перевод с чешского Р. Филипчиковой), № 6.

СОПОСТАВЛЯЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. Мак-Хью Роджер — Шон О'Кейси — художественность или идейность? (Перевод с английского А. Зверева). **Саруханян Алла** — Шон О'Кейси — идейность и художественность, № 5.

Тейтельбойм Володя — Течение глубокое и сильное. Размышляя о творчестве Гильермо Атиаса (Перевод с испанского Т. Коробкиной), № 4.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Козак Ян — Об интернационализме и патриотизме в литературе Чехословакии (Перевод с чешского Л. Будаговой), № 1.

Мукерджи Субхас — Прошлое в настоящем бенгальской литературы (Перевод М. Салганик), № 7.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Ромеро Эльвио — Розы в броне Рауля Гонсалеса Туньона (Перевод с испанского Павла Грушко), № 6.

Стеженский В.— Суровая правда Макса фон дер Грюна, № 1.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Бордье Роже — Политика и французский роман (Вступление и перевод с французского Льва Токарева), № 8.

ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА

Де Сеабра Мануэл — Traduttore, traditore? (Перевод с португальского Г. Вержховской), № 11.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Баштанник В., Кузнецова Н.— У истоков «Тихого Дона», № 9.

ЭПТОН СИНКЛЕР — «СОЦИАЛИСТ ЧУВСТВА». К 100-летию со дня рождения (Вступительная статья, публикация и перевод с английского Б. Гиленсона), № 10.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Архипов Ю.— Венский дневник, № 8.

Федоренко Николай — Краски Босфора, № 12.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Кхуллар Кульдип Кришан — К новым горизонтам. Несколько слов о литературе урду нашего времени (Перевод с английского), № 11.

Риверо Рауль — Оружие революции (Перевод с испанского Н. Булгаковой), № 7.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях

Гутнин А.— «Писатель в боях нашего времени», № 10.

Злыднев В.— Живые традиции, № 3.

Курганцев Михаил — «Лотос»: писатели Азии, Африки и Октябрь, № 6.

Литвинец Н.— Заклинание злых духов или реальная общественная функция?, № 11.

Матяш Н.— Трудные дороги испанской культуры, № 1.

Матяш Н.— Первый росток «Араукарии», № 7.

Миронова Т.— Веха в жизни чехословацкой литературы, № 6.

Мова Е.— За ширмой «свободного потока информации», № 10.

Палиевская Ю.— Фолкнер в Голливуде, № 1.

Редина Е.— О чем размышляют японские критики, № 2.

Ржевская Н.— Мнение романистов, № 3.

С. Б.— «Символ новой эры», № 5.

Тарасова М.— Не созерцатели, но духовные вожди!, № 9.

Тимашева О.— Призрачное эхо, или Закономерность истории, № 12.

ПУБЛИЦИСТИКА

Галанов Б.— ВЕЛИЧИЕ МАЛОЙ ЗЕМЛИ (Беседа о книге **Л. И. БРЕЖНЕВА** «Малая земля» с американским журналистом Майком Дэвидовым), № 8.

СЕДЬМОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ. Из высказываний зарубежных писателей. **Мира Алечкович, Михай Бенюк, Атуквей Окай, Вацлав Садковский,** № 3. **Вилем Завада, Андрей Плавка, Марио Бенедетти,** № 11.

Аннинский Л.— Лев Толстой на зарубежном экране, № 7.

Гинзбург Лев — Гёттингенский семинар, № 6.

Готмар Йозеф — Под сенью неонов (Главы из книги очерков. Перевод с чешского С. Пархомовской), № 12.

Гуттузо Ренато—Ремесло художника (Главы из книги. Перевод с итальянского С. Прожогиной под редакцией и с примечаниями Е. Херсонской), № 4.

Дангулов Савва — Кензо Танге (Эссе), № 7.

Кауфман Бел — Письмо покойному учителю (Перевод с английского В. Воронина), № 3.

Ковик Рон — Рожденный четвертого июля (Фрагменты из книги. Перевод с английского Н. Толкуновой под редакцией И. Гуровой. Кондрашов С.— Исповедь обманутого), № 1, 2.

Комиссаржевский В. — Летом в Париже (Заметки о театре), № 2.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ БЕСЕДУЕТ С АМЕРИКОЙ. Публикация и вступление В. Лакшина (Перевод с английского В. Воронина), № 8.

Мейлер Норман — Бой (Фрагменты из книги. Перевод с английского и предисловие А. Зверева), № 10.

Нгуен Туан — Багрянец Черной реки (Перевод с вьетнамского М. Ткачева), № 3.

Неверли Игорь — Живая связь (Отрывки из книги. Перевод с польского Э. Гессен), № 3.

Стояновская Евгения — Преображая время... Литература ГДР: портрет в диалогах (**Гельмут Байерль, Франц Фюман, Юрий Брезан, Вильгельм Гирнус**, № 5; **Пауль Винс, Ирмтрауд Моргнер, Петер Хакс, Герман Кант, Анна Зегерс, Бруно Апиц, Иоахим Новотный**, № 9).

Тодорова Л. — Мифы о конвергенции и культурный обмен, № 1.

Трифонов Юрий — Интервью о контактах, № 6.

Федоренко Н. — Тревоги живописца, № 4.

Фэкс Элтон — Мои встречи с республиками советской Средней Азии (Перевод с английского Ф. Лурье), № 11.

Шютт Петер — Возвратившись домой... (Дневник писателя. Перевод с немецкого М. Федорова), № 11.

АНТИРУБРИКА

Алле Альфонс — Рассказы (Перевод с французского Елены Бабайцевой), № 5.

Аллен Вуди — Рассказы (Перевод с английского Юрия Зараховича), № 5.

АМЕРИКАНСКАЯ ПАРОДИЯ. С. Л. Эдисон, Теодор Рётке, Дональд Финкел (Перевод с английского Андрея Сергеева), № 11.

ВЕСЕЛЫЕ ТУРЕЦКИЕ ИСТОРИИ, ПЕРЕСКАЗАННЫЕ ЛЕОНИДОМ ЛЕНЧЕМ. Султан Мурат и пьяницы, № 7.

Галчинский К. И. — Стасина жена. Стихи (Перевод с польского А. Эппеля), № 12.

Донливи Джеймс Патрик — Кодекс без изъятий и сокращений. Полный свод правил выживания и поведения в обществе (Перевод с английского Сергея Белова), № 6.

Дэвидсон Аврам — Булыжники Саратога-стрит (Рассказ. Перевод с английского Суламифи Митиной), № 1.

Жилуа Андре — Комедия чувств (Перевод с французского Александра Брагинского), № 2.

ИЗ ШВЕДСКОГО ЮМОРА. Таге Даниэльссон, Ларс Форсель (Стихи. Перевод со шведского Катарины Мурадян), № 4.

Илгаз Рифат — Рассказы (Перевод с турецкого Чанга Малишевского), № 1.

Кампаниле Акилле — Рассказы (Перевод с итальянского Николая Живаго), № 6.

Каринти Фридеш — Письмо уважаемому господину Главному дипломату (Перевод с венгерского Александра Науменко), № 11.

Келлер Иоанна — Рассказы (Перевод с польского Ксении Старосельской), № 11.

Мазилу Т. — Рассказы (Перевод с румынского Лилии Долгошевой), № 12.

Моравиц Курт — Биография благонамеренного бюргера (Перевод с немецкого Н. Н.), № 10.

О'Хара Джон — Разговор во время обеда (Рассказ. Перевод с английского Михаила Загота), № 10.

Паркер Дороти — Из цикла «Взгляд на литературу с высоты поросячьего полета». Стихи (Перевод с английского Марины Бородицкой), № 9.

Радговский Михал — Покой прежде всего (Рассказ. Перевод с польского Лидии Лерер), № 11.

Родари Джанни — Маги на стадионе (Рассказ. Перевод с итальянского Льва Вершинина), № 8.

Салливен Франк — Рассказы (Перевод с английского Владимира Постникова и Игоря Золотарева), № 8.

Стернберг Жак — Рассказы (Перевод с французского Н. Поповой), № 9.

Стратиев Станислав — Сказка (Перевод с болгарского Н. Глен), № 10.

Сэндберг Карл — Стихи (Перевод с английского Аркадия Гаврилова), № 8.

Тэрбер Джеймс, Уайт Э. Б. — Можно ли об этом говорить родителям? (Рассказ. Перевод с английского Аркадия Гаврилова), № 8.

У НАС В ГОСТЯХ АВТОРЫ ЮМОРИСТИЧЕСКОГО БОЛГАРСКОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «СТЫРШЕЛ». Радой Ралин — Стихи. **Генчо Узунов, Христо Михов-Черемухин** — Рассказы (Перевод с болгарского Л. Никольской). **Станислав Стратиев** — Рассказ (Перевод с болгарского Ники Глен), № 3.

Фельман Веларде Хосе — Рассказы (Перевод с испанского Юрия Аркадьева), № 4.

Фицджеральд Ф. Скотт — Рассказы о Голливуде (Перевод с английского Виктора Голышева), № 7.

Шанявский Ежи — Профессор Тутка рассуждает... (Рассказы. Перевод с польского Игоря Левшина), № 2.

НАШИ ГОСТИ

А. К. — Жан Бриер (Гаити), № 10.

А. Н. — Сэнгийн Эрдэнэ (Монголия), № 3.

Архипов Ю. — Петер Хандке (Австрия), № 11.

Булгакова Н. — Альфредо Гравина (Уругвай), № 3.

Гугнин А. — Хельга Шуберт (ГДР), № 7.

Левидова И. — Бел Кауфман (США), № 2.

Литвинец Н. — Михаэль Шаранг (Австрия), № 5.

Николаевская А. — Лиз Локхид, Тревор Ройл, Аллан Мэсси (Великобритания), № 7.

Пархомовская С. — Владимир Дудаш, Душан Слободник, Владимир Жабкай (Чехословакия), № 2.

Ротенберг Т. — Барри Стейвис (США), № 11.

Старосельская К. — Вацлав Садковский, Александр Навроцкий (Польша), № 5.

Тарасов В. — Субхас Мукерджи (Индия). Киорапетсе Коситсиле (ЮАР), № 10.

Ткачев М. — Нгуен Динь Тхи (Вьетнам), № 9.

Токарев Лев — Луи Арагон (Франция), № 4.

Фадеев С.— Андраш Фодор, Миклош Верец, Ференц Можи (Венгрия), № 6.

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Г. Чернейко — За свободу Болгарии. 1878—1978 (100 лет со дня освобождения Болгарии от османского ига), № 3.

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

Архипова Л.— Сад мучений (Современная португальская новелла), № 6.

Балашов В.— Муза борьбы и созидания (Утро моего народа. Современная алжирская поэзия), № 7.

Борисов А.— Верность правде (Халлдор Лакснесс. Атомная база. Брехкукотская летопись. Возвращенный рай), № 9.

Бочаров А.— Найти чудо (Сивар Ариэр. Стать другим человеком), № 4.

Бочаров А.— Почва и судьба (Современная норвежская новелла), № 12.

Бэлза Святослав — Больше чем поэт (Лацо Новомеский. Стихи. Поэмы. Статьи), № 4.

Бэр Иоаким — О. Генри из Гринсборо (О творчестве и жизни О. Генри), № 6.

Вишневская И.— Злые и добрые комедии (Аурел Баранга. «Образумься, Христофор!..» и другие пьесы), № 4.

Воскресенский Д.— Мир китайского средневековья (Цветы сливы в золотой вазе, или Цзинь, Пин, Мэй), № 10.

Гамарра Пьер — Век новеллы (Французская новелла XX в. в 2-х томах), № 1.

Горчаков Овидий — О гладиаторах от политики (Том Уикер. На арене со львами), № 5.

Громковская Л.— «Рождаемся на земле» (Токутоми Рока. Избранное), № 11.

Гусев Вл.— Жестокое бесстрашие Маркеса (Габриэль Гарсиа Маркес. Осень патриарха), № 10.

Дьяконова Н.— Книги имеют свою судьбу (Чарлз Роберт Метьюрин. Мельмот-скиталец), № 2.

Жирмуиская Тамара — Могучее дерево (Поэзия Югославии в переводах русских поэтов. Песни Черной горы), № 3.

Кадийский Кирилл — Поэтическая летопись (О совместном советско-болгарском издании «Весна человечества»), № 11.

Лилеева И.— Интерес к классике (Ю. Б. Виппер. Поэзия плеяды; А. Д. Михайлов. Французский рыцарский роман; М. Трескунов. Жорж Санд; Наталья Трапезникова. Романтизм Жорж Санд; Е. М. Евнина. Виктор Гюго), № 1.

Малевич Олег — Раздумья о неизвестных (Мирослава Томанова. Серебряная равнина), № 5.

Мендельсон М.— Исследуя американскую литературу (Интервью в связи с его книгой «Роман США сегодня»), № 8.

Михайлов М. — «Останусь средь людей обыкновенных...» (Чон Чхоль. Одинокий журавль. Из корейской поэзии XVI века), № 2.

Мурадян К.— Мир вымысла и мир действительности (Й. П. Якобсен. Нильс Люне), № 7.

Нагибин Юрий — Немного о Базене (Эрве Базен. Анатомия одного развода), № 1.

Николаев Б.— Доказательство от противного (Марио Бенедетти. Рассказы), № 6.

Никольский С.— Поэзия Иржи Тауфера (Иржи Тауфер. Стихи), № 9.

Озеров Лев — Читая Поля Валери (Поль Валери об искусстве), № 3.

Озеров Лев — Читая танки и хокку (О переводах с японского В. Марковой), № 9.

Павлова Н.— О возможностях реализма (Бертольт Брехт о литературе), № 11.

Пронин В.— Цена веры (Дитер Форте. Мартин Лютер и Томас Мюнцер, или Начала бухгалтерии), № 5.

Рудницкий М.— Новые открытия (Колесо фортуны. Стихи немецких поэтов и немецкая поэзия XVII века в переводах Льва Гинзбурга), № 2.

Седых В.— Дерзкий мечтатель (Жан Жюль-Верн. Жюль Верн), № 8.

Симонов А.— Давайте читать детям сказки (Сказки народов Африки. Ветер и птица. Африканская народная поэзия), № 3.

Солоухин Вл.— Объединяет личность поэта... (Павел Антокольский. Два века поэзии Франции), № 1.

Суровцев Ю.— Роман-объяснение (Александру Ивасюк. Половодье), № 12.

Тишков А.— Старинные повести о счастливых и несчастных влюбленных, достойных государственных мужах, прелестных и верных наложницах и о многом другом (Разоблачение божества. Средневековые китайские повести), № 6.

Фельдеак Иван — Наше рукопожатие (О совместном советско-венгерском сборнике «Рукопожатие»), № 11.

Издано за рубежом

Андреев Николай — Жизнь — подвиг (Тодор Гигов. Капитан Райчо Николов. Романизированная биография), № 3.

Батай Мишель — «Красное сердце» (М. Батай. «Дети судьбы»), № 2.

Бенедетти Карло — «Послание» режиссера («Кампьелло» Карло Гольдони с режиссерскими заметками Джорджо Стрелера), № 1.

Бенедетти Марио — Разговор с автором (Интервью М. Бенедетти в связи с выходом его сборника рассказов), № 6.

Бордье Роже (Интервью Р. Бордье в связи с его романом «Завтра лето»), № 4.

Гальперина Е.— Игра в жмурки (Антони Фелпс. Игра в жмурки. Антони Фелпс. Мотивы для смены сезонов), № 1.

Гальперина Е.— Нигерия: отзвуки гражданской войны (Эдди Айро. Сорок восемь ружей для Генерала. Исидор Окпевхо. Высший долг), № 8.

Гениева Е.— «Вы—не исключение» (Уильям Купер. Вы — не исключение), № 3.

Горчаков Овидий — Потрошитель из Мичигана (Эдвард Кииз. Мичиганские убийства), № 10.

Гуральник Уран—Под личиной объективности (В. Казак. Словарь русской литературы с 1917 года), № 12.

Ермонский А.— Люди проигравшей стороны (Владислав Терлецкий. Растет лес), № 10.

Змеёв С.— Страстная неделя и страстные годы (Хосе Корралес Эхеа. Страстная неделя), № 11.

Зонина Л.— В зеркале памяти (Робер Андре. Ребенок — зеркало), № 10.

Иллеш Ласло — «Я в погу шел и с будущим и с прошлым...» (Аладар Тамаш. Тогда непрестанно дул ветер), № 3.

Карлов А.— Впервые под одной крышей (Ж. Б. Тати-Лутар. Антология конголезской франкоязычной литературы. Том 1.), № 4.

Корреа Васкес Педро — Рождение поэзии (Родриго Миро. Путеводитель по панамской поэзии), № 4.

Лану Арман — История одного романа (А. Лану. Прощай жизнь, прощай любовь), № 2.

Левидова И.— Живое и властное прошлое (Дэвид Стори. Сэвилл), № 5.

Литвинец Н.— Круги индивидуализма (Николас Борн. Оборотная сторона моей истории), № 8.

Малевич О.— «Нет» нейтронной бомбе (Павел Койш. Нет), № 1.

Мотылева Т.— Живой опыт социалистических литератур (Франк Вагнер. «...Курс на реальность». Симона Барк. Публицистика Бехера в Советском Союзе, 1935—1945. Фриц Мирау. Изобретение и поправка. Эстетика и творчество Сергея Третьякова), № 2.

Невиш Марну — Книга должна служить взаимопониманию, № 3.

Огнева Е.— Фантастическое по Кортасару (Хулио Кортасар. Восьмигранник; Хулио Кортасар. Тот, кто здесь бродит), № 8.

Павлова Н.— Несчастная жизнь без желаний (О творчестве Петера Хандке), № 6.

Пенчев Георгий — Мудрые и нужные уроки (Георгий Пенчев. Литературные уроки Луначарского), № 12.

Пеонидис Панос — Книги, которые будут жить всегда (Тевкрос Антиас. Кипрская трагедия. Теодосис Пиеридис. Кипрская симфония), № 10.

Прожогина С.— «Инеем покрытые ростки надежды...» (Тахар Бенджеллун. Миндальные деревья умерли от ран), № 5.

Ремакль Андре — Деревья Жака Превера (Жак Превер. Деревья), № 11.

Смирнова Н.— Исповедь художника (О творчестве Богомила Райнова), № 7.

Солонович Евгений — Поэтическая тетрадь Эудженио Монтале (Эудженио Монтале. Тетрадь за четыре года), № 7.

Фельдек Любомир — «Город» Яна Шимоновича (Ян Шимонович. Город), № 2.

Фиш Радий — Торжественное описание церемонии повешения (Азиз Несин. Сурнаме), № 9.

Фиш Р.— Удушье перед грозой (Демирташ Джейхун. Удушье перед грозой), № 11.

Фурника В.— Открытое сердце Джеякантана (Дандапани Джеякантан. Да здравствует Санкара!.. Дандапани Джеякантан. Люди с открытыми сердцами), № 6.

Шатонё Роже — Противоречия времени (Андре Вюрмсер. Найденная дочь), № 5.

Эгпарс Альбер — Век поэзии (Робер Фрикс и Мишель Жуаре. Бельгийская франкоязычная поэзия с 1880 года до наших дней), № 9.

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ

Ульрих М.— «Незаменимое оружие социалистической культуры» (Обзор журнала «Надьвилаг»), № 2.

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ, № 1, 8.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ, № 1—12.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА, № 1—12.

◆

Авторы этого номера

В подборке стихов «Молодые турецкие поэты» представлены:

МЕТИН ДЕМИРТАШ (род. в 1938 г.).

В 1955 г. получил среднее техническое образование. Работал на разных предприятиях, в мастерской физического факультета университета, откуда в 1966 г. был уволен за стихотворение, посвященное Патрису Лумумбе и национально-освободительной борьбе в Африке. Долгое время был без работы. Писать стихи начал с юных лет, они печатались в студенческих журналах. За стихотворение, посвященное Че Геваре, напечатанное в журнале «Тюрк солу», был подвергнут аресту. Первый сборник его стихов «Место свиданий» был издан в 1969 г., вторая книга подготовлена к печати.

О беседе с Метином Демирташем см. статью Н. Федоренко «Краски Босфора».

Стихотворение «Место для свиданий» взято из одноименного сборника, «Песня на тюремной прогулке» и «Безнадежность запрещена» получены в рукописи.

■

ЯШАР МИРАЧ (род. в 1953 г.).

Уроженец Трапезунда, Яшар Мирач получил там среднее образование. В 1972 г. он поехал в ФРГ, надеясь получить работу и завершить образование. После 15 месяцев бесплодных попыток устроиться на работу вернулся в Турцию. Писать стихи начал в 1971 г. Стихи Яшара Мирача, проникнутые фольклорными мотивами, публиковались в журнале «Милитан», откуда взято стихотворение «В стеклянной кофейне».

■

АБДЮЛКАДИР БУЛУТ (род. в 1943 г.).

Получил педагогическое образование. Работает учителем в Стамбуле. Начал печататься с 1960 г. В 1974 г. участвовал в конкурсе молодых поэтов, проводимом журналом «Миллиет санат дергиси», на котором был признан «лучшим молодым поэтом».

Стихи «Горный дневник» и «Ты не одинок» взяты из журнала «Милитан».

■

БАРЫШ ПИРХАСАН (род. в 1951 г.).

По окончании лицея выехал за пределы Турции и некоторое время работал в разных странах Европы. По возвращении поступил в Стамбульский университет на факультет английской филологии и окончил его в 1975 г. В настоящее время работает в журнале «Политика». Стихи Барыша Пирхасана публиковались в журналах «Ени дерги» и «Милитан», откуда взято стихотворение «Этот мир».

■

ЭРДАЛ АЛОВА (род. в 1952 г.).

Жил и учился в разных учебных заведениях (переезжая из города в город вместе с отцом — военным). Первое стихотворение опубликовал в 1972 г. в журнале «Ени дерги». Затем печатался в других журналах и газетах. Участвовал в издании журнала «Милитан». В настоящее время работает в газете «Политика», в отделе литературы и искусства.

Стихи «О чем рассказала роза» и «Чаепитие» были напечатаны в журнале «Милитан».

■

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — JAMES ALDRIDGE (род. в 1918 г.).

Английский писатель, публицист и общественный деятель, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Творчество Джеймса Олдриджа хорошо знакомо советским читателям: в разные годы в русском переводе выходили его романы «Дело чести», «Морской орел», «Охотник», «Дипломат» (отмечен Золотой медалью Мира, 1953), «Герои пустынных горизонтов», «Последний изгнанник», новеллы. «Иностранная литература» публиковала его романы «Не хочу, чтобы он умирал» (№ 11, 1959), «Сын земли чужой» (№ 3—5, 1968), «Горы и оружие» (№ 1—3, 1975), несколько рассказов, эссе и статей.

Мы предлагаем вниманию читателей новую книгу Дж. Олдриджа «Последний взгляд» («One Last Glimpse». Harmondsworth, Penguin Books, 1978).

ТРЕНЕВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА.

Советский переводчик с английского. В ее переводах издавались произведения Ч. Диккенса, М. Твена, Т. Харди, Р. Л. Стивенсона, Н. Льюиса, Ш. О'Кейси, Р. Стоуна, М. Уилсона, Э. Олби, Лорейн Хэнсберри, П. Уайта и др.

Е. СУРИЦ (ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА БОГАТЫРЕВА).

Советский переводчик с английского и скандинавских языков. Переводила произведения Р. Киплинга, О. Генри, Сьюзен Хилл, Кнута Гамсуна, Йенса Петера Якобсона, Ингмара Бергмана, Петера Себерга и др.

БОЖИДАР БОЖИЛОВ (род. в 1923 г.).

Болгарский поэт, прозаик, драматург, лауреат Димитровской премии. Народный деятель искусства и культуры. Автор многих книг стихов. В последние годы вышли сборники «Лирические приключения» («Лирични приключения», 1972), «Бесконечные мгновения (Четыре встречи с Лениным)», книга эссе и статей «Поэты вблизи» («Поети отблизи», 1976) и др. На русский язык переведена книга стихов «Весенняя поэзия» (М., 1968), много печатался в периодике, в том числе в «Иностранной литературе» (подборка «Лирические исповеди» № 1, 1966 и др.).

Стихотворения «Ода шуму» и «Мудрость» взяты из сборника «Будущее — наш дом» («Бъдещето — наш дом». София, «Български писател», 1974), «Искреннее стихотворение» — из «Антологии на българската любовна лирика» («Народна младеж», 1976), «Круговорот» — из сборника «Стихотворения и поэмы» («Български писател», 1973), «Желания» — из еженедельника «Литературен фронт» (апрель 1977), «Беззвездная ночь» — из журнала «Септември» (№ 5, 1978).

ЕВТИМ ЕВТИМОВ (род. в 1933 г.).

Болгарский поэт, лауреат нескольких литературных премий, заслуженный деятель культуры. Первые стихи опубликовал еще будучи студентом Педагогического института. Выпустил более пятнадцати поэтических сборников, среди них «Пиринские баллады» (1964), «Болгарская земля» («Българска земя», 1971), «Каштаны в цвету» («Цвят от кестен», 1972), «Горькое вино» («Горчиво вино», 1975) и др.

На русском языке стихи Евтима Евтимова печатались в советских периодических изданиях.

Стихотворения, вошедшие в подборку, взяты из сборника «Орлиные круги» («Орлови кръгова». София, «Български писател», 1977).

АНДЖАПАРИДЗЕ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ (род. в 1943 г.).

Советский критик и литературовед, кандидат филологических наук. Автор ряда работ по проблемам зарубежной, преимущественно английской, литературы.

МАЛИНОВСКАЯ НАТАЛЬЯ РОДИОНОВНА.

Советский филолог-испанист, переводчик, преподаватель МГУ. Автор предисловия к двухтомному изданию произведений Ф. Гарсиа Лорки (1975). В ее переводах публиковались произведения Хосе Марти, Антонио Мачадо, Аны Марии Матуте, пьесы Ф. Гарсиа Лорки.

ЙОЗЕФ ГОТМАР — JOSEF HOTMAR (род. в 1933 г.).

Чехословацкий журналист, публицист. После окончания Карлова университета работал в министерстве культуры, в редакции газеты «Творба», затем корреспондентом чехословацкого радио в Париже. С 1973 по 1977 г. выпустил пять книг — «Запад без

мифов» («Západ mýtů zbavený»), «Европа, называемая Западной» («Evropa řečená západní»), «Африка первого поколения» («Afrika prvni generace»), «Сквозь континенты» («Napříč kontinenty») и «Под сенью неонов» («Ve stínu neónů». Praha, «Práce», 1977), главы из которой мы печатаем в этом номере.

■

ПАРХОМОВСКАЯ СУСАННА ИЛЬИНИЧНА.

Советский переводчик с чешского, словацкого и болгарского языков. В ее переводе на русский язык выходили произведения А. Плавки, Р. Морица, Ф. Краля, Н. Ганчовского, в переводе на украинский — Яна Неруды, Б. Немцовой, Вл. Минача и др.

■

ТЕОДОР МАЗИЛУ — TEODOR MAZILU (род. в 1930 г.).

Румынский прозаик и драматург. Автор нескольких романов и многих комедий, с успехом шедших на румынской сцене. Большинство их было объединено в два сборника: «Пьесы» («Teatru», 1971) и «Красив сентябрь в Венеции» («Frumos e în septembrie la Veneția», 1973). В 60—70-е годы Т. Мазилу выпустил свыше десяти сборников сатирических новелл, из которых румынская критика особо выделила два: «Прогулку на лодке» («O plimbare cu barca», 1964) и «Летом на веранде» («Vara pe verandă», 1966).

Рассказы Т. Мазилу на русском языке напечатаны в сборнике «Румынский юмор» (Л., «Искусство», 1970).

Предлагаемые читателю рассказы взяты из сборника «Летом на веранде».

■

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ — KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI (1905—1953).

Известный польский поэт. Произведения К. И. Галчинского неоднократно издавались на русском языке: сборники стихов «Варшавские голуби» (1962), «Стихи» (1967), поэма «Ниобея» («Иностранная литература» № 7, 1971); его стихи публиковались на страницах журналов и газет.

Стихотворение «Стасина жена» представляет собой монолог, написанный в 1952 г. по заказу Театра Сатириков для актрисы Ирены Квятковской и напечатанный в «Вечернем экспрессе» № 229. Переведено по тексту второго тома пятитомного собрания сочинений поэта («Dzieła». Warszawa, Czytelnik, 1957).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

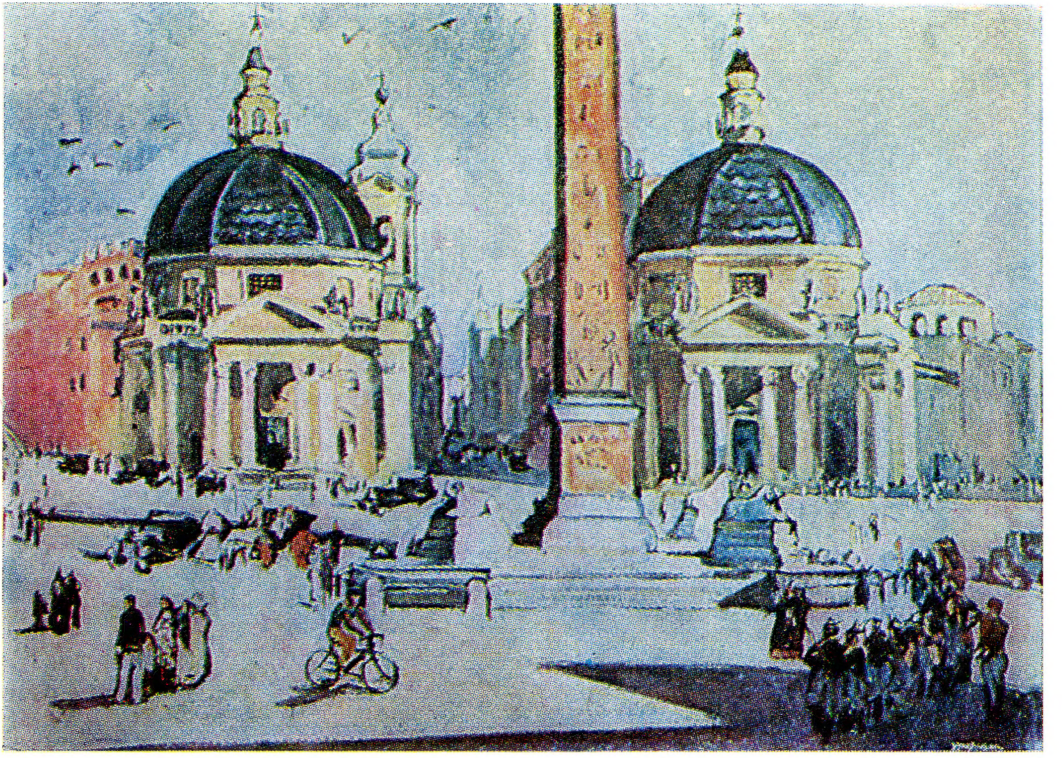
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 4/X 1978 г. А 12101. Подписано в печать 1/XI 1978 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,06.

Тираж 617 000 экз. (1-й завод: 1—450 000 экз.) Зак. 3238.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Площадь Народа в Риме

Венеция

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394